

**ФЁДОР
КРЮКОВ**

ОБВАЛ

Смута 1917 года
глазами русского
писателя

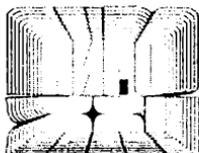
ОБВАЛ

Смута
1917 года
глазами
русского
писателя

**ФЁДОР
КРЮКОВ**



Ф. Д. Крюков
Обвал
Смута 1917 года глазами русского писателя



АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
(АИРО-XXI)



Ф. Д. КРЮКОВ

ОБВАЛ

Смута 1917 года
глазами русского писателя

МОСКВА
«АИРО-XXI»

2009

Дизайн обложки *Сергей Шербина*

Составление А. Г. Макаров

Подготовка текстов

Л. У. Ворокова, М. Ю. Михеев, А. Ю. Чернов

Научный редактор *М. Ю. Михеев*

Ф. Д. Крюков. Обвал. Смута 1917 года глазами русского писателя. — М.: АИРО–XXI. 2009. — 368 с.

Федор Дмитриевич Крюков (1870–1920), русский писатель, одним из первых в русской дореволюционной литературе дал живые и красочные картины жизни донского казачества. В этой книге собраны его очерки и статьи революционной эпохи 1917 года. В них Крюков показывает разворачивающийся процесс распада всех сторон русской жизни по мере развития и «углубления» «великой и бескровной» революции – февральского переворота 1917 года. Уникальная подборка очерков и статей Ф. Д. Крюкова, написанных в ходе гражданской войны (1918–1919), раскрывает весь трагизм кровавой и братоубийственной войны, вспыхнувшей на просторах России.

Во второй части книги собраны долгое время бывшие труднодоступными материалы по биографии Ф. Д. Крюкова, публиковавшиеся на Дону осенью 1918 г. в связи с празднованием юбилея писателя – 25-летия его литературной деятельности, а также статьи-некрологи, написанные в связи с преждевременной кончиной писателя в феврале 1920 г.

ISBN 978-591022-087-8

- © А. Г. Макаров, составление, вступительная статья
- © Л. У. Ворокова, М. Ю. Михеев А. Ю. Чернов, подготовка текстов, комментарии
- © «АИРО–XXI», 2009

СОДЕРЖАНИЕ

«Я любил Россию...» <i>А. Г. Макаров</i>	8
Край родной	13
Ф. Д. Крюков. <i>Обвал. 1917 – 1919</i>	
В сугробах	17
Мельком (<i>Современные тыловые впечатления</i>)	35
Обвал	50
Новым строем	74
В углу	124
О Войсковом Круге	147
Войсковой Круг и Россия	150
В сфере колдовства и мути	155
Камень созидания	160
Свежо предание. <i>Из Медведицкой летописи</i>	169
В гостях у товарища Миронова	175
29 января 1918 года – 29 января 1919 года	188
Роман Кумов	191
Забывшие слова	193
Визитка от Арона Бибера	197

Редакционные статьи. Новочеркасск, апрель–июнь 1919 г.

<i>1 апреля.</i> М. П. Богаевский	202
<i>7 апреля.</i> Христос Воскрес!	204
<i>3 мая.</i> Зов братьев	206
<i>8 июня.</i> Партизаны	210
Чувство чести и достоинства	212
Живые вести	215
Свидетельство документов	220
К изучению родного края	226
После красных гостей	228
«В нынешние светлые лунные ночи...»	245
Усть-Медведицкий боевой участок	247
Старший брат и младший брат	258
Цветок-татарник	262
Здесь и там	268
Войсковой Круг	274

Редакционные статьи. Новочеркасск, ноябрь – декабрь 1919 г.

<i>17 ноября.</i> Итоги дней 5–7 ноября	279
<i>27 ноября.</i> Ответственность момента	282
<i>11 декабря.</i> Знамя Мануила Семилетова	284
<i>15 декабря.</i> Долг перед Родиной	286
<i>17 декабря.</i> Сила духа	287
<i>21 декабря.</i> Единое на потребу	289

<i>Приложение</i>	
Федор Крюков. К 25-летию писательской деятельности	
<i>П. Скачков. Историческая справка к произведению</i>	
<i>Ф. Крюкова «Родимый Край»</i>	293
Из юбилейного номера газеты «Донские ведомости». 18 ноября 1918 г.	
<i>П. Краснов. Телеграмма Донского Атамана юбиляру</i>	
<i>В. Харламов. Комиссия законодательных предположений</i>	
<i>Войскового Круга. Приветствие Ф. Д. Крюкову</i>	
<i>Телеграмма юбиляру от редакции «Донских Ведомостей»</i>	
<i>Виктор Севский. Телеграмма Крюкову от «Донской Волны»</i>	
<i>Приветствие Ф. Д. Крюкову от студенческой станицы</i>	
<i>И. Скоморохов. Три момента</i>	300
<i>С. Пинус. Жизнь в произведениях Ф. Д. Крюкова.</i>	
<i>Посвящается учащимся</i>	303
Из юбилейного номера журнала «Донская волна», 18 ноября 1918 г.	
<i>Виктор Севский. [Редакционная]</i>	307
<i>Роман Кумов. О Крюкове</i>	308
<i>Н. Казьмин. Казак Крюков</i>	309
<i>П. Автономов. Бытописатель земли донской</i>	311
<i>С. Арефин. Ф. Д. Крюков как политик</i>	316
<i>Письмо В. Г. Короленко к Ф. Д. Крюкову</i>	320
<i>Б. Маркова. Неюбилейные строки</i>	321
<i>Юбилей Ф. Д. Крюкова в станице Усть-Медведицкой</i>	
<i>М. Коновалов</i>	324
Из сборника «Родимый край». Ст. Усть-Медведицкая, Донской обл. 1918 г.	
<i>От составителей</i>	326
<i>С. Пинус. Бытописатель Дона. Опыт характеристики</i>	
<i>литературного творчества Ф. Д. Крюкова</i>	327
Памяти Федора Крюкова	
<i>С. Сватиков. Некролог «Утро Юга», 25 февраля 1920</i>	339
<i>С. Сератин (С. Пинус). Памяти Ф. Д. Крюкова. «Сполох», 5.IX.1920</i>	340
<i>А. Горнфельд. Памяти Крюкова. «Вестник литературы», № 6, 1920</i>	340
<i>Вл. Боцяновский. [...] «Вестник литературы», № 9, 1920</i>	342
<i>Д. Воротынский (Д. Ветютнев). Воспоминания и встречи</i>	343
Словарик к очеркам Ф. Д. Крюкова 1917–1919 гг. с иллюстрациями	
из «Тихого Дона». Составители М. Ю. Михеев, А. Ю. Чернов	353
Очерки и статьи Ф. Д. Крюкова, опубликованные в этом сборнике	372

«Я ЛЮБИЛ РОССИЮ...»

Эпоха революций в России начала XX века, закончившаяся 1917 годом, многолетней гражданской войной, распадом и расчленением страны, проложила глубокую пропасть между старой Россией и новой, возникшей на пепелище этой гражданской войны. Нараставший вал взаимного насилия, деградация на протяжении длительного времени физических условий существования, огромный рост эгоизма и связанное с ним падение морали, социальная разобщенность народных масс – все это исказило и отодвинуло в сознании переживших катастрофу русских людей представления о «прошлой» жизни. Старая Россия для многих осталась в памяти лишь как некий идеальный образ нормальной, доброй и гармоничной жизни, навсегда исчезнувшей из нашего бытия. Со временем душевная травма эта несколько ослабла, новые бурные события и беды заслонили старую эпоху. Но и боль утраты, и стремление сердца к этому старому «идеальному» ушедшему миру, где сердце русского человека имело свое пристанище – остались и дожили, пройдя через несколько поколений, до нашего времени.

И сегодня, когда мы снова испытываем бурные и трагические изменения всего строя нашей едва наладившейся жизни, когда «эпоха революций» возвращается в Россию, наши мысли и чувства подчас обращаются в прошлое в поисках ответа на жгучие вопросы современного бытия, в поисках нравственной опоры, которой так не хватает нам в современном мире – разобщенном, хаотичном, бесчеловечном. Не столько умом, сколько сердцем мы хотим понять, как и где мы заблудились, сбились с торной дороги развития нашего Отечества, мы хотим «восстановить родство», найти, восстановить связи с прошлыми поколениями. Не так важно при этом, правы они были или заблуждались, победили или были побеждены, мужественно встречали свою судьбу или малодушно отступали под ее ударами и искушениями – возникает потребность ощущать единство себя и России, преемственность поколений и деяний. Неодолима потребность воссоздать единство общей судьбы всего народа России – оно, и только оно, может дать нравственную силу подняться и преодолеть все трудности, чтобы открыть путь в наше будущее.

Мы хотим предоставить современному читателю возможность сегодня услышать голос из той далекой, казалось, навсегда ушедшей эпохи. Голос замечательного человека, русского писателя, в течение более чем четверти века внимательно и любовно описывавшего разные стороны повседневной

жизни своего народа, старавшегося не только понять его нужды, но и – своей негромкой музой – врачевать его душевные раны, его сердечные тревоги – Федора Дмитриевича Крюкова.

Ф. Д. Крюков вышел, можно сказать, из самой гуши народной. Рожденный в донской казачьей станице, он на протяжении всей жизни был неразрывно связан со своей «малой родиной». Крюков, выбирая свой жизненный путь, не готовил себя специально к литературной деятельности, хотя и закончил с отличием Петербургский Историко-филологический институт, чем мало кто из писателей-современников Крюкова мог бы похвастаться. Он долго колебался, не мог найти «своего пути» служения. Отсюда, наверное, вытекают и его робкие попытки заняться историей Донского казачества^{*)}, и вначале – несмелые «опыты» литературной деятельности, публикация очерков и рассказов из народной жизни у В. Г. Короленко в «Русском Богатстве». И долгая, временами тягостная «лямка» учителя гимназии, которую он тянул в течение 12 лет. Но судьба распорядилась иначе, пришел 1905 год с его волнениями, выборами в Первую Государственную Думу, революцией – нарушив размеренное течение жизни.

Вовлеченный в водоворот событий, он был подвергнут – за строптивость – отторжению от преподавания в гимназии, остракизму на своей малой родине (ему было запрещено проживание в родных местах на Дону), уголовному преследованию – как депутат Первой Государственной Думы (за участие в подписании Выборгского воззвания). Федор Дмитриевич вынужден был изменить свой жизненный путь, и стал профессиональным писателем, сотрудником, а позднее и заместителем главного редактора в «Русском Богатстве». Его сотрудничество с журналом оказалось весьма плодотворным: за два десятка лет на его страницах увидели свет более сотни очерков, рассказов и повестей. Результат впечатляющий!

При этом необходимо отметить характерную особенность творчества Ф. Д. Крюкова: он работал как бы в русле классической традиции русской литературы. Это означало соединение в его творчестве идеи гуманизма, служения Человеку, с традицией реализма русской литературы классического периода, когда писатель стремился с помощью художественных средств понять противоречивый окружающий мир, осмыслить его, проникнуть в души людей и раскрыть их внутренний мир, показав не только «душевные раны», но и возможности их врачевания. Многие современники Крюкова замечали, что в его творчестве трудно найти что-то вымышленное, полет фантазии, но зато его герои как бы выходили из самой повседневности, из народной толщи.

За более чем четвертьвековой период своей писательской деятельности Федор Дмитриевич оставил нам яркие и разнообразные картины жизни дореволюционной России. Читая его очерки и рассказы, попадаешь в

^{*)} Булавинский бунт (1707–1708 гг.) Эпюд из истории отношений Петра Великого к Донским казакам. Незвестная рукопись из Донского архива Федора Крюкова. М.: АИРО–XX; СПб.: Дмитрий Буланин. 2004.

самую гущу русской жизни. Перед читателем как в кинематографе возникают и проносятся персонажи и обстоятельства настолько достоверные и точные в деталях и психологических характерах, что через его произведения мы можем открывать для себя и изучать эту такую милую для нас, но уже безвозвратно ушедшую эпоху вековой давности. А касаясь переломных моментов нашей бурной истории, Федор Дмитриевич дает нам возможность из сегодняшнего далёка разглядеть вблизи многие важные детали, особенности нарастающего потока событий и через это многое понять в той эпохе.

Мы давно уже используем в своем сознании сложившиеся образы нашего прошлого, неважно – советскими или антисоветскими. Но насколько они соответствуют событиям и чувствам самих участников, действительно ли именно так воспринималось происходящее – или трагический поток стер многие эмоции и переживания, заменив их позднейшими формулами и пропагандистскими мифами?

Вот, например, Крюков рассказывает нам о встрече со своим земляком на глухой станции Михайловка во время посещения им своего «глухого угла» на Рождество 1916 года – самый канун «великой и бескровной» революции февраля 1917-го. «Богатеть нынче все бросились. Купцов, купцов этих у нас показалось, – как грязи! Все заторговали... Кто с роду копейки не имел за душой, – глядишь: ходит, скупает, перепродает, шуршит, брат мой, деньгами!» – вот картина нарастающего развала повседневного порядка жизни.

Другая характерная черта народной жизни уход «на службу... в стражники»: «– Шестьдесят в месяц, одежда казенная, харчи казенные, сапоги лишь свои. Народу ушло – страсть... Сейчас казаков в станице мало и осталось... Ушли деньги наживать... Развертывая постепенно картину степной жизни за последние три месяца, как я расстался с ней, Петрович особенно подчеркивает эту эпидемию наживы, охватившую моих станичников». («Мельком»)

Как это близко нашему времени – такая же неустроенность, зыбкость существования, неуверенность в будущем! Рисуя в очерке «Обвал» яркие картины *исторических событий* февральских дней в Петрограде, Крюков не только дает живые картины происшедшего, но и отмечает уже тогда заметные тревожные признаки будущих грозных явлений. Не станем здесь подробно останавливаться на его наблюдениях и раздумьях – читатель найдет их в самой книге. Можно лишь сказать, что перед нами с одной стороны разворачиваются как бы летописные зарисовки событий, настолько точно воспроизводящие психологию и переживания простого человека из русской глубинки, что Крюковские очерки могут служить в качестве реального исторического источника для изучения революционной эпохи России начала XX века.

Уникальными являются и собранные в этой книге статьи и очерки Федора Дмитриевича, написанные на Дону в годы гражданской войны (1918–1919). Здесь не только точность наблюдений, но и вся гамма пере-

живаний страдающего русского сердца, трагические чувства человека, наблюдающего безумное разрушение Отечества в «бессмысленной» междоусобной борьбе. Сам писатель с самого начала сделал выбор и прошел свой путь до конца. «Нужно браться без колебаний за топоры и вилы и очищать родную землю от разбойничьих банд, именовавшихся революционным народом», – говорил он, по свидетельству друзей, своим старичникам весной 1918 года.

Фактически из его статей и очерков перед нами встает панорама народной освободительной войны казачества. Войны истинно народной, со всеми характерными для нее положительными и отрицательными сторонами, борьбы не на жизнь, а на смерть за свое существование. Войны трагичной – поскольку и сама она, и ее масштабы были связаны с расколом русского народа, который исторически мог быть преодолен лишь большими потерями, большими страданиями, большой кровью. Казаки оказались в лагере потерпевших историческое поражение, цена, заплаченная за это – оказалась ужасной, лучшие сыны тихого Дона погибли или были вынуждены покинуть родину и доживать свой век на чужбине.

Федор Дмитриевич в водовороте бурных событий пытался по мере своих сил укрепить дух казаков в этой борьбе за свободу и за родной край, вселить в сердца надежду, воодушевить на подвиг. Поэтому особенно близко нам слово русского писателя, посреди брани утверждавшего веру в возможность лучшего будущего, врачевавшего сердца своим словом, которое и сегодня звучит вполне современно и способно согреть душу:

«Я гляжу на разрушенный снарядом старенький куренёк, на обугленные развалины – обидно, горько. Но нет отчаяния! Пройдем через горнило жестокой науки, будем умней, союзней, и, может быть, лучше устроим жизнь» («Цветок-татарник»).

Во второй части настоящего сборника нами собраны воедино сохранившиеся и дошедшие до сегодняшнего дня материалы, посвященные Ф. Д. Крюкову в связи с чествованием в 1918 г. на Дону его юбилея – 25-летия начала его писательской деятельности. Этому событию был посвящен тогда специальный номер журнала «Донская волна», выходившего на Дону в 1918–1919 гг., а также юбилейный сборник «Родимый край», посвященный писателю и подготовленный и изданный его друзьями и почитателями на его родине, в станице Усть-Медведицкой. В заключение собраны отклики, которые появились в связи с трагическим событием – преждевременной кончиной писателя от тифа в трагические дни общего отступления Донской армии на Кубани в начале 1920 года.

Таким образом, читатель этой книги получает возможность воссоздать для себя образ нашего талантливого предшественника, русского писателя и патриота, вместе с ним задуматься над нашей общей судьбой, судьбой России, услышать из глубин прошлого его мягкий и добрый голос:

«Я любил Россию – всю, в целом, великую, несуразную, богатую противоречиями, непостижимую. “Могучую и бессильную”... Я болел её болью, радовался её редкими радостями, гордился гордостью,

горел её жгучим стыдом... Но самые заветные, самые цепкие и прочные нити моего сердца были прикреплены к этому вот серому уголку, к краю, где я родился и вырос...»

За последние двадцать лет было опубликовано несколько сборников рассказов и повестей Ф. Д. Крюкова. Предлагаемая книга по своей композиции отличается от прежних изданий. Мы постарались воссоздать целостный образ писателя, взяв за основу одну из сторон его творчества – документально-художественные очерки и публицистику последних лет его жизни, пришедшихся на годы русской революции 1917 года. Наиболее ярким произведением писателя, выражающим его чувства и душу, отношение к свершающимся вокруг событиям, стало его стихотворение в прозе «Край родной», написанное в момент острой боли и тревоги за судьбу родной земли, во время разворачивавшегося на Дону восстания казачества против большевистской диктатуры летом 1918 года. Оно стало как бы камертоном его творчества, вобрало в себя основные его переживания. Эти же чувства и мысли мы встречаем практически во всех произведениях этого периода. Возможно, оно отражает в сжатом виде и содержание той *большой вещи*, которую писатель, по некоторым свидетельствам, писал в последние годы своей жизни. Этим стихотворением мы и открываем настоящий сборник.

Все тексты Федора Дмитриевича Крюкова, опубликованные в периодической печати 1916–1919 гг. и вошедшие в настоящий сборник, сверены с оригинальными газетными и журнальными публикациями, пунктуация и орфография в них приведены в соответствие с современными нормами. В конце книги дается краткий Словарик к очеркам Крюкова, проиллюстрированный параллелями из «Тихого Дона». Научная подготовка текстов была выполнена филологами Л. У. Вороковой, М. Ю. Михеевым и А. Ю. Черновым, составление Словаря – М. Ю. Михеевым и А. Ю. Черновым при участии Л. У. Вороковой, научный редактор – М. Ю. Михеев. М. Ю. Михеевым выполнена работа по поиску и обработке большого количества малоизвестных текстов Ф. Д. Крюкова, включенных в эту книгу.

Выражаем благодарность историку, профессору Ростовского университета А. В. Венкову за многочисленные полезные консультации, помощи довести задуманную работу до своего завершения.

А. Г. Макаров

КРАЙ РОДНОЙ

Родимый край... Как ласка матери, как нежный зов ее над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов... Чуть тает тихий свет зари, звенит сверчок под лавкой в уголку, из серебра узор чеканит в окошко месяц молодой... Укропом пахнет с огорода... Родимый край...

Кресты родных моих могил, а над левадой дым кизичный, и пятна белых куреней в зеленой раме рощ вербовых, гумно с бурующей соломой, и журавец, застывший в думе, – волнуют сердце мне сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья...

Тебя люблю, родимый край... И тихих вод твоих осоку, и серебро песчаных кос, плач чибиса в куге зеленой, песнь хороводов на заре, и в праздник шум станичного майдана, и старый милый Дон, – не променяю ни на что... Родимый край...

Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разгула и грусть безбрежная – щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкий и родной... Молчанье мудрое седых курганов, и в небе клекот сизого орла, в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зеленый и родной... Не ты ли это – родимый край?

Во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа, я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил, все же ждал: за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнет волну наш Дон седой... Вскипит, взволнуется и кликнет клич – клич чести и свободы...

И взволновался Тихий Дон... Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики... Звучат родные песни, серебрястый подголосок звенит в дали, как нежная струна... Звенит и плачет, и зовет... То – край родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол...

Кипит волной, зовет на бой родимый Дон... За честь отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон – родимый край!..

Ф. Д. Крюков

Ф. Д. КРЮКОВ

ОБВАЛ

1917 – 1919

Очерки.

Публицистика

В СУГРОБАХ

I.

Мы подъезжали к станции.

Извозчик Илья Романыч, старый знакомый, в письменных сношениях всегда именовавший себя «известный вам извозчик судебного следователя», потому что в слободе был самым почетным клиентом его судебный следователь, – Илья вдруг натянул вожжи у самого переезда через рельсы, тпрукнул и взволнованно сказал:

– Эх, немощко не потрафили, ваше благородие!

– Как не потрафили? В чем? – спросил я встревоженно.

– А свисток-то...

– Ну?

– Чуть-чуть бы пораньше, в самый раз бы сели... Ведь это утренний пошел!.. Вон он угребается как! Минуток бы на десяток раньше побеспокоиться, в самый бы аккурат... Ишь, в рот ему оглоблю!

– Кто ж это знал, что утренний поезд пройдет в восемь вечера? Но через час должен идти почтовый, я его и имел в виду...

– Через час? – Илья Романыч усмехнулся и, приложив палец к одной стороне носа, иронически высморкался. – Дай бог, чтобы к утру...

– Ну!?

– Ей-бо...

Постояли мы перед рельсами в раздумье. Помолчали.

– Повезу вас опять к Михал Михалычу, – сказал Илья. – Попьете себе чайку, в клуб сходите...

– А вдруг и почтовый прозеваем?

– Ни в коем случае! Часиков в двенадцать приедете, и то насидитесь на стулу... Нитнюдь не опоздаете!

Не без колебания отдался я на волю Ильи. Он повез меня в слободу. До двенадцати я просидел у добрых знакомых, на минутку заглянул даже в клуб. В двенадцать приехал на вокзал, маленький, тесный, про-

куренный и заплеванной. А в четыре утра пришел «почтовый» – тот самый поезд, которого я по наивности ждал в девять часов вечера...

В купе, кроме меня, вошли еще два пассажира: казачий полковник и господин в бобровой шапке и хорьковом пальто с бобровым воротником – московский адвокат, как потом оказалось. Молча уселись. Полковник крикнул мрачным басом, адвокат желчно огляделся. Видно было, что оба доведены бессильной злобой и раздражением до мрачной меланхолии. Я делал вид, что мне все равно – ничем, мол, не удивишь.

Когда поезд запел колесами по обмерзлым рельсам и тронулся, адвокат судорожно вздохнул.

– Я как будто предчувствовал, – сказал он, глядя на нас со скорбным удовлетворением. – Уезжая, предупредил жену, что могу опоздать... на сутки – на двое...

– Бывает, – с мрачной иронией пробасил полковник, – приятно иногда этак... угадать...

– Не угадал, – вздохнул адвокат. – Сегодня четвертые сутки идут, как мне надо бы в Москве быть. Как раз на сегодня у меня два дела в гражданском отделении назначены... Всё предусмотрел, но такой оказы, признаться, не предполагал...

– Ну, на будущее время предусмотрительнее будете...

– Битых семь часов сидели в этой заплеванной дыре, – злобно тараша глаза, говорил полковник. – Ну видели вы хоть один поезд? Товарный, воинский? Ни одного! Почему же, раз поезд формируется в Царицыне, в 150-ти верстах отсюда, необходимо запоздать ему на семь часов? Ни заносов, ни размывов, дорога – хоть куда...

Не выдержал и я роли объективного созерцателя, стал сетовать не столько на беспорядок, сколько на отсутствие должной предусмотрительности у себя, и с горечью поведал, как мы с Ильей чуть-чуть не «потрафили» в восемь часов вечера на утренний поезд и он, можно сказать, под носом у нас дал свой прощальный свисток...

Донельзя мудроно быть объективным наблюдателем в нынешнее время. Действительность на каждом шагу дает пинки, швыряет, выворачивает карманы, переворачивает привычные представления и вместе душу, оглушает и не дает опомниться. Непостижимо быстрыми скачками человек доводится до состояния тяжелого, тошного угара и ошаления, перестает понимать, изумляться, негодовать – чувствует одно: тупую, безбрежную тоску отчаяния, грызущего бессилия и унижения...

Издали, в стороне от жизни, еще ни то ни се, похоже как будто на прежнее, на старое, привычное, близкое сердцу знакомыми чертами. Из окна вагона можно любоваться классической русской зимой с морозами, со сверкающими снегами, с голубыми тенями, нарядными рощами,

запущенными инеем. От накатанной дороги с навозцем, от избушек, похожих на кучи навоза, прикрытые снегом, таких живописных в чередовании темных и белых пятен, веет «святою тишиной убогих деревень»^{*)}. Вот она и опозтизированная сивка – «плетется рысью как-нибудь»^{**)}, и в дровнишках, полуразвалившись, дымя сигаркой, лежит мужичок в белых валенках... Все – как встарь, привычно-милое, родное...

Но в душе после виденного и слышанного за месяц странствия в родных сугробах тоска безбрежная и неумная: и дровнишки, и сивка, и мужичок с сигаркой в зубах – далеко уже не те, к которым приросло сердце, – одна оболочка старая, а то, что на старом семинарском языке именовалось «субстанцией», то – иное, новое, и, признаться, мало привлекательное...

Район моих скитаний и наблюдений был невелик и, может быть, слишком мне близок, чтобы я мог говорить о нем спокойно и бесстрастно. Но когда после трех дней вагонного сидения, бесконечных стоянок, пересадок и опозданий я вышел на платформу маленького лесного полустанка и сани заныряли по ухабам лесной дороги, среди гигантских сосен и елей, обсыпанных снегом, в таинственном переплете лунного света и теней, – та же тоска недоумения, которая давила меня в родных степных углах, повисла над душой и тут...

– Я ничего не понимаю теперь, – говорил мне брат, лесничий. – Может, у вас там видней, а тут ничего не разберешь... Грабят – одно несомненно... Взапуски грабят... Кто грабит – видишь. Но кого грабят – не сразу постигнешь. Несомненно – отечество!

– Надо думать, так...

– И законно ведь грабят! Ну какой же грабитель Юдичев, Тихон Васильич? Помнишь его?

– Как же! Это – на тургеневского Хоря похож который?

– Вот-вот...

Отчетливо помню: черная борода по пояс, неторопливая, вдумчивая речь, четыре сына – хорошие ребята, ядреные снохи... Мужичок приятный, степенный, пахнувший навозцем, в порточках, неграмотный...

– Вот у него – пять лошадей. В день он получает на них до сорока рублей, не меньше тысячи в месяц. При расчете просит не давать ему

^{*)} Из стихотворения А. Н. Плещеева «Отчизна» (1862):

Святая тишина убогих деревень,
Где труженик, задавленный невзгодой,
Молился небесам, чтоб новый, лучший день
Над ним взошёл - великий день свободы.

^{**)} Стих из V главы романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

сотенными, а пятисотрублевками... Было нищее село Журиничи, теперь там в сундуках – не менее миллиона... бумажками, конечно...

– А живут по-прежнему?

– Ну, нельзя сказать. Покупают теперь и крупчатку, если найдут где. Спросят с них семьдесят рублей за мешок – «давай два мешка». Без стеснения: достает деньги и платит. Сахар там рубля по два с полтиной – по три за фунт продают – ничего, даже пудами берут. Староста на днях, говорят, пуда три скупил. Он, конечно, на браге выручит свое...

– Ну, а как же, например, учительница изворачивается?

– Изворачивается! Вошла в долги, купила лошаденку, теперь дрова возит в город... Не сама, а мужичок один – у него своих две лошади, ее – третья. За неделю, – говорит, – сорок рублей выручила... А то хоть зубы на полку клади – на одном жалованье-то...

Как принять этот современный экономический переворот? С радостью или огорчением? Мужик как будто ныне «ест добры щи и пиво пьет» – как пел когда-то Державин*). Покупает даже крупчатку мешками, сахар – пудами при цене в два с полтиной за фунт... Чем плохо?

Но радости нет в сердце. И чем дальше разворачивается передо мной картина современного быта деревенского лесного угла, тем ближе она к тому, что в последний момент расцвело пышным цветом и на родном моем степном черноземе. Те же черты ни с чем не сообразной нелепости, бесстыдного оголения, грабительского азарта, которые сверху донизу прошли по современной русской жизни и окрасили ее густым колером гнилья, продажности и безбрежного развала...

II.

Примелькались ли внешние перемены деревенского быта или стерли первоначальную резкую свою окраску, но они перестали резать глаз. Порой со стороны кажется даже, что все остальное по-старому, жизнь вернулась в проторенную колею, из которой временно была выбита. Но шаг-другой хотя бы по поверхности этой с виду туго сдвигающейся жизни убеждает, что старое – то, чего «не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный»**), – осталось где-то сзади...

*) Из стихотворения Г. Р. Державина «Осень во время осады Очакова» (1788):

Запаслися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет;
Обогащенный шедрым небом,
Блаженство дней своих поет.

**) Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья» (1855):

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготу твоей смиренной.

В станице – обычная на Святках ярмарка. Она продолжается целую неделю. Казалось бы, в полосу всяких кризисов, продовольственных затруднений, товарных оскудений – что за ярмарка? Чем торговать? Какой может быть товарообмен по нынешним временам?

Но ярмарка была как ярмарка – правда, без каруселей и пряников, однако с нарядами, платками, ситцами, медом, керосином и даже книжками – лубочными, конечно. Продукты местного производства – свиные туши, говядина, резаная птица, масло, пух, перо, щетина, битые зайцы, куропатки, тыквенные семена – всё, как прежде. Много скота, лошадей. Возами, санями заставлены улицы, перекрестки. Как будто реже стали характерные фигуры прасолов и скупщиков, тех оголтелых рвачей с хищными глазами, со свирепо убеждающей, ругательской речью, которые с налета засыпали флегматичного бородача в дубленом тулупе и папахе с красным верхом шумным каскадом прыгающих слов, ласковых и ругательских, умоляющих и издевательских, били-ударяли по рукам, орали, плевались, уходили и снова возвращались. Стало меньше их. Прасол остался солидный, седой, с мягкой речью, с молитовкой, с ласковым присловьем. И, как новость, в качестве скупщиков появились свои, местные люди, попробовавшие удачи, съездившие в Москву и в Питер перед Святками.

– Ну, говори делом?

– Семнадцать с полтиной, – сквозь намерзшие на усах и бороде сосульки спокойно, неторопливо, независимо отвечает дубленый тулуп – не то что раньше: покупатель, бывало, «ковыряет» товары, а продавец спросит четыре рубля за пуд, да и сам испугается своего запроса.

– Ты делом говори: хочешь продать?

Прасол высоко поднимает руку, шлепает по голице продавца и как будто с другого берега реки кричит голосом отчаянной решимости:

– По шестнадцати берешь?

– Семнадцать с полтиной...

– Да буде!

– Чего же буде? В Михайловке надьсь по двадцать два отдал.

– Товар не тот!

– А это чем не товар? Гляди: как нарисованная... Это тебе не туша?

Свиная туша, около которой идет торг, грустно оскалив зубы с загатою в них палкой и картинно опершись обрубленными ногами на грядушку саней, показывает в надрубленном на спине зияющем шраме толстый жировой слой: полюбуйтесь, мол...

– А печенку вынул?

– Неужли ж в ней оставлю?

– То-то... А то она вот 55 копеек фунт приходится, а в ней с полпуда наберется. В мерзлой-то ее не углядишь, а отгает – она и скажется... Ну, по шестнадцати отдавай?

Торг тянется долго, до изнеможения бьются и чуть не расходятся из-за пятачка. Цены – новые, а психология еще старая, и пятак кажется величиной, из-за которой не жаль потерять полчаса времени. И по-старому стоит толпа зрителей и слушателей, любопытствующих, чем кончится дело. Из нее то и дело вылетают острые словечки, подзадоривающие шутки, философские умозаключения, недоуменные вздохи, изумленное почмокивание языком...

– Вот оно, как играет нынче мясо-то! Хошь – ешь, хошь – гляди, хошь – на семена блюди...

Новые цены все еще кажутся невероятными, ошеломляют. Мысль, привыкшая к старым меркам, не может освоиться с масштабом, меняющимся еженедельно, и своеобразный «принцип относительности» с трудом входит в сознание дубленых тулупов. В шуточных замечаниях чувствуется рядом с иронией над своим положением обладателей дорогого товара и смутная горечь недоумения.

– Ели, не думали, когда по руль шесть гривен давали за пуд. А теперь как я ее буду есть, хошь она сейчас у меня и некупленная? Раз укусил – и на гривенник! Извольте радоваться... Семей мы за две недели борова съедим... а он – сто целковых! Шутка сказать...

– Теперь уж не есть – не иначе как продавать...

– Продавать? Продай – блоху поймать, а купить – вошь убить... Вон Карпо осенью продал двух борохов по двенадцати целковеньких, думал: денег бугор нагреб... А сейчас еды решился: цены вон какие, сколько бы денег можно еще забрать?.. В тоску вдался человек, ходит как полоумный...

Жадность, темная, мужицкая, неосмысленная, мелкая жадность изображается в смехотворном виде и высмеивается как будто так же, как и прежде. Тогда она жила как бы гнездами: были скопидомы, сугубо хозяйственные мужички, упорные жрецы накопления, были кулаки, но жила и совесть, имело известную силу сознание греха, на словах нередко повторялся лозунг «жить по-Божьи».

Но что-то произошло – и именно теперь вот, на наших глазах, в наши дни, в переживаемый сейчас момент, – пропала где-то совесть, свинные и волчьи инстинкты затопили все углы жизни, жадность, хватание кредиток, очерствение приняли характер эпидемии и даже в патриархальных уголках, где имели еще действительную силу, например, узы родства, денежный поток прорвал и снес даже эти вековые связи...

– Я к родной сестре в Чигонаки поехал, – говорил мне тут же, на базаре, около свиной туши, в кругу собеседников в дубленых тулупах мой сверстник Николай Михеевич Агеев, старообрядец, хороший, трудолюбивый, хозяйственный казак. – У ней тысячи четыре одной

пшеницы, а у нас эти два года вот недород на шее, житный хлебец едим. Ну, хочется иной раз пирожка... Ну, поехал. Ни одной меры не дала! – «Ну, продай!» – «Да как же я продам? Какую цену положить?» И не продала. А знаю, что продает: по два с половиной – по три за пуд... Ну, а с меня взять эту цену совести не хватает... И не продала!..

– Мамушка теперь, – продолжал он, помолчав, с видимым волнением, – ест хлебец-то, ест и заплачет: «У родной дочери не нашлось пирожка-то мне дать!» А мы отдавали ее четырнадцати лет – корову дали... Родитель лошадь дал...

– Ныне по Писанию не живут, парень, – сказал кто-то из дубленых тулупов.

– Оно и вперед не знали Писания, а жили же, страмоты такой сроду не было... Капитолина под Рождество пришла к Ивану Самохину мучицы попросить к празднику – он четыре рубля спорол с нее за пуд... Че-ты-ре рубля! Это с удовой-то и брать? Сын у ней один-то и есть – мобилизован, его же сын дома прохладается, лодырь такой – хоть поресят об лоб бей... А ведь он-то, Иван, у нас титором*), Писание знает, заел Писанием меня: «Воспу принимаешь, дескать, а мы от воспы откупались; детишек в училище отдал – они там миршатся»... Все Писанием тычет, а о лихоимцах ведь там, небось, сказано...

За Николаем Агеевым дубленые тулупы, не торопясь, один за другим и как бы нехотя передают другие эпизоды, характерные для новых взаимоотношений в нашем глухом уголке: Нефед просил у брата пшеницы на семена – ни зерна не дал, а амбары засыпаны хлебом; Хритон Савельич продал усть-хоперским казакам по три рубля за пуд не пшеницу, а сор, и то твердил, что уважение делает. Силифан Котенеткин продавал по два, потом стал просить по два с половиной – дают; запросил по три – и то дают; теперь придержался – ждет, не дойдет ли до пяти рублей пуд, сам муку покупает...

За Николаем Агеевым дубленые тулупы, не торопясь, один за другим и как бы нехотя передают другие эпизоды, характерные для новых взаимоотношений в нашем глухом уголке: Нефед просил у брата пшеницы на семена – ни зерна не дал, а амбары засыпаны хлебом; Хритон Савельич продал усть-хоперским казакам по три рубля за пуд не пшеницу, а сор, и то твердил, что уважение делает. Силифан Котенеткин продавал по два, потом стал просить по два с половиной – дают; запросил по три – и то дают; теперь придержался – ждет, не дойдет ли до пяти рублей пуд, сам муку покупает...

И даже мой работник Ергаков, скопивший 350 рублей, поделился со мной, когда мы шли домой, своими затаенными помыслами. Имел

*) *Титор* – искаженное *ктитор* (греч. ktetor (хозяин) (церк. офиц.) – церковный староста (Ушаков).

ли он в виду консультацию или хотел намекнуть на возможность компанийских действий, я не догадался.

– Хочу по хуторам проехать, – глядя в сторону, вверх, говорил он мечтательным голосом. – Сейчас в хуторах зерна еще можно поценно набрать...

– На что тебе?

– Намелем мучицы – как на что? Оно к весне – вот поглядите – сколько покупателя у нас проявится, этого голоднищего. «Дай, пожалуйста!» Мука весной обязательно заиграет... А у меня деньги зря лежат все равно. Намелю муки – подходи видаться: рублика по четыре за пуд буду поджикивать – имеет свою приятность!

– Неловко это как будто, – говорю, – для совести-то?

– Другим в совесть, а нам неловко? Достаточно уж хребет-то гнул. От работы, сказано, не будешь богат, а будешь горбат. Люди деньги огребают, а мы гляди?..

Шла и, по-видимому, пришла к завершению своеобразная «мобилизация духа», но не та, к которой тщетно стремились люди, болевшие болью родины, горевшие ее стыдом...

Никакой неожиданности, пожалуй, и нет в той картине, которая теперь развернулась передо мной в родном углу. Время от времени я заглядывал в него, видел разные перемены – всё казалось естественным, объяснимым; было много огорчительного, но было и светлое нечто, хорошее. И все-таки то, что я услышал и увидел в последний свой приезд, поразило меня какою-то безнадежной и черствой оголенностью.

Я очень хорошо помню первые дни и месяцы войны, когда мне пришлось тут же работать над организацией помощи семьям мобилизованных, собирать на раненых, на разные нужды фронта. Не раз до глубины души я был охвачен умилением, и радостью, и верой, видя общую дружную готовность к жертве, к помощи, неожиданный порыв и подъем над буднями, над всей эгоистической и жесткой мелкотой. Даже Иван Сивохин, Харитон Быкадоров и другие сугубо хозяйственные мужички не смели показать себя теми скаредами и пауками, какими всегда были в нутре своем. Был энтузиазм, вселявший уверенность в силе, – без громких слов, без жестов, была молчаливая, с навернувшимися слезами, готовность принести себя в жертву за общее, за родину, за свое национальное лицо...

И еще долго, когда приходилось слышать, читать, быть свидетелем делецкой охоты, воровства, хватаний, продажности, видеть порядки на фронте, созерцать патриотическую деятельность предприимчивых людей из чиновных, инженерных, профессорских, журнальных кругов, – я, приезжая в родной угол, все-таки отдыхал: тут безропотно,

честно, готовно несли жертву и была вера, что так надо, что вся Россия напрягает силы ради спасения чести и достоинства русского имени...

Куда все делось? Кто угасил этот прекрасный огонь?.. Но кто-то угасил – несомненно...

III.

Думаю, что на обычный вопрос: каково деревенское настроение? – ныне пришлось бы отвечать коротко, хоть и не совсем ясно и точно: деловое. Деловое – в том особом смысле, когда дела, творчества, созидательной работы не видать, а суеты, метания, беспокойства – много. Всем стало «некогда», все озабочены, спешат за что-то уцепиться...

Глухая станица, удаленная от железной дороги, затерявшаяся в степи, в самое недавнее время была тихим, патриархальным уголком, жившим неспешною, налаженною веками, монотонною жизнью. В свою пору работали – «копались в земле», – в свою пору отдыхали, съедая продукты трудов своих. Зима была временем бесконечной игры «в свои козыри» и «в три листика», в орлянку. Через край было времени и для созерцательности, для философских умозрений, перебранок, любительских кулачных боев. Не чужды были местным интересам и политические темы – этак за сигаркой, в потребительской лавочке, например, или на бревнах, у плетня, или в гостеприимной избе – притоне картежников и читателей газет.

В волнах табачного дыма из очень подержанного газетного номера почерпалось все нужное для формирования политической, гражданской мысли: тут было и о Вильгельме, которому, конечно, доставалось на орехи, тут было и об отечественных вершителях судеб – правда, очень коротенькие кончики каких-то оборванных нитей, но и за них можно было ухватиться, судить, рядить, ощупкой находить связь между тревогами и недоумениями своего угла и того целого, что именовалось отечеством. Судили, рядили, зажигались несбыточными упованиями, впадали в уныние... Словом, был интерес к жгучим вопросам современности, не стоявшим в непосредственной близости к будням и обычной заботе глухого угла.

Конечно, интерес этот и теперь не исчез, но он как будто заслонился другими вопросами – более практического свойства.

Бывало, станичник при встрече непременно прежде всего, несколько кудревато выражаясь, спросит:

– Ну, как там насчет военных действий обстоят дела?

Коснется и внутренней политики:

– А что этого... Как бишь его?.. Штурмова*), кажись?.. – не ско-
вырнули еще?..

Сейчас же – первый вопрос несколько иного порядка:

– Не доводилось вам слышать, на гусиное сало как цены? Пуда че-
тыре собрал, думаю повезть...

Деловой зуд – «раскопать», «собрать», «скупить», «продать» – ов-
ладел вдруг людьми, которых раньше никак нельзя было представить
в подвижной роли торговцев и мелких спекулянтов. Есть у меня при-
ятель-самоучки, любители чтения. Прежде, бывало, заходили за газет-
кой или для душевного разговора – приятный такой народ, вдумчивый.
Светлый. Нынче встретился с одним таким и со второго слова слышу
вздых: хорошо бы перехватить где-нибудь на короткое время «сотняжки
две-три» да проехать по хуторам масла собрать – «на масле сейчас под-
живаются неплохо»...

– Что это все в торговлю пустились? – спрашиваю.

– Пользуются люди. Поглядишь со стороны: чего же дураком си-
деть – и я не хуже их... Действительно, что все рыскатели стали, в
коммерцию вдарились. На хуторах теперь из двора в двор идут и
идут: нет ли чего продажного? Один за одним. Всё покупают: чулки,
варежки, хлеб, сало, кожу, щетину, семечки, телят... всё, всё... Делая
ют дела...

Эта «деловая» волна уже с ноября стала докатываться до меня из
родного угла в столицу. Обыкновенно было так. Входила прислуга и
таинственным голосом сообщала:

– Опять спрашивает вас человек... В простой одежде. Кушаком
подпоясан. Из ваших мест, говорит.

– Ну, ставьте самовар.

Входил подпоясанный кушаком человек из наших мест, молился в
угол, приветствовал родным приветствием: «Здорово ли себе живете?»

– Как ты сюда попал, Захар Иваныч?

– Да вот... где сроду не был, пришлось побывать. Коммерцией
займаемся теперь...

Знаю, что Захар Иваныч по профессии печник, также мастерит и
колеса, но коммерческих талантов в нем не подозревали.

– Каким же товаром? Неужели колесами?

– Нет. Чулки, перчатки, варежки...

За чаем, дуя на блюдечко, он рассказывал о дорожных злоключе-
ниях и трудностях своего нового промысла. Эта неторопливая по-

*) *Штурмов* – по-видимому, имеется в виду *Штурмер* Борис Владимирович (1848–
1917) – российский государственный деятель. В последний предреволюционный год Пред-
седатель Совета министров (январь – ноябрь 1916), одновременно министр внутренних дел
(март – июль) и министр иностранных дел (июль – ноябрь).

весть переносила воображение в пленительный фантастический мир, с детства знакомый по лубочным повестям о Кузьме Рошине, Ваське Усе, по забытым ныне песням о славных разбойниках...

Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы...*)

Как будто воскресла ныне эта милая старинка, ее патриархальный порядок, первобытные способы товарообмена с неожиданными заставами молодецкими, «сарынь на кичку» и проч.

– Тому дай, другому дай... Весовщику, первым долгом, дали три рубля, чтобы погрузил, не задержал. Но поезд опоздал на семь часов, грузчики ушли, погрузить было некому. Зря деньги бросили. Прождали мы тут три дня... В одиннадцати местах пришлось платить, пока доехали от Себрякова до Петрограда.

– Что же, есть все-таки расчет? – спрашиваю.

– Как же! В первый раз мы с Кириллом Кривовым по 125-ти рублей чистых денег разделили. Это вот мы второй раз уж, с Гришей Кузнецовым. Пришел я к нему, говорю: «Моя голова, а твои деньги, давай соберем товару»... Сот шесть пар привезли. Если бы кто по рублю барышка дал, с маху бы отдали...

– У нас сейчас все коммерческой частью занялись. Сало, например. На месте у нас оно 11–12 рублей, а в Козлове, в Царицыне – 25. Ну, наладит наш брат в мешок пуда четыре-пять, везет. Расчет есть. Одно: кондуктора здорово грабят. – «Чей мешок?» – Мой. – «Давай пятерку». Одной бригаде пятерку, другой – трояк, третьей – тоже. Пока до места довезешь – барыши пополам разделишь... А все-таки копейку зашибить можно...

– Куда вы деньги деваете? – шучу я.

– А дороговизма-то! Не успеешь привезть – они растаяли: мука – три с полтиной пуд, а в Усть-Медведице до четырех с полтиной дошла – вот она куда запольскивает. Тем только вот и дуемся, что кое-каким товарцем перекинешься... А есть, ушли в стражники – пленных караулить на работах: 60 целковых, казенный харч и одежда... Обувка лишь своя. Сейчас у нас в станице и народу-то мало осталось – все на промыслы пустились...

– А кто же дома работать будет?

*) Строки из песни разбойников из повести в стихах «Муромские леса» (1831) Александра Вельмана:

Время! Веди ты коня мне любимого,
Крепче держи под уздцы...
Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы.

– А бог ее знает... Работа-то, она, видишь, эти годы утирала*): недород... два года пошеница пустая выходит. А oprичь хлеба, копейку сшибить на чем? У кого старый хлебец есть – ну, те нынче гребут деньгу. А наш брат, одиночка, к весне будет зубами щелкать: пирожка-то из пыли не испекешь. Вот она, какая работа наша! Говорится: «Бык работает на казака, казак – на быка, и оба они – два дурака»...

Месяц-другой спустя я увидел на месте зарождения коммерческой предприимчивости Захара Иваныча, что насчет отлива народа из станицы в поисках за рублем он не погрешил против правды, но насчет нужды, показалось мне на первый раз, – как будто сгустил краски. В самом деле: куда ни посмотришь – «все есть». Даже обилие как будто, особенно по сравнению со скудостью и трудностью добывания продуктов в Петрограде, например, или по дороге: белый хлеб, всякие мяса, начиная со свинины и кончая индейками, колбасы, ветчина. Цены, правда, «уравнялись», т.е. поднялись до уровня городских и породили даже некоторую трагедию в душах собственников драгоценных продуктов: как самому есть гуся, например, когда знаешь, что с каждым глотком провозжаешь в утробу по целому гривеннику? Душа изболит...

Но осмотревшись и прислушавшись к разговорам, толкам, словопрениям и вздохам, я почувствовал за этим внешним обилием, предлагаемым в обмен на рубль, признаки самой подлинной нужды в хлебе насущном: значительная часть населения, здесь вообще не бедного, далекого от нищеты, доедала остатки старого хлеба и к весне готовилась покупать. Многим приходилось покупать и сейчас, а в наших местах самый факт покупки хлеба землеробом уже считается (и есть) признаком острой нужды. И как только выяснилась эта нужда тут, на месте, так и цены на хлеб, лежавший тут же, поднялись до небывалого уровня, и началось обдиранье не какого-то неведомого городского потребителя, для которого скупал свиные туши прасол, а своего же брата, соседа и близкого человека.

По осени, когда готовились к поставке хлеба для казны, здесь были выяснены приблизительно запасы старого хлеба – пшеницы, главным образом: ржи в наших местах сеют мало. Новой пшеницы не было – два последние года ее «зажигало» и пшеничные загоны скашивались на корм скоту. Но старых запасов – урожаев 1913 и 1914 годов – было настолько достаточно, что старые цены, выработанные при гр. Бобринском – для Донской области 1 р. 90 коп. за пуд, – в сентябре казались здесь очень не обидными.

Казенные закупки сюда не дошли – далеко от железной дороги, – а твердые цены, принимавшиеся уже за норму в частных мелких сделках,

*) Имеется в виду пустая работа (ср.: утереть кому-л. нос, т. е. оставить ни с чем).

распоряжением г. Риттиха были изъяты из обращения*). Прорвались откуда-то частные скупщики «по вольным ценам», набавили гривенничек, потом – другой. Появились покупатели из казаков соседних станиц – мелкие, но немалочисленные. И пшеница «заиграла» в цене. Когда вдова Капитолина перед праздниками пришла к Ивану Сивохиному, старообрядческому ктитору и ревнителю старого предания, за мукой, он «спорол» с нее уже 4 руб. за пуд – цену, никогда в наших местах не слышанную и ничем не оправдываемую.

Вдов и ослабевших хозяев с пустыми закромами оказалось немало, Сивохиных – поменьше, и хождение к ним поневоле неизбежно усиливается, а весной еще гуще будет. Ропшут. Негодуют. Более наивные говорят иной раз о Боге, о Писании, о совести и законе. Всем очевидно, что теперь, в полосу единственно зоологического, звериного закона, голого и разнузданного, эти разговоры ни к чему, но как утерпишь?

Попробовал и я, человек не совсем посторонний все-таки родному углу и его волнениям, как-то завести разговор с Сивохиным. «Хозяева» – краткий термин этот присвоится у нас крепким, с запасцем и избытком живущим казакам, в отличие от «не-хозяев», слабых, трудно перебивающихся однокольцев – казаков, сидящих на одном земельном пае, – «хозяева» никогда не казались мне, за очень малыми исключениями, кулаками, пауками и живодерами. Конечно – это порода не из мягких, кремень, жила, но, думалось: если копнуть хорошенько, то могут оказаться и кое-какие элементы совести.

– Как же это, Иван Михайлыч, как будто это не очень законно – по четыре рубля за пуд?

Был этот разговор на перекрестке станичных улиц, в тихий вечерний час. Стояли мы в кругу, человек десяток, обсуждали вопросы войны и внутреннего положения, дошли и до своих домашних нарывов и болей. Пока шла беседа о далеком – и «хозяева», и «однокольцы» не разноголосили, все одинаково скорбели и качали головами.

Сивохин взглянул на меня ясным, ласковым взглядом и мягким голосом ответил:

– Чегось-то? Это касаето муки? Да ведь это, Ф. Д., дело добровольное. Я не вынуждал никого: хочешь – бери, не хочешь – как хочешь. Дело полюбовное...

– Да ведь она – удова! – с упреком воскликнул Николай Агеев, имея в виду Капитолину. – Ты понимай сорт людей! Нашел с кого взять...

Сивохин и тут не смутился и, тыча в снег клюшкой, возразил не без язвительности:

*) *Риттих* (Александр Александрович) – министр земледелия в правительстве России накануне февральского переворота.

– Удова? А ты погляди, как сноха у ней ходит! Калоши... плюшки-рюшки, веечки-подбеечки... Небось, на наряды хватает?

– Ну, и ты не по закону взял, как хошь! – сердито сказал Агеев. – Почему это, Ф. Д., начальство не всматривается? Сахар вот правильно положили: понемногу, а всем есть, и вот какая цена... А то вот ему мука почем обошлась? От силы два, ну, может, два с четвертаком... А он гладит четыре... Это не лихоимство? Сроду страма такого не было! А ведь титор он у нас, по праздникам в церкви слушает, как о лихоимце читают... Ты знаешь, – сурово обернулся он опять к Сивоихину, – как у св. Антиоха сказано в слове? «Мздоимец, резоимец^{*)}, и сребролюбец, и грабитель – одна колесница есть четверичная, и кучер у ней сам сатана!»

Стояли в кругу «хозяева» и «не-хозяева». Я смотрел украдкой на хозяев. Сивоихин, опираясь на клюшку, слушал терпеливо, умно, не обижаясь. У Филиппа Мишаткина были застланы иронической пеленой маленькие глазки. Василий Прокопов внимательно глядел на валенки горячившегося оратора. Сосед мой, Мосеевич, с широкой, падавшей на тулуп клоками белой пены бородой побряхтывал недовольным, хворым голосом, готовясь возражать.

– Миродеры – сказано правильно! – закончил Николай Агеев свою сердитую речь.

– Он не спал, работал – вот он и с хлебом! – хворым, но ехидным голосом возражал Мосеевич. – А эти, кто на калоши да на оборки по-выгреб из закровов, – им и давай? Нет, сей конопи да тки! Да в поршнях ходи, вот!..

Он показал на свои огромные, неуклюжие ноги в каких-то дреднотах. Ему поддакнул Филипп Мишаткин.

– Какие там калоши? У меня их сроду не было! – кричит Николай. – А вот дошло: или голодный сиди, или грабитель иди... Оно и до вас дойдет, погодите: вот еще годок не зародится, и вас за ребро возьмет... Тогда другое запоете... А будете грабить – и на вас найдутся молодцы.

Тихими вечерними сумерками долго и не очень мирно тянулся этот взаимный спор людей, еще вчера, вероятно, близких друг другу, согласно понимавших «закон», совесть, обычную меру вещей. Теперь же они словно внезапно утратили какой-то путеводный фонарь и стукнулись лбами. Взаимно насторожившись, накаплиют озлобление и таят какую-то темную, еще не выраженную вслух мысль.

^{*)} *Резоимец* – стяжатель, ростовщик (Даль).

IV.

Степная слобода. Значительный хлебный и скотопригонный пункт. До войны она оживлялась лишь осенью, в сезон хлебных ссыпок, в прочие же времена года жила жизнью тихой и неспешной, пощелкивая подсолнушки, резалась в карты, играла на гармошке, по праздникам ходила на станцию и в кинематограф. Теперь тут, как в ином городском центре, – суета круглый год, толкотня: собирают в житницы, складывают в склады, грузят, отправляют. Порой жгут собранное и, как водится, греют руки... Войсковые части, большая бойня, копильный завод, мельницы, учреждения уполномоченных по разным отделам заготовок, беженские организации... Местный исконный обыватель, хохол-землероб, сменил свитку и штаны с мотней на костюм делового человека российско-американской складки и рядом с наезжими дельцами и рвачами «делает дела»...

– Деньги у нас тут сейчас рекой льются, – говорит мой приятель Архипыч, смиренный, патриархальный мужичок, печник по профессии.

В горенке у него жарко натоплено, уютно. Сидит он босиком и, почесывая одну ногу другой, повествует эпически спокойным, почти довольным тоном, что для него жизнь подошла тугая: все три сына ушли на войну, самого «старость прибила, силами обнищала»... Но многим живется нынче как в сказке.

– Наживаются нынче все... Можно сказать даже, удивительно наживаются. Брехов, купец есть у нас, – может, слышал?

– Не приходилось.

– Совсем прогорал! Сейчас агромаднейшие деньги зарабатывает... живет, как министр: к чаю у него и пастилы, и конфетов – чего душа просит! – Архипыч восторженно растопырил ладонь. – Сын у него, видишь, заведует там где-то клубом. Ну вот, он ему туда окорока поставляет. Тут они у нас были по 18 руб. пуд, а там по восемьдесят... Расчетец, само собой, есть...

– А провоз?

– Провоз, понятное дело, – беспрепятственный, все документы, накладная – в руках, это там уж сынина забота. Вот оно и сыну выгода, и ему, и клубу. И товар настоящий, добросовестный, не то что заваль какая... Сказать словом, никто не в убытке, не в обиде...

Архипыч рассмеялся ясным смехом: чудно, мол, понять мудрено, а не плохо.

– Ну вот... ответит партию окороков, там наберет кондитерского товару – он же укладистый, – сюда везет, тоже с барышком сдает. Все это, как говорится, имеет свою приятность...

В слободе – я заглянул в нее мимоездом, мельком, – деловой размах несравненно шире, чем в глухой станице, удаленной на полсотни верст от железной дороги. Делец здесь более шлифованный, смысленный, тертый. Само собой разумеется, что если в глухом деревенском углу разговоры о совести, о стыде кажутся ныне наивностью, то здесь о них и мысли нет, хотя местный делец иногда не чужд бывает патристической словесности. Но на первом плане – трезвый, деловитый глазомер: есть расчет? – и затем натиск и быстрота действий.

Даже в организациях общественного характера, работающих здесь, пришлось мельком мне услышать некоторое сетование на избыток делецкой энергии, прорывающейся порой среди налаженной работы – деловой, добросовестной, исключаяющей всякую мысль о растаскиванье отечества по клочкам.

– У нас вот Семен Семеныч... – говорил мне элегическим тоном один из местных кооператоров, – человек-деятель, нечего сказать... И с положением – чиновник, смотритель склада. Когда говорит, в грудь себя бьет: «Я, мол, кооператор, с головы до пяток». А вот атмосфера, что ль, такая, что ангельскую непорочность не соблюдешь, – но напустил он нам тут аромату... Занялись мы поставкой сена – дело чистое, верное. Семен Семеныч во главе орудовал – любо глядеть. В итоге же барыши в свой карман, а убытки на счет потребиловки отнес... Протестовали мы, конечно, а осадок все-таки остался... Проявился тут некоторый Фивейский или Фаворский – черт его знает... Из красных был, говорят, а ныне примазался там где-то и, конечно, всякие нужные бумажки-наряды всегда в руках. Вот и начал сеном спекулировать. Приехал: «Можете мне поставить самого лучшего сена по какой угодно цене?» – Да цена у нас 63 коп. пуд. – «Самого лучшего! За ценой не стою!» – Да ей-Богу, не знаем, сколько назначить. – «Ну, по рупь двадцать?» – Хорошо.

– Поставили пять тысяч пудов, а он его в Москве на бега продал по пяти с полтиной. Семен Семеныч даже сна лишился... Поставили второй раз, но тут не выгорело: всю партию на месте реквизируют. Влопались в убыток. Семен Семеныч его на счет потребиловки и записал... Взяли было его в шоры, но он третьим разом дело поправил, умнее поступил: до Коломны довез, а там – гужом...

Если правду говорить, местный делец и рвач младенчески мелок и невинен по сравнению с настоящими шакалами, которые гнездятся выше, ближе к сердцу и голове любезного отечества. И характернее, может быть, для слободы в переживаемый момент не он, старый, знакомый гнойник на истерзанном теле матушки-Руси, а те тихие, скромные, всегда умеренные, законопослушные слободские уголки,

которые стоят в стороне от потока мародерства и денежной лавины. В них живет сейчас подлинная боль тревоги, горечь обиды, стыда и негодования за отечество. И питаются эти чувства не только тем, что ежедневно приносит газетный лист и весть, идущая заячьими тропами всяких слухов, но тем ежедневным зрелищем путаницы, бессмыслицы, преступно-расточительных экспериментов, которое происходит на их глазах тут, в степном углу, отражая в малом осколке разбитого стекла безобразии, насыщающее всю атмосферу взбудораженной страны.

Душа болит, болит нестерпимо и у простых, заскорузлых людей, с трудом нащупывающих связь своего угла со всем огромным целым, называемым отечеством, и у людей, которым обобщения и выводы даются сравнительно легко. Большинство из них вчера еще были настроены доверчиво и благонамеренно, никакой склонности к критике, к обличениям не обнаруживали. Ныне же они стоят на той ступени оторопелости и удручения, которая граничит с немотой отчаяния.

– Завязал бы глаза да скрылся бы куда-нибудь... Но куда? Весь корень тут, в родимой земле...

– Что это такое, скажите ради Бога? Прوماхи? Ошибки? В башке не хватает? Или нарочно? Да и нарочно не сразу так выдумашь – «шиворот-навыворот»...

Торопливо разворачивается передо мной, проезжим человеком, мимолетным и случайным посетителем, моток жизненных нитей степного уголка с бесконечной цепью узлов, петель, лабиринтов, в запутанной сети которых оторопелый обыватель потерял все концы, всякое понимание, хлопает горестно себя по бедрам и отдается с упоением бессильным, бесплодным, терзающим излияниям. Всегда премудро умеренный, осторожный, смиренно обходившийся без «свобод», без «гарантий», – теперь, в водовороте переживаемых событий, непосредственными личными потерями, болями и обидами он приведен к горестному сознанию, как он обидно бессилён, забит, затаскан и лишен возможности поднять голос...

Бессильные жалобы, насытившие атмосферу слободской жизни, сопровождали меня и в дороге, в санях, под разноголосое пение «поземки» с утра и до позднего ночлега. Крутилась, шипела, посвистывала певучая белая мусть, ползал тонкими струйками холод за плечами, в дремотном сознании кружились «бесы», воспетые великим поэтом, и грузными смоляными каплями падал в шипящий холод грустный бас моего спутника, военного чиновника, местного старого служаки:

– Живешь сейчас, как на торчке на каком сидишь. Все ждешь: вот, мол, проснусь – и нет этого наваждения, не может же без конца оно тянуться...

Он смолкает. Ждет ли ответа или мысленным взором переносится в далекие сферы, которым послал свой вопрос? Вьюга свистит, пылит, шипит. В ее захлебывающихся, издевательских голосах ритмически звенит как будто:

Посмотри, вон-вон играет
Дует, плюет на меня...*)

Опубликовано в газете «Русские ведомости»:

- I. 1917. №26. 1 фев. С. 2.
- II. 1917. №33. 10 фев. С. 5.
- III. 1917. №38. 16 фев. С. 2–3.
- IV. 1917. №43. 22 фев. С. 6.

*) Из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы» (1830).

МЕЛЬКОМ

Современные тыловые впечатления

Оттого ли, что неизбежная необходимость и нужда сбила нынче массу людскую с мест, или нудно стало сидеть по своим углам, перспектива ли барышей и больших заработков, тоска ли и жажда взглянуть на родное гнездо гонит в путь-дорогу, – но кажется, что путешествует теперь вся страна. Старики и дети, мужчины, женщины, «рабочие руки» и инвалиды, военные и штатские, заплатанные сермяги и дорогие шубы – все пестрым потоком несется в разные стороны по рельсовым путям. Каждая станция запружена народом. Словно из прорвавшегося мешка неудержимо хлынувший картофель, высыпает к поезду толпа из прокуренного, заплеванного, загаженного вокзала, бросается к вагонам, сбивая стоящих и встречных, стучит сапогами, кричит, вопит, плачет, ругается.... На больших станциях она в две-три минуты закупоривает двери всех вагонов, лезет на буфера, тычет куда попало корзинки и мешки, забивает площадки и проходы между вагонами. И долго стоит плотной, непроницаемой пробкой против всех входов и выходов, тесно сгрудившись, напирая, не желая расстаться с надеждой, что как-нибудь втиснуться будет можно...

И это не в одном демократическом третьем классе, – это во всех вагонах, не исключая «международных» спальных, где за место на чемодане или коробке в коридоре проводник со страдающим видом, горестно крикая, как бы подымля бремя сверх сильной тяготы, взыскивает дополнительную плату за «плацкарту», неизменно при этом забывая выдать таковую плацкарту или хоть какую-либо квитанцию.

Но в той же мере, как вместимость вагона, беспредельна готовность к претерпению и приспособляемость русского путешественника. Непостижимым образом сверхсметные пассажиры размещаются в

коридоре – с некоторым даже соблюдением рангов: те, что посерее, – бабы с котомками, мужики с мешками, солдаты-денщики – у наружных дверей, на площадках, около уборных; публика почище – офицеры, дамы с детьми, штатские люди очень делового вида – внутри. Постепенно потом устанавливается общение со счастливыми обладателями мест в купе: сперва проникают туда дети, за ними дама, и хотя самовольные собственники спальных мест вытесняются потом пришельцами в коридор, но коридор становится как будто повместительнее, из чемоданов воздвигаются троны и седалища, устанавливается мирное общение, налаживаются подходящие способы необходимого транспорта и взаимной передачи известий, требований и проч.

– Севрюгов! – кричит невидимый голос. И тотчас клич подхватывают добровольные голоса и перебрасывают его к обоим концам, забитым плебейской частью пассажиров:

– Севрюгов! Севрюгов!

– Я-о! – отзывается звонкий голос от дверей уборной.

– Папирос набей!

– Папирос! папирос! – передают посредствующие голоса.

– Слушь, вашскобродь! – кричит Севрюгов чрезвычайно звонко, – только, вашскобродь, дозволейте доложить – табаку намале остается, вашскобродь!

Через минутку опять раздается и перебегает по головам, – «Севрюгов!» И вслед затем короткая инструкция:

– Достань табаку в чемодане корнета Малик-Гурджиева! Понял?

– Так точно, вашскобродь! Так что смешать табак вашскобродья с табаком его благородия? Слушш!..

– Я, брат, кулинару его величества, – хвастливо прибавляет голос Севрюгова, обращенный, по-видимому, к кому-то из соседей, – меня так и в эскадроне зовут – «Змей Гарныч»...

Вагон перенасыщен табачным дымом. В дыму сыплются, шуршат, шелестят, бубнят и звенят пестрые голоса. Жужжа, кружатся над ухом, как рой мух, и в этом рое причудливо мешаются деловые, коммерческие соображения вслух с легкомысленными анекдотами, желчное политическое суждение с горькой жалобой на порядок, цены на масло с толчками о Шалыпине...

– У меня три завода в Борисоглебске, масла – лить некуда. Продам бы по шестнадцати за пуд. Но уполномоченный запретил вывозить и баста! Кругом вот стонут: нет масла. У нас в Борисоглебске хоть залейся... А кто посообразительнее, – удастся провезть... Ну, конечно, греют руки...

– Как водится... Это надо уметь!

– То-то вот... Нет уж, хочу другое попробовать... Как ваше мнение, мистер Робертс, насчет лесного дела?

– От-шень хорошо!

– Хорошее?

– Можно заработать. Теперь материал от-шень дорог!

– Хочу попробовать... Есть подходящая покупочка...

Деловые соображения тонут в жужжании голосов, в стуке колес. Где-то выпрыгивает вверх бараний тенор:

– Павел Иванович? Павел Иванович – спекулянт. Денег у него нет, я знаю. За это время он заработал тыщенок тридцать, а больше у него нет...

В духоте, в табачном дыму шуршат, шелестят мутные отзвуки русской жизни, взбудораженной, запутанной и сбитой с толку. За окном мертво белеет снежная равнина, пробегает полоска накатанной дороги с навозцем и воронами, рысит картинно-понурая лошадка в розвальнях и в них два мальчугана. Вот она со своими маленькими пассажирами выросла на горизонте и нырнула в белую бездну, объятую немим окончением. Белое небо, белая земля, далекая белая роща в инее и – никаких признаков жизни...

В конце третьего дня путешествия покидаю вагон на степной станции, своей, если не родной, то близкой сердцу, прикрепленной к нему целым мотком нитей пережитого, пережитого, частью полузабытого. И погружаюсь в снежный степной простор, немой и белый, издали, из окон вагона, казавшийся лишенным признаков жизни. Весело скрипят полозья саней, сбиваются с рыси на карьер прозябшие Мустанг и Бурька, зычно крикает на козлах Петрович, а друг Антипыч, кирпичник, обычно выезжающий на станцию встречать меня, чтобы сразу узнать «с пылу горячие» новости, задает свой обычный вопрос:

– Ну, как там у вас?

Он давно уже томится чаяниями, одинаково близкими и мне, и ныне, пожалуй, всей слободе Михайловке, в которую мы выезжаем, и станции Глазуновской, куда я поеду уже утречком. Отчетливо формулировать эти чаяния он затруднился бы. Но знает, что я понимаю его вопрос и в этой расплывчатой, неопределенной форме:

– Ну, как там у вас?

Его надежды зиждутся на смутном ожидании, что и как сделано будет там, в центрах политической, общественной, умственной жизни, откуда долетают приглушенные отголоски событий, движений, речей и сюда, в степной угол.

И каждый раз при этом неизменном вопросе я чувствую грусть и растерянность... Сколько уже лет мы с Антипычем томимся смутными ожиданиями. И оттого, что мы только спрашиваем друг друга, – «ну, как там у вас?» – «а как у вас тут?» – и с туманными упованиями взираем – он в мою сторону, я – в его, – жизнь почти не подвинулась по пути осуществления этих ожиданий, ни разу не пришлось ни мне, ни ему порадовать друг друга чем-нибудь определенным и надежным.

И на этот раз я сообщаю лишь кое-какие сенсационные новости, которые порождают лишь недоумение у обоих моих слушателей, – и затем перехожу сам к вопросам. Ответ – по началу – в общих знакомых очертаниях...

– Живем поколь... за нуждой в люди не ходим, своей дома много...

У Антипыча три сына на войне, у Петровича – один, а другой – Ванька, – которого он в прошлом году «до дела довел», то есть женил, хотя ему только что сравнялось восемнадцать лет, пока еще не был призван. И потому я очень удивился, когда Петрович, докладывая о новых фактах нашей деревенской современности, неожиданно сообщил:

– Ушел ведь у меня Ванька-то.

– Как ушел? отделился, что-ль?

– Ушел, черт косою... на службу... в стражники...

– Да какой же он стражник? куда годится?

– Берут. Сейчас всех берут... Левон Цыцарь ушел. Степа Ушан – тоже. Принимают. Шестьдесят в месяц, одежда казенная, харчи казенные, сапоги лишь свои. Народу ушло – страсть... Все отставные, неслужа-лые, слепцы, старцы – все поушли. Сейчас казаков в станице мало и осталось... Ушли деньги наживать. Левка Цыцарь бросил семью – шесть человек детей, – голодом сидят! Ушел и – ни слуху, ни духу... Попродал тут кое-что, взял пятьдесят целковых из дома, обещал жене к Рождеству воз денег прислать и – сгинул...

Развертывая постепенно картину степной жизни за последние три месяца, как я расстался с ней, Петрович особенно подчеркивает эту эпидемию наживы, охватившую моих станичников.

– Богатеть нынче все бросились. Купцов, купцов этих у нас пооказалось, – как грязи! Все заторговали... Кто с роду копейки не имел за душой, – глядишь: ходит, скупает, перепродает, шуршит, брат мой, деньгами! Из двора во двор идут, – «чего есть продажное – выноси!» Все берут: сало, щетину, чулки, варежки, масло, семя... все, все... Теперь и товар, какой ни возьми, любезное дело: мешок товару, – мешок денег за него выручишь. Сало взять: больше, как мешок, его не провезешь – отберут. Вот мешками и возят. Накладет себе мешочек и – на машину! В Царицын или в Козлов, а иной молодец поотважней так и до Москвы, до Питера доберется...

- С одним мешком?
- С одним мешком... Больше не провезешь...
- Какой же расчет? Времени сколько проведет...
- Время? Дома налегаться, а тут, пока вакан, зашибет копейку...

Помилюйте: у нас перед Рождеством свинина была не дороже двенадцати целковых за пуд, а в Царицыне сало по двадцать пять и по тридцать целковых... Вот пудов пяток в мешке довезет – воз денег, да и мясо в барышах опять остается... Имеет свою приятность... Наши раза два хорошо поднажились, а в третий повезли, – у них на вокзале отобрали, по казенной оценке заплатили... Ну, тут убытку зачерпнули. Павел Хорь и сейчас одного жандарина*) костерит: «на Вильгельма, – говорит, – похож, такой-разэтакий... взял пятерку, а сам же и выдал»...

– Мало дали, – смиренномудро заметил Антипыч.

– Ну, мало! Пока довезут, – то кондукторам, то жандарам, а то просто какой-нибудь жулик привяжется: «сейчас мол донесу, – давай трояк!» Словом, всяк сучок норовит оторвать клочок... А кондуктора, – так они с маху видят, что за купец: сейчас под лавку. – «А-а, мешок! чей?» – Да мой, г. кондуктор. – «Это почему такое? Сейчас выкинем! Сало? Давай пятерку»... Круть-верть, ничего не напишешь: надо платить...

В знакомой жарко натопленной, уютной горенке Антипыча, с коричневым генералом Стесселем**) и недвижными часами на стене, я дослушиваю за стаканом чая неторопливое повествование о внезапном гражданском воодушевлении своих станичников, выразившемся в массовом устремлении их в стражники, и о нынешнем свободном товарообмене. Какие-то забытые чувства и переживания оживают в душе, что-то из далекого детства, когда зачитывался лубочными сказаниями о брынских и муромских лесах, об их легендарных героях, купцах касимовских, таинственных монахах и проч... Чудесное было время! И так приятно в теплой горенке с низкими потолками, с валенками у печки и тулупами на сундуке, вновь окунуться в обаятельный туман героического уклада, выплывший из тьмы веков и густо окутавший сегодня русскую действительность...

Говорим о продовольствии. Хлеб по осени был в умеренных казенных ценах, а теперь «заиграл». С осени пшеницу можно было купить по 1 руб. 90 коп. за пуд.

– Силиван Котеняткин приходил, навязывал мне, – говорит Петрович, – «возьми, пожалуйста», – прошел слушок, что отбирать будут в казну, у кого много. Вот наши богачи и сторопились. Не взял я, дурак,

*) *Жандарин, жандары* – искажение от «жандарм, жандармы».

**) Стессель А. М. (1848–1915) – генерал-лейтенант, участник подавления Икстуаньского восстания (1900), комендант крепости Порт-Артур во время Русско-Японской войны, подписавший капитуляцию в декабре 1904 г. Был отдан за это под суд.

а теперь локотки кусаю: как отменили казенную цену, – хлеб и заиграл. Сперва по два с четвертью за пуд, потом по два с полтиной, а теперь уж до трех дошла пшеница-то. Да и то поддерживаться стали: Силиван сам муку покупает теперь, а пшеница, мол, к весне до пяти дойдет...

– И дойдет! – с горестной убежденностью говорит Антипыч и скребет затылок: ему не продавать, а покупать.

– Дойдет, – без колебаний соглашается и Петрович, – у нас этого народа, который голодающий, окажется к весне, как саранчи. Сейчас пока на аржаном сидят, а ржи у нас сколько? – самой пустяк... К весне подберут!.. – почти довольным голосом восклицает он, и в голосе его слышится нота непонятного мне злорадства, какого-то упоения горькой перспективой, неминуемой и для него самого.

– За мучицу и сейчас по четыре рублика лишь поджикивают. «Подходи видаться»... Богачи наши, как с цепи сорвались. Да им что же? вакан... теперь-то и растелешит нашего брата...

– Значит, не все нынче разбогатеют?

– Иде уж там! Вот весна подойдет, в землю бросить нечего у половины хозяев... А поди-ка укупи ее, пошеничку-то...

Беседа принимает не очень веселый оборот, а в тепле, после морозца, после всех дорожных мытарств, недоеданий и угара, чувствуется избыток благодушия и потребность в менее мрачных темах, – мы переходим к менее для нас огорчительным подробностям момента: к успешному развитию кустарного винокурения, к бабьим междоусобиям по причине недостатка мужского элемента, к иеремиадам духовенства на скудость даяний*).

– Нынче всему цену узнали. О. Иван в церкви проповедь говорил: всем, мол, набавка вышла, накиньте и нам. А старики вышли из церкви, говорят, – и так жирно. – «Да чего, – говорит, – жирно? Прежде, бывало, придешь с молитвой – выносят гуська, стегнушко баранинки, сальца, а теперь, – вилок капустки и – все. А ведь я, мол, не заяц, я вам – отец духовный, а вы – чада»... – нет, батя, отошло время: ноне она, гусятина, шесть гривен фунт... как бы живот у тебя с ней не заболел...

Зашел к добрым знакомым, к которым неизменно заглядываю при проезде через слободу. Здесь услышал прежде всего вопрос приблизительно того же порядка, который интересовал и Антипыча:

* *Иеремиада* – горькая жалоба, сетование, скорбная, жалобная песнь (от имени библейского пророка Иереми, оплакивавшего падение Иерусалима). Здесь употребляется в ироническом смысле.

– Ну, как у вас там? что надумали? как Милюков*)?..

Шутливо отвечаю, что там больше всего интересуются тем, как тут, у них, каковы настроения и мысли. Мой собеседник слабо отмахивается унылым жестом:

– Да у нас что!

– Как что? а продовольственный вопрос?

– Всё есть. Но цены!..

Из дальнейшего разговора однако выясняется, что не всё есть. Слобода – центр хлебной ссыпки в округе, мучной центр по грязе-царицынской линии: две мельницы едва ли не самые большие в юго-восточном районе. Но мельницы стоят, мука в слободе выдается по карточкам.

– Это в Михайловке-то? – восклицаю я в изумлении.

– Вот подите-же! На муку твердые цены, а на зерно их отменили. Есть тут некий Деев. Какими-то путями получил разрешение купить пятьдесят тысяч пудов по вольной цене, – ему везут, потому что двугривенный сверх твердой цены накинул. А на мельницу кто же повезет, раз тут же, рядом, на двугривенный дорожке? И когда Деев закончит свои пятьдесят тысяч, как его учесть? и кто будет учитывать?

– А раньше везли?

– Осенью был привоз. А тут вдруг как отрезало: казаки сами бросились покупать муку, – возами брали! – а зерно придержали в расчете на будущее повышение...

– А, может быть, и зерна-то нет? – высказал я предположение. Недород двух последних лет на пшеницу, несомненно, должен был отразиться на оскудении зерновых запасов.

– Зерна нет? – воскликнул мой собеседник, – да тут у нас хутор Попов, да еще хутора два, если прибавить к нему, – у них зерна на всю область хватит! Лет за десять запасы лежат.

Мне показалось, что это представление о запасах трех хуторов погрешает некоторым преувеличением. Но вспоминая те впечатления, которые остались у меня от начала осени, я даюсь диву: ведь тогда мне самому предлагали сколько угодно пшеницы по 1 руб. 90 коп. за пуд. И я был уверен, что, несмотря на недород, до нового урожая доживут без затруднений. А теперь, похоже, что уже к весне часть населения будет бедствовать, а другая использует это бедствие в условиях нынешней денежной разнузданности и шаткости цен самым безжалостным образом...

*) Милюков П. Н. (1859–1943) – российский политический деятель, историк, лидер партии кадетов. В 1917 г. министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. После революции в эмиграции.

Здесь мест хлебная разверстка не коснулась, – местные закупочные организации взялись поставить требуемое с области количество хлеба без принудительной раскладки. Тем неожиданнее казались теперь хлебные затруднения в этих степных черноземных недрах, где всегда были в наличии старые запасы, годов за десять и больше, где до последнего времени уцелели еще уголки с патриархальным укладом, с привычкой обходиться по возможности без расходов на покупку, со старинной прижимистостью и с полными, по старине, амбарами.

– Выворачиваться как-нибудь будут, – говорил мой собеседник, – но именно как-нибудь... Не то чтобы подумать над этим делом, план выработать, организовать что-нибудь или хоть выяснить, по крайней мере... Нет! Ничего этого не будет: некому заняться... Начальство завалено бумагами, у окружного атамана одних военных забот выше головы, а общественные учреждения какие у нас? станичные и волостные правления... что с них спросить? В других губерниях хоть земство работает, у нас – один Микола, угодник Божий...

Как обычно, беседа наша несколько беспорядочно перебегает с предмета на предмет, от волнующих вопросов момента уклоняется в сторону личных частных, опять возвращается к общественным темам, к бытовым настроениям, к упадку патриотического воодушевления и проч.

– Меркантилен нынче стал обыватель, норовит хоть шерсти клок да сорвать с отечества. Прежде, например, это редко было, а теперь каждый день: является в наш комитет – по распределению пособий – какой-нибудь этакий родитель, – и не то чтобы в свитке, а в добротном пиджаке, – и начинает нас поливать... И такие, и сякие! почему такому-то даете пособие, а мне нет? «Даем, совершенно верно, потому что он не в состоянии заработать, а вы в силах и нужды никакой не имеете». – «А что-ж, мой сын не так что-ль служит?» Ну, что тут с ним поделаете! Внушать, что это не патриотично?..

Мой собеседник желчно рассмеялся.

– А было время, – продолжал он упрекающим тоном – когда этот самый обыватель, при сборах на нужды войны, снимал с себя часы и клал на блюдо, приносил праздничную шубу и говорил: «Нате, жертвую!» Нес золото в обмен на кредитки, вез хлеб, записывался в добровольцы... Куда все делось! И почему?

Собеседник мой был человек пожилой, умеренных, трезвых взглядов, не склонный к оппозиционным увлечениям, хороший культурный местный работник. Теперь в тоне его чувствовалось возмущение человека обманутого, до конца обобранного в своих чаяниях и надеждах, горько обиженного за свое добросовестное доверие.

– Для нашего старого обывателя – так же, как и для нас с вами, – не могли пройти без результата не только Мясоедов, Сухомлинов*), но и разные другие одномастные им монополисты патриотической славенности. Не прошли... Он слышит и видит. И сейчас у него перед глазами денежный поток, в котором плавают не только рвань – мародершишки и торгаши, – но и шакалы с хорошими фамилиями, с служебным положением... Мы вот тут поставляем кооперативам сено, так – знаете – являются к нам с готовыми нарядами гуси из потомков даже тех, что Рим спасли... Этаким некто, например, состоящий при московском градоначальнике. Закажет тысяч пять-десять пудов, все наряды – готовы никаких затруднений. Мы поставляем ему по 1 руб. 20 коп. за пуд, а он сдает на бега по пяти с полтиной... А обыватель видит все это, конечно. Видит, как греют руки, наживаются тучи ловкачей – тут же, рядом с ним. Какой уж тут разговор о патриотическом воодушевлении!..

– А эти необозримые ряды уклонившихся! Ведь вот тут, у нас, сколько их попристроилось да на каких окладах! И хоть бы что-нибудь понимали в деле, к которому примазались, а то и того нет. А оклады!.. Конечно, обывателю, у которого сын лежит в окопах, прискорбно... Иной раз ткнет в глаза: «Вот, мол, вы – господа – какие»... И, признаться, сказать в оправдание нечего, приходится моргать...

– Но великолепнее всего та неведомая нам, таинственная, далекая власть предержажая, которая предписывает, указывает и взимает тут с нас, во имя обороны, то, что действительно нужно армии... «На-те!..» С радостью отдавали лошадей, скот, хлеб. Но как этим пользовались!

Он с волнением рассказывает о том, как тут, на глазах обывателя, гибли миллионы от небрежности, нерадения, непредусмотрительности, миллионы, взятые у обывателя на дело защиты, но брошенные вместо того в бездонную пропасть преступной, легкомысленной расчётливости и безответственной тупоголовости...

– Ведь на наших же глазах! наше собственное!.. Сердце кровью обливается!.. А мы не можем и «караул» крикнуть: сейчас оглушат... На одно надеемся: как у вас там? не добьются ли чего? Ждем...

На это я могу ответить лишь сокрушенным вздохом. Вдыхает и мой собеседник...

*) Мясоедов С. Н. (1865—1915) – полковник, начальник жандармского отделения на пограничной станции Вержболово, ложно обвинялся в шпионаже в пользу Германии, в 1915 г. по сфабрикованному делу был обвинен в измене и повешен по приговору военного суда. «Дело Мясоедова» использовалось оппозицией в политических целях для компрометации военного министра Сухомлинова и дискредитации верховной власти.

Сухомлинов (1848–1926) – генерал от инфантерии, военный министр (1909–1915). Был обвинен в провале подготовки России к войне, кампания обвинения Сухомлинова использовалась для дискредитации правительства в политической борьбе за власть. В 1917 г. приговорен к пожизненному заключению. В 1918 г. освобожден по старости; эмигрировал.

В каждом новом месте встречал меня тот же вопрос, – «ну, как у вас там?»

Я уже устал отвечать на это вопросом: «а как тут у вас?» – ибо без пояснений видел все новые тупики, муть ненастной ночи, бесконечную сеть запутанных узлов и растерянное ожидание, что где-то кто-то должен придумать, как привести в порядок надвинувшийся хаос.

Но обывательская психология, не зная на все трещины и грозные признаки близкого обвала, все еще пребывала в девственном состоянии пассивной скорби – правда, с густым гражданским оттенком. Все чувствуют, несомненно, надвигающуюся катастрофу. Видят ежедневно возрастающую запутанность, явное бессилие, расхлябанность того государственного аппарата, который раньше держал общественную жизнь в станке исконного уклада, опекал ее столь заботливо, что «думать» сообщал о чем-нибудь, «беспокоиться» никому и в голову не приходило. И, разумеется, не было навыка. И вот подошло время, когда зажмурить глаза, заткнуть уши, не думать, не беспокоиться – нет возможности. Самый серый, заскорузлый обыватель уже ошупью дошел до ответственного сознания связи своего угла с тем далеким, отвлеченным и туманным целым, что именуется отечеством. Прозрев, увидел развал, почувствовал скорбь, негодование, страх за грядущую судьбу. Оторопел, подавленный и бессильный. И стоит растерянно, как брошенная равнодушным хозяином дворняга на оторвавшейся льдине, гонимой по волнам завывающей бурей...

Что-то надо самим делать, – всем это ясно. Но как? с чего начать? за что ухватиться? куда кинуться? – никто не знает. В моменты безвыходности власть, застрявши в трясине, иногда бросает вожжи и приказывает обывателю выручать рыдван, – «на-те, выбирайтесь сами!» Казалось бы, тут-то и показать творческую мысль, плодотворную силу общественного напряжения, но... отсутствие ли навыка, ограниченность ли кругозора, или разрозненность, первобытность, или глубина трясины, – опыт общественных усилий выходит здесь жалким и конфузным.

Летом в здешних местах действовали обывательские комитеты по борьбе с дороговизной. Сфера действий их была узко ограничена: таксировать цены на продукты местного производства. И так как в комитеты вошли лишь потребители, то вопрос о таксах был обывательски упрощен: постановили вернуться к старым ценам, существовавшим до войны, устранив всякие мудреные соображения о потере цены рубля, о несоответствии цен на товары, приобретаемые в лавках, на рабочие руки и проч. Таксу наклеили на заборы около базарных площадей. И затем обыватель потребляющий вступил в междуусобную брань с обывателем производящим. Покупатель с невинным видом подходил к запыленному, загорелому, флегматичному продавцу, наби-

рал в корзинку помидоров или дыней, не спрашивая о цене, к радостному изумлению простодушного обладателя их, и... уплачивал по таксе. Производитель, после минутного столбняка, лез в рукопашную. Зачастую потребитель стоиически претерпевал заушение, но продукт, купленный по таксе, все-таки уносил домой, оставаясь до конца верным постановлению о борьбе с дороговизной. В достаточном количестве оказывался и такой потребитель, который, пользуясь моментом рукопашной схватки, просто раскрадывал оставленные без призора продукты и с легким сердцем говорил:

– «Ведь, это у него не купленное, Бог зародил»...

В результате этого опыта обывательской борьбы с дороговизной продукты местного производства, в которых не было недостатка, исчезли с рынка. Пробовали изменять таксу, пересматривали, повышали, но производитель почувствовал лишь, что без него не обойдутся, и упорствовал, не появлялся на базарах до тех пор, пока не последовало молчаливое, не оформленное на бумаге, соглашение, что такса будет висеть на заборах, а торг возвращается к прежним основаниям – добровольному уговору, ладу, размерам спроса и предложения. Продукты появились снова. И цены на них, если сравнить с городскими, были божески умеренные. В частности, цены на зерно осенью стояли не выше проектированных в сентябрь твердых цен.

Но вдруг – и именно вдруг, внезапной волной, – накатило новое испытание, перед которым мелкою зыбью показалось отсутствие керосина, кожевенного товара, гвоздей и сахара: остановились мельницы, исчезла с базара мука. Мельницы прекратили помол из-за отсутствия пшеницы, а пшеницу перестали везти, как только прошел слух, что ее скупают по ценам, значительно превосходящим местные. И вскоре, как грибы, появились скупщики.

Я приехал в свою окружную станицу (это, по размерам, средний уездный город) в момент, особого напряжения совместных обывательских и административных усилий, направленных на предупреждение продовольственного бедствия, надвигавшегося на станицу, в которой, кроме десятка средних школ, военной команды, больниц, окружного суда и разных казенных учреждений, около двух десятков тысяч жителей кормилось «с базара», т. е. не имело никаких собственных запасов продовольствия. Мой старый гимназический товарищ, под гостеприимным кровом которого я приютился, прежде всего, конечно, принялся расспрашивать, – «ну, что, как там у вас? что надумала Дума? есть ли просвет какой-нибудь?» Как мог, я удовлетворил его любопытство, после чего он уныло спросил:

– Как же, брат, теперь будем?..

Он ждал какого-нибудь откровения от меня, а я хотел услышать что-нибудь утешительное от него. У него лишь одно утешительное нашлось.

– Генерал приехал, – немножко таинственным голосом сообщил он, – насчет продовольствия... Хлопотали мы о ссуде, – плохо ведь дело-то, муки-то нет... Нам вот генерала прислали из Новочеркасска... Авось теперь что-нибудь выйдет... Заседание сегодня, – не хочешь ли пойти?

Генерал – вещь серьезная. Но мне не столько на генерала взглянуть было интересно, сколько на местную общественную организацию – обывательский комитет по продовольствию. Пошли.

Комитет заседал в зале управления окружного атамана. Приезжий генерал был в кабинете атамана, а представители обывательских нужд и интересов сидели в томительном ожидании генеральского выхода за большим столом и вяло обменивались мнениями по вопросу о горькой судьбе своего ходатайства о ссуде: в ссуде было отказано. Комитет, по составу, был разнообразен и достаточно полно представлял собой станичное население: мировые судьи, учителя, член окружного суда, священники, директор банка, почтмейстер, станичный атаман, купцы, офицеры, начальница гимназии и просто обыватели. Все это был народ почтенный, солидный, безупречно делавший свое дело в отмежеванной ему области профессиональных занятий.

– Что же теперь? как? – флегматично ронял вопросы в пространство председательствовавший член, старый мировой судья.

– Да что ж... просить опять... – после длительной паузы послышался чей-то голос, полный безнадежности. А другой тотчас внес серьезную поправку:

– Ходатайствовать...

Широкая спина в иерейской рясе, находившаяся впереди меня, подкрепила текстом:

– Сказано: «толцыте»*).

– Толцыте! – возразил желчный голос, – и повторяйте снова бесконечную канитель! А муку-то ведь доедаем...

– Что ж поделаешь! – смиренно вздохнула ряса, – конечно, сейчас бы самое время, пока путей есть... все такое... а то путь расстроится, как бы на подножном не пришлось пробавляться...

– Главное, цены каждый день лезут вверх: месяц назад мы могли свободно купить по два рубля за пуд, сейчас дай Бог по два с четвертаким, а через неделю по два с полтиной будут просить... – Да и сейчас просят...

* *Толцыте, и отверзется* – евангельское изречение «Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется вам» – «Ищите, и найдете; стучите, и отворят вам».» (Матф., гл. VII, ст. 7; Лука, гл. XI, ст. 9). Употребляется в значении: упорством добиваться желаемого.

– То-то вот...

Прения – не прения, а обмен мнений, несомненно трезвых, дельных, но скучных в силу их очевидной для всех беспспорности, – тянулись вяло около получаса. Чувствовалась в этом отсутствии оживления и воодушевления затаенность томительного ожидания: что-то хорошенького сообщит генерал? Похоже было, что у всех сидела одна надежная мысль, которую, перефразируя некрасовские стихи, можно было выразить приблизительно так:

Вот приехал барин, – барин нас рассудит...

Многоречивое и беспокойнее других был седой, тучный батюшка, сидевший впереди меня. С одной стороны он настаивал на осторожности при исчислении размеров ссуды, с другой обнаруживал не очень, по-видимому, основательный оптимизм:

– Да я вам и сейчас по два рубля найду – в Елани. И пшеничка добра, старых годов...

– Не найдете! – уверенно возражал председатель.

– Мне же самому предлагали... мне!.. знакомые казачки – мне самому...

– Ну вам, может, за молитвы...

– Какое за молитвы! – огорченно отмахнулся батюшка, – нынче за молитвы-то с боем берешь... где уж!.. А по два с полтиной – это куда! Это за пятьдесят-то тысяч пудов сколько выйдет?

– Сто двадцать пять тысяч.

– Ффф... – зашипел батюшка, словно его неожиданно ущипнули, – да ведь это мы себе такого долга на шею накашаем – до второго пришествия не расхлебаешь!..

– Ну, так как же быть-то? Муки-то ведь нет?

– Авось, выдуримся до весны-то...

– А весной на подножный? «Выдуримся»... Вам хорошо выдураться: запасец сделали, – а вот у кого если нет?..

Прения оборвались, как только в дверях показался генерал. Генерал молча, но приветливо, раскланялся и, сопровождаемый полковником, прошел мимо представителей населения, к выходу. Обывательский комитет проводил его почтительно-изумленным взглядом. Когда генеральские шпоры зазвенели по лестнице, удаляясь от скучного продовольственного вопроса, кто-то в глубине комитета вздохнул и сказал:

– Вот тебе и генерал!..

– Видный мужчина... – почтительно прибавил батюшка.

– Молодой какой...

– Теперь их омолаживают...

– Это хорошо, – убежденным тоном сказал батюшка, – молодой он – не то, что старик, – поэнергичней...

Желчный голос заметил:

– Это и видно...

Вернулся полковник – окружной атаман, – занял председательское место и заговорил – только не о генерале и его миссии, как все ожидали, а о программе заседания:

– Ну, какие у нас вопросы сегодня, господа!

– Да вот... по поводу ходатайства о ссуде...

– Отказ? Ничего, опять напишем.

– А что генерал? ничего не сообщил?

– Генерал забрал все нужные справки. Теперь, надо думать, отказа не последует: все основания выяснены... Напишем снова.

– За тем только и приезжал – забрать данные? Это мы бы и по почте ему выслали...

– Ну, все-таки... Войсковой наказный атаман пожелал, чтобы он самолично убедился. Тем более, что был запрос от попечителя харьковского округа, действительно ли в нашей станице такой голод, что необходимо возможно скорее закончить учебный год и распустить учащихся, как доносил ему заведующий мужской гимназией. Ну, я доложил, что голод пока – не голод, а вопрос серьезный. А еще, может быть, серьезнее будет семенной вопрос – по весне... А уж что мы с ним будем делать.

– Господь один ведает...

– Будем писать...

– Писать... надо писать... – повторило обывательское эхо.

– Писать... эх-ма-хма!.. – горестно вздохнул окружной атаман.

Чувствовалось, что переполнена и его душа оцетом и желчью, но по долгу службы он должен был иметь вид не угнетенный и безбоязненно-бодрый. И как бы для того, чтобы не давать унынию овладеть обывательскими мыслями, полковник поставил на обсуждение деловой вопрос о форме сахарных карточек. Мысли, высказанные при обсуждении этого вопроса, были очень дельные, тонкие, остроумные, но я не дождался резолюций и ушел до окончания заседания, легкомысленно поддавшись соблазну перекинуться в картишки в приятельской компании.

Шли мы не спеша по темным улицам станицы, звонко хрустел укатанный снег под ногами, морозным блеском сверкали звезды, тихо и мутно грезили во сне закутанные ставнями дома, – безмолвие морозного оцепенения было разлито кругом.

– Пишем, – мрачно говорил один из моих партнеров, кутаясь в воротник, – что ж мы больше можем? Привыкли уповать. Мы – зрители. Можем роптать, тосковать, критиковать – порой очень горячо и едко, –

но шаг к действию для нас то же, что шаг в бездонную пропасть... Кабы кто сделал, мы бы вздохнули с облегчением, похвалили бы... Прикажут – исполняем по мере разумения. А без приказа, самостоятельно приступить к общественному действию – нет! Как хор ребят-школьников без учителя издает лишь разноголосый телячий рев, так и мы... навыка нет...

– Но ближайшие вопросы? – недосев, например?

– Что ж недосев? Писали. Мы писали, нам писали. Вот тракторов все ждем, – хорошая вещь, говорят. Был нам запрос из министерства земледелия: не надо ли тракторов? – Как не надо, пожалуйста!.. Написали требование сразу на десять штук. Думали: казенное, мол, бесплатно или в долгосрочный кредит. Прошло месяцев пять, опять бумага из того же министерства: цена тракторам по курсу – вот какая, – сколько желающих приобрести по этой цене? На этот раз только два землевладельца заявили желание – серьезные люди. Послали требование на два трактора. Сейчас осьмой месяц проходит – ни слуху, ни духу на эту бумагу!

– А других мер не пробовали?

– Насчет недосева? Нет, и еще писали. Вынесли резолюцию, что необходимо беречь рабочий скот. Послали ходатайство, чтобы ее приняли в соображение при реквизиции.

– И что же?

– Взяли по реквизиции с нашего округа пятьдесят тысяч голов... Преимущественно – быки. И какие быки!.. Взяли летом, в самое горячее время. И сейчас стоят по загонам, – сморили зря скот и от работы отняли... Теперь еще одиннадцать тысяч требуют... Да не наберут! – прибавил он желчно.

Помолчал хмуро. В морозной тишине, потрескивали старые заборы, визгливо скрипели наши шаги – и никаких звуков кроме, одна беспредельная немота.

– Вхожу я в эти комиссии по реквизиции, – мрачно продолжал мой партнер – такое чувство, знаете, всякий раз едешь и думаешь: вернусь или нет целым? На ком же и срывать народу горе и озлобление, как не на нашем брате?.. Укокошат в один прекрасный день и – все... А что мы можем? Смотришь: как там у вас? не добьется ли чего Дума?.. Нет?.. Эх-ма-хма!..

ОБВАЛ

По сущей правде и совести покажу здесь то, что видел и слышал я в эти единственные по своей диковинности дни, когда простое, серое, примелькавшееся глазу фантастически сочеталось с трагическим и возвышенным героизмом; когда обыватель, искони трепетавший перед нагайкой, вдруг стал равнодушен к грому выстрелов и свисту пуль, к зрелищу смерти и бестрепетно ложился на штык; когда сомнение сменялось восторгом, восторг страхом за Россию, красота и безобразие, мужество, благородство, подлость и дикость, вера и отчаяние переплелись в темный клубок вопросов, на которые жизнь не скоро еще даст свой нелицеприятный ответ.

Не скрою своей обывательской тревоги и грусти, радости и страха – да простится мне мое малодушие... Как обыватель я не чужд гражданской тоски, гражданских мечтаний, чувства протеста против гнета, но мечты мои – не стыжусь сознаться в этом – рисовали мне восход свободы чуть-чуть иными красками, более мягкими, чем те, которые дала ему подлинная жизнь...

Итак, попросту передам то, что видел, слышал и чувствовал в эти дни.

I.

Было это, кажется, в четверг, 23 февраля. И было совсем просто, обыденно.

– Извозчик, на Офицерскую!

– Семь рубликов!

– Только-то?

– Только. Ведь не сто рублей. Тпру, черт! Добрая какая! – сердито обратился старик к лошади, похожей на дромадера*). – Такая дьявол, когда не надо – дернет. Не любит возить, хочет порожняком ехать... Ну, желаете два с половиной?

*) *Дромадер* [фр. *dromadaire*, от греч. *dromos* – бег] – одногорбый верблюд. Здесь шуточное обозначение лошади.

Я подумал и сказал:

– Рубль с четвертью!

– Без лишнего: полтора?

Сел.

Дромадер завилал задом, закачался, зашлепал копытами и, натыкаясь на кучи сколотого снега, повез нас тяжелым трюхом. Санки ныряли по ухабам, раскатывались в сторону на поворотах, прыгали боком.

– Да, с голоду народ разыгрался... погуливат... – сказал извозчик мягким басом.

Улица куталась в полутьму. Ходила густая, темная, праздная толпа – больше солдаты, деликатно обнимавшие за талии девиц. Сумрак, шуршащий говор, веселое оживление, как в пасхальную ночь, когда люди, отложив будничные заботы, бродят по улицам, любопытно приглядываясь, прислушиваясь, становятся как будто ближе, проще, доступнее, расположеннее к мимолетному знакомству, затевают разговор с чужими, – от всего веяло беззаботным, порой буйным, веселым и молодым беспокойством.

– Хлеба нет, а? До-жи-ли! – сказал извозчик. Бас у него был с трещиной, и несло от него теплом, как от свежеиспеченного хлеба.

– Вильгельму как раз на руку... На Выборгской, говорят, били лавки...

Я немножко взыскательным тоном, обывательски пугаясь темы, соприкасающейся с «распространением ложных слухов», сказал:

– ... «Говорят»... Сам увидишь – тогда говори...

– Барыню я вез – говорила... И на Невском... Он помолчал и мечтательным тоном добавил:

– Надо бы их, чертей купцов – всех под один итог! Да не купцов – и выше бы... По хвосту вот сколько ни бей ее, анафему, – он выразительно хлестнул своего задумавшегося дромадера, – ничего ей не докажешь...

– Кормишь плохо, – сказал я, чтобы уйти от скользкой темы к менее опасному сюжету.

– Старая, черт!.. А кормим – хлебом...

– Как хлебом?

Правда, я и раньше слышал о том, что извозчицы лошади перешли на хлебное довольствие, но все-таки удивился и упрекнул:

– Вот он куда идет, хлеб-то...

– Верно. Овес – пятьдесят целковых куль, восемь рублей пуд. К сену приступу нет. Вот моя – доест последнюю вязку, поеду домой. Только тем и дышишь: из деревни привезешь куля два, сверху нудов пять сена – больше в Красном не пропустят, пять – пропустят... Провозят которые и воза, – подумав, прибавил он и подвеселил дромадера

кнутом. – Солдатам на чай дадут рублей двадцать пять – провезут. А тут даешь ему за пуд четыре с половиной – он и не глядит. Четыре с половиной!.. Ну, на хлебе и сидим...

– Да ведь хлеба-то нет, – возразил я.

– У нас хозяин все время солдатским хлебом шесть лошадей кормил. И квартирантам сколь хошь хлеба...

Он говорил спокойно, почти уважительно, во всяком случае – без тени возмущения хозяйской изобретательностью.

– Хлеб есть, как это, не быть хлебу? Чего самая нужная вещь. Солдатский. Два сорок за пуд хозяин покупал. Придет солдат из Измайловского полка – кватенармист*) ли, артельщик ли: «Есть, мол, хлеб, приезжай к такому-то часу...» Пудов по шестьдесят привозил. Без никаких...

– Но как? Ведь это не безопасно.

– О-очень просто. Едет без всякой опаски. Накладет воз – телега такая у него – ящиком, закрытая, назем вроде возить. Закроет газетами – везет...

Бас его звучал теплой, одобрительной усмешкой. И был он сам весь круглый, благодушно-темный и словно бы ржаной, как теплый солдатский хлеб.

– А масло? Опять у них же. Масло брал по двенадцать за пуд, а продавал – рупь двадцать. Озолотел! Тысяч десять в банок доложил за эти два года. Да... А народу не хватает...

Он слегка задумался. Помолчал.

– Как это чтобы хлеба не было? Чего самое главное. Вам к подъезду?..

Это была, можно сказать, последняя мелкая деталь старого порядка, которую я слушал и тужил: ведь вздумай я рассказать об этом, – а рассказать не вредно бы, – с первого слова заткнут рот...

Назад пришлось прогуляться пешочком. Все еще чувствовалась на улицах какая-то не улегшаяся зыбь. У хлебной лавочки, несмотря на позднее время, стоял «хвост». Мальчик лет четырнадцати мягким, застенчивым голосом рассказывал:

– Там как ворвались все – враз растрепали заведение! И хлеба сколько оказалось. Я один ухватил в окне и поскорей бежать!..

– Хватал бы шоколадку, глупой! – наставительно сказал женский голос.

– Да-а, какая ты ловкая! За шоколадкой ползешь – плетку схватишь. Бог с ней! Одна там женщина несла коробок пять – во-от каких! Кровь у ней льет – рука порезана, – она не обращает внимания... Бог с ней, с шоколадкой!..

*) *Кватенармист* – искаженное от *квартирмейстер* (офицер, располагающий войска на квартиры и заведующий приемкой для них продовольствия) или *каптенармус* – нижний чин, заведующий цейхгаузом, мундирами и вообще амуницией (Даль).

Снились мне ночью худощавос, круглое личико этого мальчика и его наивный голос, женщина с коробками шоколада. «Неужели этим закончится новый вал?» – рассуждал я в странном, тревожном, тяжелом полусне, загадывал и вздыхал...

II.

Утром 24-го знакомый голос по телефону говорит мне:

– Имей в виду: на Невском не пройдешь, не пускают. С Большого не сядешь. Я со Среднего кое-как сел. На Невском, говорят, творится нечто... Прими к сведению...

Сердце забилось радостной тревогой: что-то будет? Поспешил дописать письмо, побег на улицу – усидишь ли в такую минуту в четырех стенах?

Солдаты со штыками перебрасывались острыми, пряными шутками с бабами – был около хлебной лавки обычный «хвост». На Большом не было видно ни одного вагона. По панелям текли в разных направлениях темные струи людского потока. Стояли праздные, пестрые кучки на рельсах. Было солнечно, ярко, тепло. Капель мягко барабанила на пригреве. Не дымили трубы заводов, и далеко по широкой, прямой улице темнели неровным частоколом хлебные «хвосты». Около них веселые кучки девиц в пуховых косынках и молодые люди призывного возраста в картузах блинами, патрули солдат – пожилых, добродушных, деревенски неуклюжих, – совсем не страшные своими тускло поблескивающими на солнце воронеными штыками.

Тусклый, серый с чалой бородкой, в сером пиджаке и серых валенках, говорил около них:

– На Выборгской казаки никак не стреляли. Фараонов секли нагайками – смеху было! Армия тоже не будет стрелять...

– Чай, и они голодные, – говорит беременная женщина в потертом плюшевом пальто.

– Полиция молчит! – довольным голосом восклицает серый человек. – Бьют их. Вчера на Выборгской с околочного шашку сорвали, кобур сорвали, всего оборвали!

– У нас рабочие кинжалы себе поделали – во-о! – восторженным тоном говорит курносый малец лет пятнадцати, – по аршину!.. Поотточили!..

– Вся суть в солдатах, – говорит патрульный с широкой светлой бородой, – кинжалом ничего не докажешь...

Зашевелился вдаль, под солнцем, темный густой частокол. Как будто батальон матросов, идущих повзводно. Нет, не матросы. Смутно

доносится пение, улавливает ухо знакомый мотив: значит, демонстрация – толпа, делающая революцию...

Тревожно раздвинулась улица – подалась в сторону веселые кучки девиц, «хвосты» и патрули. Прижались к воротам, нырнули в калитки, в подъезды. У всех как будто гвоздем сидела одна мысль: вот-вот заиграет рожок и из рядов солдат, стоящих вдали, грянет залп.

Но темной стеной движется частокол. Вот он близко. Не очень внушительна толпа, и скуден красный флажок. Все молодежь. Сливаются в мелькающую сеть лица, картузы, шапки, платочки. Сливаются жидкие голоса. Редким островком мелькнет заросшая угрюмая физиономия и тут же утонет в потоке безусых, беззаботно буйных, весело орущих лиц. Впереди, как саранча, ребятишки – та городская детвора в прорванных штиблетиках, в шапках с ушами, в разномастных пальтишках и кофтах, которая во всякую минуту готова на все: атаковать кучу дров, пустые сани ломовика, любой воз с любой клажей, – крикливая, необычайно предприимчивая, озорная публика. Ей весело. Румяные и бледные мордочки, чистенькие, тонкие и грубые, уже с печатью «дна», – как воробьи на току, отважно сыпались они впереди медленно и тесно идущей толпы и вносили в эту торжественную, ожидающую залпа, процессию что-то юмористическое своей неудержимой отвагой, готовностью кричать, лечь под трамвай или повиснуть на нем и прокатиться – все равно!..

С флагом – жидким, полинялым и маленьким – идет белообрый рабочий золотушного вида, с красными веками, с жидкой растительностью телесного цвета на подбородке. На утомленном интеллигентном лице у него – готовность обреченного тюрьме человека.

Сцепившись руками, широкой, изломанной шеренгой идут девицы в пуховых косынках. Закопченные ребята в пиджаках на вате и в шапках с ушами серьезны до мрачности. Но будто все лица знакомы – каждый день, в обеденный час, я видел их, скуластые, широкие и тонкие, умные и тупые, с добродушным и желчным взглядом. Но что-то новое делает теперь их непохожими на прежнее – в тесной, слитной, однотонной и задорной массе.

– Пойдемте! Чего стоите? – раздается зов из толпы к кучкам, стоящим у ворот.

Но жмется толпа обывателей – все мелкота, служащий, порознь работающий люд, порознь живущий, смирный, трезво-практичный, бескрылый в желаниях своих и мыслях, – швеи, горничные, прачки, угловые обитатели, старики-дворники и еще какие-то мужики с бородами.

– Нынче не идете – завтра пойдете! Аль хлеба много набрали?

Курносая девица с круглым, молодым, облупленным лицом, в тесном саке, деревенски неуклюжая, с большими ногами, задорно говорит:

– У кого карманы толстые – будем выворачивать!

Но какое-то непобедимое благодушие все-таки жило в этой толпе, пугавшей мирного обывателя. Отставной адмирал, грузный, угрюмый, с седыми дугообразными усами, подошел к месту останковки вагонов, и молодежь, как зыбь половодья, окружила его. Удивленными, выпученными, стариковскими глазами адмирал оглядывался кругом, а толпа обходила его, текла дальше, не обращая на него внимания. Вдруг старик закрыл глаза рукой в перчатке и... чихнул – громко и коротко, как будто выстрелил.

– Будьте здоровы, ваше п-ство! – тотчас же приветствовал его высокий голос, в котором звенел смех.

– Бла-а-дарю! – мрачно буркнул адмирал.

– Будь здоров на сто годов! – тяжелоесно, но благодушно прибавил другой, погуще.

– Спасибо, братец...

– А что прожил – не в почет! – вплелся смеющийся девичий голос и фыркнул в толпе.

И Бог весть, почему испуганно бросилась в сторону от толпы нарядная толстая дама в каракулевом пальто. Перебегая улицу, она рысила неловкой рысью в своих лакированных туфельках на высоких каблучках. Каблуки виляли, и вся она качалась, как на жердочке, толстая, смешная в ажурных, прозрачных своих чулочках, с трясущимися бедрами, и очень напоминала породистую беркширку, вставшую на задние ноги.

Черный, усатый человек в треухе и бурковых сапогах поглядел ей вслед и сказал своему соседу, мужику с желтой бородой, в огромных серо-желтых валенках, странных на фоне городской революции:

– Эка тесто-то всхожее!

Оба рассмеялись. Желтый безучастно высморкался и прибавил:

– Тельная барыня... корпусная... Да и вот тетка не отощала...

Толстая старуха со сложенными на животе руками сердито оглянулась на него.

– Без хлеба-то вот прогуляйся, – сказала она, ироническим взором провожая желтого мужика. – Погода теплая... Поигравай песенки...

Человек в бурковых сапогах сердито бросил ей в ответ:

– Заиграешь поневоле! Я вот одинокий человек. Зарабатываю – Бога нечего гневить – не плохо. А вот два дня не обедал: надо на работу идти, надо и в «хвосте» стоять. Все равно – издыхать: иду!..

– Да куда идешь-то?

– Иду? Гулять на Невский... За хлебом... Белобрысая женщина с бойкими глазами, с веселыми морщинками на несвежем лице, говорит заветренной, отрепанной бабе в холщовом переднике:

– Вот все ругают солдаток: зачем блядуют? А как тут? Солдату дашь – он хоть хлеба казенного кусок принесет...

– Верно! – подхватывает весело парень ухарского вида, – и у тебя не купленное, и у него... Пойдем на Невский, там солдат много.

– Ну, на Невском и без нас «хвосты» перед солдатами... Туда идти – надо штукатурки на целковый кушить, а где его возьмешь – целковый?..

И так шли они весело, празднично, посмеиваясь, перебрасываясь шутками, старательно выводя на верхах: «Вставай, подымайся, рабочий народ!»

В одном месте остановились перед воротами – у обойной фабрики. Ворота были заперты. Налегли. Подставили плечи. Какие-то проворные ребята мигом взобрались на высокий забор, перемахнули через него, отодвинули засов. Влилась часть толпы во двор фабрики, другая осталась ждать.

Приземистый, квадратный мужичонка в пиджаке по колени, убуленном известью, тяжело трюхая, подбежал ко мне и испуганно спросил:

– Как же я теперь пройду?

– Куда?

– Да во двор.

– В ворота и иди, – дельно указал мой сосед, лавочник с румяным лицом, – отперты.

– Да у меня там лошадь!

– Ну, иди скорей, а то и лошадь уведут... Веселая готовность к приключениям особенно вспыхнула, когда показался вагон трамвая. Ребятишки с гиком устремились ему навстречу – вожатый затормозил. Выскочил вперед крепкий, приземистый малый в черном пиджаке, в картузе блином, поднял руку, закричал:

– Ребята! стой! стой! снимай ручку!

Вожатый дал задний ход. Весело закричала, заулюлюкала, загоготала толпа. Ребятишки пустились вдогонку, хватались за ручки, за подножки, повисали и с блаженными лицами прокатывались, сколько хотели.

Остановили и повернули назад мотор.

И, весело перекликаясь, толкаясь, мешаясь, пошли дальше, пели, выкрикивая: «Вставай, подымайся...»

Против участка, по 21-й линии, вышел из манежа взвод молодых солдат, перерезал поперек проспект, стал – «Ружья наперевес». Молодой офицер крикнул что-то. Толпа сразу колыхнулась, отхлынула в стороны. Словно листья, гонимые ветром, промчались назад ребятишки. Но красный флаг и кучка возле него остались около солдат.

– Товарищи! – кричал надорванный голос. Солдаты держали ружья наизготовку. Молоденький офицер в полушубке, с револьвером у пояса, мрачно ходил позади шеренги, изредка покрикивал на любопытных, напиравших сбоку. Через несколько минут толпа освоилась со зрелищем солдатиков, окаменевших в заученной позе – «ружья наперевес», вытекла из-за углов, придвинулась и стала перед ними темным, беспокойным озером. Мелкой зыбью перебегали детские голоса, сливались, и вырастал пенным валом разноголосый крик:

– Ура-а-а... а-а... а-а-а...

Городовые пробовали работать руками – «осаживать». Толстый пристав кричал на панели:

– Не давайте останавливаться!

– Проходите, кому надо! Проходи ты... куда лезешь?.. Но все гуще и шире становилось темное людское озеро. Вдруг крик испуганный:

– Казаки!

Вдали маячил взвод всадников в серых шапках набекрень. И опять как будто вихрь погнал кучу опавших листьев – затоптали тысячи ног, хлынули прочь, и вместо темного озера осталась скудная лужица. Казаки проехали шагом по улице, плавно покачиваясь в седлах, оглядываясь с любопытством дикарей. Чубы их торчали лихо с левой стороны, но лица были наивно-добродушные. И за то, что они были не страшны, ребяташки закричали им «ура».

– Ура-а... а-а-а... а-а-а... – покатались голоса по улице, и стало весело всем, и снова в темное озеро слились разбросанные людские брызги...

III.

Я благополучно прошел по панели мимо городского и мимо солдат, державших ружья на руку. Решил попытаться пройти на Невский.

Из хлебной лавки, возле которой «хвоста» уже не было, вышел поджарый человек в пальто с барашковым воротником. Догнал меня и, показывая краюху хлеба, словно желая поделиться своей удачей, пожаловался:

– Вот добыл два фунта, а у меня дети... Ну, как тут жить? Бунтовать не могу – дети, жаль: пропадешь ни за грош. Я – рабочий человек. Вчера в девять утра поел, и вот до сего время ничего во рту не было, ни маковой росинки. А как работать не евши – вы подумайте!

Я ничего не мог сказать ему в утешение. Я и сам недоумевал, как мы живем в этом диковинном своеобразии наших отечественных условий, – и не верил в успех бунта...

На Невский удалось пройти беспрепятственно. Шел я, посматривал на стекла магазинов – все цело, никаких признаков разрушения. Обычным порядком шла торговля. Более обычного были запружены народом панели – живописно и оригинально перемешалась нарядная публика и демократические ватные пиджаки и треухи. От нарядных женщин пахло дорогими духами. Около банков стояли вереницы блестящих автомобилей.

На улице Гоголя наехал на меня рысак.

– Брги-ись! – крикнул кучер, словно напилком по железу резнул. Испугал.

Две миловидные, слегка подкрашенные, очень красивые дамы сидели в санках. Чумазый парень в финской шапке с хохлом на темени, переходивший улицу позади меня, крикнул одной над самым ухом – резким голосом, очень похожим на голос кучера:

– Брги-и-сь!

Тоже испугал. Хорошенькое личико сердито оглянулось, строгим, изучающим взглядом посмотрело на озорника. И мне почему-то в эту минуту подумалось – неужели они могут встретиться когда-нибудь лицом к лицу на тесном пути жизни?..

Казанская площадь была похожа на шумную сельскую ярмарку. Море голов глухо плескалось, кружилось, жужжало, двигалось в тихой коловерти. Над ним уныло возвышались неподвижные вагоны трамвая. Стояли в нескольких пунктах серые солдатские ряды. Казаки, плавно покачиваясь в седлах, шагом продвигались сквозь толпу. Офицер с малиновым лицом и седыми усами иногда разворачивал свою сотню:

– Смена налево ма-арш! Налево сомкнись – марш! Качались тонкие пики, колыхались серые шапки набекрень. Черный людской омут раздавался, дробился, растекался по цветнику, всплескивался на гранит к Барклаю, прятался в колоннаде. И, когда сотня отъезжала, опять надвигался на панель, к вагонам, – сплошь заливал улицу.

– Сомкнись, ребята! – кричали голоса. Порой вспыхивал вдруг бурный крик – приветственный ли или враждебный, не разобрать было:

– Ура-а... а-а-а... а-а-а...

И было весело по-молодому, по-праздничному, по-ярмарочному. Забавная была революция: не стреляют, не секут, не бьют, не давят лошадьми. Не верилось глазам. И даже пристав, изящный брюнет, не очень как будто всерьез просит:

– Семенюк! Нечего мух ловить, надо дело делать!

– Проходите, господа! – отсыревшим голосом басит Семенюк, растопыривая руки.

– Не задерживайтесь, я вас прошу! Русским языком вам говорят! – кричит за ним толстый околоточный, старик.

– А вы не толкайтесь!

– Я толкаюсь? Воображаете!..

– Опричники!.. Какие вы странные... ослы, ей-богу!..

– Воображение у вас... как у итальянца... позвольте заметить.

С некоторым риском подвергнуться воздействию «русского языка» пробираюсь я к колоннаде собора. Здесь просторно, удобно, безопасно, и отсюда прекрасно видна вся бурлящая, зыблущаяся народом площадь и кусочек Невского.

Где-то садится солнце – алые отсветы на окнах вверху, горит стеклянный глобус на доме Зингера, вечерние краски на небе. Чуть-чуть морозит, ясно небо, звонок воздух. Ниже меня малиновеют погоны стрелков, стоящих развернутым фронтом. Простые, добродушные лица с выражением веселого, беззаботного любопытства, и никакой трагически-грозной черты, никаких намеков на то, что они пошлют смерть в это темное, смутно плещущее море своего народа.

– Не угодно ли?

Человек в барашковой шапке вареником и в очень хороших сапогах бутылками, солидный, с брюшком, предлагает коробку с папиросами унтер-офицеру. Для знакомства.

– Вот, благодарю, – говорит унтер-офицер.

– Бери без стеснения!

– Нельзя. Чудак-человек: у нас и свои папиросы есть, но... сейчас нельзя...

Мальчик в перепачканном холщовом переднике взбирается ко мне, на выступ плиты, – нам двоим и тесновато здесь, но жмемся: очень уж хорошо видна отсюда площадь и все ее диковинки. Из-под старенькой шапчонки выбились на лоб льняные волосы. Личико худенькое, треугольное, нежное, все озаренное восторженным упоением. Огромные, тяжелые сапоги, и у пиджака на спине живописные прорехи.

– Вчерась в Гавани лавку хлебную растрепали, – радостно говорит он. – Конный городской влетел было, его как сгребли-и!..

Он сияет глазами и почти поет в радостном возбуждении.

– Он уж просит: «Да, ребя-я-та! Да я не бу-уду вас бить! Разве я сам есть не хочу?»

Многоголосый пестрый крик вспыхивает над улицей, рыхлой лавиной перекатывается по площади, падает, поднимается вновь, бурно веселый, подмывающий и невыразимо волнующий. Кричит и мой сосед «ура». И, оглядываясь на меня, восторженно уверяет:

– Казаки полицию всю перебили!..

Усталый, нагруженный впечатлениями, очень кружным путем вышел я на Неву, возвращаясь домой. За Островом еще румяnelа заря. Над стройными, прямыми улицами-линиями плавала бирюзовая пыль. Каменные громады домов, всегда угрюмые, холодные, серые, как будто умылись и повеселели, мягкие краски их казались теперь ласковыми и теплыми. Белая, снежная Нева с застывшими во льду судами и в зимней немоте своей была величественна и прекрасна. Черной гривой маячили пешеходы на Николаевском мосту и чуть горел еще вдали шпиг Петропавловского собора.

Была странная, чуждая моей душе, но покоряющая, красота в этом великом, загадочном каменном городе, мудро замкнутом и сурово-холодном. Чувствовалась величественная симфония жизни – к ней прислушивалось, но не постигало, лишь угадывало – робкое сердце...

IV.

Росла тревога, росла тоска: что же будет? Все – по-старому?

Пришел в субботу профессор, запыхался от усталости, словно гнались за ним. Отдышался и сказал:

– Сейчас видел атаку казачков...

– Ну?!

– Шашки так и сверкнули на солнце. Он сказал это деланно-спокойным тоном, притворялся невозмутимым. У меня все упало внутри.

– Ну, значит, надо бросить...

– Само собой...

– Раз войска на их стороне, психологический перелом еще не наступил. Да ты видел – рубили?

Он не сразу ответил. Всегда у него была эта возмутительная склонность – поважничать, потомить, помучить загадочным молчанием.

– Рубили или нет – не видел. А видел: офицер скомандовал, шашки сверкнули – на солнце ловко так это вышло, эффектно. Я нырнул в улицу Гоголя и – наутек! Благодарю покорно...

Помолчал. Затем прибавил в утешение еще:

– И бронированные автомобили там катались – тоже изящная штучка... Журчат...

– Иду смотреть!

– Я не думал, что они такие маленькие, – профессор решил, по-видимому, забронироваться в столь равнодушной деловитости и невозмутимости, – Для внутреннего употребления разве?.. Иди, иди, – иронически напутствовал он меня. – Все равно туда не пустят, а по шее получить можешь в любом месте...

И уже вдогонку, когда я был на лестнице, попытался дружески охладить мою стремительность:

– Через мост не пускают! Переходы заняты!.. Однако через мост я прошел: фигура у меня солидная, проседь значительная, на бунтовщика не похож.

За мостом ожидал увидеть картину разгрома, но никаких признаков боевой обстановки, смуты, даже простой тревоги не было заметно: озабоченно шли, спешили люди – простые и щегольски одетые, – с покупками, нотами, портфелями, половыми щетками и просто так, без всего. И обрывки разговоров, которые долетали до меня, чужды были злободневного интереса:

– А Петропавловский шпиз выглядит много выше Исаакия...

– А взаимная любовь – знаете, какую она роль играет?

– Вы не верьте ему, барышня: арапа строит... Это – пушкарь, ему завтра на позицию...

Все – в заведенном искони порядке.

Лишь подходя к Александровскому саду, услышал я дикий крик:

– Ка-за-ки!..

И толпы ребят, в теплых пиджаках и пальто, широкими, проворными прыжками рассыпались по саду, падая в снег, приседая и прячась за деревья.

Казакі разомкнутой стеной проехали от Невского до Исаакія, повернули назад, построились в колонну справа по три и завернули на Гороховую. Никого из проходивших по улице не тронули.

На Невском было так же, как и накануне, – убрали лишь вагоны трамвая. Шла торговля. Ходила обычная публика, проезжали извозчики и собственники, жужжали автомобили. Как будто меньше было молодежи рабочего облика. Но по обеим сторонам густой смолой текли деловые и праздные люди, нарядные дамы и бабы в полушубках, с котомками за спинами, офицеры, гимназисты, рассыльные и прочий люд, у которого остался один только способ передвижения – собственные ноги.

Раза два во всю ширину Невского, захватывая и панель, проезжали конные отряды – сперва сотня забайкальцев, потом жандармский эскадрон. Публика, видимо, привыкла к этому маневрированию: спокойно раздавалась в стороны, пропускала всадников и снова текла пестро-черным потоком по панелям

Я дошел до Аничкова дворца – ничего необычайного. Вернулся. Пошел по Пассажу – обилие милых созданий, старичков около девочек-подростков. Значит, по-старому, никто не встревожен, не вспугнут...

Вечером по телефону товарищ по журналу сообщил, что на Невском была стрельба, казаки убили пристава.

– От кого вы это слышали?

– Очевидцы рассказывают.

– Не верю очевидцам: сам ходил – ничего не видал.

– На Знаменской, говорят...

– До Знаменской, правда, не дошел, но очевидцам не верю: много уж очень их стало...

Уныло молчим оба. Ясно одно, что дело проиграно, движение подавляется и люди тешат себя легендами.

– Раз стреляли, значит – конечно, – говорю я безнадежно, – надо разойтись. А вот когда стрелять не будут, тогда скажем: «Ныне отпускаеши раба твоего...»

В конце концов – нервы издерганы, измотаны, сна нет, и не на чем отдохнуть душой...

V.

В понедельник 27-го пошел в редакцию с утра – путь не близкий.

На Невском – обычная деловая суета. Час сравнительно ранний, народу немного, народ – не праздный, озабоченный, серьезный. Все спешат по своим делам. Но, несмотря на деловую озабоченность, местами словно цепляются за какие-то невидимые сучки, собираются группы, молча внимательно рассматривают что-то, молча отходят. Цепляюсь и я. Ищу глазами: что привлекает внимание прохожих? А, вот тоненькие дырки в фонарном столбе, кусок вырванного чугуна, а вот пробуровленные зеркальные стекла. Любопытный господин с подвязанной щекой пальцем вымеряет щербину на фонарном столбе и одобрительно говорит:

– Чугун... Было дело под Полтавой, баба треснула октавой...

Останавливаюсь еще около чугунных львов у Сан-Галли*) – они тоже изранены.

– Вчера вот за этим львом два спрятались – обоих сразу положили, – а я вон там лежал, – говорит мальчик с корзинкой на голове.

В морозный туман уходили дали Невского проспекта. Без вагонов он казался шире, просторнее и величественнее. Ряд столбов по линии трамвая тонул в мягкой серой дымке. Грузные, тесно прижавшиеся друг к другу, дома выравнились в две стройные шеренги и глядели

*) «у Сан-Галли» – Франц Карлович Сан-Галли, петербургский шотландец, король русского чугунного литья и изобретатель батареи парового отопления, владелец чугунолитейного завода, общественный деятель. Его особняк (Лиговский проспект, 62) возвел в 1869–1870 годах архитектор Карл Рахау. Чугунные львы стоят у клуба завода (Лиговский проспект, дом 60). В советское время это опытный завод бумагоделательного машиностроения имени Второй пятилетки.

темными стеклянными очами на проснувшуюся суету людскую. Сквозь шорох движения вырастает из утренней мглы ритмический хруст, широкий и звонкий: идет рота. Стройно, шеголевато, четко. Не так, как там, у позиций, где ходят свободней, проще, мужицким шагом, не очень заботясь о такте, отбиваясь в сторону, отставая, мирно беседуя. Тут – стройные ряды, новенькие шинели, хорошие, крепкие сапоги. Шаг – легкий, молодой, учебный. Лица – юные, свежие.

Сзади на шершавых, низеньких лошадках – вьюки с небольшими ящичками: патроны.

Прохожие останавливаются, провожают роту глазами, смотрят на вьюки, спокойно выясняют их назначение, спокойно любят смертоносным гостинцем. Рота делает привал у дворца.

На мосту снова слышу ритмический хруст – позади другая рота. Опять молодые лица, четкая команда, игрушечные лошадки и ящички с патронами. Останавливаются у Палкина, фронтом к Литейному*).

– Значит, ждут и нынче? – полувопросом обращается ко мне пузатый, коротенький господин в котиковой шапке и седых калошах.

– Как видите...

– Пора бы бросить это развлечение: все дела стали...

Я поворачиваю на Литейный.

Натыкаюсь на кучку бородатых воинов в страшных лохматых папах. Они столпились перед окнами магазина с чучелами птиц и зверков, по-детски захлебываются, изумляются, ахают.

– Гляди, тушканчик какой!..

– Во, паря, жаворонка... еж твою семнадцать рукавиц, как живехонька!.. И яички...

Солнце ласково освежает их заветренные, заросшие, зверообразные лица. Пахнет от них лежалой дегтярной кожей, сырой казармой, а в глазах, ушедших в мягкие морщинки, детское, деревенское, лесное и степное...

Против Бассейной**) вижу первую большую толпу. Глядят на какую-то диковину, а ничего, кроме солдат, живую цепью перерезавших улицу, не видать. Хочется спросить, в чем дело, да неловко. Хорошо одетый, высокий господин в бобровой шапке на забинтованной голове перебежал с противоположной стороны на нашу и сказал взволнованным голосом:

– Четыре полка взбунтовалось!..

*) «...у Палкина, фронтом к Литейному» – у дома по Владимирскому пр., 1 (угловой с Невским пр.), построенного в 1873–1874 г. архитектором А. К. Кейзером. Здесь был ресторан, который называли «Старый Палкин», или просто «Палкин» (по имени его владельца – купца Константина Павловича Палкина).

**) Бассейная – с 1918 года улица Некрасова. Выходит к Литейному проспекту.

– Где? – Мне хотелось обругать его за неосновательный слух.

– А вон – видите: солдаты... Пошли на Баскову*) артиллеристов снимать...

Раздался выстрел. Наша толпа шарахнулась. Офицер неподалеку от меня сказал:

– Нет, они в народ не станут стрелять.

Молодой врач, стоявший рядом с ним, прибавил:

– Без офицеров ничего не сделают.

Снова раздались выстрелы, и опять дрогнула толпа.

– Это вверх, – сказал кто-то, успокаивая испуганных женщин.

Забилось радостно сердце, дыхание перехватило: неужели? Неужели – начало великого, долгожданного, лишь в мечтах рисовавшегося в неизвестной дали? Ведь мечталось так скромно: дожить бы и хоть одним глазом взглянуть на новую, освобожденную родину? И вот – пришло...

Тревога и радость, сомнение и благоговейный восторг, страх перед тем темным, неведомым, куда шагнут сейчас они, эти серые люди с наивными глазами, которых я только что наблюдаю детски ахающими перед чучелом жаворонка...

Неужели начало?..

И было жаль до трепета, что нет вождей с ними... Куда пойдут? Куда дойдут? Не рассеет ли их сейчас свинцовый град, заготовленный в достаточном количестве, – тот, что видел я в изящных ящичках на игрушечных лошадках?

Я почти бегом побежал в редакцию – хотелось поскорей поделиться с товарищами ошеломляющей новостью. Что час еще ранний и никого из них может не быть в редакции – мне не приходило в голову. Пело сердце и билось в тревоге: очень еще боязно было верить в удачу...

Когда я перебежал на другую сторону, вдруг сзади со стороны Невского затрещали выстрелы. Был ли это салют или обстрел восставших – не знаю. Но все, что шло впереди меня и по обеим сторонам, вдруг метнулось в тревоге, побежало, ринулось к воротам и подъездам, которые были заперты, и просто повалилось наземь.

Побежал и я.

Неужели сейчас все кончится? Упаду? Пронижет пуля и – все... Господи! неужели даже одним глазом не суждено мне увидеть свободной, прекрасной родины?

*) «...на Баскову». Во второй половине XVIII века одним из земельных участков в Литейной части Петербурга владел купец Басков (итальянец Баско). В принадлежавшем ему доме помещалась табачная фабрика. От земельного участка Баскова и получили свои наименования Баскова улица (с 1921 года – улица Короленко) и Басков переулок. На Басковой, д. 9, находилась редакция «Русского Богатства».

Я бежал. Понимал, что это глупо – бежать, надо лечь, как вот этот изящный господин в новом пальто с котиковым воротником-шалью, распластавшийся ничком и спрятавший голову за тумбу. Но было чего-то стыдно... Очень уж это смешно – лежать среди улицы... И я бежал, высматривал, куда бы шмыгнуть, прижаться, притулиться хоть за маленький выступ. Но все ниши и неровности в стенах были залеплены народом, как глиной...

И вдруг, среди этой пугающей трескотни, в дожде лопающихся звуков – донеслись звуки музыки... Со Спасской*) вышла голова воинской колонны и завернула направо, вдоль Литейного. Оттуда, ей навстречу, прокатился залп. Но музыка продолжала греметь гордо, смело, призывно, и серые ряды стройной цепью все выходили, выходили и развертывались по проспекту, вдоль рельсовой линии. Это был Волинский полк.

Я прижался к стене, у дома Мурузи**). Какой-то генерал, небольшой, с сухим, тонким лицом, с седыми усами, – не отставной, – тяжело дыша, подбежал к тому же укрытию, которое выбрал я, споткнулся и расшиб коленку. От него я и узнал, что вышли волинцы.

Гремели выстрелы, весенним, звенящим, бурным потоком гремела музыка, и мерный, тяжкий шум солдатских шагов вливался в нее широким, глухим ритмическим тактом. Не знаю, какой это был марш, но мне и сейчас кажется, что никогда я не слышал музыки прекраснее этой, звучащей восторженным и гордым зовом, никогда даже во сне не снилось мне такой диковинной, величественной, чарующей симфонии: выстрелы и широко разливающиеся, как далекий крик лебедя на заре, мягкие звуки серебряных труб, низкий гул барабана, стройные серые ряды, молчащие, торжественно замкнутые, осененные крылом близкой смерти...

Прошел страх. Осталась молитва, одна горячая молитва с навернувшимися слезами – о них, серых, обреченных, прежде простых и понятных, теперь загадочных, сосредоточенно и гордо безмолвных, но и безмолвием своим кричащих нам, робким и мелким, и всему свету:

*) Спасская – с 1923 года ул. Рылеева.

**) Дом Мурузи. Пятиэтажный дом на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля (бывшей Пантелеймоновской). Доходный дом в мавританском стиле, построенный по проекту архитектора А. Серебрякова в 1874–1877 годах для князя А. Мурузи. Здесь в 1879 году в небольшой квартирке на четвертом этаже дворового флигеля Н. С. Лесков написал «Левшу». Здесь жили Мережковские и Корней Чуковский. Весной 1919 года в одной из пустующих квартир разместилась литературная студия издательства «Всемирная литература». Тут читал стихи Блок, преподавали Гумилев, Чуковский, Замятин, Шкловский, Лозинский. В 1921 году, незадолго до гибели, Гумилев организовал в квартире Мурузи литературные вечера, носившие название «Дом поэтов». Здесь четверть века до своей эмиграции жил Иосиф Бродский.

– Ave, patria! morituri te salutant!..*)

Удаляясь, звучала музыка так бодро, радостно и гордо. Лопались выстрелы, гулкие среди каменных громад. И все шли, шли и шли серые взводы.

И когда я немножко освоился с положением, а ухо привыкло к выстрелам, я заговорил с генералом:

– Вот, ваше п-ство...

Мне и сейчас стыдно за ту злорадную нотку, которая неволью как-то вырвалась у меня. Не знаю, уловил ли ее генерал, но я сам почувствовал ее неприличие.

Генерал повел головой:

– Д-да... эти там мерзавцы – Протопоповы**) и прочие – довели-таки...

У него было благородное стариковское лицо, сухое, красивое, с орлиным носом и немножко выпученными глазами. Мне стало жаль его. Руки у него дрожали, когда он вынимал папиросу из портсигара, – вынул, но так и не закурил. Я знал, что у многих из них, принадлежащих к командному классу, душа была напоена оцетом и желчью – не меньше, чем у любого из нас: Россия и для них – отечество, не звук пустой. Но не было у них крыл того мужества, которое у нас именовалось гражданским, а в их кодексе общественной морали трактовалось как анархическое бунтарство. И был страх перед тем неведомым порядком, который рисовали «товарищи». И не лустым тоже звуком была верность присяге и воинскому долгу. Казалось бы, им легче всего было отсечь пораженный гангреной член от расшатанного организма родной земли. Но... бескрылы и связаны были они, и друг друга боялись...

Реже, но все еще гремели выстрелы. Серая колонна слилась вдали с пестрым морем человеческих голов. Со Спасской все еще выходили солдаты, но это были уже расстроенные, беспорядочные кучки, по большей части безоружные. Кажется, это были литовцы. Высокий, красивый унтер-офицер с Георгиевским крестом кричал, прибавляя крепкие выражения:

– Подтянись! Подтянись! Чего отстаает!

*) Римский историк Гай Светоний Транквилл сообщает, что гладиаторы, выходя на арену, приветствовали императора Клавдия словами «Ave Caesar, morituri te salutant» (Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя). Ф. Крюков заменяет слово «Цезарь» словом «отечество».

**) Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918) — октябрист, член III и IV Гос. дум, тов. председателя IV Гос. думы, один из лидеров Прогрессивного блока. С сентября 1916 г. — министр внутренних дел. После Февральской революции арестовывался Временным правительством, расстрелян большевиками.

Но видно было, что нерешителен и замедлен шаг солдат...

Я перебежал за угол дома, завернул на Спасскую и вмешался в этот серый, смутный поток солдатских шинелей. Он двигался навстречу мне и вблизи казался будничным, ленивым, лишенным воодушевления. «Пропадут», – невольно подумалось мне, и жгало болью отчаяния сердце.

При повороте на Баскову осыпали меня гулкие раскаты выстрелов. У стены лежал раненый солдат. Детские, страдающие глаза его глядели удивленно и беспомощно. Мне нечем было помочь ему, некуда унести – подъезды заперты. С минуту я задержался над ним, бесполезно оглядываясь кругом, оглушаемый выстрелами: стреляли литовцы в окна казарм, чтобы выгнать своих товарищей, которые не хотели примкнуть к ним и забаррикадировались в верхнем этаже.

Подъезд редакции был тоже заперт. Не могу сказать, чтобы я чувствовал удовольствие, стоя перед замкнутой дверью, в узкой улице, засыпанной гулкими взрывами пальбы, звоном стекол, многоголосыми дикими криками. Но... постоял. И привыкло ухо, как будто освоились нервы, заговорила логика здравого соображения: никто не падает – значит, оттуда не отстреливаются и для меня нет опасности.

Солдатская масса все-таки держалась за углом и за стеной – вне возможного обстрела. По временам вспыхивало «ура», толпа сбегалась, окружала кого-то. Но вперед не шли. Чувствовалось отсутствие плана и руководства, непристальность и растерянность...

Кто-то увидел меня изнутри подъезда, пожалел, отпер. Признаюсь, я вздохнул с облегчением: все-таки прикрытие, не так голо и жутко.

Товарищей в редакции не было – как после выяснилось, через мосты в Литейную часть доступ был закрыт. Но была налицо почти вся контора – неустрашимое наше женское воинство. Оно разместилось себе на окнах, невзирая на опасность позиции, и отсюда производило свои наблюдения.

– Смотрите, смотрите: какой-то толстенький пришел...

– Где?

– Да вон, в синей шапке...

– Студент, должно быть? Курьезный какой... Нет, без офицеров ничего не сделают. Как овцы...

– Толстый говорит... махает шашкой...

– Где? где?..

Солдатская толпа, в самом деле, глядела беспомощно и несоюзно. Коротенький, круглый молодой человек в студенческой фуражке, в модном пальто с седым воротником, в штанах колоколом, что-то пробовал говорить. В руках у него была обнаженная шашка без ножен. Он без нужды много размахивал ею. Но, видимо, ни фигура его, ни

слова, ни воинственные приемы не производили должного впечатления. Толпа стояла как толпа, а не как боевая часть. По временам кричала «ура», когда на каменном заборе вырастала фигура солдата из тех, что засели в казарме, и прыгала на улицу. Фигуры эти выныривали и переваливались наружу не обрывающейся, медленной живой цепью.

В конце улицы показались ряды новой части, идущие стройно, в ногу, с офицерами. Литовцы сразу схлынули с Басковой на Артиллерийскую улицу, отошли и стали в отдалении, ожидая, что будет. Подошедшая рота – это были стрелки – заняла выходы из казармы, один взвод стал фронтом к отступившим литовцам.

– Неужели начнут расстреливать? – ахнуло мое женское воинство.

Но Паша, наша прислуга, тотчас же успокоительно сказала:

– Нет, не будут! Посмотрите: вон они делают им знаки, платочками машут...

Я выглянул. Бородатый подпрапорщик-фельдфебель зажигал спичку для офицера, стоявшего перед ним с папиросой. Стрелки из фронта кивали головами и руками делали знаки тем, что стояли перед ними вдаль: «Не робей, мол, ребята, целы будете»...

VI.

*...Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил...*

А. Пушкин

Он покатился с тяжким, все возрастающим грохотом, этот обвал, и рыхлой лавиной завалил расстроенную жизнь. За два-три дня обывательская душа изведала, пережила темную бездну страхов и надежд, радостей и сомнений, бурного восторга и тошных разочарований. На пенистых гребнях освободительного потока увидела она рядом с героическим и самоотверженным обидный человеческий мусор, в кликах ликования и радости режущее прозвучал оголтелый, озорной гам, свобода забрызгана была напрасной кровью и ненужным, озорным разрушением общественного достояния...

Обывательская душа не могла в один момент перевоплотиться в душу гражданскую. Она попросту острее прежнего почувствовала страх за родину и боль беззащитности...

...Ночью перекатывался частой зыбью грохот ружейной стрельбы и мелкозубчатая трель пулеметов. В чутком, морозном воздухе эти зву-

ки рассыпались мягко, как теплый дождь весенний. А тревога мучила сердце: кто? кого? на чьей стороне будет перевес? И висела над душой темная тоска томительного ожидания...

Не было сна. Усталая голова клонилась на руки, мелкая дрожь, как морозная пыль, занималась внутри, ходила по телу. Закроешь глаза – реальный мир уходит, но приходит другой, виденный за стенами, живой и трепещущий, встают лица солдат, фигуры прохожих, и над самым ухом чередой проходят все недавние звуки, стук, грохот...

Утром, едва забрезжил рассвет, я вышел на набережную. Она была перерезана баррикадой из дров – против казарм Финляндского полка. Финляндцы еще не перешли на сторону восстания, но уже бродили в томительном ожидании, прислушивались, перебрасывались вопросами.

– Учебные, черт их возьми, уперлись, пойдут...

– Третья рота вышла...

Затрещала стрельба на осьмнадцатой линии. Минуты через три стихла. Полк с музыкой выступил из казарм и пошел на Большой проспект. Там он смешался с другими солдатами и толпами народа – и никто не знал, куда идти, что делать дальше? Бродили целый день. К ночи мороз загнал восставших в свой угол – в казармы.

В этот день стало труднее ходить по улицам. То и дело раздавались выстрелы – бесцельные, ненужные, озорные, – пугали и нервировали. И были раненые шальными пулями из публики, по-прежнему стоявшей в «хвостах», появились шайки подростков, «вооруженных до зубов», с револьверами, винтовками и солдатскими шашками, Бог весть где раздобытыми. Вид у этих бойцов революции был комически-грозный, но они были не безвредны. Один такой целый полчаса терроризировал участок набережной от осьмнадцатой до девятнадцатой линии. Это был маленький, щуплый, зеленый юноша с петушиным клювом, в лохматой черной папахе, с шашкой «наголо» – он беспрестанно брал «на караул» перед всеми проходившими мимо него солдатами – и с револьвером в другой руке. Всем прохожим обывательского типа он преграждал дорогу и приказывал сворачивать на Большой проспект – «присоединяться».

– Да там и без меня народу – руки не пробьешь, – убеждал обыватель.

– Без рассуждений! Стрелять буду!

– Стрелять? Молод, брат... За стрельбу тоже не похвалят...

Юноша стрелял из револьвера – правда, в воздух, – но вместе с комическим настроением эта энергия, ищущая приложения, и раздражала серьезную часть публики. Два дюжих финляндских солдата подошли к нему, попросили револьвер – «посмотреть» – и спрятали. Обезоруженный воин в страшной папахе после этого незаметно растаял.

И вообще было слишком много натиска – уже тогда, когда для всех была очевидна его ненужность, его излишество. Не раз в эти дни я вспоминал кулачные бои далекого своего отрочества. Была там всегда особая категория героев – около подлинных бойцов, решавших исход боя, солидных, немножко тяжеловесных, скромных. Коротконогими дворняжками около них бегала эта мелкота, трусливая мразь, при поражении непостижимо быстро разбегавшаяся, исчезающая, как дым, – а при успехе несшаяся впереди всех, всех затмевавшая наглостью буйного торжества над сбитым противником. Она была лежачих, топтала, пинала, гоготала, издевалась... Галдела, бесстыдно хвасталась, себе присваивала заслугу успеха...

Не раз вспомнил я эту человеческую породу в дни обвала: чувствовалось несомненное присутствие этой мелкоты и в этом шумном бою, в рядах, делавших революцию. И с каждым часом росло ее количество и достигало порой размеров нестерпимых... Она расстреливала патроны в воздух, громила винные погреба, барские особняки, самочинно производила обыски, поджигала, разрушала то, что надо было беречь и щадить...

Распыленная, стиснутая обычным страхом, обывательская толпа ничего не могла противопоставить этой мелкоте...

Ах, как было много вопиюще ненужного, обидного, бесцельного, душу переворачивающего торжествующим хамством...

Какие-то молодые люди разъезжали на офицерских лошадях. Всадники сидели в седле, «как собака на заборе», – видно было, что не езживали никогда раньше, а теперь добрались и рады покататься всласть, – вид у всех победоносно-гордый, воинственный, великолепный. Но лошади... По измученному, голодному, грустному выражению их глаз чувствовалось, что они понимают все: что не хозяин, заботливый, жалеющий и строгий, сидит в седле, не настоящий дельный воин, каждый едва заметный намек которого понятен и точно целесообразен, – а так – озорник...

Было жаль даже автомобилей, на которых без нужды много и слишком весело катались по городу солдаты и рабочие с красными флажками и винтовками. Битком набивались внутрь, лежали на крыльях, стояли на подножках. Сколько изгадили, испортили и бросили среди улиц машин в эти дни... А сражаться уже не с кем было: остатки полицейских повывлезли с чердаков и сдались. Войска неудержимой лавиной перекатывались на сторону восстания, и покушение вернуть военной силой власть в старые руки было похоже на попытку сплести кнут из песка. Все рассыпалось... С грохотом катился обвал – глубже и шире...

Стало совершившимся фактом отречение. Неделей раньше с радостью, со вздохом облегчения была бы принята весть о министерстве доверия. Теперь пришла нежданная победа, о которой и не мечталось, и в первый момент трудно было с уверенностью сказать самому себе: явь это или сон?..

Но почему же нет радости? И все растет в душе тревога, и боль, и недоумение? Тревога за судьбу родины, за ее целость, за юный, нежный, едва проклюнувшийся росток нежданной свободы... Куда ни придешь – тоска, недоумение и этот страх... Даже у людей, которые боролись за эту свободу, терпели, были гонимы, сидели в тюрьмах и ждали страстно, безнадежно заветного часа ее торжества...

– Нет радости...

– Нас все обыскивают! При старом режиме это было реже...

– В соседней квартире все серебро унесли... Какие-то с повязками...

– Надо же равнять...

– Вот опять собираются, сейчас начнут обстреливать. К нашему несчастью, в этом доме жил помощник пристава. Его уже арестовали. Но почему-то предполагают, что на чердаках прячутся городовые. Ну, обыщи чердаки, если так? Нет. Подойдут и стреляют. А ведь вот детишки... Что переживаешь с ними...

– Звонок. Неужели опять с обыском? Да, обыск. Два низкорослых, безусых солдатика с винтовками, с розами на папах. В зубах – папирсы.

– Позвольте осмотреть!

– Смотрите.

Один пошел по комнатам, другой остался в прихожей.

– Что нового? – спросил я.

– Вообще, военные все переходят на сторону народа. Ну, только в Думе хотят Родзянку*) поставить, то мы этого не желаем: это опять по-старому пойдет...

Я не утерпел, заговорил по-стариковски, строго и наставительно:

– Вам надо больше о фронте думать, а не о Родзянке. Поскорей к своему делу надо возвращаться.

Он не обиделся. Докурил папиросу, заплевал, окуроч бросил на пол.

– Да на позицию мы не прочь. Я даже и был назначен на румынский фронт, а сейчас нашу маршеву роту остановили. Вот и штаны дали легкие, – он отвернул полу шинели.

– Ну вот – самое лучшее. Слушайте офицеров, блюдите порядок, дисциплину, вежливы будьте...

*) Родзянко М. В. (1859–1924) – один из лидеров октябристов. В 1911–1917 председатель 3-й и 4-й Государственной думы, в 1917 – Временного комитета Государственной думы.

– Да ведь откозырять нам не тяжело, только вольные не велят нам...
Не было радости и вне стен, на улице.

Человеческая пыль пылью и осталась. Она высыпала наружу, скучливо, бесцельно, бездельно слонялась, собиралась в кучки около спорящих, с пугливым недоумением смотрела, как жгли полицейские участки, чего-то ждала и не знала, куда приткнуться, кого слушать, к кому бежать за ограждением и защитой.

Растрепанный, измученный хозяин торговли сырами плакал:

– Господа граждане! Да что же это такое! Так нельзя! Граждане-то вы хоть граждане, а порядок надо соблюдать!

Очевидно, новый чин, пожалованный обывателю, тяжким седлом седлал шею брошенного на произвол свободы торговца...

Удручало оголенное озорство, культ мальчишеского своевольтва и безответственности, самочинная диктатура анонимов. Новый строй – свободный – с первых же минут своего бытия ознакомился с практикой произвола, порой ненужного, и жесткого, и горько обидного...

Но страшнее всего было стихийное безделье, культ праздности и дармоедства, забвение долга перед родиной, над головой которой нанесен страшный удар врага...

И рядом – удвоенные, удесятеренные претензии...

Не чувствовала веселья моя обывательская душа. Одни терзания. Но к ним тянуло неотразимо, не было сил усидеть дома, заткнуть уши, закрыть глаза, не слышать, не видеть...

Усталый, изломанный, разбитый, скитался я по улицам, затопленным праздными толпами. Прислушивался к спорам, разговорам. По большей части, это было пустое, импровизированное сотрясение воздуха – не очень всерьез, но оно волновало и раздражало.

– Ефлетор? Ефлетор – он лучше генерала сделает! Пущай генерал на мое место станет, а я – на его, посмотрим, кто лучше сделает. Скомандовать-то это всяк сумеет: вперед, мол, ребята, наступайте. А вот ты сделай!..

– У нас нынче лестницу барыня в шляпке мела...

– И самое лучшее! Пущай...

– Попили они из нас крови... довольно уж... Пущай теперь солдатские жены щиколату поедят...

Я знаю: все в свое время войдет в берега, придет порядок, при котором будет возможно меньше обиженных, исчезнут безответственные анонимы, выявив до конца подлинное свое естество. Знаю... Но болит душа, болит, трепетом объятая за родину, в стружьях и язвах лежащую, задыхающуюся от величайшего напряжения...

В день, когда по всему городу пошли и поехали с красными флагами, я шел, после обычных скитаний, домой, усталый и придавленный

горькими впечатлениями. Звонили к вечерне. Потянуло в церковь, в тихий сумрак, к робким, ласковым огонькам. Вошел, стал в уголку. Прислушался к монотонному чтению – не разобрать слов, но все равно – молитва. Одними звуками она всколыхнула переполненную чашу моей скорби и вылила ее в слезах, внезапно хлынувших. Поврежденный в вере человек, я без слов молился Ему, Неведомому Промыслителю, указывал на струпья и язвы родной земли... на страшные струпья и язвы...

Русские Записки. 1917. № 2–3. С. 195–222.

НОВЫМ СТРОЕМ*)

I.

Иной раз кажется, что уже давно где-то все это видел или слышал, в сонных грезах переживал, переболел сердцем, оплакивал и благословлял, встречал кликами приветствия и проклинал. И все то, что совершается вокруг, так именно и должно делаться, не иначе, потому что в учебнике Иловайского к сведению и руководству так было указано.

А иной раз глядишь: нет, это – наше, новое, оригинальное... Свои бытовые черты, самобытное творчество...

Оглядываешься... Да, свое. Плохонькое, но свое...

– Слово принадлежит гражданину Чикомасову...

– Я – урядник Слещевской станицы Перфил Чикомасов...

Провинциальный театр. На сцене, за длинным столом, – «граждане» в военных, судейских, учительских, инженерских тужурках, в пиджаках и сюртуках. Рядом – кафедра. За кафедрой – оратор в серой шинели, потный и малиновый от жары и очевидного смущения. В губернаторской ложе – архиерей в черном клобуке. Против него, в ложах направо, – богатая коллекция медных буддийских бурханов – скуластые калмыцкие физиономии. Партер заполнен разношерстной публикой. Рядом с офицерами, людьми в сюртуках, пиджаках, иерейских рясах, в учительских, судейских, инженерских тужурках сидят бородастые люди в «потитухах» на вате, суконных чекменях, в бобриковых «дипломатах» и «теплушках», потные, изнывающие от истомы, удрученные...

*) В параллельном или более раннем журнальном варианте данной статьи, которая имела название «Новое (впечатления делегата от станицы)» и была опубликована в «Русском Богатстве» (1917 №№4-5, 6-7), пять начальных абзацев отсутствует, деление на главы не совпадает с газетным вариантом и статья не имеет окончания – возможно, из-за прекращения издания журнала. Текст – за редкими исключениями, которые оговариваются, – приводится по газетному варианту, дополнительно помещены две главы журнального варианта (РБ) [III–IV], опущенные в газетной публикации.

Та публика, которая обычно посещает театральные представления, сейчас ютится на галерке.

Это – казачий съезд в Новочеркасске.

Жарко. Томительно. Делегаты в ватных теплушках, не привыкшие подолгу напрягать внимание, громко зевают, крестят рты, вздыхают рыдающим вздохом. Вправо от меня бородач с забинтованной шеей меланхолически посвистывает носом, уронив огненно-рыжую бороду на грудь, – поза самого напряженного соображения... Беспокойный старичок с серебряными усами, налево, досадливо крикает и вздыхает. Идет доклад земельной комиссии. Догадываюсь, что его казацкому сердцу что-то не нравится. Можно сказать, никогда раньше такого беспокойства не было, как ныне, когда приходится толковать о положении казаков и неказаков, крестьян – местных и пришлых. Жили они себе на Дону, с казацкой точки зрения, как у Христа за пазухой, плодились, множились, наполняли широкие донские степи; населяли города, промышленные районы, торговали водкой, скупали овец и быков, рыбу и хлеб, шили фуражки, сапоги, лудили самовары, выходили на косовицу... И пока казаки несли службу на разных рубежах государства, этот «наплыв» до такой степени разросся, что сейчас на Дону казаков оказывается меньше, чем «Руси», и вся она претендует на земельку – не только частновладельческую, которая в большей части уже перешла в крестьянские руки, но и на казацкую, юртовую... Есть отчего беспокойно крикнуть и сжать кулак...

Думаю, что по этой именно причине старичок, мой сосед слева, сердито ерзает на стуле и вздыхает: досада казацкому сердцу...

Как бы отвечая моим мыслям, он наклоняется ко мне и, прикрывая рот ладонью, говорит гулким шепотом:

– Ну, не уедем отсюда, пока архирея не сковырнем!..

Я гляжу на него с недоумением: что ему архиерей и что архиерею он?

– Поляк (такой-сякой)... Семашкевич! А? Кабыть у нас своих природных архиреев нет, свово корня?..

Я слегка сконфужен: думал вот, что проникаю в душу своего сородича-станичника, был уверен, что она удручена надвигающимися перспективами необычайной сложности, озабочена новым общественным строительством, а оказывается, что в ней гвоздем сидит одна мысль, одна забота – кого бы «сковырнуть»? И в напряженных поисках за объектами ниспровержения мысль эта дошла до епархиального владыки...

«Сковырнуть» – этот модный мотив момента стал боевым кличем и любимым упражнением в самых глухих, в самых прежде смиренных углах взбудораженного нашего отечества. Он пришел сюда со значительным опозданием и усвоен был не сразу – старая заячья психология

была сильна еще в испытанных умах: «как бы по шапке не попало»... Но когда и газеты принесли весть о том, как скovyривают лиц, перед которыми прежде без шапок ставили, – и солдаты, и казаки, пешей саранчой двинувшиеся в родные углы, с победоносным увлечением рассказали, как они скovyривали своих начальников, – начали «кoвырять» и у нас. И сразу вошли во вкус. Скovyрнули должностных лиц «старого строя», выбрали новых. Через неделю скovyрнули и этих и снова выбирали. Работа занятая, веселая и нетрудная – артелью на одного... Увлекала и возбуждала жажду, как морская соленая влага: раз попил – потом уже трудно залить жар... И словно самый воздух был насыщен этим лозунгом: «скovyрнуть»... В каждой вести из столиц слышался он, звучал с каждого серого листка-прокламации, в глухих углах именуемого «афишкой»...

Затаенный зуд ниспровержения, скovyривания, неудержимое желание «пхнуть» кого-нибудь было основным тоном и на съезде. Казалось бы, при массе сложных вопросов, требующих пристального внимания, вдумчивого обсуждения, при массе работы и ограниченности времени – некогда было думать о скovyривании. Но с первых же шагов съезд начал скovyривать. Скovyрнул делегатов от местных – областных и окружных – учреждений, приглашенных на съезд циркулярной телеграммой войскового атамана, скovyрнул по тому единственному основанию, что учреждения служили «старому режиму», скovyрнул представителей от казачьего союза, от офицерского союза, от сословных групп. Стоило некоторым шустрым господам, стяжавшим популярность демагогическими речами, просто-напросто ткнуть пальцем – «это, мол, черносотенцы... уверяю вас, граждане!» – и граждане в бобриковых пиджаках, чекменях и теплушках гулким хором, как на станичном сборе, орали:

– Доло-ой!..

Скovyривали – без долгих размышлений.

Я опоздал к открытию съезда, но после слышал, что было бурно и был заряд – скovyрнуть и Новочеркасский исполнительный комитет, объявивший себя областным комитетом, и войскового атамана, провозглашенного уже революцией.

Работа разрушения или даже простого «скovyриванья», особенно артельная, «кучей», – работа не головоломная, легкая, увлекательная – заразила слабые головы видимыми эффектами. Как-никак, а шум, гром, гам, безнаказанная кутерьма и веселый штурм власти в первый момент давали картину размаха, общественного подъема и пыла. Даже там, где неожиданные «герои», «борцы» были коротко знакомы – ибо и весь плацдарм гражданской борьбы без труда мог переплюнуть любой малец, игравший в лодыжки, – где с явной для всех очевидностью на

гребень неожиданно взмывали или несомненные босяки, или вчерашние мазурики и полицейские, или просто озорные хамы, ничтожные, блудливые и трусливые, – и там сковыриванье облекалось в ризы революционного воодушевления и донные сохранило вид и образ самоудовлеющего действия на пользу «трудящихся»...

К слову сказать, и самые стихии как бы сговорились в этом году взбунтоваться, размахнуться на революционный манер и наполнили тихие степные станицы и глухие хуторские углы шумом и громом разрушения. Зима была суровая, многоснежная, весна – поздняя и дружная, снег сунулся разом. И наша речка Медведица, в обычное время такая тихая, лазоревая, с серебристыми песчаными косами, с зелеными омутами, перегороженная «запорами», осыхающая летом до того, что ребята с удочками, засучив штаны повыше колен, свободно перебродают через нее с косы на косу, – вдруг эта самая Медведица взбушевалась, свалила железнодорожный мост, затопила весь лес, луга, сады, левяды, прибрежные станицы и хутора с амбарами и гумнами и через край залила тихую степь бедой и нежданной тревогой.

Не река, а море: из края в край – вода, зелено-золотистыми островками в ней – вербовые рощи и голый дубняк, сверкающая под солнцем зыбь и далеко-далеко, на самом горизонте, синие горы над Доном.

Ночью – шум разлива, смутный, широкий, несмолкающий. Это река навалила лесу на своем пути и теперь бушует, продолжая работу разрушения, у этой преграды.

Беспокойно и в воздухе. В теплых сумерках звенят птичьи крики и свисты. Зубчатой трелью дрожат в воздухе голоса жерлянов, и меланхолическим барабаном медлительно ухают какие-то басистые водяные жители. По зорям слышны далекие, серебром звенящие крики лебедей и диких гусей... После долгой немоты и оцепенения жизнь шумит, кипит, волнуется безудержным юным волнением.

Разлив широкий, величественный, небывалый. Скромная речка Медведица предстала перед изумленным взором ее исконного обитателя в невиданной красе, в неожиданной силе, в диковинном могуществе. Но сила – обидная, тупая, дикая, разрушительная. Ничего, кроме вреда и убытка... Унесла хлеб из амбаров, сено, солому с гумен, повалила ветхие избенки, опрокинула плетни и прясла, поломала сады, снесла сотни десятин лесу, выворотила ямы, испортила дороги, прорвала мельничные плотины, потопила гурты скота... И – главное – разобщила людей между собой, не оживила, не оплодотворила, а придавила жизнь, остановила созидательную работу, затруднила обычные, необходимые сношения...

А когда упал разлив – осталась та же мелкая, жалкая, заваленная песком речка, с размытыми берегами, голыми песчаными косами и

островами, приютом куликов и трясогузок... Да прибавились горы песку на размытом, испорченном лугу.

Сколько-то песку, сору и обломков оставит в жизни тихих степных углов революция – угадать сейчас мудрено. Но, несомненно, оставит ямы, коловерти, изрытые дороги, разорванные плотины и развалины старинных, привычных учреждений. Разлив ее пришел сюда так же неожиданно-негаданно, как и разлив речки Медведицы, ошеломил, озадачил, сбил с толку смирного, трудящегося, законопослушного жителя, а догадливых и шустрых молодцов взмыл на гребень зыби с одним-единственным лозунгом на устах: всё и всех скovyрнуть!..

II.

В моем родном углу – в Глазуновской станице – весть об отречении царя была принята спокойно. Не то чтобы это было равнодушие к судьбам родины, – а просто привычка принимать покорно к сведению или исполнению то, что укажут сверху, не входя в рассмотрение вопроса по существу. Были люди, которым весть о перевороте принесла радость. Были недоумевающие и спрашивающие: что же это – к лучшему будет, али как? Но были старички и старушки, которые и всплакнули, объятые тревогой: как же теперь без царя жить-то будем? что же это будет?

Однако в обычном, налаженном течении жизни ничто не изменилось: жили, работали, несли повинности, хлопотали и праздновали, молились, бранились, судились и мирились – так же, как и всегда. Пока не появился в станице солдат Ключев из интендантства и строго, как власть имеющий, не спросил:

– Это почему у вас тишина-спокойствие? Почему нет исполнительного комитета?..

Тогда началась революция. Собралось у урядника Кудинова человек с десяток станичников, обсудили положение дел, для смелости распили несколько посудин «самогонки» и послали бывшего стражника, бежавшего со службы Ивана Шкуратова, звонить в набат. И когда на площадь сбежалось изрядное количество народу с ведрами и вилами – предполагали пожар, – урядник Кудинов, бывшие стражники Василий Донсков и Иван Шкуратов, урядник Мирошкин и еще человек пяток объявили себя исполнительным комитетом, а станичного атамана и других должностных лиц как слуг «старого режима» низвергнутыми. Были крики, требования арестовать «старое правительство», но не было определенных и солидных обвинений против него: атаман был человек уважительный, не обижал никого, жил в ладу со станицей. Урядник Кудинов придирался, правда:

– Почему затаил телеграмму?

– Какую телеграмму?

– О новом правительстве! Ты должен был ее вычесть на площади.

– Ее в церкви читали. И манифесты, и телеграммы...

– Прислужник старого правительства!..

Немного больше досталось заседателю – его должность была такая собачья, что приходилось ловить, пресекать и взыскивать. Егор Просвилов кричал:

– Ты зачем у меня водку отобрал? Я за нее деньги платил, а ты отобрал!

Павел Хорь наступал:

– Вентери мои отдай! Отдай вентери!..

Рыболовная эта снасть еще два года назад была конфискована у Хоря за ловлю рыбы в запретный период.

За вентери и Ергаков наседали на заседателя и угрожающе махал пальцем перед самым его носом – дерзость, ранее никогда, ни при каких обстоятельствах не мыслимая. Но заседатель снес. Оробел... И авторитет власти рухнул в глазах станичников не менее стремительно, чем царский трон.

На руинах низвергнутой власти стал «исполнительный комитет», возглавляемый урядником Кудиновым.

Старая власть, конечно, была далека от совершенства. Но и урядник Кудинов, стражник Донсков, гражданин Семен Мантул и другие «комитетчики» не могли рассчитывать на авторитетность в глазах новых граждан.

– Хи-и, Гос-по-ди! – слышались восклицания нараспев. – Что ни самая тоись пакость, а тоже лезет вверх... в число сопатых...

– Давно ли Кудинов-то три целковых с меня по реквизиции взял – корову мне оставил, а теперь: «народное правление, да то, да се»...

– Тулупы-то кто крал при старом правительстве?..

И сам комитет, как видно, не чувствовал прочного упора под собой. Первым его актом была нижеследующая декларация:

«В Облосной временно-исполнительной комитет Области Войско Донскаго Усть-Мидведицкаго округа Станицы Глазуновской Нижеподписавшись Граждани.

Донисение

Носиление станицы Глазуновской въ зволновона отом почему Станичной Атаман необевляит носелению оновом провительстве и опресоединении к нему котораго ждали 300 лет когда взойдет сонца и дождались 4-го Марта нам прочтена отричения

Царя от престола прочитана в церкви священником и замолкло. Но у нас много религии разных которой немогли слышать и вот носилениа невьтерпило 11-го марта Собралися в зданиа станичного провления попросили Станичнаго Атамана г. Сухова из его квартиры стали спрашивать почему вы досих пор нам ниобвеляитя оновом провительстве он ответил отрицательно уменя ничево неполучено унас встаницы заседальский стан сычас же пригласили заседателя спрашивают почему досех пор нам необьявлено о новом провительстви заседатель говорит я с атаману говорил обявя но силению овсех распоряжениях атаман говорят неговорил сычас же потреболи писаря гражданских дел и между прочим оказалось много распоряжения и телеграмм но силение видит должностных лиц несалидорность кносилению и кновому провительству сычас же приступила кообразованию временному исполнительному комитету»...

Новое станичное правительство, выдвинутое революционным переворотом, ввело, прежде всего, полную свободу правописания, как явствует из вышеприведенной небольшой части «донесения»^{*)}. Что же касается личных репутаций, то у большинства членов исполнительного комитета было как раз то, что требовалось и в «хороших домах» – претерпение в эпоху старого режима, судимость, изгнание с должностей, тюрьма, но... – все это, к сожалению, исключительно на уголовной подкладке... Репутации были красноречивее даже грамотности. Но об этом – ниже. Прошу позволения сейчас продолжить характеристику революционного станичного творчества тем подлинным документом, который я уже начал цитировать. В дальнейшем привожу его с возможными грамматическими исправлениями.

«Председателем избран был урядник Кудинов. Сейчас же, присоединившись к новому правительству, прокричали ура – все были рады, что свалился с нас гнет, – порешили 12-го числа отслужить на плацу благодарственный молебен. В два часа отслужили молебен и панихиду за павших борцов за свободу. После этого вся публика пошла в станичное правление. Там народ потребовал от комитета и от станичного атамана голосования. Постановили: станичному атаману, заседателю и другим лицам станичного правления, которые занесены на список, – не имеют доверия за неоказание солидарности к новому правительству и новому режиму»...

Далее идет изложение истории борьбы новой власти и старой. Старая власть растерялась и упустила точку опоры. Но и у новой не

^{*)} В журнальном варианте далее следует фраза: *Станичные представители «старого режима» были несравненно грамотнее. Они были и интеллигентнее.*

было «реальной силы», а репутация отдельных носителей новой власти была такова, что население – даже в момент наибольшего революционного подъема – не могло относиться к ним всерьез. Оттого переворот в станице прошел сравнительно благополучно, то есть без ненужных опустошений и грабежа, – в соседних станицах не обошлось без этого. Хотя и у нас член комитета, бывший стражник Василий Донсков призывал разбить шкафы с бумагами в станичном правлении и сжечь. Был призыв и к разгрому потребительской лавки – не без благожелательного подсказа со стороны местных торговцев. Подавалась мысль произвести обыски у духовенства и местной интеллигенции и братски поделить съестные запасы, если таковые окажутся у них. И уже собиралась кучка запасливых людей с мешками, желающих поживиться на чужой счет, но... – призывающие в последний момент оробели, и решительный шаг не был сделан. Исполнительный комитет предпочел вступить в бумажную борьбу со старой властью.

«13-го числа комитет собрался в правлении. Атаман их выслал, начал иметь на них давление, требовал от комитета постановление подписавших недоверие. Атаман служит восьмой год, привык кричать на подчиненных, что хочет, то и делает. Все боялись сказать слово. Почему? Потому – окружной атаман хвалит его. На выборах, как начинают его болдировать, здесь стоят его агенты, смотрят, куда положил выборный шар. Каждый выборный боится и кладет шар, куда ему приказано, г. Сухов выходит первым кандидатом. Выборные говорят: если не положить шара, агент скажет атаману, тогда атаман не прикажет дать мне из общественной кассы денег. В кассе служит атаманский родной дядя, он же председателем, он же Сухов заведующим по конской переписи, он же щитовод (счетовод), он же и казначеем в раздаче денег беженцам. При мобилизации много вкрадалось зла. С ним служит военным писарем родной брат атамана, помощником – троюродный брат, почетный судья – троюродный брат. Станичные судьи служат по пяти лет, и доверенные служат по пяти лет – атаман не приказывает других назначать»...

И так далее. Бесконечная цепь обвинений – монотонных, зудящих и нудных. Изредка лишь – лирическая вставка, способная слегка повеселить, – и то больше своими орфографическими неожиданностями:

«И вот какой унас в станичном правлении свилси клубок ни похощ ли он настарое провительство протопопова штурмера и александра федоровна Николай 2-й тожа хволил етих лиц атакже Сухомлинова аштожа оказалось»?..

В заключении своего «донесения» глазуновский исполнительный комитет, потеряв нужный тон революционного негодования, «просит», как в заурядной кляузе старого порядка, о ниспровержении «старой власти»...

«За написанием настоящего донесения, просим областной временный исполнительный комитет сейчас же удалить от должности станичного атамана, должность поручить помощнику станичного атамана Сухову, удалить также заседателя г. Рубцова и всех должностных лиц, именно помощника станичного атамана г. Шурунова, общественных доверенных казаков Мохова и Быкадорова, стражника Ветютнева, охотничьего наблюдателя Фирсова, счетовода общественной кассы Сухова, сторожа при правлении Федора Фирсова. К сему донесению урядник Иван Ананьев, Дмитрий Шурунов, неграмотный казак Тимофей Котеляткин, урядник Климент Мирошкин, Иван Давыдов, Яков Попов, Василий Донсков, Петр Рогачов, Иван Шкуратов, Лука Алаторцев, урядник Семен Кудинов».

Подмахнул бумагу полный состав временного станичного правительства. Как уже было выше упомянуто, почти за каждым из этих лиц в прошлом было «претерпение»: урядник Иван Ананьев претерпел за вымогательство и лихоимство, другие – кто за кражу, кто за «захват» чужой собственности и проч.

Но обыватели, хотя и переименованные в граждан, были настолько озадачены и оглушены внезапностью переворота, что лишь с умеренным ропотом вслух приняли на свои рамена это новое иго и заговорили об избавлении от него лишь тогда, когда стало невтерпеж, когда исполнительный комитет начал упражняться в административном творчестве. А начал он лишь тогда, когда областной исполнительный комитет, ничтоже сумняся, признал факт возникновения исполнительного комитета в Глазуновской станице за достаточно законный предлог, чтобы вступить с ним в письменные деловые сношения. Этого и было достаточно, чтобы вчерашние стражники, взяточники и воры почувствовали себя полновластным начальством, призванным «повновому» вершить общественные и частные дела в станице...

.....

[III.]*)

Молчаливое раздумье недоумения и тревожных, затаенных вопросов в темное будущее, плохо скрытая растерянность неизвестности:

*) Главы [III–IV] – из журнального варианта очерка. В газетном варианте эти главы (III–IV) отсутствуют, вместо них идут значившиеся в журнале как V и VI, причем с подзаголовками.

радоваться ли, или плакать? – висели недолго над душами моих сограждан-глазуновцев. Падение царского трона, за дальностью расстояния, никого больно не задело и было принято почти безучастно. Краем уха все – и малые, и старые – слышали отовсюду, что плох царь и министры у него продажные, – значит, дошла точка, надо сменить старых и выбрать новых правителей – добросовестных и твердых, по возможности – которые поправославней, не немецкой веры... Авось, тогда расхлябанный рыдван России пойдет глаже и быстрее...

Но когда урядник Ананьев, так называемый «Барабошка», и урядник Кудинов, и стражник Васька Донсков, и стражник Ванька Шкуратов, Климка Мирошкин и Сомка Мантул, люди слишком определенной репутации, низвергли старое станичное правительство и заняли сами командную позицию в станице, – «новый строй» был воспринят уже вполне определенно – с нескрываемой тоской отчаяния и негодования...

– Что же это такое? Барабошка опять? Да ведь он же клейменный мошенник! Он куски у старцев отнимал, лошадь свою кормил...

– Хутора за куски продал... Недоуздки покрал...

– А Петька Рогачов? Был станичным судьей выбран, года не проходил – прогнали: за полубутылку любое решение выносил. Я ему прямо говорю, – он ругал при мне старый режим: «А ты судьей был, чего ты выделявал?» – «Моя должность была»... Значит, ему можно было двугривенные в карманы класть, а если поп за молебен двугривенный взял – грабитель...

Обличительный зуд, кстати, у новых носителей власти против попов, старых должностных лиц, учителей и всех вообще «по-господски» одетых обывателей станицы дошел до нестерпимых пределов. Васька Донсков объявил громогласно, в услышание всех:

– Теперь, господа, слово слободы!

И публично начал «поливать отца Дмитрия и отца Ивана, потом заседателя, потом старого атамана. Нечего и говорить, что у него тотчас же нашлись подражатели. Ергаков, уже ради потехи просто, как завидит заседателя, орет:

– Эй, ты! вентери отдай! А то я тебя наизнанку выверну!

Молодежь – и прежде озорная, но все-таки сдерживаемая некоторым от старого обычая и патриархального строя идущим пиететом к старикам – совсем сбросила узду, пошла шататься по ночам, раскуривая сигарки на улицах и без всякой предосторожности разбрасывая огонь среди соломенных станичных построек, сквернослова, распевая срамные песни. Бывало, старик какой остановит, пристыдит, а теперь на слово увещания – в ответ десяток трехэтажных ругательств.

– Слово слободы! Слышал аль нет?..

Административное творчество станичных «комитетчиков» оказалось сразу скучным и явно для всех ничтожным до последней степени. Несколько безграмотных «донесений» – в стиле обычных кляуз, в которых и при старом строе упражнялся Барабошка. Личные счеты с подругами, – счетов было достаточно. Угрозы арестом всем, кто возвышал голос против комитета:

– Ты, как видать, за старое правительство? Не солидарен к новому режиму? Смотри-и!..

И Барабошка, и Васька Донсков умели говорить эти страшные слова очень внушительно...

Были покушения на обыски, но нерешительные: комитет все-таки не чувствовал под собой твердой почвы. Васька Донсков повел определенную линию против потребительской давки: до седьмого пота настаивал, чтобы комитет вынес постановление отобрать раздачу сахара от потребиловки и передать купцу Савельеву. Бескорыстие этого усердия было для всех очевидно, – комитет не решился последовать за своим членом, надо отдать ему справедливость.

И ничего, ни малой заботы о том, что стояло выше корыта, что казалось России и переживаемой ею великой страды.

Но была жажда деятельности. Хотелось быть не хуже других. Отовсюду доходили самые волнующие, самые подмывающие вести; в Слащеве комитет постановил обыскать купцов, переоценить товары, Вместо переоценки, произвели просто разгром лавок, товары разделили, перепились, передрались. Посадили в кутузку дьякона, вздумавшего обличать беззаконие новой власти. Приехал благочинный выручать дьякона – заперли в тюрьму и благочинного при общем одобрительном смехе «граждан». В Кумылге бывший каторжник избил учителя, председателя потребительского общества – и опять-таки совершенно безнаказанно. На Фроловом хуторе постановили арестовать самого окружного атамана, если он явится туда. В Михайловке разобрали по рукам не только панскую землю, но и зерно, и машины, и скот... Всюду, где ни послышишь, кипит деятельность: выражают недоверие, «сковыривают», обыскивают, реквизируют, арестовывают или мнут бока...

Валом повалили «служивые», и от всех однообразные новости:

– Мы своего командира – долой!.. Сменили...

– Наш тоже закупоросился-было, не пушал никого, – мы как обступили его да возьми в шоры, он и руки поднял, – «братцы! да что вы? да я... да мы... аль мы чужие? Я ведь сам под началом»... Сковырнули. Прапорщика назначили, – сразу пустил домой... Никаких цыплят!..

– Ехали дорогой – в самом первом вагоне, на мягких диванах, по-господски, – захлебываясь от восторга, рассказывал длинный Вася Слепец.

– Небось, натолочили сапогами-то своими?

– А мать их незамать: за что же мы служим? Буде! Попились из нас крови...

Все это в глазуновских «комитетчиках» не могло не дразнить зуда деятельности, жажды распорядиться. Ближайший сосед – комитет Александровской станицы, захудалой, убогой, небольшой – и тот оказался на достойной высоте положения: не только станичную свою «старую» власть скovyрнул, но раздвинул сферу своих действий даже за пределы станичной территории, или – по официальной местной терминологии – за пределы станичного юрта, вторгся в лежащее рядом войсковое лесничество, низложил лесничего, распил запас напитков, хранившихся в его погребке, прогнал лесную стражу и объявил свободное пользование лесом. И ничего, тоже сошло с рук...

Глазуновский же комитет лишь топтался на месте да тайком совещался о том, кого бы арестовать в станице, кого обыскать. Между тем административная машина в станице совсем стала. Казалось бы, и не Бог весть какая важная была эта машина, а когда пришли в расстройство и наконец совсем замерли ее функции, замер весь распорядок мелкой общественной повседневности, никто не хотел отбывать повинности, некому стало позаботиться о раздаче пособия бабам и беженцам, – и станица сразу огласилась голодным ропотом, – некому было производить необходимые взыскания, дознания, исполнять требования по мобилизации, продовольствию, позаботиться о договорах с пастухами, об устройстве переправ и мостов... Все это незаметное, но нужное, не стал делать и комитет, особенно когда было выяснено, что членам его никакого жалования не полагается. И стало ясно всем гражданам, что новый строй, олицетворяемый пока комитетом с Барабошкой и Васькой Донсковым во главе, ничего, кроме тревоги и расстройства, в жизнь не внес... Мало радости...

– Вот обокрали меня вчера, а кому заявить – не знаю, – говорила казачка, пришедшая ко мне за советом, – пошла к Тимофею, он говорит – «я теперь уже не атаман, иди в комитет», – а комитетчики лишь зубы скалят... Скажите на милость: к кому теперь идтить?.. Бывало, идешь в правление, а теперь начальников много, а толку никакого...

– Ну, что будем делать, Ф. Д.? – спрашивали знакомые старики, – неужели Васька Донсков да Семка Мантул так и будут управлять? Что же выйдет из этого. Бирючья жизнь будет?..

И чувствовалась тоска растерянности в этих несвязных, обрывочных вопросах.

Жизнь не останавливалась, текла по инерции, но с каждым днем паралич власти чувствовался глубже и безнадежнее, а творческая скудость наших революционеров-комитетчиков становилась очевидною и для

них самих. Их угрозы арестами и обысками уже не производили действия, их ругали безвозбранно и дружно, тоска по власти, по нормальному порядку выросла за два месяца действия нового строя до размеров стоны на реках Вавилонских. Но создать эту власть, дать ей твердую опору вчерашние смиренные, распыленные, привыкшие лишь слушаться обыватели, произведенные внезапно в граждан, не находили в себе ни умения, ни силы... У них лишь стоном вырывался вопрос:

– Да на что нам эти комитеты? Нельзя ли без них обойтись?

Но комитеты – как это ни странно – вменялись в обязанность. Так можно было судить по тому, что какая-то власть из центра – иной раз знакомая по наименованию: «временно исполняющий обязанности войскового атамана», а то и совсем незнакомая: «областный исполнительный комитет» – присылала свои распоряжения на имя станичного комитета. Значит, не спихнуть с шеи эту беду...

Я понимал, что с малограмотных, хотя и шустрых, хватов, революционным путем захвативших власть в нашей станице, многого спросить и нельзя. Но вот настоящие комитеты, руководимые интеллигенцией, – они-то уже, несомненно, ведут созидательную работу, они строят новую, свободную жизнь в России, они выручают из трясины несчастное отечество...

Поехал в окружную станицу – Усть-Медведицу. Получил доступ на заседание комитета. Председатель – член окружного суда. Состав – интеллигенция по преимуществу: учителя, адвокаты, судебный следователь, предводитель дворянства, мировой судья, просвещенные купцы.

Вот тут – думаю – наверно услышу то, о чем первее всего комитеты должны ныне думать, говорить и даже кричать: как спасти Россию, как справиться с разрухой, голодом, дезертирством, всякими видами мародерства и захватного своеволия? Это все-таки окружной комитет, он осведомлен о всем, что делается в округе, его задача – серьезна и ответственна, его работа – напряженна и поучительна...

Но... окружному комитету, как оказалось, было не до округа. Заботу об округе он возложил на «старую власть», на окружного атамана, который и тянул добросовестно знакомую старую лямку. А окружной комитет выше головы был завален своими местными неотложными вопросами. При мне рассмотрено было письменное заявление местного гражданина-портного о необходимости заготовления панцырей для армии – по способу, изобретенному оным гражданином. К вопросу отнеслись без должной серьезности, весело и благодушно, однако... с полчаса потеряли, обмениваясь мнениями. Затем следовал доклад об обыске у владельца местного пивоваренного завода – Менцеля. Было оглашено длинное, обстоятельное донесение одного из членов комитета, подслушавшего ночью разговор неизвестных лиц, из которого

явствовало, что у Менцеля скрыты в заводе пулеметы и что необходимо распороть его толстое немецкое брюхо. В силу этого гражданского донесения исполнительный комитет назначил комиссию для производства дознания и обыска в заводе Менцеля. И Менцель, и завод его существовал в нашей степной глуши десятки лет, не возбуждая подозрений. Война поколебала их кредит, но все обошлось благополучно. Революция, как видно, снова принесла волну враждебных подозрений: надо же, чтобы и тут, в далеком от железных дорог степном углу, были и пулеметы, и замыслы против свободной России. В добровольцах, поклявшихся ограждать святую свободу сыском, недостатка не оказалось.

– Менцель представил удостоверение, что он – чех и родители его родились уже в России, – сообщил докладчик, председатель следственной комиссии.

Сидевший недалеко от меня господин с растрепанной шевелюрой свирепо возразил:

– Этим он тень не наведет!

– Но вот удостоверение... от чешской колонии...

– Мало ли! Как проверить, что от чешской. Может быть, самая что ни на есть немецкая... Уж одно: Мен-цель!.. Не со вчерашнего дня знаем его за немца...

Господин с растрепанной шевелюрой очень горячо, по-видимому, брался за немца. Мой ближайший сосед шепнул мне на ухо:

– Это самый автор. Тронутый человек... не все шарики, как говорится, в порядке.

– А кто он такой?

– Сейчас по адвокатской части орудует, а раньше был писарьком... Чем-то там проштрафился, – прогнали. Ну, тут около предводителя все терся, в канцелярии. А теперь – ходатай...

Обыск в заводе пулеметов не обнаружил, нашли лишь пудов двести ячменя и умеренное количество необходимых хозяйственных продуктов.

– Ячмень реквизировать! – сердито сказал ходатай, – на что ему столько? Еще пиво или брагу вздумает варить.

– Может, у него куры есть? – раздался слабый голос в защиту.

– Реквизировать! чего там! – отозвались на это голоса из рядов демократической части комитета.

– Реквизировать-то реквизируйте, а куда денем? – возразил председатель, – надо помещение где-нибудь нанять...

Предложение о реквизиции ячменя не получило движения лишь в силу этого сообщения. Но прения были горячие, даже страстные, и ухлопали на Менцеля не менее часу.

Затем следовал вопрос опять-таки розыскного характера: на каком основании гражданин Шулейкин, сапожник, присвоил себе власть

«председателя общественных молебствий», как он сам себя именовал в своих циркулярных предписаниях, и от всех начальников «отдельных частей», а учебных заведений в особенности – требовал прекращения занятий в те дни, когда ему приходило в голову назначать молебствие о благопоспешении новому правительству? Также – на каком основании тот же гражданин Шулейкин собирал денежные взносы на предмет телеграфных приветствий Родзянке, кн. Львову, представителям армии и разным другим лицам?

– Господа, неужели вам больше делать нечего? – не выдержав, спросил я.

Председатель комитета строго заметил мне:

– Не мешайте мне вести заседание.

– Виноват... Но ведь, ей-богу, это же пустяки... Разве теперь, в такое время, мы имеем право...

– Прошу вас! – еще строже остановил меня председатель. И затем с педантичною обстоятельностью юриста подверг всестороннему рассмотрению вопрос о гражданине Шулейкине, произвел экспертизу над его приветственным творчеством, подписями и проч. Слушая это добросовестное расследование, я сконфуженно чувствовал, как детски легкомысленно было мое вмешательство и ход занятий усть-медведицкого исполнительного комитета... Ибо гражданин Шулейкин был не просто гражданин, а до некоторой степени символ местного двоевластия, местного «совета рабочих депутатов», символ, от которого солоно приходилось не только начальникам отдельных частей, но и широким слоям жителей Усть-Медведицы. Каждый начальник учебного заведения или «отдельной части», получив приглашение гражданина Шулейкина прекратить занятия по случаю общественного молебствия, попадал в положение хуже губернаторского: прекращать или не прекращать? С одной стороны, как будто преизбыточное количество молебствий уже не стоит ни в каком соответствии с интересами свободной России... С другой – уклонись от приглашения гражданина Шулейкина, придет толпа, предводительствуемая им, и учинит допрос с пристрастием: како веруешь?

И для такого предположения основания были вполне резонные. Ибо гражданин Шулейкин вкупе с двумя или тремя десятками других граждан «трудящегося» класса, с гражданином Ермишкиным, Пузаткиным и другими уже проходил по станице с допросами и обысками! Исследованию подвергнуты были «буржуи», начиная с начальника округа – полк. Рудакова – продолжая купцами и кончая самыми смиренными обывателями домовладельцами. В результате обыскной этой экспедиции у Ивана Шеина исчез из погреба бочонок с огурцами, в другом месте пропало белье, в третьем самовар и банка с маринированным сазаном. Однако протестовать никто не решался: ни исполни-

тельный комитет, члены которого позже подвергались допросу и обыску, ни уцелевшие, но загнанные в кут представители старой власти, ни сами «граждане»... Что бочонок с огурцами! дело наживное... Но ведь гражданин Ермишкин и гражданин Пузаткин могут и не одними огурцами ограничиться... Лучше уж перемолчать...

И я видел, что, несмотря на всю свою тщательность, расследование о звании «председателя общественных молебствий» и сопряженных с ним полномочиях, есть занятие чисто академическое, обреченное на практическую бесплодность... Шулейкин, Ермишкин, Пузаткин – это своего рода местный совет рабочих депутатов...

– Трудовой союз, знаете ли, – вздохнул мой сосед.

– Да что вы с ним церемонитесь? – легкомысленно возразил я.

– Да-а... подите-ка! Революционное время... Я не говорю: свобода и прочее... благодарить Бога надо... Но...

Мой собеседник судорожно вздохнул и, нагнувшись ближе к уху, замирающим шепотом горько закончил:

– Идешь теперь по улице и ждешь: откуда тебе свободу преподнесут? справа или слева?..

Знакомая тоска послышалась мне в этом трепетном шепоте.

Просидел я в комитете часов пять. Все ждал, когда закончат об Усть-Медведице и заговорят о России. Не дождался. Ушел, когда разбирали жалобу зрителя острога на надзирателей и надзирателей на зрителя...

Созидательной работы, по которой, тосковала душа, не было и тут, в окружном, все-таки до некоторой степени руководящем комитете. То, что делал комитет, делалось более умело, с большим знанием и пониманием дела, чиновниками. Все это понимали, но все притворялись что то, что они плохо и неумело делают, надо теперь именно им, гражданам, делать. И ни тени не было не только творческого энтузиазма, но даже простого воодушевления. На митингах, правда, – по рассказам, – даже действительные статские советники с большим подъемом выкрикивали:

– Товарищи!.. Народ!.. Граждане!..

Но вся гражданская активность выражалась или в «сковыривании», или в деятельности, похожей на общественную работу граждан Шулейкиных, Ермишкиных и Пузаткиных. Масса же гражданская слушала, с опасением оглядываясь по сторонам, аплодировала ораторам (из опасения или благодушия – всем без различия). И редко-редко вслух выражала свое мнение.

– Нынче на митинге Лежнев здорово махал руками... о свободе...

– Что же именно?

– Вообще – к народной части... «Граждане!» И этак вот рукой загребет... Стал пить воду – стакан расплескал... Смеху!..

Было очевидно творческое бессилие новой России, поскольку она была представлена нашим степным углом. Было очевидно непробудное равнодушие к судьбам родины. Как ни взмывались громкие слесеса, обещание победного конца и т. п., – толпа обычно встречавшая их заученным шлепаньем ладоней, таила в себе, все-таки, бронированное, недвижимое выжидание, апатичное и мутное, прикрытое завесой праздного любопытства, – недоверие ли то было, усталость ли или бездонное безразличие, – нельзя было постигнуть. И самыми выразительными фигурами при этих кликах о войне до победного конца были серые «герои», поплевывавшие шелухой подсолнуховых семечек...

К слову, должен сознаться в полной неудаче своих собственных выступлений перед согражданами и попыток созидательной работы. Не могу пожаловаться на враждебный или холодный прием, – местами были даже очень трогательные овации, с подниманием на руки. И в радости, волновавшей меня в первые моменты, я считал эти приветствия отнюдь не данью моему красноречию – оратор я из рук вон плохой, – а тому призыву – дружно подпереть плечами родину, ей отдать всю мысль, заботу и тревогу, отложив на день грядущий все частное, местное, личные, групповые счеты, дрязги, домогательства. Ничего, слушали хорошо. И моментами могло казаться, что зажигались сердца болью о России, в струпях и язвах лежащей, и вот-вот последует нечто, вздымающее на высоту общественного порыва и восторженного самопожертвования даже самые заскорузлые сердца... То, что было – да, было! – в начале войны...

Но – увы! Как только начинались прения, – местная грызня, дрязги, мотивы собственного корыта смахивали без остатка и впечатление о грозных перспективах, и призывы устремить внимание на Россию, только на Россию, а не на слободы Михайловку, Себровку и Сидорку...

С горестью, в конце концов, сказал я себе, что мои силенки ничтожны, чтобы сдвинуть эту замокшую глыбу, вдохнуть в нее искру пламенного порыва не на одну минуту, не на дешевый гул словесного пыла, а на подлинную жажду подвига и самоотвержения, которая временами не чужда же была русскому народу. Куда она делась ныне, где запропала? Под каким спудом залегла? Какая сила волшебная властно вызовет ее, какой огонь зажжет?..

В итоге выходило как будто так, что вся энергия, весь порыв и энтузиазм ушли только на стихийное ниспровержение, опрокидывание, «сковыриванье» и затем, пожалуй, на стадно неосмысленный захват. А когда ниспровергать стало некого (я говорю про глухие углы), когда все «прислужники старого режима» были «сковырнуты», – почувст-

вовалась тоска бездеятельности, не могли придумать, куда приложить силы и энергию. В поисках пункта для натиска дошли даже до архиерейского дома. Потом начали сковыривать друг друга. На окружной усть-медведицкий комитет восстал комитет слободы Михайловки и... отложился. Образовал автономный удел и комитет хутора Фролова, предводительствуемый каким-то бойким прапорщиком. Прапорщику надо было одно: объявить низложенным полковника Рудакова, окружного атамана, которому станица выразила доверие. Объявил мне – не содрогнулся, – все уже приобвыкли к многовластию и всяческим поворотам, дела – даже очередного – все равно никто не делал, да и делать было мудрено, по-видимому: вздумали было произвести реквизицию на большой скотопригонной ярмарке в Филонове – удалось «замордовать» всего двух лядящих коровенок, и то толпа помяла слегка агента...

А требование момента было таково, чтобы лица, находящиеся на виду, стоящие во главе комитетов, занимающие командные позиции, все-таки не пребывали в сладостном покое, а проявляли хоть видимость действия, шумели, бурлили. Отсюда пошла полоса междоусобного сковыриванья и барахтанья. Один деятель страшными клятвами клялся в преданности интересам трудящихся и обремененных, соперника же своего на общественной арене обличал ни много, ни мало как в провокаторстве. Обличаемый отражал удар еще более страстными клятвами в готовности живот положить за угнетенных, а насчет обличителя кидал как общепризнанную вещь:

– Ведь это же известный охранник... Спекулировал сеном. И по сей час тайно торгует спиртом...

Зрелище выходило развлекательное. Перенесенное на столбцы местной печати, в виде малограмотных, но занимательных полемических статей, оно давало веселое чтение...

Кстати, о местных органах печати. Сколько их развелось даже тут, в глухих степных уголках! В одной слободе Михайловке, еще вчера, можно сказать, на поверхностный взгляд представлявшейся темным царством шибаев, прасолов и кулаков, ныне граждане читают уже две собственных слободских газеты – «Свободу» и «Объединение».

«Свобода» – издание гражданина Скоморохова, претерпевшего при старом режиме (был лишен прав состояния за фабрикацию фальшивых денег) – внятностью напоминает кинематографические листки – рекламы о двухтысячаметровых драмах. «Объединение» – издание союза местных кооперативов – тип маленькой народной газеты. Оригинальнее и красочнее «Свобода». Под рукой у меня единственный номер – 23-й, и в нем две полемические статьи, в которых несколько бледно и смягченно, отражены некоторые эпизоды борьбы главных слободских об-

ществленных деятелей революционного периода – надзирателя винного склада, гражданина Стрижаченко, и прапорщика Лапина.

Орфография подлинника не изменена.

«В № 1 газеты «Объединение», редактором коей состоит прапорщик Лапин, помещена критика, автор которой подписываясь анонимом позволили себе дерзкую и в высшей степени наглядную, насмешку по адресу Акцизного чиновника В. В. Стрижаченко. Будучи уверен, что сотрудниками в этой газете будут силы, принадлежащие только действительно к интеллигентному был поражен, когда автор этой интеллигенции назвал лошадью почтенного Стрижаченко и по мгновению превратил каковую сразу же в птицу. По всей вероятности этот интеллигент, подписавшийся анонимно, есть не кто иной как социал-демократ на истинно-русской подкладке, значит сомнительный... Полагая, что редактор рука об руку с автором этой заметки, я еще более шлю свой ему упрек за его до сих пор не внимание, которым он еще не достаточно проверял г. Стрижаченко, являющимся в Комитет к сожалению лошадью... Отдаю должное г. Стрижаченко, не принявшему на себя этой насмешки, лишь за то, что он оказался на высоте своего прозвания, а по этому умнее и действительно интеллигентнее против ее автора редактора «Объединение» предлагаю по больше объединятся действительно лишь с гражданами достойными внимания. Аллилуев».

Вторая статья переносит вопрос, на первый взгляд, как будто в область исторических и социально-групповых изысканий. Но, в конце концов, спускается, все-таки, опять в плоскость личных счетов.

«По поводу ст. “Казачий съезд”, написанной Лапиным. Г-н Лапин хвастался, что мы как были казаками так и будем ими, были дворяне, крестьяне, и т. п., а стали теперь граждане, но мы свое звание не теряем... В сущности, кто назывался в старину казаком? Были в старину казаки: Стенька Разин, Ермак Тимофеевич и Пугачев, которые подводили под свою присягу служить им верно и Казаковать. На общем собрании 12 апреля г. Лапин выразился, что казаки не отдадут без крови добытую потом и кровью завоеванную землю. Спросить у него, кто завоевал ее? Завоевал Ермак Сибирь, а не Дон, да еще с кем завоевал как с крестьянами, которые бежали от господ. Г-н Лапин писал бы о съезде, но не упоминал бы, что казачий съезд, ведь Дума выработала вопрос, чтобы были все граждане, а не мещане, дворяне, крестьяне и казаки. Гг. Депутаты хотели вывести звание казак, а

г. Лапин гордится этим званием, если я не ошибаюсь то скажу, что он волк в овечьей шерсти: на общественных собраниях говорит, что гг. граждане, нужно объединяться, а сам разъединяет народ. Г-н Н. Лапин говорил, что земля добыта потом и кровью казаков, а где же в это время были крестьяне, мещане и т. п., когда враг шел на Россию! Они защищали ее, да не дано было право говорить им с казаками. Не забыты 1904–5 гг. какое было дано право казаку, что хотел то и делал, а теперь, конечно, отходит все это. Окончили войну с Японией, стала России-матушки чернь земельку просить, ей обещали и вызвали казаков, они и нарезали спины мужикам, но теперь народ стал поумнее, сообразил что не нужен царь, а нужно иметь народное правительство. Вспомните в действительности кто завоевывает землю, как не пехотинцы? Пехотинцы все на позиции кровь свою проливают за свободу да за Русскую землю, а казаки в тылу защищают твои интересы г. Лапин разъезжает то в Петроград то на казацкие выборы в Новочеркасск, нельзя ли граждане выбрать другого председателя, но только не из казаков».

В изустной реальности полемические состязания двух соперничающих групп – сторонников акцизного чиновника и приверженцев прапорщика – были несколько богаче и обильнее крепкими словами, гуще ароматом. Дело естественное – в пылу боевых схваток крепко выражались и сами вожди партий. Для граждан слободы Михайловки и соседних сел, стекавшихся на митинги и заседания исполнительного комитета, тоже похожие на митинги, в зрелище этой борьбы местных титанов было мало поучительного. Но самая зловредная заноза была та, что барахтающимся между собой вождям, чтобы удержаться на верхних ступенях популярности, приходилось все больше и больше угодничать перед толпой граждан-михайловцев, сидорцев и себровцев и содействовать проведению в жизнь самых неосмысленных и беззаконных их претензий. И потому, конечно, это прасолювало. Людям добросовестным, пробовавшим резонно разъяснить неосновательность, несвоевременность, вред самовольных захватов, например, или особо местного законодательства, утверждаемого на принципах готтентотского права и морали, толпа не давала говорить, наносила оскорбления, грозила изгнанием. Вожди делали из этого один вывод: забегай наперед. И забегали. И увеличивали лишь работу разрушения и расстройтва жизни.

Мне пришлось один раз принять некоторое участие в заседании исполнительного комитета слободы Михайловки. В сущности, это был митинг, – собралось большое количество публики: крестьяне местные

и пришлые, купцы, солдаты, казаки, офицеры, чиновники, местная интеллигенция. Были речи. Был призыв – устремить все внимание на важнейшее в данный момент – оборону родины – и ради этого всемерно поддерживать порядок, усилить трудовое напряжение, помощь, жертву и пр. И принято было как будто очень единодушно...

После этого взял слово оратор вида цивилизованно-мужицкого. В не очень складной речи он коснулся самых разнообразных предметов: требовал надзора за богослужением, – ибо духовенство «не очень аккуратно» служило службы, – требовал ревизии местной почтовой конторы, потому что «почта растрчивает наши достоинства», – дал мимоходом пинка какому-то «бабичьему» – по-видимому, женскому – комитету... Закончил неотложной необходимостью «гарнизоваться» по вопросу о помещичьих землях.

– Вот у наших крестьян нет мягкой земли для распаху, а у помещиков она есть, тут же вот рядом... да они просят непомерно высокую цену... значит, как теперь? Время сеять, государству надо, чтобы земля пустая не осталась, а помещик ломит цену. Крестьянину последнюю рубашку, значит, снять?..

– Ну, до последней рубашки далеко, Иван Егорыч, – сказал голос из-за стола президиума...

– Нет. И своя-то осталась, не то что помещичья. Пустили под попас скота...

Говорил крестьянин, не принадлежавший к обществу, которое взяло землю. Прибавил с горечью:

– Сейчас платим 17 рублей с головы им, господам гражданам, а барину летось платил по пяти целковых... Погреют руки.

– А что же комитет?

– Да комитет чего, – они же и комитет, их набилось там тьма... По ихнему и Лапин говорит, и Стрыжаченко.. Комитет – ихний. Рыбу, мол... ловить, мол, во всех водах слободно – в панских, потому что вода текет из высших мочей слободно... – «Ладно, очень прекрасно. А в крестьянских?» – Крестьянские на аренду сдадены, – там не смей...

– Что же, комитет и эти две мерки установил?

– Без препятствий... Боятся же сказать правду: заорут, зазевают... Какие у нас народы?..

Отсутствие элементарного гражданского мужества у комитета, отмеченное моим собеседником, способствовало, между прочим, самовольному установлению местными извозчиками новой таксы: от слободы до станции вместо вчерашнего полтинника стали требовать два рубля, проезд до Усть-Медведиды – шестьдесять верст – оценили в сто рублей. Правда, пассажир стал хитрить: нанимать стали в складчину человек пять-шесть. Но уж и езда была такая: ехал только мешок пас-

сажира, по большей части, солдата, а сам он шел пешечком около тарантаса и садился лишь «под горку»...

Поинтересовался я созидательной деятельностью комитета, – он заявлял теперь претензии на роль окружного.

– С продовольствием хлопочут все. Тысячу пудов – это раньше было пожертвовано – отправили. Ну, и местные нужды, пожалуй, заткнут, а уж для армии соберут, нет ли еще, – ничего не видать...

– Это мало...

– Ничего не попишешь... Некому хлопотать, и некогда: сковыривают один другого, бухаются, – в том и заседания проходят... Поливают один другого неподобными словами... Вчера вот зеленили-зеленили Стржаченку, потом за Лапина взялись. Потом мириться стали... поцеловались... Сколь-то надолго?..

Не было даже усмешки у моего собеседника, – что-то безнадежно-унылое, усталое звучало в его голове. Новый строй, очевидно, принес в его жизнь пока один тревожный сумбур и оторопелость. Ни свободы, ничего толкового, бодрящего, наглядно облегчающего жизнь, он пока не видит. Ждет. Верит. И боится верить:

– Сердце побаливает... Думаешь-думаешь: ялка, мол, к лучшему ли все это: Куда, мол, она стрельнет? Словесно-то выходит кабыть и к нашей части, к народной, а у нас вон какой оборот: своя же братья из тебя сок жмет... Кто бы показал путь... по правильности?..

[IV.]

Было трудненько ездить по железным дорогам и при старом строе, особенно в последнюю осень и зиму. Но революция внесла в эту сторону расстроенной русской жизни свежую струю, оживившую смутные представления о нашествии гуннов, – на рельсовые пути высыпал несметной саранчой новый привилегированный пассажир – дезертир по преимуществу.

Он опрокинул и смел во имя свободы и равенства все обычные понятия о праве на оплаченные места. Ввел в путевую практику захват, самый оголтелый и беспардонный, и вторжения свои начинал непременно с первого класса. И люди, искушенные новым опытом и не искушенные, ныне знают, что билет в кармане еще ничего не гарантирует, пока обладатель его не проникнет в вагон – правдами и неправдами. И большим человеком в жизни путешествующего российского гражданина является ныне носильщик – приходится очень лебезить и заискивать перед ним...

Мне попался, к счастью, парень молодой, белобрысый, – из белобрысых бывают ребята ласковые, мягкие; брюнеты – те посуровее и

изрядно-таки высокомерны: захрипит ни с того ни с сего, как в доброе старое время какая-нибудь особа пятого класса или швейцар солидного особняка. А этот по человечеству вник, вошел в положение.

– Нельзя ли как-нибудь там... верхнюю полочку? Помолчал, подумал. Долго-таки, – очевидно, дело серьезное, – меня даже охватило чувство томительной тоски: придется, мол, хлебнуть горя... Кашлянул силным тенорком и сказал:

– Верхнюю? Почему нельзя – можно: поезд сейчас в депо... Дойти – вполне можно сесть. Даже вполне будете покойны, как летом в санях...

– А можно пройти?

– Почему нет? Пойдемте.

Он опоясал холстинным кушаком мой чемодан, взвалил на спину – пошли. Оказалось, дорога не близкая. Я осязательно почувствовал тут, что только люди опыта и специальных знаний могут не запутаться в этом лабиринте путей и вагонов. И сказал себе, что за знание придется заплатить особо.

Остановились у одной цепи вагонов. Она ничем не отличалась от рядом стоявших. Но когда из какого-то окна или двери высунулась голова в помятом железнодорожном картузе, прислушалась и повернула в нашу сторону треугольное лицо с татарскими усами, цветом смахивавшее на старую солдатскую голенищу, – носильщик уверенно сказал:

– Волжский.

Один глаз из темной шелки приятельски подмигнул ему.

– Вася, отпри-ка там...

Влезли. Как хорошо – даже не поверилось сразу: чисто, свободно и – главное – не я первый. Из первого купе выглянул господин в черной феске, в рубахе, подпоясанной шелковым шнуром, бородатый, большой, мягкий, с солидным животом. За ним – студент в путевой тужурке. В соседнем отделении сидел батюшка с окладистой бородой льяного цвета, с Георгиевским наперсным крестом. В коридоре у окна стоял небольшой, сухой, с орлиным носом артиллерийский полковник. Где-то дальше слышались женские голоса. Совесть моя, глухо меня упрекавшая за то, что на заре нового строя я, как закоренелый буржуй, обывательски лукаво обхожу великие принципы равенства и братства и стараюсь захватить себе, в ущерб остальному человечеству, уголок получше, поудобнее, – смолкла и успокоилась: не я первый, не я последний...

– Вот вам верхняя полочка...

Я вынул две рублевых бумажки и, высоко размахнув ими, жестом широко тароватого человека отблагодарил своего благодетеля. Он потер

бумажки пальцами, поглядел на них вдумчивым взглядом, шмурыгнув носом и лениво, почти нехотя сказал:

– Прибавить надо бы, господин.

– Сколько же? – не без страха спросил я. Он чуть-чуть подумал:

– Ну... копеек тридцать, что ль... Сумма была неожиданная, не вполне понятная, но вполне божеская, – о чем тут разговаривать?

– Трудна жизнь стала, – сказал я так – себе, на ветер, извлекая две марки с портретом Николая I.

– Д-да, хлопотно, – отвечал носильщик, пряча монеты в кошелек. – Пассажиры, как червь, кипит... Однако, как говорится: «Что потопает, то и полопает»... Легкие деньги, они легко и проходят. А есть нынче легкая деньга, кому пофортунит: у нас один ушел из артели – дрова грузит, – не сам, конечно, а сбил человек пяток, они работают, а он заведует. «За неделю, – говорит, – четыреста рублей отложил...» За неделю...

– Это не плохо...

– Имеет свою приятность!..

Даже не верится, что мы когда-то – и не очень давно – только и знали, что ныли да жаловались на пресную обывательскую жизнь. А теперь? Ах, хоть бы денек теперь пожить в сладкой, тихой, спокойной и поспешной той далекой уже, невозвратной, милой, понятной, неспешной жизни!.. Жизнь и теперь, пожалуй, – как сон. Но какой беспокойный, полный тревог, загадок, невероятия, пугающий сон... И как хотелось бы очнуться от его неожиданностей, волшебных превращений и фантастики! Протереть глаза от пыли и сажки, которая заполнила весь свет, как будто какой-то нелепый, сердитый с похмелья печник пришел в старинный обжитой деревенский дом с низкими потолками, скрипучими половицами, дряхлым балконом, пришел, разворочал все печки, набил мусору, поднял облако пыли, высморкался, сделал сигарку и, подпершись засученной, жилистой рукой в бок, равнодушно смотрит на плоды своей работы, ни мало не беспокоясь о том, что потревоженным жильцам некуда приткнуться – все замусорено, завалено, сдвинуто с места...

Вот я – почему я сейчас здесь, в уголке вагона, где-то на запасных путях стоящего? Почему я бросил свою комнату, письменный столик, приличную работу и устремляюсь сейчас на некий съезд, оттуда – на другой? И вот уже два месяца езжу из края в край по России – как будто и дело делаю, может быть и нужное, а может быть ненужное – не знаю... А в конце концов – ощущение беспокойного, фантастического сна и бессильное желание протереть глаза и оглянуться. Все существенно, все реально, а понять не могу: что за голоса за стенами, рядом, почему такие пестрые звучат в них ныне отголоски русской

жизни, – что-то старое, мило-привычное и тут же новое, унылое и смешное, тревожное и досадное?..

– А продолговато нас держат тут, батюшка... По-видимому, голос полковника, приятный баритон с хрипотой и веселыми нотками.

– Это ничего, – отвечает медлительный, мягкий голос. – Я вот кипяточку разлился, – раб Божий Василий помог, – сейчас мы чайку. Жаль вот хлеба нет белого... ситничка, иными словами...

– Есть, батюшка, – отзывается из коридора новый голос, несомненно, принадлежащий проводнику с татарскими усами, рабу Божию Василию.

– Ой ли?

– Шикарный даже хлеб – белый калач... Черствый немножко. Саратовский...

– Давай сюда, милый! – радостно восклицает батюшка. – Вся благодать из Саратова...

– Мерси, товарищ! – весело говорит баритон, – Саратовский? Превосходно!

– Вся благодать из Саратова, – повторяет батюшка и прибавляет, – Прежде у одних министров были товарищи, а теперь сами министры стали товарищами...

Как бы подтверждая и скорбно сочувствуя, проводник говорит на это:

– По правде сказать, неаккуратно делает масса. Я сам – солдат. Но видать, что мало образованы. Неприятно смотреть. Деспотизм сбросили с шеи – это хорошо, но предпочтение все-таки отдавай... А он непременно норовит сунуть да толкнуть человека в чистой одежде...

– Заповедь у них первая: «Дай проходящему лорду в морду», – говорит баритон.

– Так точно, – смеется проводник.

Вздыхает громко кто-то, может быть, батюшка. И звонким-звонким альтом врывается неожиданно, у самой двери моего купе, – детский голос:

– Га-зет, журналов!..

– Веселый журнал есть какой-нибудь? – спрашивает баритон.

– «Огонек» есть... «Вечерняя биржа»...

– Это что за веселье!

Голос батюшки деловито спрашивает:

– А почему «Огонек»?

– Двадцать копеек.

– Мм... у-гу!..

– Не желаете?

– Горяч больно.

– Из книг не желаете ли? «Дама с темпераментом»...

– С темпераментом? – переспрашивает баритон, делая ударение так же, как и малец, у которого звучит это довольно забавно.

– Бебутовой – «Дама с темпераментом», – звенит бойкий альт, – очень хорошо ее книги идут. Вот Фонвизина – «Свободная женщина»... Данилевский есть. Тут вот есть слово Мясников, то вы читайте это Мясоедов...

– Гм... Откуда тебе это известно?

– Уж это верно! А вот книга про Сухомлинова, есть про банкира Рубинштейна – не знаю, жив он, нет ли... «Народная революция»... «Акафист Распутину»...

Мелким, звонким бисером сыпал детский голос слова такие забавные в детских устах, и в бойком потоке этих слов вставало смутное отражение жизни с пыльной паутиной у потолка и мусором на первом плане. «Дама с темпераментом», Мясоедов, революция, стихи о Распутине – в пухлом клубке герои и толпа, вкус, спрос и предложение, наследие старого и новое творчество, наспех пекущее нечто пакостное и ничтожное... Было что-то до боли обидное в этом обилии мусора и отсутствии чего-нибудь серьезного, ценного, достойного внимания...

– Ну, значит, берем «Даму с темпераментом» – сколько за нее?

– Два рублика.

– Од-на-ко... Обдираешь ты, брат...

– Да много ль мне и нажить-то придется? Всего двадцать копеек. По гривеннику с рубля.

– А много ль ты меня убеждал-то? Две минуты каких-нибудь? Кабы мне за две минуты по двугривенному платили, я бы и службу бросил...

Нас двинули наконец. В шуме колес утонули голоса, и «Дама с темпераментом», и Сухомлинов. Я заблаговременно взобрался на верхнюю полку и приготовился к защите своей позиции от сограждан.

Штурм был бешеный до слепоты, все сшибающий и сокрушительный, с криком, визгом, увещаниями и руганью, скорбно-гражданскими воплями и знакомыми словечками из старого русского лексикона. Опрятный, чистенький вагон мгновенно налился взмокшими от пота человеческими телами, загромоذيлся чемоданами, корзинами, солдатскими сундучками и сумками. И когда все входы и выходы были закупорены, густой запах, – тот особый запах, в котором аромат солдатских сапог, шаровар и шинелей оригинально сочетается с запахом одеколona, колбасы с чесноком и светильного газа, – ласково затуманил сознание и окунул душу в мутный, фантастический полусон-полубред...

«Не упускайте из виду, – говорит, – укрепляйте свободу здесь...»

Я чувствую, что этот тусклый голос жует где-то внизу, в кучке сидящих на полу серых фигур, но почему он толчется у меня над самой душой вместе с едким запахом мерзкой папиросы?

«Ваше, – говорит, – дело быть здесь, а там и без вас много. Укреплять свободу... защищать свободу»...

Свобода... свобода... свобода...

Перекидывают диковинные это слово сейчас пестрые голоса, густые и топки, хриплые, гнусавые и детски-ясные, ленивые и нервные, вокруг теснота, смрад, бестолковый гам пререканий, споров, пустословия, – и все же чудесно звучит оно, значительное, широкое, как мир...

.....

III. Речи*)

Немало удивления достойно, что «страна великого молчания» ныне без удержу говорит, говорит и говорит. Можно сказать, утопает в безбрежности разговоров. Миллионы голосов сотрясают воздух – порой увлекательно, язвительно умно, дельно, но больше – бестолково, пустозвонно, нудно или с тупым и темным озлоблением. Пустословием, как шелухой семечек, засыпано все, начиная с церковных папертей и кончая платформами глухих полустанков.

И, правду сказать, что-то потеряла родная страна, вступив на путь безвозбранного многоглаголанья. Чувствовалось в великом безмолвии ее глубокое и значительное: сосредоточенность замкнутой мысли, затаянная боль трагической судьбы, неразгаданная загадка сфинкса. А вот заговорила – и угасло очарование загадочности: слова известные, потертые от времени и частого употребления, иной раз – чужие, непродуманные, взятые напрокат. И громче других – не те, в которых звучит боль и забота о родной стране, а те, в которых преобладают мотивы собственной шкуры и собственного корыта...

Несколько раз проехал я по России за последние месяцы. Пришлось путешествовать в очень разнообразных условиях и порой в оригинальной обстановке. Не ехал лишь на крыше вагона, но на буферах и в кочегарках пришлось ездить, в теплушках – тоже. Приобрел навык проникать в вагон через окно, когда двери забаррикадированы солдатскими мешками и телами. Сутками сидел на станциях, лежал на платформах вместе с мужиками и бабами, разыскивавшими, где купить хлеба. Приходилось ночевать и в реквизированных казенных учреждениях, спал на тюках бумаг, являвших собой делопроизводство не каких-нибудь там старых канцелярий, а самого Совета рабочих депутатов... Словом, вкусил меду от свободного передвижения по «свободнейшей в мире республике»...

И всюду я имел неизменное удовольствие слушать и слышать свободные речи свободного российского гражданина, уста которого не-

*) Далее нумерация глав из газетного варианта, причем с подзаголовками.

давно еще казались прочно запечатанными. Каких только схваток и столкновений я не видел, каких споров и суждений не слышал! Были ослепительно блестящие планы перестройки всего мира; были робкие вздохи о том, чтобы сохранить то, что есть, не ломать старенькое, а осторожноенько, с рассмотрением, бережно починить его; были буйные, озорно гогочущие призывы «взять», и были степенные, но и твердые разводы в тех смыслах, что взять – не штука, а вот как распределить без обиды, без греха?

– Как бы промежду себя ножами не перерезаться...

Когда я, усталый и измученный, укладывался спать на делопроизводстве Совета рабочих депутатов, передо мной стоял вольноопределяющийся в лакированных гетрах, с бритым пухлым лицом и утиным носом и обстоятельно излагал мне свой план освобождения всех арестантов из тюрем.

– Свобода должна быть светом всему человечеству, исключений быть не должно...

Через три дня я прочитал в местной газете, что мой собеседник (фамилию и полк его я хорошо запомнил) избалован в провокаторстве...

И почти все, что я слышал, казалось мне чем-то ненастоящим, не своим, не очень серьезным. В речах, по внешности горячих, со слезой и скрежетом, в ругани, в ожесточении споров было больше спортивного азарта и напускного задора, чем подлинного огня, больше театральности, чем нутра, больше фразы, только что где-то ухваченной и немедленно пущенной в оборот, чем продуманной и выношенной в себе мысли.

И ни у кого не чувствовалось настоящей, сектантской веры в свои собственные призывы, планы и положения. И было очевидно, что для слушающей серой массы грядущее рисовалось смутно и загадочно. Хорошо-то оно хорошо, но как еще выйдет в конечном итоге? А пока – лучше всего, по-видимому, цыганский метод применить. Цыган говорил: «Кабы я был царь, украл бы сто рублей и убег бы...» Недурно бы сорвать что-нибудь в таком роде и – к стороне...

Горизонт революционных мечтаний в народных низах за излишним простором не гнался.

– Земля? Да будет у меня земля – стану я тут, около паровоза, махать? Да сделайте ваше одолжение, ни одна собака на нашей работе не останется!..

– От земли и в шахту, например, вряд ли охотники полезть найдутся!..

– Ну, как же тогда? Всем дай земли, а в шахту некому?

– В шахте машина должна работать... Машиной!

– А чего ты там машиной наколупаешь?

- Чудак, машины такие есть... она тебе успешней человека наколупает.
- А почему тогда уголек обойдется?..

Не помню где, на платформе какой станции происходил этот диспут, – может быть, в Льгове, может быть, в Радакове, на курской ли, или на харьковской территории – не помню: все слилось в одну картину. Кучи лежащих и сидящих солдат, мужиков, баб. Шелуха подсолнушков. Груды людей – здоровых, рабочих, изнывающих от безделья и жаркой истомы, от скуки и безнадежного ожидания чего-то никому неведомого. И похоже, что никто не может понять, дать себе отчет, зачем и почему он лежит в вынужденной праздности здесь, в чужом, незнакомом месте, без дела, без смысла, без радости, неумытый, полуголодный, одуревший от сна?.. Кругом – поля, простор зеленый, сизая бархатная зыбь по ржи, белые церковки на горизонте. И сердце тянется воспоминаниями и мечтой к родному углу... Давеча какой-то жидкий паренек в длинной, мудреной речи, с дрожанием в голосе, глухом, замогильном, доказывал преступность аннексий и контрибуций. Его слушали молча, с тупой сосредоточенностью, глядя под ноги и в поле. Бог весть, какие мысли бродили в головах под мужицкими картузами и солдатскими фуражками, – никто не возразил, никто и не поддакнул...

А сейчас говорят все разом, попросту, без ученых слов: закопте-лый смазчик, лакей с серебреными усами, хромой парень с тростью, мужик в сермяжном пиджаке и полосатых портах, солдаты, старик-слесарь из ремонта. Не очень толково, не очень последовательно, с подковырками и наскоками, но оживленно и рьяно.

– Ну хорошо – земля. А что ты будешь с землей делать? – спрашивает мужик в сермяжном пиджаке, и в пегих, выгоревших от солнца усах его змеится тонкая улыбка.

– С землей? С землей что буду делать? А ты не знаешь, что с землей делают? То самое и буду делать, что ты делаешь...

– Да ведь к земле приложение надо иметь. Ты думаешь, голыми руками ее возьмешь, кормилицу? Голыми руками, милый, с ней делать нечего. Лошадку надо иметь, да телегу надо, да плужок, да борону... Всякое приложение. Все это надо заготовить, милоч!

– Лошадь казна должна выдать трудящему, – возражает смельчак.

– То есть отколь именно она ее возьмет, казна? Из какого источника? Это если мы все позовем по лошадке с казны, то и казна лопнет. Очень свободно. Опять – телега, колесо, сбруя... Ты говоришь: ничем эту работу не стану работать, раз у меня земля будет? А колесник станет на тебя работать, как думаешь? А шорник?..

Мужичок говорил неторопливо, тонким, ласково-язвительным голосом.

– Опять – лошадь, позвольте вам заметить. Вы как об лошади понимаете? Запрёт да поехал?

Он ласково оглянулся вокруг и подождал ответа. Никто не отозвался.

– Нет, она тоже, лошадь, требует, чтобы вокруг нее походатайствовали: сенца, овсеца... Ты встань ночью раз-другой да подложи ей корму-то. Да кладу-то не разом, не заваливай, а аккуратно, а то она половину съест, а половина под ногами у ней будет. В полночь встань положи да зимой перед рассветом встань... А часиков в восемь сам-то чай погоди пить, а ее попой, скотинку, и опять кормку добавь... Вот когда ты живот-то себе промнешь этак раз-другой, так ты, милоч, и о паровозе вспомнишь: эх, мол, любезное дело – часы свои отбыл и лежи на боку... Округ земли не полежишь, милый...

– А тут, думаешь, лежим? Весь день ходишь, как черт, вымазанный... А зимой мороз, снег... Намерзнут сосульки по полпуда – ты отбей да вытри. Ходишь мокрый весь на холоду, на ветру... Ты не кушал? Покушай, попробуй...

– Я кушал... Я-а, милоч, кушал всего и скажу тебе и-мен-но, кто к чему приставлен сызмальства, ту линию и веди, да веди как ни могли лучше, аккуратней – вот и выйдет толк и для себя самого и для дела... Земля? Очень прекрасно. А ты имеешь понятие, как ее разработать, как сдвоить да строить, куда какое зерно бросить? Нет? Ну, и не берись! Отбывай свои восемь часов, бери тростку в руки да на прохлад выходи – проминаж делай... А там, брат, груба работа... За день намахаешься, а к ночи гляди в небо: пошлет ли Господь дождинка?..

Вырастает толпа. В спор вступают новые голоса – одни как бы с разбегу: только что подошел, не успел вслушаться и уже – вцепился колючим орпьем; другие – степенно, рассудительно. Защищающие позицию смазчика бойки на слово, но легковесны. Те, что примыкают к критике мужичка, говорят меньше, но с весом. Третьи стоят, слушают молча – внимательные и суровые, веселые и праздно любопытствующие. Изредка кто-нибудь вставит слово, ни к кому не обращаясь. А то вдруг заговорят двое одновременно, незаметно перескочат на другой предмет и сразу поссорятся друг с другом – из-за того, что решетовцы захватили графское имение и ни десятинки не дали ольшанцам.

– Вам, значит, графская земелька под палец, а нам не к рукам?

– Вам земля подлежит за Песковаткой, а это – нашего барина земля была извечная...

– А с Песковатки нас ивановские в дубье берут... Такие же ленинцы*), как и вы...

– Не имеют права в дубье – на то дадены комитеты...

*) В журнальном варианте после слов *ленинцы* прибавлено еще: *с... дети.*

– Поди-ка ты с комитетом... Они учителя нашего – Семена Ивановича – обезличили... Он к ним благородно, с комитетом, они ему личность набок свернули: ходит теперь с завязанной шеей... Сказано: ленинцы...

– Вот оно, равнение-то...

– Равнение, а молодняк у Ольшанки весь скотом вытравили. Свобода и – никаких гвоздей... За такие подобные дела прописать бы хорошую кондрабушу на задней части, был бы толк... А то – свобода...

Слышатся вздохи – тяжкие, подавленные. В самом деле, мудрена жизнь стала. Как будто и свобода, и посулы большие, а утехи мало в том, что деется кругом, и жизнь по-прежнему трудна и невылазна.

Большой рыжий мужик с длинной бородой, сидя на мешке с каким-то зерном, тягучим басистым голосом уныло рассказывает о своих мытарствах в поисках за хлебом. Он – из Жиздринского уезда, калужанин. Хлеб у них давно приели, подвоз сократился, муки нет ни у комитетов, ни в лавках. Вот и денег много, и заработки – слава Богу – неплохи, а есть нечего. Ребятишки с голоду орут день и ночь. На них глядя, голосят бабы – хоть завяжи глаза да беги!.. Приходится вносить корректив в расстройство транспорта – и вот вместе с объявлением свободы жиздринские мужики взяли мешки и отправились на поиски за хлебом. Ездили в товарных и классных вагонах, в теплушках и на крышах, на досках и на вязках сена, по возможности стараюсь обходиться без билетов, используя широкое покровительство солдат. Ездили в Курскую и дальше, забирали слушок и наугад высаживались на какой-нибудь станции и пускались в странствие по ближайшим селам и деревням.

– Я вот с пятницы вторую неделю тут валандаюсь, – говорил рыжий мужик, тяжело ворочая языком, с запинками. – Вот всего два пуда пошена разжился... Мне вот оно почти четырнадцать рублей стало, пшенцо-то, с билетом, да и то было милиционер отобрал: нельзя, дескать, из губернии в губерню возить... Всё, говорит, старый режим наделал...

– Да чего старый режим? – сердито отозвался корявый картуз. – А новый? Кто запрещает?

– Да комиссары!

– Ну! А кто комиссара выбирал?

– Да такие же, как мы с тобой. Кучка соберется: такого-то! А кто он есть, копни-ка его, чем он воняет, – в это не входят. А через что, собственно, вот у нас сейчас – ни зерна хлеба, ни гарнца муки! У нас кто губернский комиссар? Господин Же-ни-щев! Потомственный дворянин! А в Жиздринском уезде комиссаром и вовсе – живой не-мец!..

Мужик торжествующим взглядом окидывает слушателей. Они стоят, надменно-равнодушные, полусонные, погруженные в свои мысли.

– Да будь у нас хлеб-от, я бы вековечно не поехал сюда! Какая надобность! Пушай он будет десять рублей на месте – стал бы я ездить? Отдал сто рублей – вот мне десять пудов на десять недель... А ведь тут как в аду по мукам ходишь – из деревни в деревню, из села в село. Нет ли, мол, хлеба? Кто продаст, а кто боится: комитеты, мол, иди к комиссару. Ну, идешь к комиссару – по прежнему, староста, – снимешь еще на улице картуз-от: не будет ли, ваша милость, хлеба? Да пока выпросишь пуда два, накланяешься вдосталь.

– И куда хлеб подевался, скажи на милость? – вздыхает голос за кучей мешков.

– Хлеб в народе есть, – отвечает благообразный, белокурый, румяный мужик в сером пиджаке и добротных сапогах.

– Есть, а поди выпроси, – мрачно говорит рыжий мужик.

– Вот та сторона, – белокурый мужик показывает вправо от дороги, – у ней хлеба на всю Россию хватит. Крепко живут. Там у какого мужика если до новины остается меньше двухсот – то у него уже живот болит... Верно? – обращается он к бородатому невзрачному соседу в армяке.

– Верно, – ухмыляется армяк.

– Мы там по пяти пудов крупы достали, – говорит баба с лицом гончей собаки. – Привезли сюда – милицейский присучился: нельзя да нельзя – в одну душу... Да им, мол, что? У нас младенцы голодные! Спасибо – солдаты. С солдатами и ездим нынче...

– Вам, бабам, хорошо: солдат и нагрузит и выгрузит...

– Чего же поделаешь – детишки с голоду сидят...

Одолевает дремота. Вянут голоса, слышны зевки, тяжелое швыркание шагов, солдатские комплименты босоногим девицам, ласковые и сердитые словца, задушевное гоготанье.

– Эх, вот полнокровная-то! Видать, с нашего уезда...

– Уйди ты, черт мордатый!

– Вы не верьте ему, барышня, он – с Ельца...

Я стараюсь вообразить, в каких чертах выльется предполагаемый новый*) строй на этих ржаных полях, каким языком будут тогда говорить между собой граждане и гражданки, – но мысль бессильна проникнуть за густую завесу, отделяющую день грядущий, а солдатское красноречие отвлекает ее в сторону этих нынешних господ положения, вершителей порядка, славных героев дня.

– Что такое служба? – говорит черный унтер в башмаках и в шинели, накинутой на плечи, невзирая на жару. Говорит размеренно, с толком, с приемами привычного оратора. – Служба есть хватк... Кто ума не имеет – уму научит, а кто умен – последний потеряет...

*) В журнальном варианте вместо этого слова: *социалистический*.

IV. Товарищи

От скуки ли, от безделья или по другим побуждениям «товарищи» в защитной форме – как путешествующие в тылу, так и прочно в нем обосновавшиеся – принимают, как известно, наиболее деятельное участие в установлении нового порядка в отечестве и в разрушении старых его форм. Действуют, большей частью, без определенного плана, по наитию, по вдохновению. В одном месте помогут бабам и мужикам провезти мешки с хлебом в классных вагонах, в другом – устным порядком издадут обязательное распоряжение о таксе на яйца, в третьем – задержат поезд или прикажут отцепить часть вагонов, причем помнут слегка дежурного по станции...

Во время своих поездок я наблюдал именно такие, сравнительно невинные проявления солдатского творчества по водворению свободы. Даже в знаменитой «царицынской республике» не оказалось ничего особенно страшного. Солдатский контроль с перевязями на руках прошел по вагонам, проверил билеты у пассажиров в цивильном платье и у офицеров. К прочим же воинам, наполнившим коридор и некоторые купе нашего вагона, отнесся с тем деликатным безмолвием, с каким в дореволюционное время кондукторская бригада относилась к какому-нибудь жандармскому ротмистру или путейскому начальству. В нашем купе товарищ контролер с величавой медлительностью предложил взять доплату грузной даме еврейского типа и господину в фуражке судебного ведомства – у них были билеты второго класса. Дама попробовала было возражать. «Товарищ» с перевязкой на руке спокойно, ледяным тоном сказал:

– Сударыня, в таком случае я передам вас милиции...

Деньги были немедленно вручены товарищу, он передал их следующему за ним. Солдаты в коридоре одобрительно гыгыкнули. В интересах истины должен засвидетельствовать, что никаких доплатных билетов мои спутники потом не получили. Правда, и никакой контроль к нам после не заглядывал – мудрено было пробраться.

Вчерашний обыватель, нынешний гражданин российский, принял эту революционную власть без видимого ропота. Молча несет новую ношу жизни, безмолвно смотрит, как новые самодержцы торгуют выданными им казенными сапогами и штанами, щелкают подсолнушки, услаждаются ханжой, испражняются с крыш вагонов... Почтительно безмолвствует...

Мне жаль невыразимо старого солдатского облика – того, с которым мне пришлось познакомиться на фронте, – в нем была своя красота, трогательная, нехитрая, без блеску, душевная красота и детская круглость.

Я вовсе не хочу приукрашивать дореволюционную «святую серую скотинку» – и тогда солдатская масса в своих низах имела толстый слой «лодырей», симулянтов, бездельников, уклоняющихся – около питательных пунктов, в ближайшем резерве, всегда была непротолченная труба этой публики. Но эти отбросы армии тогда не обладали еще знанием революционной терминологии и лозунгами для теоретического обоснования своего шкурного нерасположения к окопам, держались стыдливо, робко, неуверенно, и не они определяли основной тон русской воинской силы.

Был средний солдат, пестрый, как средний мужик, но объединенный общим колоритом немножко смутного, но твердого, почти религиозного сознания долга, носивший тоску в сердце по родному углу, мечтавший о мире, жадно прислушивавшийся к малейшему газетному намеку на мир, но покорно шедший в бой. Он поражал выносливостью и терпением. Он не был храбр показною храбростью, но был способен рассердиться на противника и в этом особом сердитом состоянии совершал чудеса доблести. Жила в его душе особая – русская – мягкость и добродушие, сердечность под корой солдатской грубоватости.

Его уже теперь не видать, этого солдата. Прошло новое по неозримым рядам армии, и новый солдатский облик вырисовывается уже иными чертами, в которых углы резче, штрихи грубее, благодушный комизм утонул в мрачных тонах пугающего и отталкивающего трагизма, чужие мысли, чужие слова родят в сердце и досаду, и боль, и горькое сожаление*) старого, утраченного... Может быть, пройдет все это, но пока так резко изменился солдат, что даже близкого, хорошо знакомого, тесного своего приятеля – рядового N-ского полка**) – Семена Ивановича я с трудом мог узнать, угадать сквозь эту шелуху чужих слов и чужих мыслей...

Это был чудесный парень, мужичок не из бойких, тихий, скромный, деревенский швец по профессии и в то же время превосходный косарь и пахарь, певчий на клиросе, любитель чтения, еще больший любитель рыбной ловли, а то и просто созерцательного пребывания на лоне природы, где-нибудь на берегу речки Медведицы. Ничего яркого в нем не было, но весь он был такой душевный, славный, религиозно воспитанный, трудолюбивый и в то же время бескорыстно интересующийся вопросами, далекими от повседневных злоб его жизни: звездами, травами, зверями, жизнью чужих народов и судьбами родной общественности.

*) В журнальном варианте на этом месте: *горькое жаление*.

**) В журнальном варианте вместо этого: *83-го Самурского полка*. (В газете, видимо, слова отсутствуют из-за цензуры).

Было ему лет тридцать пять, когда его как ратника позвали защищать отечество. Оставил он жену и трех детей. Пошел в слезах, но это не были слезы ропота. Писал трогательные письма с войны, писал о своей тоске, о боях, о противнике, о том, что видел, о слухах насчет мира... И видно было из этих писем, что все мысли его дома, у своего угла и ни капли воинственного задора в нем нет, нет и злости к врагу – но воин он хороший, надежный, твердый и дело защиты родины исполняет так же добросовестно и усердно, как всякую работу, какую работал в родном углу.

Месяца через четыре он был ранен на разведке, через несколько месяцев лечения где-то в Вятской губернии вылечился и снова вернулся в строй, одним лишь огорченный, что так и не пришлось ему взглянуть на детишек: домой не пустили, признали годным для новых боев...

«Не могу я вам своей скуки описать, очень тоска давит мою душу, – где хожу я, и все тоска меня мучит», – писал он своей семье.

И почти в каждом письме неизменно, где-нибудь в уголку листка, значилась коротенькая утешающая прибавочка:

«Когда я с вами увижусь – не знаю. Пока на войне наши бьют и слышно что-то скоро мир, а хорошо не знаем»...

«Дожидаем мир, так что думаем к последним числам сентября быть дома. Догадываются, что скоро мир. Австрийца начисто разбили, а германца еще плохо разбили...»

Но в письмах к своим приятелям – и ко мне в том числе – он отменял этот невинный оптимизм и с горечью говорил о «проклятой забаве» – войне. Ни капельки воинственного задора не чувствовалось в его строках и в то же время твердо верилось, что долг свой перед родиной Семен Иваныч выполнит до конца.

«Когда мы дождемся покою? Что это за адская за штука да еще злобная и всемирная почти? Бог зло не любит и не потерпит неправедным и обижающим нас, если мы не обижаем. Вряд ли толк будет из этого. Не знаю, что цыгане (румыны) помогут, нет ли. Сейчас толкуются на одном месте. Я расспрашивал много, но разное говорят. Один мадыар – тот указывает, что “немец нас в руки взял и в каждую пропасть нас пхает”. Вижу, недовольны немцем венгры. Хотя и горд Вильгельм, но наскочил на Николая II – исподтишка да исподволоки вместо трех месяцев вот третий год!»...

На войне Семен Иваныч остался тем же славным мужиком, каким был и дома. То хорошее, душевное, ясное, что привлекало к нему мое

сердце, не изменило ему и в самой тягостной обстановке походной жизни, где редкий человек не издергивается нервно, не озлобляется и не грубеет.

«Кротость моя изменилась, – писал мне как-то он. – Я стал груб на слова, хотя только для лодырей, которые лентяят принести себе готового супу и каши. Смотришь: молодой, а ждет, когда ему старик принесет под нос. Выговорю, но выговорю без сердца: нужно Русь обуздать, очень сера. А вообще я имею тут много друзей, каждый с рвением ко мне примыкает. Я не выбираю, что земляк или кто, – только благомерную совесть. У меня приятели всюду хорошие были. Я с какой бы квартиры у поляков ни уходил, хозяева добрым словом провожали: “То е добже, пан, мне с вами, чего мы ни бросим на тебя, как на своего тату, – то есть, отца. – Лучше было бы нам, кабы вы у нас были”... Да, дисциплину я узнал хорошо, и прошел много свету, и видел разные секты и религии, народы и города, видел свет, но лучше нашего Дона не нашел. Был в Киеве, во Львове, в Николаеве и много других, но ничего меня не интересует, ничего не хочу, как речку нашу Медведицу да Крутенский барак и Ближний Березов, – но да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»...

На третьем году войны Семену Иванычу неожиданно подвезло: сопровождал он раненого офицера в Москву, а офицер схлопотал ему место в одном из московских госпиталей. Как ни громадно было впечатление от Москвы, всего пространнее писал Семен Иваныч в своих московских письмах о зоологическом саде, куда «первым делом» отправился он, чтобы поглядеть на тех самых зверей, о которых много читал и любил беседовать. Но своей новой служебной обстановкой он тяготился – природная его добросовестность не изменила ему и тут.

«Санитарные команды ханжу пьют почем зря и то говорят: плохая служба и плохой харч. А что они делают! Меняют, покупают у солдата разные вещи. “Отдавай, солдат: все равно отберут”. Тот за 50 копеек, за рубль отдает вещь, за которую четыре-пять рублей на Сухаревой возьмут. И говорят: плохая служба. На позиции хуже харч бывает, ну, наш русский солдат не обижался никогда, плохой, хорош ли харч, – кушает себе преспокойно. Не знаю, что за выносливость у солдата! Будет ли, нет ли ему почет за нее; вряд ли будет»...

И вот неожиданно пришло новое, пришла свобода и с ней особый почет солдату. Семен Иваныч немедленно известил меня письмом о необычайных событиях, вскоре перестроивших весь его душевный уклад.

«Было торжество в Москве, шли со знаменами, пели разные марсельезы, знамена с надписями: «Да здравствует социал-демо-

кратическая республика и 8-часовой рабочий день!» Шли даже бухары или сарды, тоже несли знамя и пели по-своему. Много я видел разных происшествий за войну, но такого торжества не видал. Остаюсь ваш кум и гражданин Семен Иванов».

После того я получил от своего кума и гражданина еще одно письмо, в котором категорически решался вопрос о Дарданеллах (что проливы нам не нужны) и вообще о целях войны: пора, дескать, перестать валять дурака, лить кровь ради того лишь, чтобы богачи Англии и Франции набивали себе карманы. Усеяно было это письмо новыми словечками, дотоле чуждыми лексикону моего кума, и, может быть, этот новый стиль был причиной того, что в письме кума не чувствовалось уже обычного аромата простоты и душевности. Читал я знакомые кривые строки и думал, что этот наскок и напускное рычание в сторону «исплутаторов» – временный налет в душевном настроении моего приятеля и что здоровый инстинкт выведет его в конце концов на правильный путь.

Но вот весной мы встретились в родном углу, и, признаться, я несколько поколебался в своей уверенности: что-то новое прочно уселось в душе моего друга и дымной завесой спрятало ее прежнюю ясность и мягкость. Кто-то подменил как будто Семена Иваныча: стал он говорить важным басом, втягивать подбородок, употреблять мудреные словечки и – главное – ни к селу ни к городу тоном плохого актера произносить обличительные речи против каких-то буржуев – с напускным пафосом и «дрожаментом», как отметил общий наш приятель, казак Андрей Семеныч, оставшийся на старой точке.

Обрадовались они оба друг другу при встрече, но тут же сцепились на злободневном вопросе.

– Ну, как у вас там, в городах? – спрашивал Андрей. – Что в счет военных действий говорят?

– Более часть говорят о рабочей жизни, – отвечал, важно втягивая подбородок, Семен Иваныч, – говорят также об идее человека, к чему его призывает природа... Нужна ли она ему, война, или нет?

– Так-так-так...

– И конечно, более часть все ждем, чтобы эта проклятая крокодильная война поскорей кончилась...

– Да вы бы не ждали, а взяли бы да кончили... А то кабы нам, казакам, одним не пришлось ее кончать. Что-то мы глупым своим рассудком не поймем вас, пехоту: или вы заробели, кишка тонка, или умны дюже стали – не признаете настоящих вещей, стали называть их обратной стороной?..

Семен Иваныч помолчал и не спеша возразил:

– Хороши законы были даны самим Богом – убивать человека запрещалось, – а сейчас все просвещенные и образованные, а не делают так. Ты говоришь: кишка тонка, заробели... Нет, наши в поле не робели...

– И на печке не сгорят, – иронически вставил Андрей Семеныч.

– Ладно, ладно. А мы постановов вопроса вот какой сделаем: что война, кому она нужна? и для чего? Генералам и офицерам украшать груди заслугами военной славы? или буржуазии – набивать карманы? Душить народы аннексиями и контрибуциями?

– Научился ты ученым словам, Семен, а смысл свой затемнил. Какая там буржуазия, когда на нас лезут, нас бьют, а мы будем то ту, то другую щеку подставлять? Да терпеть я этого не могу, чтобы сдачи не дать! Стыда головушке! Мы, что ль, зачали? Вы зачем наши природные земли-то не отстояли! Ан-нек-сии! Эх ты, крупа! А если он сюда придет, Вильгельм-то, мы тоже должны ждать: милости просим, мол?

– Нет, ты мне скажи, сколько за эту войну побитых и сколько сирот осталось? И за что легли? Какая им награда?

– Убитые получают нетленные венцы...

– Пушай получают их все советующие войну, предлагающие и обсуждающие – такие, как Лойд Джорж и другие. А я вот был эти года как на Страшном суде... А спроси: из какого интересу? Из того интересу, что один властитель вздумал: «Давай себе земли завоюем!» – «Чем и как?» – «Да побьем своих и задушим врага». Другой – тоже. И связали в кошмар войны весь мир и радуются!

– Брось ты эти слова, Семен!

– Я по семи суток разутый и раздетый ходил – имею право говорить и дать советы...

– А я самовидец, как ваша братия продавала казенные вещи... подметки у сапогов отрезали и продавали...

– А я тоже самовидец, как человека изранят, искалечат, а потом что же? Начинают лечить. А как лечат? Да так: нога сведена у солдата от поражения, приходит врач – ка-ак даст ногой по ноге... топнет, а то попросту наступит. В солдату три или четыре пуда, а в докторе – по крайней мере, пудов семь...

– Ну, это ты, Сема, никак, уж пули льешь...

– И этот лекарь сперва переломит пополам ногу, а потом уж лечит. Да и залечит до смерти человека. «Притворяется...» Нет, посадил бы его самого в окопы, да на солдатский обычай, да на старую свинскую дисциплину...

– А что ж по-вашему, и дисциплины не нужно? Дисциплина, брат, нужна, без дисциплины мы все полезем в начальники, никто не захочет подчиняться...

Спор моих приятелей, постепенно захватывая новые и новые стороны современности, дошел до проливов, до Милюкова, до аннексий и контрибуций, до буржуев и трудящегося люда. К буржуям Семен отчислил всех прапорщиков. Верх был за ним, потому что он подавлял Андрея мудреными словами. И хотя чувствовалось, что эти слова – нечто наносное, чужое, но было смешно и досадно, когда славный мой кум и гражданин, тыкая себя большим пальцем в грудь, учительным, не своим тоном изрекал:

– Кружили голову темному человеку, запутывали его, как муху в паутину. И бедному человеку некуда было выйти из этой паутины...

– Да брось ты это, Семен... душу измотал...

– Но да воссияет заря, – не слушая и не вникая, ораторствовал кум, – и лучи солнца да истребят всех пауков...

– Тогда от мух не продохнешь...

Мы, конечно, расстались приятелями, но было отчего-то грустно, чувствовалась потеря единого понимания жизни и общего языка, чувствовалась назойливая власть чужих слов над простым и славным человеком, и ничего не выиграл он от этих слов, может быть, в своем месте и резонных, но в его устах смешных и легковесных. Чужих, странных, необыкновенных слов много вторглось ныне в простую русскую жизнь, и ничего, кроме недоумения – порой веселого, а больше грустного, – они пока не внесли.

– Вот с Точилкиных казак Тужилин на съезде побывал, – рассказывал Андрей, – приехал – прямо заел жену учеными, вежливыми словами. Бык его рогом толкнет, он ему сейчас: «Из-ви-няюсь!» С жены первым долгом по приезде отчет потребовал: «Сколько десятин у нас в земельном фонде? Как у тебя аграрный вопрос насчет посева проса? Почему не управлялась в мое отсутствие? Вопрос исчерпан, я тебе покажу сейчас самоуправление по форме, научишься у меня ходить, как по сырым яйцам...» Прямо – заел, чистый Каин...

Может быть, и нет нового в этом вторжении в жизнь новых слов и новых понятий, пока смутных и сумбурных: было не раз пережито нечто подобное, но нынешний масштаб безвозбранного эксперимента под их флагом на руинах старого уклада вселяет невольную тревогу. Когда «товарищи» уровня (в лучшем случае) моего кума и гражданина Семена Иванова не только выдвигают в интересах своей шкуры спорные лозунги, но и претендуют на безапелляционное вершение общественного порядка и без колебаний вторгаются во все стороны безответной русской жизни – ничего, кроме жути, я, вчерашний обыватель, ныне безмолвствующий гражданин российский, не испытываю...

V.

В первый год войны – и во второй – замолкала песня в деревенских углах, не слышать было гармошки, сосредоточенная боль и мука тревожных ожиданий сцепила землю глубокой немотой, и над тихими полями висело торжественное, почти молитвенное безмолвие. Один напев порой прерывисто звучал в пустынных деревенских улочках – напев бабьих причитаний, в наивных импровизациях изливающий бессильные жалобы и темное отчаяние материнского сердца. Каплями расплавленной смолы падал он на сердце и жег его болью жгучей скорби и безбрежного горя своего. И трудно было вздохнуть от этих монотонно вибрирующих, однообразно замирающих, икающих и захлебывающихся звуков. И, замороженные их жгучей горечью, безмолвно слушали их немые поля...

Было тяжело. Но все думалось: вот-вот будет легче, оживут, зазвучат другими голосами пустые поля, зашумят немые улочки деревенские...

Прошло. Теперь рычит гармошка всюду, звенят песни, шуму – хоть отбавляй, везде – толпы людей, щелкающих подсолнушки, галдящих, спорящих. Почти открытая торговля бражкой, «самогоном», по иной терминологии – «дымкой», «аржановкой». Есть самогон, есть гармошки, и песни, и галдеж, но нет радости, веселья нет, душа по-прежнему придавлена свиновым грузом...

Угол наш глухой и сравнительно тихий. Ни заводов поблизости нет, ни рудников, ни железной дороги. Изредка навернется какой-нибудь большевик в образе дезертира или симулянта, спросит строгим голосом: «Это почему у вас тишина-спокойствие? Почему нет комитета?» Толпа послушает и разойдется в недоумении: хорошо-то оно хорошо – протрясти брюхо буржуям, да где их взять? Кругом, куда ни глянь, свой брат-землероб. Есть с достатком, есть и голяки. Голяков больше. Да поди-ка тронь его, богатого-то, – зубов не соберешь, сам сдачи даст...

Долетают и сюда отзвуки совершающегося. Доходят вести о разгроме армий, о позоре родной страны, доносится муть повсюдного развала, докатывается зыбь озорного своеволия и анархического разгула. И нельзя сказать, чтобы равнодушно внимал этим отзвукам мой согражданин, – вздыхает скорбно, и головой крутит, и языком горестно щелкает, но чувствуется, что все это мелко, поверхностно, холодно, не вспыхнет в нем искра, зажигающая пламя порыва, горючей скорби,

стыда и негодования за опозоренную родину... Нет огня. А он был когда-то в тех же самых людях, простых, черным трудом, повседневной и нудной заботой стиснутых, но временами способных подняться на высоту подвига и самопожертвования...

Осталось безнадежное уныние, упоительная уверенность, что «все мы – ни к чему».

– Поглядим-поглядим да либо стукнем лбами японцу в копыта, – вздыхая, говорит мой станичник Иван Панов, гвардеец саженного роста, – возьмишь, мол, наведи нам порядок... Ты маленький, да умный, а мы большие – дураки...

Этот смиренномудрый, но явно утопический проект поправит отчаянное положение отечества – вот пока все, что самостоятельно избрела простодушная мысль моего дюжего согражданина, скорбящего об отечественном нестроении. Практическое осуществление его мыслится в туманной дали, а пока ближайшая будничная суета и мелкота отодвигает заботу об отечестве на задний план, ибо сидит в глубине душ прочная уверенность, что кто-то где-то должен ломать голову об отечестве и потому авось «образуется» как-нибудь. Да и не все как будто мрачно в этой картине всеобщей разрухи, грабежа и погрома. Вот в Новочеркасске разнесли лавки на базаре и два завода. Хорошо-го мало, конечно, а Гришка Турок веселое письмо прислал: «Вторую неделю пиво дуюм, надоело даже»...

Значит, защитили кое-что при водворении порядка...

– Василья Прокопова сын пишет: «Любезные родители, попала мне ваканция – ни нам, ни детям нашим не прожить того капитала»...

– «Пофортунило», – говорят сограждане, вздыхая не без зависти, – послали их для порядка – остановить грабителей, а они сами попользовались случаем. Кто за пивом бросился – старое пиво было на заводе, а Прокопов сумку с бумагами захватил, а бумаги-то денежные... Сейчас жену выписывает к себе, передать ей – тыщи денег, говорят... Шьют ей сейчас юбки разные, вешечки-подбечки, плюшки-рюшки, чтобы фасонисто было, в городе – там аккуратность требуется... С мылом умываться стала – два куска «Семейного» мыла в потребилке взяла сразу...

Без возмущения, без удивления, без желчи – просто, трезво, практически обсуждается грабительская «ваканция» – главным образом, с точки зрения удачи и безнаказанности. А так как теперь шансы ответственности ничтожны, захват пропагандируется как бы в виде нового откровения, во имя свободы и равенства, грабеж практикуется безвозбранно и кладется, по-видимому, в основу нового общественного строительства, – то и «ваканция» Прокопова при ограблении пивного завода расценивается отнюдь не с точки зрения государственного и

общественного порядка, а просто – как удачное дело, вроде лихого боевого подвига полузабытого ныне Козьмы Крючкова.

Повторяю: угол наш тихий. Новый дух, дух «свободы» к нам проникает туго. Был у нас недели две исполнительный комитет, но когда попросил себе жалованье, новые граждане очень дружно заорали в ответ:

– Это за что? На черта вы нам и нужны, если за жалованье. Нет, послужи за привет, а денег вам ни гроша нет...

Говорили и покрепче. Комитет вскоре после этого растаял, иссякла революционная энергия без поддержки кредитными билетами.

Но по соседству, верстах в тридцати, существуют какие-то комитеты, и в них прочно окопались разные военнообязанные, уклоняющиеся от фронта. Окопались и занимаются тем «правотворчеством снизу», которое в старой кодификации обычного права выражалось кратким «сарынь на кичку!» Под руководством этих комитетов соседи наши, михайловские хохлы, реквизируют у окружных помещиков инвентарь, зерно и землю. За десятину назначили три рубля, а сами сдали соседям по семнадцати-двадцати рублей. По соседству же бабы громят потребительские лавки, требуя сахара. В соседних лесничествах новые граждане по случаю свободы производят истребительную рубку, вытравливают скотом молодняк...

Но у нас пока – слава Богу – тихо. И может быть, на единственной стороне жизни отразилось у нас ошутительно веяние свободы – на изготовлении самогона. Под красным флагом революции фабрикация самогона приняла чрезвычайно оживленный и просторный характер. До свободы власти старого режима принюхивались носами, не пахнет ли где дымком, рыскали по полям, рощам и оврагам, накрывали кустарей-спиртогонов, отбирали их самодельные аппараты. С пришествием свободы все чины присмирели и сократились, а в оврагах, левадах и разных укромных местечках закурились сизые дымки. Создались неожиданные, стремительно быстрые карьеры.

Красой и гордостью местного района на самогонном поприще оказался конокрад и бездомник Филька.

– Я даже куняк могу изготовить, – с гордостью говорит он. – Из слив такой куняк выгоню – лучше французского...

Самогон Филькиной марки ценится выше марки Самошкиной, Тимкиной и других – по пяти рублей за бутылку.

– Градусов шестьдесят крепости и чист как слеза!..

Моральная оценка деятельности новых промышленников и неожиданных талантов Фильки ведется в тонах нестрогих, добродушно-иронических, снисходительных. Изредка в устах стариков зазвучит негодующая нота против свободы самогонной пропаганды, но большинство граждан отзывается объективно и бесстрастно:

– Раз свобода, то и свобода...

– На что-нибудь сказано: «Свобода воли»... Вот и вольничают...

Покорность «свободе» как новому игу в смирном быту смирных трудовых людей носит тот же оттенок, как и безропотное подчинение произволу в доброе старое время.

– Поди-ка вот, укуси его, Фильку. Он при мне – я сам самовидец – атаману заявил: «Протоколить протокольте, а аппарат я не дам; силой отбирать будете – стрелять буду! Достаточно, отошло время! Нынче власть – народная!»

– Слобода воли, – вздыхая, говорит стариковский голос уныло и горько.

Чувствуется в этом оригинальном сочетании великих, волнующих слов то своеобразно-нелепое и уродливое, что вошло в жизнь, бедную светом, достоинством, порядком и правом, и вместо озарения внесло в нее озорство и попрание всякого представления о праве и порядке. Все можно. Успех венчается если не прямой хвалой, то почтительным признанием. И даже то, что вот бездомный и бездельный Филька за пять месяцев нового режима расцвел пышным цветом и ныне, не стесняясь, швыряет деньгами, – даже это возбуждает зависть, почтение и отчасти – чувство национальной гордости.

– Поди ты вот, – говорит гражданин из солидных и рассудительных людей, – все говорят: немец, дескать, дошлый на все участи – машины там, составы разные, газы, а мы вроде дикарей-эскимосов, которые живут на мысе Доброй Надежды и питаются сырым раком... Темны, ничего не можем. Но вот – Филька: самоучкой коньяк делает – до чего достиг!.. Обулся, оделся, купил лошадь, корову и – чем черт не шутит – может, и тулуп к зиме справит... Вот: безо всякой науки, с двумя чугунами... А обучи его, обтеши мало-мальски – он, может, такой бы удушливый газ сделал, что без ножа Вильгельма зарезал бы...

– Немец, он, конечно, машинами, а у нас смекалка работает...

– Машина у нас нейдет – грунт неподходящий, – говорит гражданин из-за спин толпы.

– Истинно! – подхватывает другой. – Я нынешней весной нефтонобил на бурой кобыле обогнал... Ехал из Михайловки, до Серебряка доезжаю, он мимо меня – ффррр... так и профитил! Позавидовал я, признаться: удобная, мол, штука, ни корму ей, ни ухода – сел и кати... Однако к Левиным спускаюсь – гляжу: народ... Что за оказия? Подъезжаю ближе, гляди: нефтонобил сел в сугроб... Фырчит, сопит, колеса ему бичевами обвязали, а нет – не берут пары... Разгонит-разгонит назад, даст с разбегу – вертятся колеса, а пары не берут... Ну, я поглядел и поехал себе... Не успел на гору подняться, он опять уж мимо меня – фрр... и пошел чесать! Ладно, еду себе не пеша. До колодца

доезжаю, глядь – опять мой нефтонобил сел в барачке. Подъезжаю. «Доброго здоровья!» А они округ него суетятся, сдвинуть хотят, а сил нет... «Сколь далече, мол, едете?» «Да едем вот по казенному делу в Слещев. Выручай, пожалуйста». «С моим удовольствием!» Достал бичеву, зачалил за хвост кобыле, кобыла вытащила нефтонобил на гору. «А в Слещев, говорю, вы не проедете». «Да мы и сами, – говорят, – видим, что не проедем. Только что же нам делать?» «Езжайте назад да наймите лошадок... Дело вернее». Ну, постояли-подумали и повернули назад... Так и зафитилили... А я на своей бурой кобыле, не спеша себе, поехал вперед...

– Так-то вот оно... Это – не машина!

– У нас грунт особый...

– Особый...

– А ежели бы нас обтесать мало-мало... На всю Европию было бы удивление... Вот, мол, были дураки – средней руки, от земли не подынешь, а что вышло! Какие коньяки делают!..

– Шутить шути, а Филька вон в буксовых сапогах ходит... Это имеет свою приятность!

Глухой наш угол остался в стороне от того упоения завоеваниями отечественной революции, в пылу которого некоторые «вожди» неосторожно перелицевали затасканный, старый плакат «шапками закидаем!» в новое, не менее пышное заявление: «Русская демократия покажет миру»... и проч. Глухой угол держался и держится умнее. Легкая ирония над собой, горький результат полученных уроков, стала здесь основным тоном нынешних бесед. На гнев и негодующую, целительную скорбь, по-видимому, пока «нет паров». Патриотический подъем покрылся изрядным налетом пепла, и Бог весть, какой ветер способен раздуть его ныне в пламя яркое и бурное...

Пока – звучит гармоника, звенят песни.

VI.

Прошло как будто и немного времени – каких-нибудь пять-шесть месяцев, – но за этот срок даже в глухих углах создались неожиданные, ослепительные карьеры, расцвели местные знаменитости. И не только расцвели, но, достигнув мыслимых вершин славы, успели уже и низвергнуться в пучину свиста и враждебных криков изменчивой толпы. Бурно-стремительный темп событий, как вихрь-круговорот, закружил в своем беге весь придорожный сор, вынес наверх куриное перо, солому, перекасти-поле, клочок собачьей шерсти, забил пылью глаза и нос, наполнил свет шумом, мутью... Эффект значительный – и снова сор кругом, даже там, где доселе было опрятно и чисто...

Поначалу, в момент первых шагов революции, в пору гражданского ликования и гражданских празднеств, бразды правления и распоряжения у нас попали в руки сапожника Тулейкина. Именно он, доселе рядовой представитель сапожного цеха, неожиданно оказался человеком инициативы и собрал граждан – при первом известии о перевороте – на общественное молебствие. Именно он произвел сбор бумажных семиток и копеек в свой картуз на предмет посылки телеграфных приветствий разным учреждениям и лицам. И таким образом выдвинулся – в несколько необычном, но в условиях революционного времени всеми признанном звании «председателя общественных молебствий» – в вожди народа при дальнейшем «расширении и углублении» революции в наших местах.

Это расширение и углубление началось с действий сравнительно невинных на посторонний взгляд – с манифестаций и молебствований. Но вскоре все присутственные места и все должностные лица, особенно начальники учебных заведений, увидели, что бремя нового режима порой столь же тяжело и неудобно, как и злополучная ноша старого порядка. Чуть не через день все учреждения получали циркулярное предписание – за подписью «Председатель общественных молебствий Тулейкин» – пожаловать на молебствие сегодня на старой площади, завтра на базаре, на следующий день – в Воскресенской церкви... И так как уклонение, при повышенном настроении народной массы, руководимой Тулейкиным, могло быть истолковано как приверженность старому режиму, то директора и начальницы учебных заведений покорно выстраивали в пары своих питомцев, председатель суда отменял заседания, казначейство прекращало операции, магазины и торговые заведения – закрывались, и все граждане, без различия возрастов и положения, тянулись к указанному часу то на старую площадь, то на нижний базар.

Пролетарское празднование – 1 мая (по новому стилю) – Тулейкин пропустил было. Узнал по отчетам газет о состоявшихся празднествах в городах и ахнул: как же так мы опростоволосились?

И хоть не очень удобно было назначать его задним числом – назначил на 30 апреля. «Чем мы хуже людей?» А соседняя большая слобода при железной дороге вовремя «переставила календарь» и вовремя отпраздновала пролетарскую маевку, чем очень-таки возгордилась перед нами. Правда, не всё гладко вышло у нее с этим праздником, потому что хуторские казаки и хохлы, приезжавшие за покупками, подняли бунт по случаю закрытия торговли в будний, по их мнению, день.

– Время рабочее, один день год кормит, а вы тут с митингами... Давай сюда комиссара!

Комиссар, взъерошенный и угнетенный человек, долго и напрасно махал руками, убеждал и доказывал.

– Праздник всего трудящегося мира!..

– Мы – православные, мы – не католики!..

– Гражданский праздник...

– Ну, мы – не граждане, мы – землеробы, народы степные, неграмотные... Нас работа ждет.

Торговцы были на стороне землеробов, приказчики держались пролетарской табели. И когда землеробы, перемигнувшись с купцами, попробовали сделать нужные покупки в открытых на одну осьмью дверях, явился комитет, явилась милиция и – пресекла. Правда, милицию при этом слегка помяли, но пролетарский праздник при этом удалось-таки отстоять от нарушения.

Наша первомайская манифестация 30 апреля, с флагами и плакатами, вышла не совсем удачной, потому что день выдался холодный, ветреный и пыльный. К смотру, однако, явились все местные учреждения, союзы, партии, общества и гражданские группы с соответствующими плакатами из кумача. Трудовой элемент с плакатом, гласящем о 8-мичасовом рабочем дне, был представлен хромым Жаровым, местным портным, почтальоном Забазновым, из кузнецов ушедшим в почтальоны по соображениям, связанным с военной повинностью, и самим Тулейкиным с кумачной лентой через плечо. В сущности, требование 8-мичасового рабочего дня было направлено ими к самим же себе, ибо и Жаров, и Тулейкин – оба могли не обвиняясь сказать о себе своему рабочему инструменту – игле и шилу, – как пахарь Кольцов своей сивке:

Я сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин*)...

Но раз полагалось по этикету, чтобы был налицо плакат о 8-мичасовом рабочем дне, – он и был.

Под полотном «Свободный и независимый суд» тяжело и уныло ковлял почтенный бородач – председатель местного окружного суда – и два товарища прокурора, а немножко в сторонке, по тротуару, – прочие чины магистратуры и прокуратуры.

Варечка Дурасова, посиневшая от холода, в прозрачной кофточке и чрезвычайяно короткой юбочке, шла под плакатом «Равноправие женщин».

*) Из стихотворения А. В. Кольцова «Песня пахаря» (26 ноября 1831):

Весело на пашне.
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин.

Над гимназическим оркестром колыхался портрет Керенского, на скорую руку изображенный доморощенным художником. Реалисты взбодрили изображение носатого господина в шляпе, которого одни считали за Чхеидзе, другие – за кн. Львова^{*)}. От порывов ветра мотались из стороны в сторону и еще какие-то изображения, смятые и запудренные пылью. Никто не мог пояснить, какие деятели и борцы были увековечены на них. Старушки у церковной ограды, оставшиеся при старых воззрениях, подсчитали эти потрепанные лики и сказали:

– Один царь был – не показалось что-то, теперь сразу восемь стало, а будет ли толк какой?.. О-о, Господи!..

Полагалось быть речам – были речи. Оказался приезжий оратор – говорили, из ссыльных или из эмигрантов: человек, во всяком случае, очень тощего вида – несомненно, долго голодал. Он выкрикивал какие-то слова, тотчас уносимые ветром вместе с сухим конским навозом, и совал во все стороны кулаками. Эта горячая жестикуляция произвела наибольшее впечатление на граждан.

– Вот, брат, – почтительно говорил около меня слушатель с льяным пучком на подбородке соседу, – здорово руками махает!

– Н-да... о свободе... иначе как же...

– Стакан взял в руки и воду расплескал на пинжак... Смеху!

Так вступал в обиход тихой нашей жизни «завоеванный» новый строй, открыв шествие свое общественными молебствиями и празднествами. Внове и в умеренном количестве манифестации и публичные молебствия не представлялись удручительными. Но когда разохотевшиеся руководители, вчерашние обыватели, нынешние граждане, всю свою энергию направили в сторону торжества, все почувствовали тоску и недоумение. Что же это, в самом деле? Дети бросили учиться, ходят лишь по улице с красными флагами да орут песни, Тулейкин перестал шить сапоги, пишет лишь свои приказы о молебствиях, почтальоны махнули рукой на доставку писем, прочий мелкий должностной люд почувствовал необычайный зуд красноречия, писарьки и темные ходатаи по делам громят в речах старый режим, мародеров тыла и какую-то буржуазию... И всё одно и то же изо дня в день... Пора бы уж остепениться, отдохнуть от праздников и митингов за простым, нужным, будничным делом... Теперь уж всё на виду, всё пойдет гладко, стройно, разумно, новый порядок выметет продажность, воровство, безответственность, устранил разруху – пойдет на поправку родная страна...

^{*)} Чхеидзе Н. С. – один из лидеров партии меньшевиков. В 1917 председатель Петросвета, ВЦИК. После революции в эмиграции.

Кн. Львов Г. Е. – политический и общественный деятель, председатель Союза земств и городов в годы войны. Министр-председатель Временного правительства первых составов.

По наивности и невежеству в нашем углу почти все думали, что в особом углублении и расширении революции нет настоящей необходимости, но о России подумать надо. Вышло иначе. Извне, из туманных далей все настоячивее звучал лозунг: расширять и углублять революцию! И с того момента, как в местной газетке, появившейся на свет в апреле месяце, местный частный ходатай по делам Кобелев, бывший писец у прокурора, раскостил на все корки Милюкова и прочих «буржуев», пошло дальнейшее практическое ознакомление с расширением и углублением. Гражданин Тулейкин оказался слишком умеренным и недостаточно энергичным в смысле общественного руководства, на два корпуса обошел его гражданин Ермишкин, ставший во главе «Трудового союза». Во имя расширения и углубления революции человек двадцать членов трудового союза под предводительством гражданина Ермишкина стали производить обыски у остального гражданства с целью обнаружения запасов... сахара. Успели обойти десятка два домов в первый день, но уже на следующий день своими действиями вызвали контрреволюционный протест, ибо после посещения членов трудового союза у гражданина Ивана Шеина исчез бочонок соленых огурцов и два венских стула, у гражданки Ульяновой – самовар, в третьем месте – белье, развешенное для просушки во дворе. Милиция была засыпана жалобами – та самая милиция, которая при обысках предупредительно сопровождала трудовой союз, руководимый гражданином Ермишкиным. Но другой власти не было – старое начальство хотя и мыслилось еще начальством, но было подвергнуто гражданином Ермишкиным обследованию наравне с мелочным торговцем Шеиным.

Бог весть, как бы вышла милиция из своего трудного положения, если бы сам гражданин Ермишкин не сконфузился и добровольно не отстранился от активной деятельности по углублению революции. Произошло ли это от недостатка уверенности в своих силах или от совестливости – сказать трудно, но вообще некоторая конфузливость – конечно, очень умеренная – отличает местные революционные активные силы от их идейных вдохновителей. Подолоховцы и пичужинцы, например, захватили казенную лесную дачу, вырубili лес, вытравили скотом молодняк и затем... застыдились.

– Зря... ах, зря сделали... ничего хорошего...

– Граждане, граждане... а какие мы граждане, раз порядку не признаем, начальство обругиваем...

– Одно самовольство, никакой правильности. Вон Бирюков себе на два дома лесу навалял, а мне какие-нибудь две сошки лишь припало получить. А коснись дело ответа – в одной каше будем...

– Опять лесные поляны – сколько добра вытравили! Кто же попользовался? Скотинный народ, у кого скотины много. А у меня ее нет, ско-

тины, – я при чем остаюсь? Нет, ты соблуди да произведи равнение – вот это будет правильность... А то – одна свобода, больше ничего...

Нечто вроде конфуза можно наблюдать сейчас и у соседей наших – Михайловских и Старосельских хохлов. У тех тоже выплыло из недр демократии несколько людей, поочередно свергавших друг друга в междоусобном состязании на арене «правотворчества снизу». Был прапорщик, был акцизный чиновник, обоих опрокинул бывший городской Прохвятилин, на спекуляциях с мукой округливший свой капитал, – он со слезой мог сказать о последней крестьянской рубашке, а главное – всегда необычайно кстати указывал на соседние «панские» земли, панские запасы и панский инвентарь... Землю, конечно, отобрали еще с весны. Оценили в три рубля десятину, а сами сдавали под попас – по 17 руб. с головы. Похозяйствовали на совесть в панском лесу. Кстати решили, что и сад панский, в сущности, подлежит народному использованию – взрошен не панским, а мужичьим трудом. В поле собрались двумя волостями, приехали на телегах – снять фрукты. Сторож, пленный русин, вздумал было ограждать частную собственность, но его в несколько минут ухлопали дубьем. Потом этими же колыями стали сбивать фрукты – кто сколько успел. Покончили и с садом довольно быстро, разъехались. И совершенно искренне сожалели после того о случившемся, особенно об убитом пленном...

– Напрасно мы его... парень не плохой был Залещик... Ведь крестился перед нами, молитву читал...

– Зверье, а не люди! В трех местах голову проломил... А чем причинен человек? Его приставили к делу, он свое дело сполнял...

– Сад-то, сад-то какой загубили! Что добра было – обломали, загадили: никому, мол, не доставайся... Ах, зверье! Скотина безрогая, а не люди... хуже скотины! Эх-ма-хма! Свобо-ода!..

И полегоньку начинает расплзаться сомнение в умах насчет этой самой свободы, которая вошла в жизнь с таким неприглядным ликом. По-прежнему ряд местных вождей и знаменитостей, раздираемых ожесточенной междоусобной распрей из-за первенства, и набежные со стороны ораторы – по-видимому, возник уже такой отхожий промысел, – махая руками, сотрясая воздух прочувствованным дрожанием голоса, говорят, вопят до хрипоты об «его величестве» народе и завоеванных им свободах. Народ слушает. Не с прежним интересом, но слушает. Прежде безмолвствовал или кратко поддакивал – очень охотно, соглашаемся: что же, всё как будто к народной части, сулят много, дело не плохое... Теперь попривыкли, осмотрелись, подвели кое-какие итоги.

О порядке лучше не говорить. Но вот – товаров уж совсем нет, никак и никаких. Бьемся, мечемся из стороны в сторону – нигде ничего не достанешь.

– Вот до чего дожили – дегтю и то нет! Это – в России! А без дегтю не поедешь: сопля и густа, да ей не подмажешь...

– Голопузые скоро будем ходить...

– Чирики обошлись мне двадцать рублей. Спасибо, еще зимой я успел ухватить две пары – по шести целковых обошлись...

– Бывало, косили за рубль в день. Да я на этот рубль куплю всего: чаю, сахару, кренделей, да еще и останется. А теперь-то за три-то рубля поесть та-ак себе... лишь-лишь...

Русское Богатство. 1917. № 4–5. С. 291–315

Русское Богатство. № 6–7. С. 192–209

В УГЛУ

1.

Когда-то – и не очень даже давно – люди, среди которых я сейчас живу, говорили о себе так:

– Мы какие народы? Степные мы народы, безграмотные... навоз в человеческой шкуре... Живем – быкам хвосты крутим, как жуки в земле копаемся, – где нам с другими народами равняться? Китайцы и то вот свою династию сдвинули, а мы ни о чем такомнисколько не понимаем. Наша жизнь – в одном: казак работает на быка, бык – на казака, и оба они – два дурака...

Может быть, в этом наружном самоуничижении было больше наивного лукавства, чем искренности, но характеристика бытового круга была близка к истине: люди были непритязательные, смиренные, трудолюбивые, в меру зажиточные. Налаженным порядком работали, плодились, наполняли землю, орошали ее трудовым потом, жили крепким порядком, тихо и ровно. И даже после февральского переворота – долго мне так казалось – не было на всем широком русском просторе угла более безмятежного, чем моя родная станица. Спряталась она в сторонку от железных дорог и политических «деятелей» с их социальными экспериментами и осталась верной старым навыкам и обетам.

Но к годовщине «бескровной» нашей революции мутная волна революционного гвалта и беснования докатилась и сюда, в безвестный закоулок, изрядно равнодушный ко всем переворотам. На гребне ее принесли обрывки, обломки, сор, грязь, разная мерзость. Все это лавиной засыпало тихую жизнь. Испытанные устои мирно-трудоового порядка несомненно дрогнули...

Представление об отечестве здесь всегда было довольно смутное. Имелась соответствующая словесность насчет долга присяги, но, нечего греха таить, практика этого долга ущерблялась шкурными соображениями при всякой возможности. Нельзя сказать, чтобы не было в сердцах печали о судьбах родной страны, но было непобедимое,

фатальное равнодушие ко всяким переменам на верху государственной жизни: не наше, мол, дело...

В дни громкой славы Керенского перекидывались равнодушными словами о Керенском:

– Брезидент мудрый, а на деньгах вот скутлячился: бутылочные ярлыки, а не деньги, никакой видимости в них нет, никому не всучишь...

И когда свалился Керенский, не жалели. Говорили даже, что хуже не будет – дошли до точки. Но не очень много дней прошло – оказалось, что может быть и хуже: пошли слухи о каких-то большевиках. Слухи смутные, путаные, сбивающие с толку: что это за люди, в какую сторону гнут, – никто доподлинно рассказать не расскажет. Опасаться ли их пришествия или ждать их и приветствовать как дорогих гостей?

– В свои земли вцемить лапу не дадим никому... – решительно говорили старики.

– А портной Мыльцев собирается весной пахать. Сам, собственной губой, брехал.

– Пушай в свою Щацкую губернию едет и пашет, его земля там... А тут мы ему такую нарезку покажем!

– Ну, рассчитывает, что ему тут пай нарежут. – Я, говорит, большевик...

– Морду и большевику поколупаем!

Были под боком большевики – в Царицыне. Многочисленные наши спекулянты, ездившие туда за керосином, ситцами и кожей, отзывались о них вполне одобрительно: керосину дают, сахару дают, даже белого хлеба дают – очень обходительные с простым народом.

– Буржевиком не любят, нечего говорить, а нашего брата приветствуют за милую душу... Нажить дают: карасин по шести рублей пуд отпускают... «Товарищи, товарищи»...

– А вы тут по целковому за фунт продаете? «То-ва-ри-щи!».

– А иначе как же? Пока довезешь, сколько раз смерть в глаза увидишь... Поди-ка...

В итоге по отношению к большевикам и прочим борющимся партиям наш угол занял ту своеобразную нейтральную позицию, которой казачество держалось с неизменным постоянством во все трудные моменты, переживаемые Русью, как триста лет назад, так и ныне. Помню, в Азербайджане один перс на мой вопрос, по душам, на какую сторону станет Персия в войне России с Турцией, подумав, ответил:

– Какой чашка весов будет самый чижолый, на тот мы и сядем...

Вот это выжидательное посматривание на стрелку весов бессознательно прочно усвоено в политической практике и моими станичниками. При выборах в Учредительное Собрание они очень дружно голосовали за

казачий список, т. е. за Каледина*) и войсковое правительство, выбранное на Большом Войсковом Круге. И это несмотря на полное почти отсутствие агитации за этот список, при наличии энергичной агитации за другие списки, в которых рядом с партийными социалистическими кандидатами выделялись имена, правда, несколько туманные и малоизвестные, представителей «трудового» казачества, – термин новый, впервые пущенный в оборот. Эти кандидаты «трудового казачества» собрали ничтожное количество голосов.

Трудно сказать, какие упования возлагали мои сограждане на казачий список. Имена, значившиеся в нем, не были определенно и резко партийными именами. Объединялись они, между прочим, по-видимому, одной задачей, в успешное решение которой не очень твердо верилось, – отстоять народно-групповую самобытность казачества и его старый, воистину демократический уклад. Боязнь потерять свое лицо, раствориться без следа в надвигающемся новом общественном строе инстинктивно ощущалась и рядовым казачеством, особенно стариками. Нашему поселковому атаману, самолично странствовавшему по станице для проверки избирательных списков, казаки поощрительно говорили:

– Делай царя, Стахий, делай, пожалуйста... Плохо нам без хозяина...

На это Стахий, удрученный многочисленными и разнообразными обязанностями, не без сердца отвечал:

– Да-а, чорт вас не видал! Все вали на Стахия: Стахий царя вам делай, Стахий скотину реквизируй, Стахий винокуров лови, – куска проглотить некогда!...

По-видимому, первобытным казачьим головам не чужда была мысль, что через посредство выборов в Учредительное Собрание готовится избрание и «хозяина». Во всяком случае, миссия, возложенная станичниками на своего атамана Стахия в избирательной кампании, была достаточно далека от большевистской платформы, и будущий хозяин земли русской едва ли представлялся в виде «советских» владык, поддерживаемых красной гвардией...

Но прошло недели две-три. По-видимому, согласно заранее составленному расписанию, в котором полагалось быть Вандее**) и прочим

*) Каледин А. М. (1861–1918) – из донских казаков, генерал от кавалерии, организатор успешного прорыва Галицийского фронта в 1916 г., известного как Брусилловский прорыв. Весной 1917 на Войсковом круге избран Войсковым атаманом Войска Донского. После октябрьского переворота пытался сохранить местную власть и организовать защиту Донской области от вторжения красновардейских отрядов и насильственной советизации. Не был активно поддержан казачеством. В преддверии неминуемого поражения 29 января 1918 г. застрелился.

**) *Вандея* – департамент на западе Франции. В годы Французской революции в конце XVIII в. выказала приверженность старой системе королевской власти и стала одним из основных центров борьбы против революционного террора якобинского правительства. В

революционным подробностям, определенно выяснилось, что Дон будет вовлечен в гражданскую войну. Войсковое правительство осведомило об этом население и предложило образовать добровольческие дружины для обороны границ области от нашествия большевиков. Помню, что первый вопрос, который раздался из глубины «народа», – той тесно сгрудившейся толпы, перед которой было прочитано станичным атаманом это обращение войскового правительства к казакам, был:

– А жалованье какое будет?

И когда выяснилось, что о жалованье за самооборону указаний не имеется, разочарованное казачество дружно отвергло предложение, выдвинув резоннейшие соображения:

– Да они, может, и не придут сюда...

– Это нас стравить хотят друг с другом... Буде! Охраняли помещиков – была дураковина – теперь пушай без нас обойдутся!

– А если они у нас скотину и хлеб будут отбирать?

– На пороге помрем – не дадим!

Таким образом, призыв войскового правительства сочувственного отклика не встретил. И когда оно сделало попытку мобилизовать для той же цели возрасты, не бывшие на войне, поднялся опять вопрос о жалованье, обмундировании, выдачах, пособиях и прочих вещах торгового свойства. И жалованье, и пособия оказались очень скромных размеров. Тогда мобилизованные постановили разъехаться по домам. Более робкие и законопослушные пробовали возражать: «Не поотвечаем ли за самовольство?» Но подавляющее большинство так и осталось на коммерческой точке: служить не за что... И вернулись домой.

Юг Дона, «низовые» казаки, сохранившие еще кое-какие остатки боевых традиций, не были так постыдно равнодушны к участи родного края, к собственной судьбе и судьбе России, былая гордость, воспоминания казацкого прошлого еще не угасли в них. Но «верхние» станицы, район Медведицы и Хопра, без размышления, без думы роковой решили принять всякого пришельца с палкой как покорителя и подчиниться ему без особых возражений. Был, конечно, страх перед большевиками – Бог весть, что за люди, но с некоторым упованием поджидали возвращения казачьих частей с фронта: в обиду, мол, не дадут. Фронтвики рисовались силой организованной и угрозой для злоумышленников. Фронтвиков ждали...

Фронтвики пришли.

результате жестоких карательных экспедиций значительная часть населения была уничтожена. В дальнейшем название Вандея стало употребляться для обозначения очагов упорного противодействия революции вообще.

2.

В морозный день перед Рождеством, когда станичники копошились, как муравьи, над рубкой и возкой делян в лесу, в станицу вошла на рысях сотня казачьего полка, за ней – другая и третья, потом пулеметная команда, команда связи, обозы. И сразу тихая, мирная жизнь нашего угла наполнилась гамом и бестолковой суетой. Фронтоников у нас ждали, но думали, что о приходе их нас известят заблаговременно. Фронтоники же, по-видимому, предпочли нагрязнуть сюрпризом. Атаман, согласно присвоенным ему полномочиям, попробовал было дать указания о размещении, но фронтоники сразу дали понять, что ни атаман, ни какое-либо другое начальство им не указ. Атамана «обложили» двумя-тремя крепкими словцами и отвергли всякие планы размещения. Рассыпались по улицам, пошли по дворам и стали выбирать себе дома под постройку по собственному вкусу и соображению. Гости-служивенькие распоряжались, как разудалая солдатская ватага распоряжается в завоеванном городе, и мы сразу извели сладость бытия покоренных.

Обиднее всего было то, что это были свои, не чужие, наши же дети, казачи нашей и соседних станиц, которых мы любовно снаряжали на защиту родины, благословляли, провозжали со слезами, от которых приходили к нам такие простые, трогательные, сердечные письма. Что преобразило до неузнаваемости эту молодежь, сделало их чужими, вызывающе грубыми, наглыми, отталкивающими? Откуда этот разбойничий облик, упоение сквернословием, щегольство оскорбительным отношением к старикам и женщинам?

Шатались по станице молодые люди в шинелях, в лихо заломленных папах, бесцеремонно лезли в чужие дома, взыскательным, оценивающим взглядом окидывали комнаты хозяев, строго, взыскательно спрашивали:

– Чье помещение?

– Наше.

– Занимаем под фатеру. Двоих вам определяем.

– Да тут уж занято.

Разговор происходил у меня в доме.

– Кем это?

– Офицер заходил ... с двумя детьми...

– То есть, почему офицер? Почему офицеру предпочтение, а мы на улице должны остаться?

– Да если уж некуда вам притулиться, вон – флигель, одну комнату освободил.

– Флигель?

Один из фронтовиков, мозглявый, с заячьей губой и мокрым носом, смотрит особенно взыскательно:

– Почему же это нам во флигеле, а офицеру в домах? Что такое офицер? Офицеров нынче мы... – выплюнул бесстыдное циничское выражение, – захотим – в катухах поместим офицеров, в свиных хлевах!

– Что же, рассчитываете, это прибавит вам чести?

– Офицеры у нас вот где сидят, – подняв ногу и стуча пальцем по подметке, отвечал сопливый воин.

Старообрядческий ктитор Иван Михайлович, присутствовавший при этой сцене, горько покачал головой.

– Ведь это – срам! С роду этого не было!

– Ты буржуй, должно быть? – грубо бросила одна из папах.

– А ты кто? – сердито откликнулся старик.

– Я – большевик!

Старик молча поглядел не на того, кто назвал себя большевиком, а на ближе стоявшего к нему мозгляка с заржавленной винтовкой за спиной. Седобородый, благообразный, крепко сбитый старый казак казался богатырем рядом с этой невзрачной фигурой, шмурыгавшей носом.

– Кто же это – большевики? – спросил он, презрительно глядя сверху вниз на фигуру с винтовкой.

– Большевики? Первые люди! – Учительно проговорил казак с заячьей губой.

– Слепой щенок ты, вот ты кто! – помолчав, сказал на это старик. Мы ждали защитников, а пришли разбойники. Ведь это разбойство – никакого подчинения! – продолжал он горячо и решительно. – Одни соромные слова! Ни стыда, ни совести, ни присяги! Провожали вас отечество защищать, а вы бросили грань, явились сюда... Кто вас отсюда спустил?

– Мы сами... Кого нам спрашивать...

– Да как же это так, скажи ты на милость? Это – порядок? Ну ты, голова с ушами, рассуди: послали вас на защиту, а вы чего?

– Ничего. Ушли да и все.

– Ну, а там как же?... – горестно воскликнул старик.

– Буржуй ты, вот что! – шмурыгая носом, сказал казак с заячьей губой.

Другой, в прыщах, прибавил:

– Приспешник Каледина!..

И вдруг перешли в наступление:

– Чего его слушать! Несет нехинею!..

– Привязался черт сивый... Ты смотри у нас!..

– Ну, смотрите и вы, щенки! – храбро отбивался старик.

Такова была встреча наша с родными защитниками отечества. Фасон, несомненно, был новый. Прежде, начиная со старины и кончая последними перед войной годами, команды приходили домой парадно, с хоругвями, иконами, с воинским строем, с воинским церемониалом. Встречи были торжественные, людные, с хлебом-солью, с молебствованием, слезами радости, приветственными речами, песнями, от которых загоралось сердце гордым чувством национальной чести и достоинства. Теперь, вместо торжественного молебствования и взаимно приветственного церемониала – сквернословие, обида и сразу вражда и озлобление.

Так познакомились мы с первыми «большевиками» в подлинном, живом виде.

Потом, когда пожилы несколько вместе, слегка присмотрелись друг к другу, увидели, что есть и среди них, этих попугаев, повторявших чужие слова, совестливые люди, чувствовавшие всю горечь и стыд неудержимого развала. Полк в свое время исправно вынес огромную боевую работу, прошел всю полосу войны, начав с самой северной точки и кончив Добруджей*). Все время представлял собою тесную боевую семью, и даже углубители революции долго не могли разрушить ее. Но в последний месяц, когда полк был отведен на отдых в Бессарабию и попал в атмосферу тылового воинства, он дружно понесся по проторенной тропе и быстро выровнялся с другими частями по части грабежей, пьянства, буйства и всяческих безобразий...

– Ах, что мы там выкусывали – стыда головушке! – говорили люди, отнюдь не склонные к излишнему самообличению, – что этого вина попили, что добра всякого понахапали!.. Народу пообижали... Жители благодарственные молебны служили, когда пришло нам уходить... Не с охотой уходила наша братия... Погуляли-таки...

Стоянка в Бессарабии была предварительной подготовкой полка к большевизму. В Полтаве столкнулись с настоящими большевиками – сперва враждебно, затем в мирных переговорах. Набрали в вагоны агитаторов, листов, и уже в Лозовой денщик Серкин потребовал ареста командира полка. «Пропаганцы» чем далее ехали, тем больший имели успех. Всех офицеров, не исключая и тех, с которыми ехали жены и дети, выгнали из классных вагонов в конские. В Царицыне педагоги-

*) Добруджа – область в низовьях Дуная между Дунаем и Черным морем, неоднократно становилась полем военных действий в войнах России и Турции. Осенью 1916 года после вступления в войну Румынии в Добрудже развернулись бои между германскими войсками и переброшенными на поддержку Румынской армии русскими войсками, среди которых были Донские полки, в том числе 32-й Донской казачий, состав которого комплектовались в том числе и из казаков Глазуновской станицы.

ческое натаскивание было довершено, и в родные станицы полк въехал во всей красе революционной развязности, широты и глубины...

Улицы станицы, доселе тихие, почти немые, наполнились оголтелым гамом, гоготаньем, солдатскими песнями, остротами и крепкими любезностями, неистовым визгом девиц, ароматными словцами. Ходовым удовольствием стали выстрелы, одиночные и пачками. Запущенное, ржавое оружие, негодное для серьезного боевого назначения, было достаточно устрашительно для обывателей, ознакомило их со свистом пуль. В первые же дни было с успехом подстрелено несколько овец и телят...

На уличных митингах прежнее мирное словоизвержение сменилось шумными и порой очень острыми состязаниями. Фронтовой большевик усвоил внешние ораторские приемы и бил простоватых противников мудреною, трудно постижимую словесностью. Горохом барабанил «товарищи» и что-нибудь в роде:

– Мы состоим на демократии!.. Главная суть-соль – солдатский совет рабочих депутатов... А что они из себя воображают, то это вкратцах вам даже объяснить невозможно...

Фронтовик самоуверенно повторял и ту беззастенчивую клевету-травлю, которой насыщены были листки о Каледине и о войсковом правительстве. Но разнузданность мыслей, слов и дел была слишком очевидна и слишком возмущала простые, незараженные души дикостью и несообразностью с простой правдой и трезвой, веками налаженной обыденностью. Старики негодовали, сердито схватывались с самодовольными не по заслугам защитниками отечества и порой доходили даже до рукопашных боев.

– Душа болит! – горестно делились со мной старые приятели в дубленых тулупах, – ведь, ни религии, ни закона, ни порядка – ничего не хотят сознавать... Фулинганы какие-то...

– Разбойничья шайка, как есть... Никаких у них других слов, как «убить, убить, убить»... А приди сюда человек с десятков партизанов – попрячутся все, как черти в рукомоинике...

– У Сысонча сын пришел, напился потужее и с винтовкой за отцом гонять: «Ты почему меня не женил, такой-сякой? Все товарищи мои сейчас с женами на теплых постелях, а я всю ночь лишь с соломой разговариваю»...

– Нет, мы одного такого героя в своем хуторе высекли на обществе, – сообщает нам в утешение казак с Прилипок, – начал вот также постреливать – патронов у каждого из них – пропасть. Говорим ему: «Яхим, ты впечатление производишь на жительство, оставь эту глупость». – «А я, говорит, вас помахиваю, так и этак»... «Ну, отлично, это очень приятно слышать, как ты общество зеленишь»... А знаем,

что герой-то он был такой: раз пять его провожали – дойдет до полдороги, сляжет в ошпиталь или отстанет, опять назад ворочается... Раз пять обмундировывался. Шинелей этих у него, штан, сапог – на сколько годов хватит! Горюшко взяло. Позвали фронтовиков: так, мол, и так, осмотрите вы его сундуки... Пока вы в окопах лежали, он тут чихаузы обчищал. «С удовольствием»... Осмотрели. Там этого казенного добра!.. «Ну что с тобой, с негодяем, сделать?» Стал на колени: Помилуйте, господа старики... «А-а, стал угадывать? Ну-ка, поучим его по старине...» Двадцать пять всыпали!..

Так развеяны были прахом наши надежды на то, что придут домой фронтовики и под защитой их мы будем спокойно жить-поживать, не опасаясь возможности социализаторских экспериментов в нашем глухом углу. Фронтовики обманули. Ничтожны были мы сами в борьбе за порядок и благообразие своей жизни – рыхлый, сыпучий песок и грязь человеческой породы – но еще ничтожнее оказались эти молодые граждане советской республики, когда с каждым новым днем перед нашими изумленными глазами стали разворачиваться новые и неожиданные стороны их преображенного новым воспитанием естества...

3.

В добровольном романтическом самообмане, который, как давно известно, более властен над душой и дороже тьмы «низких истин», думалось, что казак нынешний есть подлинно казак – тот казак, с именем которого связывалось представление о рыцаре в зипуне, о русском сиволапом богатыре, вышедшем из протеста против гнета, выросшем и сложившемся в упорной борьбе за волю. Пусть эта стихийная степная борьба закончилась подчинением силе государственности, пусть казачество было прикреплено к служению государству, с именем казака и тут мысль привыкла сочетать образ отваги, доблести, верность славным воинским традициям и здоровый инстинкт государственности. И верилось, что он, не знавший рабства, с достоинством истинно гражданского, сознательного воздержания и самоограничения удержится от участия в диком пиршестве «углубленной» революции.

Но вот мы увидели своего героя-фронтовика, покинувшего поле брани, вернувшегося домой. Он был обновлен и отполирован, можно сказать, под орех углубленным революционным сознанием. Это сознание отпечаталось на нем горохом чужих исковерканных слов, без смысла и не к месту употребляемых, превративших простую, мало связную речь в сумасшедшую барабанную дробь, с потешными выкрутасами и вывертами. Тут было все, что полагается в хороших домах: эксплуатация буржуазии – а у нас в качестве заводчиков и фабрикан-

тов, эксплуататоров рабочего класса, могли предметно фигурировать лишь овчинник Иван Юшин да кирпичник Гаврило Клюев, ходившие в продранных штанах, цвет помещиков (таковых и совсем не было), хищения «генеральев, офицерьев» и проч. Особенно пылкое негодование выражалось в сторону офицерства – все оно было окрашено в один сплошной цвет – казнокрадов и расхитителей народного достояния.

Мы, конечно, знали, что не без греха были в свое время командующие классы. Про себя также знали, что по части мародерства и простого воровства, грабежей и невинных присвоений охулки на руку не клала и рядовая казачья масса, и житейская наша мораль не очень даже строго относилась к удачникам на поприще скользкого приобретательства. Знали. И патетические речи новоиспеченных «товарищей» о хищениях слушали, как лай молодых кутят, звонкий, залиvistый, тонкий, но не очень серьезный...

Присматривались.

С первых же дней резко бросалось в глаза, что фронтовики не по чину сорят деньгами. Все дорогие, тонкие товары, особенно косметика, которая годами застаивалась в нашей потребиловке и была вздута до головокружительной цены – все было расхвачено на другой же день без остатка. Сразу необычайно подскочили вверх цены на все предметы потребления. Воз сена вместо вчерашних 30–40 рублей стал идти за 200–250 руб. Оторопевший обыватель нерешительно заламывал тысячу за примёток какого-нибудь бурьяна, ранее ценившегося – самое большее – в четвертной билет и, к собственному изумлению, после двух-трех слов сбывал ее полку.

– Вот погнал – так погна-а-ал! – говорит он потом, мотая головой и сам не веря столь фантастической действительности.

Легендарные, никогда у нас не слыханные размеры приняли кутежи, орлянка и картеж. В ночь проигрывались и выигрывались тысячи. Особенно крупную игру вели артельшики, каптенармусы и прочий демократический должностной люд. Около бешеных денег и невиданного бросания их возникли занимательные повести с самыми реальными деталями.

– Приходят ко мне двое: «Коровку продашь?» – Продам. – «Сколько?» Подумал: сколько бы с них спросить? – Триста! – «Ну, ладно, торговаться не будем. Только расписку пиши на четыреста». – Да как же так? А не поотвечаю? – «Ничего, не поотвечаешь. А если реквизируем по твердым ценам, всего полторы сотни получишь». Так и подписал на четыреста...

– Это – не голос. А вот фуражир пятой сотни купил на Чигонаках три воза сена за пятьсот, да спереди одну палочку подписал – вышло

1.500, да нанял довести по двадцать рублей от воза, а платил по два – вот пофортунило, так пофортунило...

– В неделю больше ста двадцати тыщ крынули. Осталось в полковом ящике лишь восемь тыщ – кончат эти и разведутся по домам...

По домам, в сущности, и без того разъезжались. Но, живя дома, все числились в рядах армии, чтобы не терять права на получение причитающегося защитникам отечества содержания, фуражных, суточных, обмундировочных и всяких иных денег, а семьям – пособия. Отечество обязано служить дойной коровой, и все учитывалось нашими фронтовиками до последней копейки, взвешивалось тщательно на весах приобретательского соображения. А потому о ликвидации полка даже вопроса не возникало. Полк должен был числиться боевой единицей, хотя и представлял уже через неделю текучий сброд нескольких десятков человек. Но расходы производились на него полностью, как на вполне укомплектованную боевую часть. И когда от такого широкого размаха полковые суммы быстро усохли, стали орать и просить денег всюду, где можно было просить. Просили у войскового правительства – того самого, с которым должны были вести «беспощадную борьбу». Просили у большевиков, захвативших в нашем районе казначейства...

Но пока посланные полком делегаты мотались в поисках денег, кланчили там и сям, выпрашивали у враждующих между собой сторон и как той, так и другой стороне бессовестно обещали служить верой и правдой, полковой комитет устал ждать. И резонно рассудил, что в минуту жизни трудную практикуется продажа лишних вещей*). Под категорию лишних вещей, согласно усвоенным из пропаганды взглядам, подходило очень полковое имущество. Его и пустили в оборот. Продавалось все, на что находились покупатели: повозки, обозные лошади, винтовки, пулеметные ленты (на подпруги), алюминиевые части от пулеметов (на ложки), посуда из полкового собрания, самовары, швейные машины, сбруя. Продавали все, что не успели раскрасть. Продавали и делили. При дележе не все было гладко, возникали недоразумения и счеты, были драки.

– Хаповщина идет – не дай Бог! – говорили казаки, сохранившие чуточку совести, – в глаза людям стыдно смотреть... Получили муку, хлеб, крупу – сейчас же продали. Комитет поназначил себе жалованье –

*) Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» (1839):

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть...

кому двадцать рублей в день, кому – пятнадцать... Жизнь! Вахмистры хаят... артельщики хаят... комитетчики хаят...

– Вот мои сучочные – знаю, что они у вахмистра – говорит: нет. Кто-ж ты, такой-сякой, после этого – товариш или просто грабитель? Остается вот стянуть тебя с кровати и дать...

– Да ведь и дал...

– Ну, что там! Два раза в морду ткнул, а он разве того заслуживает? Ну, нет: я свою заслуженную копейку из него вышибу... я-а... это он и не думай!..

Мы, простые обыватели глухого угла, слышали издали, как расхищается, распродается оптом и в розницу, разворовывается отечество. Слышали, что родина, совесть, честь объявлены буржуазными пред-рассудками. Но, может быть, потому, что практика этих откровений была не на наших глазах, мы с тупой покорностью судьбе принимали ее к сведению и оставались деревянно равнодушными к слову нового благовестия.

Казалось бы, что такое мелкое расхищение полкового имущества, дележ его с рычанием, лаем и грызней, по сравнению с тем грандиозным размахом, который явлен был на верхах нашей государственной жизни. Однако непосредственное зрелище публичного паскудства сломало толстую броню даже нашей прочнейшей обывательской выносливости.

– А уж и сволочи же вы, товарищи, если по совести вам сказать...

В качестве нейтрального лица со своего крылечка я слушаю такую беседу по душам между представителями старшего и младшего казачьих поколений. Три дубленых тулупа, библейские бороды и растоптанные валенки – а против них двое подчищенных «товарищей» в защитных казакинах и хороших английских сапогах.

– Почему такое? – спокойно поплеывая шелухой семечек, отзываются товарищи.

– По всему. Дойдет скоро, что вы полковое знамя продадите...

– Хм... Это откуда же такое «разуме» вы составили?

– Полковую святыню... да! Продадите, ежели бы только нашелся покупатель...

– Это кто не служил, тот, конечно, не понимает. А мы об знаме очень хорошо понимаем...

– Вы считаете, я не служил? Я был на Дунае, сокол мой, имею крест, могу сказать, за что его получил. А вашу братию спросишь: за что получил? – «От Ковны сорок верст бежали, ни разу не остановились»... Опаскудили вы казачество, продали честь и славу... Теперь допродаете последние крохи...

– Мы – в правах. Сейчас – народное право...

– А народ-то вам дал это право? Разве это ваше имущество? Оно – мое, его, другого, третьего – всеобщее. А вы присвоили, продали, раскрасили. На господ офицеров пальцами ширяете – а сами что? Кто офицерских выючек продал и деньги поделил? Офицерские револьверы куда вы подевали? А? Кто же вы после этого?.. Опять за фураж вам деньги идут? Идут. А у меня вот писаришка стоит, лошадь все время без корма, ни напоить, ни вычистить около ней... Что ж ты это, сокол? Ведь она исхарчится. – «А сдохнет – другую дадут»... Вот они как понимают об казенном! Мне стыдно в глаза животному глядеть – иной раз бросишь ей клок, а он себе посвистывает, да в карты, да «никалаевку»*) по двадцати рублей бутылку покупает... Что вы с казачеством сделали? Ведь стыдно называться казаком!..

Это был крик боли и негодования при зрелище беззаботного паскудства просвещенных наших фронтовиков, и чувствовалась в нем горькая горечь бессознательного воспоминания о славном былом, забытом, бесславно запятнанном... Но было бесплодно негодование. Люди шкуры и корыта спокойно держались на новой позиции, и не слова негодования могли поднять их из грязи, в которую они шлепнулись со всего размаху, глубоко и прочно...

Распродажа отечества по мелочам шла без остановки, пока было что продавать. Рядом шла бешеная спекуляция самогоном, потом «никалаевкой». И трудно было даже сказать, кто хуже: те, кто продают полковое имущество и покупают «никалаевку», или те, кто наживается около этого торгового обмена...

4.

Казалось, что родной мой угол безнадежно отдался тупому, растительному безразличию ко всему, что выходило за пределы его околицы, было выше собственного его корыта, дальше собственной его шкуры. Все тяжелое, страшное, позорное, что постигло родину, проходило мимо его сердца, не оставляя на нем ни малейшей царапины, – он пил, ел, совершал все жизненные отправления с тем завидным спокойствием и основательностью, с каким его четвероногие друзья его рылись в яслях, жевали, почесывались, ходили на водопой, в урочный час облекались в хомут и ярмо. Безнадежно думалось, глядя на эту тишь да гладь, что нет на свете такого огнива, которое могло бы зажечь огнем святой тревоги этот навозный пласт, вызвать наружу скрытые в нем «мечты и звуки»...

*) Народное название водки времен царствования Николая II.

Но совершенно неожиданно ничтожная искра заставила оживиться, закипеть, зашуметь хлопотливо-радостным шумом и наш глухой муравейник. Прошел слух, что получен приказ раздавать водку из казенных винных складов...

Эти хранилища живительной влаги, находившиеся в наиболее населенных и просвещенных пунктах нашего края, дразнили своим ароматом жаждущее воображение и близких, и далеких. Газетный лист ежедневно приносил известия, что углубленное революционное сознание российской демократии выразилось живее всего в дружном натиске на зелено вино: там-то и там-то разбиты винные склады, разграблены ренсковые погреба*), разнесены винокуренные заводы. А у нас все ждали чего-то и изнывали в томительных гаданиях, искали какого-то сигнала, ждали нервно и нетерпеливо все: и те, кто предвкушал минуты упоения досыта, и те трезвые люди, которые строили расчеты широкой поживы на этой операции.

Само собой разумеется, что в эту сторону было устремлено достаточное внимание и местной большевистской агитации. В слободе Михайловке на винном вопросе выдвинулся один из вечных студентов, содержавших игорный притон. Слободские хохлы сразу оценили его светлую голову, открывшую гениальную по простоте мысль, что водку и спирт из склада следует продать, а на вырученные суммы купить хлеба неимущим. Было бы и чем закусить при выпивке. И если буржуи не делают этого, то это потому, во-первых, что хотят, чтобы переход с голода бедный люд, а во-вторых, чтобы самим побольше досталось доброкачественного и дешевого напитка, чернь же пусть упиавается отвратительным и дорогим самогонном.

Раза два или три пылкий вождь водил на штурм винного склада слободской трудовой народ – шибает, мелких спекулянтов, торгашей, скупщиков, извозчиков – весь этот пестрый человеческий сброд, который обычно лепится к большим железнодорожным станциям или пристаням и имеет врожденную слабость к уголовщине. Но жатва еще не созрела: гарнизон пока нес свой служебный долг, и вид взвода казаков с нагайками быстро охлаждал пыл трудовой толпы.

Может быть, разрешение продавать водку из складов шло отчасти навстречу этой трудовой жажде, грозившей ежечасно вылиться в погромы. Как бы то ни было, а двери в питейные хранилища были открыты, и местное гражданство хлынуло туда неудержимым потоком. Вереницы саней непрерывною цепью тянулись от станиц и хуторов в

*) *Ренсковые погреба*: «к заведениям трактирного промысла без отдачи в наем покоев относятся: трактиры, рестораны, харчевни и духаны; овощные и фруктовые лавки и ренсковые погреба с подачею закусок или кушаний» (Брокгауз).

окружную станицу и в слободу Михайловку с удостоверениями о количестве жаждущих душ, с кредитками, доселе глубоко лежавшими в чулках, с серебром и даже золотом, припрятанным в кубышках. На бумажные деньги бутылка оценивалась в 5 рублей 30 коп., на золото – в полтора рубля. За санями шли люди и буржуйского, и трудового облика. Фронтовики и тыловые – все были объединены одним стремлением к источнику угара^{*)} и утешения.

В разгар этого усердного паломничества пришлось мне ехать в Усть-Медведицу, навестить сына в реальном училище. Было уже два потока по дороге: туда и оттуда. Во встречных санях мелодично позванивала стеклянная посуда, а у сопровождавших граждан лица были красно-буры, словно толченым кирпичом посыпаны.

– В гимназию, что ли, ездили? – приятельски подмигивая, спрашивал у знакомых встречных мой кучер.

– В гимназию, – ухмыляясь, отвечали они весело и довольно.

– Добыли?

– Есть... Благодаря Господа Бога...

– Много?

– Ведер двадцать.

– Имеет свою приятность...

Нотка несомненной зависти звучала в голосе моего возницы при этих опросах о поездке в «гимназию», из которой в звонкой посуде вывозилась приятная влага на утоление своеобразной духовной жажды.

– Имеет свою приятность, – со вздохом повторял он, оборачиваясь ко мне. – Митрофаныч двадцать ведер вчера привез, продал оптом, триста барыша взял... Голос?

– Д-да... это кое-что, – соглашался я.

– За один день триста! А? Да ведь поспешил, так, зря засуетился. А пусть враздробь, взял бы тыщи две: она, бутылочка-то, играет в десять рублей, а в ночное время – и все пятнадцать!..

– Одного не понимаю, – говорю я. – Слух был, что отпускается по бутылке на взрослую душу, как же можно двадцать ведер получить?

– Фу-у! По сто ведер берут, кто при деньгах. Очень слободно: вот сейчас у меня ярлык на двадцать душ, а я поставлю впереди палочку – сколько выходит? Сто двадцать? Понял? Ну, вот! А ежели я нолик поставлю сзади, то выйдет и вовсе двести.

– Ну, это – уж очень прозрачно...

– А кому убыток?

^{*)} «к источнику угара и утешения» (о водке). См. у Крюкова название рассказа «К источнику исцеления».

– Да ведь чины акцизного надзора не могут же принять таких ярлыков...

– За милую душу! Против народу нынче – не шурши, а то за глотку возьмут: народное право. Раз тебе деньги дают – получай, впрок ее соблюдать нечего. Скорее спихнул с рук и будь покоен, как летом в санях... Так они и делают. Вот давеча обогнал нас на паре рыжих, в треухе, – не трафилось вам обратить внимание? Это – с Ендовы казак. Он на прошлой неделе на десять тыщ купил, а нынче вот опять поскакал. Капитал наживет... оборотистый человек!..

Эта суета и неусыпность, как на летней страде, вызванная жадой – жадой угара и пьяного забвения и жадой наживы – создали такое радостное оживление в предсмертный момент родины, что думалось невольно: вот когда он вздохнул свободно, довольно и счастливо – брат мой, мой «меньший» брат, над судьбой которого я, бывало, останавливался в горьком раздумье, кого я любил, на кого надеялся... Вот он когда зашевелился с увлечением, по-настоящему...

Но всего через каких-нибудь пяток дней этот деятельный подъем народного духа изменил закономерную форму в направлении, более соответствующем углубленному революционному сознанию. Трудовой народ – в скобках сказать, главным образом, «революционное крестьянство» слободы Михайловки, а не казачества соседних станиц и хуторов – возропал, что зелено вино продается по цене, доступной якобы только буржуям, а не бедному, труждающемуся люду. И лозунгом дня в трудовых массах стало: «рупь за бутылку!». Вождем движения явился все тот же вечный студент-притонодержатель. Он увлекательно доказывал, что водка – предмет первой необходимости – должна быть доступна по цене именно обездоленному труждающемуся люду и должна продаваться «по себестоимости». Воспламененные этими речами, слободские хохлы двинулись к винному складу. Военный караул, сердцу которого тоже был близок лозунг восстания, уклонился от противодействия воле народа. Винный склад был захвачен. Нагрузившись там в достаточной мере, толпа двинулась к казначейству, затем заняла телеграф, и к вечеру в слободе уже действовала новая власть во главе со студентом-притонодержателем.

Слобода огласилась беспорядочной ружейной трескотней – юная красная армия в пылу воинственного увлечения принялась забавляться пальбой из заржавелых винтовок, неожиданно попавших в ее полное и безвозбранное пользование... Офицерству пришлось бежать в соседнюю станицу. Буржуи были обложены данью. И когда купец Аксенов не доставил в достаточном количестве колбас и ветчины закутившей влиятельной компании, его подержали некоторое время под ружейным дулом и отпустили лишь тогда, когда он выдал десять тысяч штрафа.

К этому первому, близкому к нам большевистскому эксперименту примкнуло теснее крестьянство, чем казачья масса. Станицы и хутора остались в стороне. Была часть казачьего гарнизона, которая по соображениям добычного свойства осталась в слободе и орудовала под сенью новой власти со спиртом и другими доходными статьями, но большинство казаков разбегалось по станицам и хуторам, увозя с собой законную добычу – казенное имущество. В станицах и хуторах были кучки, звавшие примкнуть к михайловским мужикам. Само собой разумеется и фронтовики тянули в эту сторону, пуская в ход очень убедительные аргументы:

– Сахарок есть? Нет? А у михайловских хохлов по два фунта на душу получка была... Вот оно что значит – народная власть!

– А на счет товару как у них?

– Сколько угодно...

– А мы телешом скоро будем ходить...

– И самое лучшее, разумши, раздемши... А хохлы, вон, приоделись – подходи видаться.

Но старики все-таки не тянулись к союзу со слободскими. Был отчасти смутный страх перед их авантюрой, немножко протестовала совесть, все еще не освободившаяся от власти старых предрассудков, а главное – ни у кого не было веры, чтобы власть представленная Прокудиным, Обернибесовым, Подтелковым и другими определенно известными всем по справкам о судимости ребятами, могла быть прочной и повести к добру.

– Пропадешь с ними, ей-Богу... ну их к шуту, – говорило старшее поколение станичников. – Лучше без сахару побыть, да уцелеть... Жили же, бывало, без сахару... А то как бы на шворку не попасть...

Советская власть на первых порах продержалась в слободе меньше недели. Когда из Урюпина приехало пятьдесят партизанов, вся большевистская сила разбежалась и попряталась, а гарнизон принес начальнику партизанов повинную... Казначейство, телеграф и винный склад вернулись к старому нормальному порядку. И, может быть, впервые обыватель почувствовал всю ценность «старого» порядка, как и просто порядка после кратковременного господства пьяной, грабящей черни и власти из карманников и конокрадов.

Но тут же ему пришлось убедиться и в том, что произведенный в звание гражданина самой свободной в мире республики, он – отнюдь не хозяин своей судьбы, а лишь гражданин третьего сорта. Настоящий же вершитель его судьбы – фронтовик, окрашенный в большевистский колер.

В слободе останавливались для расформирования и дележа казенного имущества казачьи части, бросившие фронт. Все они проходили

через Царицын и другие большевистские республики, все были начинены упрощенной начинкой углубленного революционного сознания, все получили кое-что из кредитных запасов, пущенных с целью углубления революции в наш край, и еще больше посулов.

– Это почему такое нет у вас до сей поры совета? – строго спрашивали фронтовики серого обывателя.

– Какого совета?

– Рабочего совета солдатских и казачьих депутатов?

– Был да весь вышел. Лишь навонял: пришли пять десятков партизан, от советчиков и след простыл. Они и советчики-то – что ни самый фулиган – то и советчик... Тор да ёр, да Алешка вор...

– Вы, значит, за буржув и за кадет руку держите?

– Никак нет... помилуйте...

Обыватель труслив, лукав и увертлив.

– Видать по всему: приспешники Каледина...

– Да помилуйте, чего вы привязываетесь? Мы даже не понимаем, кто это – кадеты?

– Ученые люди.

– Ученики, что-ль?

– Юнкаря, студенты. Вобче – все приспешники Каледина.

– А буржа?

– Богачи.

– Тссс... Скажи на милость... А партизаны – кто же будут?

– Обязательно враги народа... приспешники Каледина...

Партизаны, охранявшие от разграбления винный склад и казначейство, сосредоточили на себе наибольшую сумму враждебного внимания. Другой реальной силы в нашем углу не было, кроме этих пятидесяти вооруженных человек. Войсковое правительство безуспешно взывало об образовании дружин самообороны – станичники дружно отвечали:

– Нас не тронут, кому мы нужны... А генералья, офицерья пушай сами себя огрантпировывають...

Это был нейтралитет расчетливых простаков. В силу этого нейтралитета некоторые фронтовые части передали свои винтовки и орудия царицынским красногвардейцам. Им же они помогли покорить Михайловку под поле большевизма, вытеснить партизанский отряд из слободы, перебить около сотни человек, пограбить снова винный склад и восстановить советскую власть.

5.

Утром 12-го января слобода Михайловка была разбужена необычными никогда ею несслыханными звуками – пушечным громом и пулеметной трескотней. Слобода как будто не была на положении войны ни с какой державой, жила сравнительно смирно, если не считать набега на винный склад, в борьбе большевистских войск с войсковым правительством была от головы до пят нейтральна – и вдруг гром пушек...

Был долгий томительный час тревожного изумления и боязливого ожидания. Потом расторопные люди с окраин сообщили, снесшись с наступающим отрядом: пришли красногвардейцы из Царицына с четырьмя казачьими пушками, обстреливают винный склад. Тревога для трудовой части населения сменилась радостным предвкушением: винный склад – дело добычное. И сразу все михайловские жулики, воры, шибай, карманники бросились помогать царицынской армии – кто чем мог: соглядатайством, шпионажем, агитацией в гарнизоне. Гарнизон с полной готовностью сдал винтовки этим гражданам. Даже гражданки кое-какие щеголяли в это время с казачьими ружьями в руках. Маленький партизанский отряд героически встретил нападающих, перестрелял несколько десятков, но, потеряв командира, решил уйти – поезд его стоял все время под парами. Слобода, винный склад и все прочие учреждения снова перешли в ведение советской власти.

Первые шаги новой власти в слободе были направлены в сторону организации потока разграбления и, по силе возможности, истребления буржуев. Эта артельная, легкая, щедро вознаграждающая работа прошла в слободе с невиданным подъемом. Истребили большую часть офицерского состава. Местные наши офицеры – по большей части из народных учителей, были люди самого демократического облика и по убеждениям, и по имущественному цензу – по большей части дети рядового казачества, мозолистые, малоимущие. И первым из них пал от рук трудового слободского крестьянства председатель местного «совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов» хорунжий Лапин, социал-демократ по партийной принадлежности, плехановец. Человек все время, с февральского переворота, шел впереди толпы, усердно угадывал и взвешивал ее настроения, пользовался большой популярностью, получал каждения, кадил и сам, и все-таки погиб бессмысленной, нелепой, ужасной смертью от хулиганской оравы.

– Я – давний революционер, сидел в крепости..., – начал было говорить он толпе.

– Брешет! Кадет!.. – раздался голос из толпы.

И словно это было величайшим преступлением в глазах вчера еще пресмыкавшегося перед каждым стражником трудового слободского люда, толпа заорала:

– Каде-ет! Юнкарь!

Какой-то подросток с винтовкой в руках прицелился, выстрелил в упор. Председатель совета «солдатских, казачьих, крестьянских и рабочих» депутатов, возникшего в нашем углу приблизительно за месяц перед этими событиями, опрокинулся навзничь, раскинув руки. Толпа раздела его до белья, ушла дальше продолжать веселую артельную работу.

Перестреляли несколько десятков офицеров за то, что «кадеты». Трудно было хоть приблизительно уяснить, какое содержание влагала толпа в это фатальное наименование: кадет. Благозвучное словечко – контрреволюционер – слобожанину не под силу было выговорить. Да и равнодушен он был как к революции, так и к контрреволюции. Сказано: бей кадета! – он и усердствовал и стрелял в 12-летних мальчуганов-гимназистов, не сомневаясь, что это и есть самые доподлинные кадеты; стрелял в студентов, полагая, что это – тоже «кадеты» старшего возраста или «юнкаря», убивал учителей, священников – тоже «ученые» люди, значит – бывшие «кадеты». И было поразительно по невероятию, неожиданности и бессмысленности это истребительное усердие, убийство без злобы, с охотничьим чувством, убийство людей, долгие годы живших рядом, росших и игравших на одной улице с убийцами, никого не обижавших, виновных лишь в том, что культурный уровень их – учителей, студентов, священников – был несколько выше уровня окружавшей их народной массы. Истребляли без колебаний, с завидным душевным равновесием, порой – с веселым гамом, остротами, гоготаньем...

Был затем коротенький момент, когда переполнилась кровью чаша жизни, доселе смирной и обывательски серой, когда ужаснуло убийц и грабителей зрелище валявшихся по улицам обобранных, оголенных трупов, когда грабители передрались между собой из-за дележа добычи – передрались и стали уличать друг друга в подлости и зверстве.

– Душегуб ты, Бушмин! Таких негодяев на шворку следует...

– А ты – чужбинник! Чужого понахватал, награл...

– Душегуб! О. Феоктиста убил, священника... Налегла рука... Пососедски старался... А за что? Кроме добра ничего от него не видал...

– А какие он слова говорил, знаешь?

– Правильные слова... какие!..

– Правильные? И ты такой же, видать, калединец... А я сам самовидец, что он говорил: «В пятом году казакам грамоту черными бук-

вами написали за усмирение, а теперь золотыми напишут, а вам спины нагайками распишут»...

– Стало быть, за это и убивать?

– Да ты чего пристал? А ты сколько душ загубил? Ишь попом стал попрекать – жаль жреца... потому что они – жрецы, жрут мирское...

– А ты – трудящий? По чужим амбарам да по чужим конюшням... Эх, человек тоже называется...

Но был короток момент этого взаимного самообличения. С улиц убрали трупы, с родственников погибших взяли дань за право получения тел близких им покойников (брали от 50-ти до 100 руб., «смотря по человеку»), вырученные деньги подразделили, пропили, проиграли в карты, награбленное имущество попряттали, и жизнь как будто вернулась в полосу будней. Но будни эти были новые, особенные. Старую обыденную работу и обыденную заботу о хлебе насущном сменили каждодневные митинги с непрерывным, монотонно-заливистым лаем о буржуях-кровопийцах, под какое понятие подводились все уклоняющиеся от большевистской окраски, бесконечная цепь резолюций о наложении контрибуций, отобраниях, ограблениях и грабежах...

Весь трудовой народ как бы только что протер глаза и неожиданно увидел, сколько еще не израсходованного «добра» накоплено кругом, если хорошенько копнуть, – и зачем теперь утруждать себя старой нудной работой около полосы, сарая, телеги, верстака, товарного вагона? Готового сколько угодно – лишь хватай-успевай.

Землевладельцев разорили в разор еще с лета комитеты. Но шустрые ребята из агитаторов вникли и как на ладони указали, что помещикам оставлено слишком жирно: дома со стенами и крышами, надворные постройки, мебель, кое-какие экипажи. В спешном порядке вынесли резолюцию: отобрать все, что поддается отобранию, а гнезда – разорить... Растащили все – до зеркал и роялей включительно. Обложили контрибуцией купечество. Для того, чтобы дать почувствовать «власть народа», с полдюжины местных торговых людей заперли в катажалку. Взяли дань, выпустили. Вошли во вкус. Арестовали и ввергли в клоповник еще с десятка контрреволюционеров, набранных в слободе и окрестных поселениях, в том числе прокурора, акцизного надзирателя, еще двух-трех должностных лиц. Арестованные находившиеся еще во власти старых буржуазных предрассудков, вздумали было требовать объяснения причин ареста – революционная власть прикрикнула:

– Воля народа!

Пришлось склонить голову перед этим коротким и исчерпывающим объяснением.

– До какого же, по крайней мере, времени нас будут держать? – более смиренным тоном спросили узники.

– Пока вошь не заест, – ответил глава местной власти в слободе, студент, ранее промышлявший карточной игрой.

Но настоящей твердости не было в тоне. И уже на следующий день обнаружилось, что весь вопрос – в размере контрибуции. С окладным листом явились прежде всего арестанты.

– Товарищ, у нас тут испокон веков – обычай брать «влазное» с новых, – сказали они прокурору.

– Что же, если обычай, подчиняюсь. Сколько прикажете?

– Да уж сколько не пожалее... Идет на общий котел. Тыщенку с вашей милости...

– Таких денег не имею.

Прокурор выяснил свои ресурсы, – они оказались очень скромными. Арестанты поторговались, но быстро пошли на уступки и удовлетворились пятьюдесятью рублями.

Приблизительно в тех же размерах уплатили дань и остальные жертвы воли народа.

Дня через два после арестантов навестил узников один из второстепенных представителей власти.

– Сидите, господа? – спросил он сострадательным тоном.

– Как видите.

– Ах, напрасно. Очень даже напрасно.

– Мы тоже думаем...

– Всурьез говорю: зря время теряете. От души, понимаете... душевно, по совести. Ничего не поделаешь – время подошло такое: власть народа... надо, как говорится, смазки дать... знаете: «кузнец, кузнец, дай дегтю»...

– Сколько же?

– Смотря по человеку...

Не сразу, но договорились. На этот раз взяли покрупнее – тысячами. Но сделали все чисто, по форме, как в хороших домах принято. Взяли, а потом вызвали в заседание совета, спросили:

– Вы за что арестованы?

– Добивался узнать – не мог. Обвинений не предъявлено.

– Товарищ секретарь, наведите справку...

Секретарь деловито пошелестел бумажками.

– Гм... да... по-видимому, ошибка...

– Ошибка?

– В роде того как будто... Никаких указаний...

– В таком случае очень извиняемся, гражданин. Вы свободны...

Все как по нотам: приятно, стройно, благопристойно. Как в самых свободных странах – торжественная демонстрация гражданских горестей...

Так и проходили будни в нашем углу в этом однообразном чередовании волеизъявления народной власти: выносили резолюцию, схватывали, сажали, брали дань, выпускали. Обыскивали буржуев – и мелких, и покрупнее – конфисковали по вдохновению все, что попадалось под руку, иногда вплоть до детских игрушек, прятали по карманам что было поценнее. Каждодневно конструировались комиссии, определялось жалование членам, штаты были щедрые. Не без трений было при этом, но в конце концов соглашение достигалось. Демократический принцип, требовавший уравнивания вознаграждений за труд, очень разжигал аппетиты писарей, сторожей и прочего прежде мелкого люда, а ныне ставшего во главу угла. По мере возможности – а возможность представлялась пока беспредельною – удовлетворялись все требования.

– Алексей Данилыч, вы не возьметесь ли дрова попилить? – спрашиваю одного приятеля из чернорабочих.

– Некогда. В комиссию назначен.

– В какую же?

– В културную... По културной части.

– А-а... дело хорошее.

– Ничего: семь рублей суточных... имеет свою приятность...

Впервые напечатано в 1918 г. в газете «Свобода России»:

I. – № 5 от 16 (3) апреля. С. 1.

II. – № 9 от 21 (8) апреля. С. 3.

III. – № 18 от 3 мая (20 апреля). С. 1.

IV. – № 20 от 9 мая (26 апреля). С. 6.

V. – № 33 от 24 (11) мая. С. 1.

О ВОЙСКОВОМ КРУГЕ

«Север Дона», 10 августа 1918 г.

Без преувеличения можно сказать, что в работе разрушения талантливая русская натура развернулась во всю ширь: развалено не только государство, строившееся тысячу лет, но чище татар «товарищи» с мозолистыми якобы руками истребили многовековую культуру, расточили огромнейшие национальные ценности, проплевали неценные природные богатства страны.

Разорение выполнено артистически.

Работа государственного созидания, разумеется, будет потруднее и поскучнее. Отнесется ли к ней народ-строитель с тою степенью усердия и серьезности, какую он явил в деле расточения векового наследия, — покажет недалекий уже день грядущий. Но мы живем верой в здравый рассудок народный, мы не можем погасить в себе искру упования, что выстраданный опыт приведет нас к сознанию своей греховной скверны и допущенных ошибок. И может быть, отложим мы до другого времени покушение облагодетельствовать мир новым словом, а скромно пока пойдем в хвосте народов, ранее нас выступивших на попрание истории и являющих нам достойный подражания пример сознательного отношения к долгу, к общественным обязанностям, пример самодисциплины, уважения к порядку, к закону, к труду и вековому опыту человечества, сохраненному в науке...

И Войсковому Кругу прежде всего предстоит обязанность трезво оценить положение. Путь, который предлежит перед нашим родным краем, — путь кремнистый и лишенный красивых эффектов. Создавая здоровый порядок и благоустройство жизни, мы обязаны сознаться прежде всего в том, что в недавно пережитую полосу свободного государственного и общественного строительства мы сумели только обнаружить озорство и скотскую тупость. А чтобы стать похожими на людей, выросших в условиях культуры и общественного благообразия, мы обязаны внушить себе и укоренить уважение к закону и ввести в жизненный обиход безусловное подчинение ему, одинаковую перед

ним ответственность всех и каждого, начиная с самых вершин власти и кончая низами подчиненных. Никому никаких послаблений. То, что вызывает в нас наивное изумление – огромная выдержка культурных народов в борьбе с противником, отсутствие шаткости и признаков ропота в условиях, несравненно более трудных, чем наши, величайшее уважение к порядку и безусловное подчинение не только закону, но и маловажным, как будто, правилам (дороги обсажены фруктовыми деревьями, и никто не обрывает, не обламывает их...), – все это создано не одним словесным внушением, но и применением весьма суровых видов кары. Около двухсот лет назад Фридрих Великий повесил перед окнами своей спальни проворовавшегося чиновника, и – может быть – с тех пор в прусских почтовых учреждениях, например, никаких квитанций не выдается на заказные отправления, и ни одной посылки не пропало. А у нас в период «товарищеского» господства посылать что-либо можно было лишь с оказией, а железные дороги и почта были учреждениями по борьбе с контр-революцией и повышению окладов...

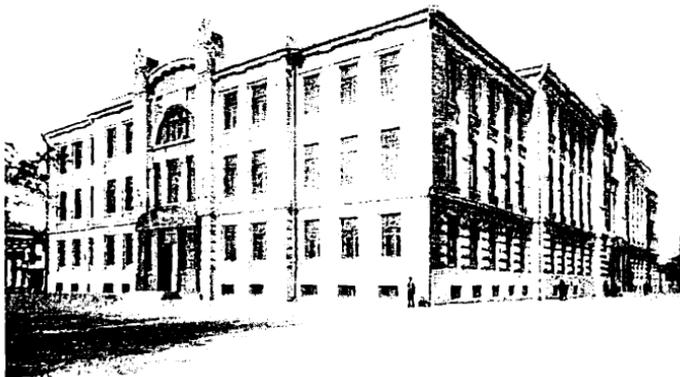
И если Войсковой Круг во имя устроения порядка и государственной крепости внушительно выразит готовность насадить дисциплину, искоренить своевольство, хулиганство, неуважение к закону и власти – всеми способами, ведущими к этой разумной цели, не стесняясь суровостью карательных мер, – он правильно выполнит обязанность представительства народных интересов и наилучшим способом проявит заботу о судьбах родины. Только при этом неременном условии власть будет твердой, управление – разумным, правильным и плодотворным, а жизнь – способной к преуспеянию и здоровому развитию.

В круг неизбежных обязанностей народных входит создание средств для поддержания государственного здания. Средства собираются с народа в виде налогов. Налоги носят, конечно, принудительный характер, и платить их – мало удовольствия. В казачестве же давно укоренился взгляд, что казаки свободны от податей и налогов, и потому на самые очевидные свои нужды станичники упорно не желают уделить грош от своего достатка. Революция внесла оригинальное понимание свободы и в казачьи головы: никаких обязанностей, никаких налогов, никаких повинностей – не признавать... потому – свобода... И были отвергнуты также и натуральные повинности – все без исключения, не считаясь с вопиющей необходимостью: ни мостов, ни дорог не надо, на произвол судьбы была брошена охрана церковей, школ...

Чрезвычайно передовыми людьми оказали себя станичники в вопросе о натуральных и денежных повинностях. Главный козырь, которым были «товарищи» старый порядок, – вопрос о налогах, – пришелся

очень по вкусу и фронтовикам, и тыловым людям. Пленяла простота и категоричность: сдирай время от времени шкуру с буржуев, – и все денежные надобности государства будут покрыты. Но русский капиталист оказался тощ и жидок и – ободранный – не оброс новой шкурой. Пришлось совнаркомом и совдепам сверх грабежа обратиться к содействию и печатного станка, к бесперывному выбрасыванию в народ всевозможных денежных знаков, в потоке которых мудроно отличить фальшивые от настоящих. И все мы видим, какую мусть и запутанность внес в жизнь этот безрассудный денежный поток...

Войсковой Круг обязан употребить все усилия, чтобы не дать запутаться Всевеликому Войску Донскому в лабиринте чрезмерного кредитного обилия. Не орать бессмысленно, как ранее: «косые налоги поправить!» – а прямо и открыто признать себя повинными, в интересах целостности государства и поддержания порядка в нем, – и косвенным, и прямым налогам. Но тут же твердо сказать о необходимости самой тщательной бережливости в расходовании народных средств. Вымести все лишнее, паразитическое, присосавшееся к общественному пирогу. Труд и бережливость – основа благосостояния частного и государственного. И трудовой копейке пусть цену знают все – от верха до низа...



Здание Судебной палаты,
в котором заседал Большой Войсковой Круг

ВОЙСКОВОЙ КРУГ И РОССИЯ

«Донская волна», 1918, № 16

Шел вопрос о войсковом гербе, войсковом гимне и войсковом флаге. Надо было заводить все свое, собственное...

Как у тех молодых хозяев-одиночек, которые только что оставили старое родовое гнездо, отошли «на свои хлеба», – на казачьем языке в шутку они называются «безквасниками», – всюду, куда ни глянь, нехватка, нужда и оголенность – ни звена, ни сарайчика, ни колодца, ни даже обсиженной мухами лубочной картинки в переднем углу – так и у нынешнего Круга чувствуется если не отсутствие, то большая скудость по части государственной «абслюции»*) (опять пользуюсь своеобразной казачьей словесностью). Многого не хватает. А надо. До зарезу нужен герб, символ народного быта и духа. В забытых сокровищницах седой старины, нашли герб: «Олень пронзен стрелой». После примелькавшегося изображения двуглавого царя пернатых, могучего и хищного, образ благородного оленя, истекающего кровью, был трогательно грустен и близок сердцу... Кто-то из глубины серых рядов партера, тонущих в сумерках скупого освещения, спросил:

– Объясните нам, чего оно обозначает?

Докладчик ответил, что затрудняется дать историческую справку о происхождении этого символа. И, кажется, никто не знал, откуда вело начало это изображение. Может быть, еще древний мастер – грек – создал его на какой-нибудь вазе скифского периода. Из серых рядов вышел рядовой член с подвязанной щекой и объяснил:

– Как ты, олень, ни быстер ногами, а от казачьей стрелы не уйдешь...

*) Это или искажение юридического термина «абслюция», т. е. постановление суда об освобождении подсудимого от наказания (Крысин) или контаминация глагола *обселиться* (обжиться, обзавестись имуществом) с наречием *абсолютно* и, может быть, еще и с термином *амуниция* (снаряжение военнослужащего, кроме оружия и одежды – Ожегов). Полученное в результате языковой компрессии «слово-чемодан» может иметь значение отсутствия, или резкой нехватки в данном случае – государственной символики. Фонетически напоминает «чужные» слова, вошедшие в обиход в начале 20 века – *революция, эмоция, резолюция*..., которые должны были казаться чуждыми простым казакам. Ср. в форме: «обселюция» в пьесе И. Филиппова: ...вся наша обселюция как на ладони... (Венков А. В. «Тихий Дон»: источниковая база и проблема авторства. Р-н-Д. 2000, с. 175).

Так оно или нет по существу – разбирать не стали. Понравилось объяснение. Герб приняли. Перешли к флагу.

– Комиссия по выработке основных законов единогласно решила: флагом войска донского считать общерусский флаг – бело-сине-алый, – сказал докладчик, – Агеев Павел, – подчеркивая особенно единогласность.

«Была когда-то великая Россия... рассыпалась на куски... Мы, Войско Донское, представляем собою один из осколков ее, но думаем и вслух заявляем, что это временно. «Впредь до». Мы не можем верить – не мирится с этим наше сердце, что она умерла навеки, великая наша Россия... что не встанет она из праха... Нет великой России, но... да здравствует великая Россия!..»

Дрогнул и зазвенел голос оратора и – показалось мне – ударил по сердцам, истомленным скорбью о поверженной во прах общей матери нашей как призывный сигнал серебряной трубы, зовущей вперед. И зигзагом пронесли по зале аплодисменты, дружные, но жидкие, далеко не всех захватившие. Отозвался одобрением и приветствовал оратора лишь тот тонкий слой, который представлен интеллигентной на Круге. Масса осталась безмолвна. И когда из ее рядов вышел на эстраду оратор в рубахе защитного цвета и шароварах с лампасами и в речи не очень гладкой, взлохмаченной, сказал, что казачьему сердцу больше говорит новый флаг, донской, – васильково-золотисто-алый, и там, на фронте, идут за ним, как за боевым знаменем, – последующее голосование лесом крепких рабочих рук показало, что быть на Дону флагу донскому, а не общерусскому...

Звучало гордо это – «собственный флаг», но осязательно почувствовалось тут же, что сироты мы и «безквасники», голыши, сидим у разваленной печки, холодной и ободранной, и нечем отогреть нам иззябшее сердце...

– Нет России, – но да здравствует великая Россия!..

Звенит и сейчас в ушах взволнованный голос, и слезы навертываются на глаза и бьется сердце, цепляясь за восторженный зов, как за взмах родных крыльев.

Да, была она неумытая, тупо терпеливая и тупо жестокая, убогая, пьяная – великая Русь. Резали огурцом телушку ее пошехонцы, соломой пожар тушили*). Но отчего же так неумоимо тоскует о ней сердце, отчего так жаль ее, несчастную Федору, со всей ее темнотой и грязью и вонью, кроткой тихостью и пьяными слезами, и ее городскими и

*) Пошехонцы – персонажи полуфольклорных, полукнижных анекдотов о глупых обывателях. Название по уездному городу Ярославской губернии Пошехонье. Впервые в литературе появились в книге В. Березайского «Анекдоты, или Веселые похождения старинных пошехонцев» (СПб., 1798).

жуликами, старыми наивными церковками и питейными домами, университетами и кутузками?.. Почему кажется сейчас, что все в ней было такое чудесное и славное, какого нет ни в одной стране на свете? И почему так тепло было около ее патриархальной печки с лежанкой и так сиротливо-холодно теперь, под собственным флагом?

Я гляжу на эту внушительную живую глыбу, заполнившую партер новочеркасского театра. Плотные, крепко сшитые, загорелые, твердые люди. Станицы выслали сюда самых серьезных граждан. Редкий из них не глядел в глаза смерти. Значительная часть лила кровь на всех фронтах. Многие извели сладость и горечь партизанских дерзаний, и имена отважных бойцов за спасение родного края огненными цветами горят даже тут, в крещенных огнем рядах бойцов безвестных и простых... Я гляжу на них с тем молитвенным волнением затаенных упований, с каким смотрит сюда, на этот скромный театрик, вероятно вся Россия, ограбленная, взятая в залог, измученная, истерзанная Россия: что скажут они, эти степные, сурово-серьезные люди, уставшие от битвы и испытаний походной жизни, обносившиеся, разоренные, но не помирившиеся с позором подневольной жизни, с вакханалией красной диктатуры? Чем отзовутся на мои затаенные чаяния о «единой, неделимой», несчастной нашей матери-родине?..

Но они молчат. Угрюмо, сурово молчат, когда подымается речь о России. Почему-то каждый раз, как выступает вперед этот вопрос, с ним в один клубок сплетается страстный спор о царской короне, о республике, о старом режиме... В словесных состязаниях около этой темы упражняется главным образом молодежь, фронтовики, пылкие ораторы, искушенные в спорах, блещущие изумительною кудрявостью словесных оборотов и неожиданных выражений. Кричат, размахивают руками. Но загадочно молчит тяжелая глыба партера, молчит и думает свою думу.

– Мы подошли к альфе и омеге всех наших дел, которые надо нам разрешить! – кричит молодой калмычок Пуков, – он никогда не говорит спокойно, он кричит и сует руками вперед, и вправо, и влево. Слова фонтаном сыплются из него, мудреные и юркие, – ухо схватывает их, но память не может удержать, и мысль юлит и кружится, как детский кубарь.

– Идите защищать донскую землю, но не защищать царскую корону, не навязывать России когти царского орла... Донские лампасы и наше казачество – вот что нам дорого и вот что нас соединило с Кругом спасения... А теперь, что вы слышите в руководящих рядах нашей прессы донской земли? Царь, царь, царь... Вот что! «Восстанавлийте Россию и царскую власть». И через это получается среди нас трещина... Трещина дальше отразится по индукции на все население... Нет, господа члены Круга, корону наденет не казачья орлиная рука!..

Кулак оратора взмывает над головой, и голос достигает высочайших, раздирательных нот. Но загадочно молчит Круг, лишь грузные вздохи слышатся в жаркой духоте.

– И в орлиную руку не дать когти царского орла!.. Нам нужна только донская земля и... вольность казачья...

Мы были закованы... и теперь сорвались... и больше не желаем...

– К делу! – лениво басит невидимый голос из партера и шелестящим гулом несется равнодушное, спокойное:

– Будет с него... наговорился...

– Позвольте, господа, мое последнее слово таково, – умоляющим тоном выкрикивает оратор, усиливаясь подавить этот зыбкий гул, – как в газете «Часовой» в последнее время...

– К делу! – доносится ленивый гул.

– Именно я подхожу к делу... Если в газете «Часовой» будут оплевываться люди, называемые кадетами...

– К делу... довольно, брат...

– Позвольте, позвольте, господа... То вы знаете, что у нас объединения никогда не будет...

Зыбким плеском надвигается снизу глухо ворчащая волна:

– Довольно...

И похоже, что нет интереса выслушивать волнующую «Часового» и юного оратора тему о России и о всем, что тесно сплетается с мыслью об ее воскрешении...

– Довольно... – гудят равнодушные, пренебрежительные голоса.

– На ваших концах казачьих штыков не несите царской короны! – выкрикивает оратор в заключение и, ткнув кулаком в воздух, покидает трибуну...

Грузный взглас провожает его добродушно ироническим напутствием:

– Сядь, парнище, не расстраивайся.

И чувствуется во всей интонации этих слов черноземного человека усталое, непобедимое равнодушие и к судьбе царской короны, и к участи России, с трепетной надеждой вперившей в него взоры. И как ни страстно хочется уловить хоть одну нотку любовного, сострадательного внимания к ней, – нет, не слышать...

– Весь интерес зависит жизни нашей сейчас в одном: как вон энти флажки передвигаются...

Говорит другой фронтовик, бравый атаманец, говорит и пальцем тычет в направлении десятиверстки, на которой флажками обозначена линия боевых действий на грани Донской земли.

– Я коснуся одному, господа члены: так как мы на той поприще стоим, чтобы своєю не отдать, а чужого нам не надо. Но надо до того

добиться, чтобы эти флажки назад не передвигались, но и в даль далеко дюже не пушались... – Россия? Конечно, держава была порядочная, а ныне произошла в низость, ну и пушай... у нас своих делов не мало, собственных... Нам политикой некогда заниматься и там, на позиции, в прессу мы мало заглядаем. Приказ – вот и вся пресса. Там, господа члены, про царя некогда думать... Наш царь – Дон!.. Это есть тот хозяин, за которым мы пошли... Кто пропитан казачеством, тот своего не должен отдать дурно... А насчет России повременить... Пушай круг идет к той намеченной цели, чтобы спасти родной край... пригребай к своему берегу... больше ничего не имею, господа...

С непроницаемым безмолвием слушает и эту речь Круг. Пропускает ли мимо ушей он беспорядочно-торопливые фразы, сочувствует ли им, принимает ли или отвергает, – Бог ведает... Молчит. И если заговорит, то о своем, близком, о земле, о пожарном разорении, учиненном красными гостями, о военном снаряжении и о «всем полагаемом»... И конечно, все это понятно, естественно...

«Устали... обносились... измотались»

Олень, стрелой пронзенный, еще бежит... Но долго ли?

А великая страдальца, Россия, родина-мать, вперила скорбный трепетный взор, ждет, надеется и верит... Ибо не верить не может, чтобы дивные сокровища души лучшего чада ее родимого – казачества – героизм, порыв к жертве, святое самоотверженье – были прожиты до последней пылинки на диком торжище красного угара и беснования углубленной революции...

В СФЕРЕ КОЛДОВСТВА И МУТИ

«Донская волна», № 16, 30 сентября 1918 г.

В часы раздумья над мутью, горькой и трагической, наполнившей мир, над кровавым безумием, окутавшим человечество, я часто мысленно переношусь в прошлое тихих, идиллических уголков, ныне втянутых маховым колесом истории в общий водоворот. В них я ищу зерно нынешних апокалиптических распрей, чтобы выяснить себе корни современного перерождения народа, – и ничего не нахожу, кроме игрушечной первобытной ясности и простоты взаимоотношений, проникнутых человечностью даже в темных явлениях междоусобий и национального антагонизма. Те же как будто люди, но душа, не тронутая процессом «расширения и углубления революции», была другая, подлинно человеческая душа...

По связи со святками вспоминаю один судебный процесс, следы которого и сейчас можно найти в архиве В-ского станичного суда. Шел он в условиях самой широкой, никем и ничем не стесняемой гласности – даже публика порой принимала живейшее участие в разборе дела, вставляла более или менее веские замечания, вступала в словопрения с тяжущимися сторонами, давала судьям советы – в станичных судах это водится и доныне*).

Процесс вместил в себе в одинаковой степени как элементы национальной распри, так и самую обыденную вражду на деловой почве. Крестьянин Лялин снял в аренду у станицы участок земли. На тот же участок имел виды казак Федор Дементьев. Но на торгах земля осталась за Лялиным, чем Дементьев и его сторонники были чрезвычайно возмущены: земля казачья, а пользуется ею пришлый люд, «наброд»... Чтобы донять чем-нибудь конкурента, казак Дементьев подал в станичный суд жалобу на жену своего соперника, крестьянку Дарью Лялину.

*) Та же история – с несколько другим предисловием – уже была автором изложена ранее в очерке «Колдовской процесс» («Русское Богатство». 1913. № 12. С. 367–373).

Сущность этой жалобы в реестре суда изображена так:

«Дело по обвинению казаком Федором Дементьевым крестьянки Дарьи Лялиной в угрозах причинить ему, его семейству и его скоту вред колдовством – насажать килы на теле».

Председательствовал Стахий Фролов, рыжий, борода клином, человек умственный, начитанный в церковном Писании и не дурак выпить, вмещающий в себя, несмотря на тошную комплекцию, огромное количество горячительных напитков без видимых последствий. Зато второй судья – Тимофей Толмачов – любитель мудреных слов, – ослабевал быстро и во время судебного разбирательства громко икал. Но смотрел строго. Кудрявый, серебристый Федул Корнеевич, третий судья, человек добродушный и благожелательный, любил склоняться к миру, но тут все-таки угрожающе держался по отношению к русским.

Жалоба Дементьева была длинная, обстоятельная и изобилвала кудрявыми, непонятными выражениями. Письмоводитель Ульян Дьяков, заросший бородой от самых глаз, с трудом преодолел бумагу, спотыкаясь, делая частые и томительно длинные паузы. Прочитал и со значительным видом перевернул несколько страниц толстой книги с желтыми, захватанными листами, которая носила общее название «Законов», а в действительности была лишь десятым томом.

Председатель – Стахий Фролов – кашлянул, поправил судейский знак на груди и обратился к истцу:

– Говори словесно, Федор Семеныч, в чем состоит иск и как было дело.

Судья Толмачов икнул и добавил:

– Выясни косвенные этому делу факты...

Обвинитель Дементьев – плотный, чернобородый человек в сером военном пальто с погонями ефрейтора или «приказного», с медалью на груди – вытер желтым платком потную шею и вежливо откашлялся в руку.

– Лялина Дарья об Рождестве, при всей публике, угрожала мне, моему семейству и скоту своим волшебством... – заговорил он дребезжащим, почтительным тенорком и показал большим пальцем назад, через плечо. Этот магический жест выдернул из пестрой толпы, не нашедшей места на двух скамьях у стен и стоявшей в положенном расстоянии от решетки, отделяющей судей от тяжущихся, пожилую женщину тощего, но боевого вида, одетую почти на городской манер, с шалью на плечах и в красных туфлях. Она подвинулась к решетке и стала рядом с обвинителем, который продолжал:

– Совершить, разумеется, что-нибудь вредное для здоровья... «Помни, – говорит, – обед да полдни!»

– Крупная сурьезность! – сказал судья Толмачов и покрутил головой.

– И действительно, так и вышло: после этих угроз случилось – у одной коровы и у одного быка из кожи вышли шишки...

Дементьев опрокинутой горстью обозначил внушительный размер шишек. Помолчал и добавил:

– Под названием килы... Потом у моей жены Марфы в то же время случилось... в заднем мочевом канале... запор...

– Подходит под итог законных статей! – одобрительно сказал судья Толмачов.

– А свидетели тому делу кто? – спросил председатель.

– За лекарем ходили, за Егор Ивановичем Мордвинкиным, – он подтвердил. Человек опытный. Помог. Говорил, одним словом: все эти болезни от насмешек злых людей...

– А на кого сомнение имеешь?

– Именно на Дарью Лялину...

– Эх, Федор Семеныч, и не грех тебе? Глянь на иконы! – вступает рядом стоящая Дарья Лялина.

– Окромя некому, потому что эти народы русские тем и дышат – чародейством и мошенничеством!.. Они нас, казаков, скоренили!

– А вы не скоренаете? – обвинительным тоном вопрошает обвиняемая.

– Молчи!.. Наброд!.. – сурово кидает в ее сторону обвинитель.

«Наброд» – выражение оскорбительное, и Дарья Лялина сдержанно, но строго замечает:

– А вы поаккуратней! Вы не у себя в квартире!

Суд относится к завязавшимся прениям с эпическим спокойствием.

Председатель равнодушно говорит:

– Лялина! Ты не кипи, как самовар, а говори словесно...

– Господа судьи! – восклицает обвиняемая. – Как хотите судите, не увлекайтесь ни дружбой, ни родством, а в волшебстве я себя виноватой не сознаю!.. Все это по злобе на нас, чтобы с участка согнать, – вот и придумывает...

– Я по крайней мере – казак, служил и медаль имею, двух сынов на службу справил, – с достоинством возражает на это Дементьев, пальцем указывая на ту сторону груди, где у него висит медаль. – А вы – наброд! Ты какое имела право обзывать казаков – «рассейскими лаптями»?..

– Я не обзывала!

– Свидетели есть! «Я об казаках нисколько даже не понимаю», – это чьи слова? А кто поднимал ногу да пальцем стучал по подошве: «Вы все, казаки, одной моей подметки не стоите»?..

– Когда я поднимала?

– Когда-а! То-то!..

– Подходит под итог законных статей! – зловещим тоном бормочет Толмачов.

– Вы уж Богу помолитесь да помиритесь, – говорит судья Федул Корнеевич. – Повинись, Дарья, а то остебнем! Ей-Богу, остебнем!..

Председатель вспоминает, что надо выслушать сперва свидетелей, и останавливает разгоревшиеся прения сторон.

Свидетельница Татьяна Тройкина показывает:

– По этому делу ничего не знаю. Слыхала только, говорила она, Дарья Лялина: «Накроется, мол, белым полотном».

– К чему же эти слова? – задает вопрос председатель.

– Не могу знать – к чему, а только собственной губой брехала, это хоть из-под присяги покажу...

Свидетель Анучкин подтвердил:

– Именно это самое было – угрожала Лялина Дементьевым по колдовству наслать болезнь, и Марфа Дементьева страдала потом от шишек, которые лекарь Егор Иваныч при всех признавал: килы...

Третий свидетель – Яков Тройкин, у которого спина пиджака была выпачкана белой глиной, что служило явным указанием на предварительное приятное времяпрепровождение где-нибудь за полубутылкой у выбеленной стены, показал решительнее всех:

– Лялина знает, как присадить килу. В молодых людях у нас нередко от нее болезни... от ее угрозы... И также на скоте...

– А папирос «Зефир» кто тебе покупал? – обличительно говорит Дарья Лялина.

– Это – не ваше дело! – спокойно отвечает свидетель, уступая место у решетки эксперту, Егору Ивановичу Мордвинкину.

Это почтенный человек с медной лысиной и длинной, узкой бородой, русой с проседью. Он держится с чрезвычайным достоинством, нетороплив в словах и движениях.

– Действительно, Марфу Дементьеву я лечил от кил, – говорит не спеша Егор Иваныч. – На глазах у ней килы были. А у свата Дементьевых лечил быка, коров и лошадей. Лечу я молитвами святых и стишками. Шишки, которые в просторечии называются килами, – дело пустое, надо знать лишь человека, кем посажены. Вот змея укусит – это голос! И также, когда сбесится человек.

После этого показания прения сторон вспыхнули еще жарче. Принимал в них участие и муж Лялиной, и некоторые добровольцы из публики, и свидетель Тройкин с белой спиной, напоминавшей стучащие пальцы по подметке и оскорбительное выражение «российские лапти».

Потом суд не удалился на совещание, а удалил из судейской комнаты всю публику, свидетелей и самих тяжущихся, чтобы без помехи

обсудить резолюцию. Последним выходил из залы заседания обвинитель Дементьев, уж в дверях восклицая голосом отчаяния:

– Житья нет, господа судьи! Сажает килы!..

– Наклеветал чистой брехней, господа судьи! – донесся на это из-за дверей крикливый и боевой голос Лялиной.

Суд после недолгого совещания признал доказанным факт колдовства и постановил крестьянку Лялину к двухнедельному аресту при станичной тюрьме.

Решение, конечно, не превосходящее премудрость царя Соломона, но и свободное от упрека в излишнем членовредительстве. Если сравнить его с тучей кровавых приговоров современности, вынесенных на наших глазах тучей революционных трибуналов в процессах еще более упрощенных и фантастических, чем дело о сажании кил, – то сердце без колебания устремляется к старому порядку, к старому мироощущению и старой душе человеческой, не усугубленной «революционным сознанием»...

Лучше она была. Право, лучше...

КАМЕНЬ СОЗИДАНИЯ

Впечатления и заметки

*Донские ведомости, 25 ноября (8 декабря) 1918**

Старые и малые вышли на службу родному Краю.

Мне частенько вспоминается 12-летняя девчурка Василиса и её «отбывательская» подвода, очень странного фасона тележка, которую она называла «дилижанчиком». На этом дилижанчике я и усть-медведицкий окружной атаман П. А. Скачков, возвращаясь с Круга, вступали от Суровикина, с железной дороги, из сферы цивилизации, так сказать, в глубь первобытного степного простора с пыльными, воспетыми в песнях шляхами, дороженьками – «шириною в три шага, длиною конца краю нет»**), с оврагами, балками, кургашками и норами сусликов и редкими хуторами, схоронившимися от степных ветров в ярах по Куртлаку и другим каким-то безымянным речкам-ерикам.

Василиса была необычная серьёзная смуглянка с широкими чёрными бровями. Лишь ростом всего – с кнутик.

– Дорогу-то на Слепихин знаешь?

– Ну да найдём как-нибудь. Миру-то вон сколько...

Эта резонность и спокойная уверенность крошечного кучерка общилась и нам, до некоторой степени «державным хозяевам», а сперва мы с сомнением поглядывали и на низко стоявшее солнце, и на двух унылых «гнедух», поджарых, низкорослых кобылёнок в дышлах.

Сели. Вперёд пустили Ванятку на дрогах, одногодка Василисы, – он на своём Буланом вёз двух офицеров. Потом по Камням мощёного двора станции загремел-зазвенел наш «дилижанчик», на улице зашуршал по песку, обошёл Ванятку и запылил мимо седых воинов на

*) Повторно напечатано: «Родина. Литературно-художественный альманах». 1920. № 2. С. 51–58. Печатается по тексту: «Донской временник». 2005. С. 23.

**) Цитата из донской былины. (Ниже не «длинною», а «долинною»). Былинная дорога идет полем: «Длинною она конца-краю нет, шириною дорожечка не широкая» (Миллер В. Ф. Былины новой и недавней записи из разных местностей России. Москва. 1908. № 13).

завалинках и лавочках около небольших, опрятных хуторских домиков. Это были старички переписей первой половины 90-х годов. Вид их – седобородых, солидных, тяжёлых, с обмотанными головами и руками на перевязях, с костылями, был трогателен до умиления.

Выехали на гору. Миру, действительно, много: впереди и позади – телеги, подводы конские, воловьи и даже верблюжьи. По пескам всё это плелось пешком. Сбоку пассажиры: офицеры, казаки, солдаты. И сами кучера – ребята, старики, бабы, посвистывая и помахивая кнутами, шагали около оглоблей. Шуршал пёстрый говор, пересыпались молодые, крепкие остроты и шутки, женский смех звенел. Над краем земли, в жемчужной дымке, садилось покрасневшее солнце. Просторно, широко, пустынно... Длинные-длинные, уродливые тени телег, людей, лошадей, верблюдов двигались с боку дороги, уходя в высохшую булано-коричневую степь, пропадая в её волнистой дали. Ветер размёл, разрисовал извилистыми узорами песок.

Ванятка, забежав вперёд, кнутиком изобразил на земле какие-то письмена. Поочередно подошли мы, сзади шедшие, почитали:

И. Лукич Краюшкин...

Казак с подвязанной щекой чмокнул языком и сказал:

– На таком песку писать – это и меня бы писарем можно зачислить...

– А Купрюшки не видать, – сказала Василиса Ванятке, – то ли остался, то ли сперёд уехал...

– Ускакал. Он двух дохтуров повёз.

– Ишь, чума его растяни... А вон ероплан, гляди... бунить...

Как все просто, близко сердцу, знакомо в отдельных своих штрихах, но в целом как всё фантастично, трудно приемлемо для здоровой логики... Почему вот сейчас, вместо того, чтобы ехать по железной дороге, привычным путем через Царицыно до Себрякова, – мы шагали около «дилижанчика» по этой высохшей осенней степи, расцвеченной предзакатными красками? Почему эти простые, свои, но незнакомые люди оторвались от своей обычной работы и прикреплены мыслями и заботами к этому пыльному шляху «шириною в три шага, долиною конца-краю нет»*)? Откуда взялся тут, в пустынных степях, ещё не утративших памяти о кочевнике-татарине, гулкий диковинный аэроплан, проплывший сейчас над седыми курганами? Откуда эти ящики с снарядами, с патронами, возы с телефонными аппаратами, с проволокой?..

*) Слова из народной песни, один из ее вариантов которой – «Воевать давай, Игнат-сударь»:

(...) Там пролеживала она, да путь-дорожунька:

Шириною она широкая, долиною она конца-краю нет.

(Фольклор казаков-некрасовцев. Краснодар, 1948, № 13).

Кто-то смешал людей, столкнул их лбами, раскидал по враждебным группам, зажёл звериной злобой... Миллионы сбиты с привычных насиженных мест, оступели от нужды, голода, крови... Труд заброшен, и труд – напряжённый, подневольный, постылый – держит десятки, сотни тысяч людей в бесконечном круговращении и неотрывной суете. И все устали, выбились из сил, окаменели от горя, лишений, грязи и бесприютности...

Порой кажется жизнь тяжёлым сном и измученное сердце ждёт: вот-вот наступит пробуждение и утомлённая душа отдохнет в привычном, прежнем – простом и мирном – будничном обиходе, таком понятном, ясном и близком сердцу...

Белый старичок с червеобразными бровями шагает рядом со мной. Он очень словоохотлив, но из деликатности или почтительности стесняется надоедать разговором господам. Однако время от времени осторожно спрашивает о чём-нибудь и выражает собственные мысли, и в них чувствуется то же недоумение перед жизнью, которое удручает и меня.

– Ну, такая злоба в мире пошла, такая злоба, – говорит он, вздыхая, – взъелись все один на другого и – кончено. Сейчас ишло кой-как стали к оглашению приходять, а зимой было – бя-да!

Он покрутил головой, махнул кнутовищем.

– Эти фронтовики десятки попришли, слову не было им!.. То не так, другое не по его, своевольство, самоуправие, никакого начальства не надо, насчёт Бога зайдёт – волосы дыбом аж станут... Станешь резонить какого, он тебя закидает словами, оконфузит перед народом, ни во что поставит, а то так и за бороду поводит... Водили, было дело...

– А сейчас как?

– Ну-у... сейчас-то они ручные стали... Просто води на самой тонкой бичёвочке, как смирного телка, – не оборвётся... Как хлебнули горя от этой красной пакости, да как набилось им пыли в зад, – сократи-и-лись...

В голосе старика заиграли весёлые, торжествующие ноты. Он погрозил кому-то кнутом в пространство и повторил:

– Притихли. Теперь с ними говорить можно.

– Через чего злоба, мол, вошла в мире? Через зависть. Каин Авеля убил, своего брата, за чего? Зависть. Святополк Окаянный побил братьев Бориса-Глеба через чего? Через зависть. Вот так же самое вы непочетчиками вышли, гордецами... А чего порядочного вы сделали? Деды-прадеды вам наживали, а вы...

Старик оборвал речь – видимо, не нашёл достаточно выразительных слов для негодования, высморкался и плюнул. Казак с подвязанной щекой, шедший сбоку, сказал равнодушно:

– Старички тоже... у нас их румынами прозвали...

– Румынами?

– Ну да. Мастер бегать... Молодые бегают не плохо, а они и молодых обгоняли...

– А и брешь ты, парнище, как видать...

– Чего брешь? Мы с ними и здороваемся, как с молодыми: «Здорово, зелёные!» Хвальбы было: «мы, мол, покажем развязку», а до дела коснулось, утекай ребята...

– А раненых кого больше? а? – с запальчивостью воскликнул старик, – поди-ка, глянь...

Он был прав. Процент раненых стариков, как я после убедился из разговоров с людьми сведущими, в три раза превосходил раненую молодёжь, – старики за себя постояли. Но была доля правды и в словах молодого, не один вековечный антагонизм между старым и новым миром говорил в них.

– Мы надясь с Максимом Кочетковым в коноводах были. Зашумели: лошадей! – надо же скоро, а он на седло не влезет. – «Сажай, Трофим»... Подсадил, конечно...

– Ты с каких хуторов? – спросил старик.

– С Никитиных. Тимофея Семибратова сын.

– А деда твоего как звать?

– Герасим Никитич.

– Ну, знаю... Молодые... у молодого, конечно, настроение развязное, а старик – у него все кости ноют...

– Так точно. Молодой как ни напихается за день, – лёг, соснул, встает как встрёпанный... А старик пока разомнётся, разломается... трудно ему! От молодого мороз отскакивает: озяб – бороться, плясать... а старик – месту рад...

Как наш караван, медлительно-долго, ровно течёт речь казака Семибратова. Солнце с минуту глядит на нас одним пурпурным краешком, потом тихо ныряет в розово-пыльный океан за синими, далёкими холмами. Сливаются тени. Степной простор звучит элегией раздумья и печали. Бог весть откуда, от головы ли обоза, или сзади долетают тихие вздохи протяжной одинокой песни. И опять диковинное кружево обыденного, знакомого и фантастического по неожиданности сочетания, – как гул землетрясения и в нём пиликанье гармошки, – берёт в плен мою душу...

Я слушаю Семибратова и вижу, как среди лишений, голода, холода и ежеминутной опасности люди – как дети – рады минутному досугу, изобретательны на забавы, и ни ропота, ни мрачных размышлений, как будто и не родилось никогда в тех самых загадочно-тёмных рядах, которые памятными моментами шатались, галдели и создавали

близкую возможность катастрофы. Простой, ровный, как шуршание песка под колёсами, рассказ Семибратова тихо, сонно шелестит среди сумеречного степного простора.

– У нас танцур есть один – Козловцев – так он по-всякому: и на пузе, и на локотках, и на спине. Все сотни обплясал, никто против него не может... Даже редкий гармонист выдуется, – устают. Один чуть не слезами кричал, – буде, пожалуйста, не могу больше... А он одно: чаще! Вахмистр уже пригрозил, – довольно, Козловцев, оставь, а то я тебя на два дежурства назначу... Но он тут таки подался. И то забег за скирды на гумно и за скирдами часа полтора один выделявал...

– Вот это гирой, – с усмешкой одобрил старичок, – завсегда заслуживает честь – благодарность отдать...

– Он любую лошадь обгоняет на рысь...

– Ну, уж это ты примахнул...

– Да, пробованное дело! Мне чего? На пары бились. Усть-хопёрцы пришли нас сменять, мы и говорим: вот у нас человек может лошадь обогнать, не хотите ли на пары? Заложились по рублю: бежать на рысь, а ежели лошадь на карьер перейдёт – проигрыш. Комиссию выбрали, обозначили куст, до какого бежать... Трёх лошадей обогнал, три рубля выиграл!..

Скрытые от глаз мелочи обыденной жизни фронта плывут передо мной в ровном, неторопливом рассказе Семибратова, и я чувствую, как крепнет во мне уверенность в неистребимости казачьей жизнеспособности и жизнерадостности. Никакие лишения, никакая нужда не согнёт её, эту удивительную натуру, выкованную веками в условиях боевой и трудовой жизни. Холод и голод, в самом ведь деле, отскакивают от неё, как горох...

«Есть ещё порох в пороховницах», – радостно думаю я, – и прочен фундамент, на котором будет строиться обновлённая жизнь... Пережитые испытания лишь укрепляют эту веру.

* * *

В серой мгле осенней ночи тонет степь. Вздыхает ветерок. Холодная свежесть заползает в рукава и за спину. Тишь безбрежная. Над головой – высокий свод из водянисто-синего стекла. Звёзды... Белая дорога от края до края, как и наша, – «шириною она – три шага, долиною конца края нет»...

Шуршит наш «диджанчик», гремит, звенит какими-то гайками и железками. Подпрыгивает, ныряет в выбоины, буерачки, сползает вверх. В темноте кажется – больше вверх ползём, гнелые наши кобылицы идут поступью очень степенной. Порой, внезапно, из темноты

вырастает чёрный силуэт таинственной колесницы с тёмными библейскими «муринами» в лохматых шапках, и розовые огоньки сигарок...

– Какого полка, станичники? – лениво бросает один из «муринов», и по голосу чувствуется, что от скуки спрашивает, никакого полка ему не надо.

– Шешнадцатого! – звенит в ответ наш маленький кучерок Василиса и фыркает в рукав своей ватной кофточки.

– Ах, ты, шустрая!

Раз-два под уклон гнедухи наши пускались в карьер. Дилижанчик отчаянно кренил то вправо, то влево. Василиса наша грозно тпрукала:

– Тпру, холера вас задави!

А мы, пассажиры, покорно готовились к неизбежному крушению, скромно мечтая лишь об одном, чтобы уткнуться помягче, в родимую степную придорожную пыль, а не угодить в яр с окаменевшими от засухи глинистыми обрывами. Но милосердием судьбы оба раза вышло так, что старая гнедуха, не израсходовав скромный запас энергии и воодушевления, сворачивала в сторону и укрощала бег. Молодая не сразу, не подчинялась, переходила на рысь, а потом на самый бережный шаг, как бы погружала в размышления о тщете порывов и размаха. Дилижанчик опять шуршал ровно, монотонно, кротко, – словно старую сказку рассказывал.

В местах наиболее серьёзных в смысле возможности дорожной катастрофы, – как это ни мало вероятно, а ещё в наших родимых степях, с виду таких ровных, плоских и широких, есть такие коварные балочки, в которых свернуть столь же легко, как и в Дарьяльском ущелье, Василиса командовала мне:

– Ну-ка, деда, сведи гнедуху, энту вон, молодую... а то у ней, у уроды, привычка – с горы на кальерт...

Я беспрекословно следовал указанию нашего чернобрового кучерка и брал молодую гнедуху под уздцы. Гнедуха недовольно крутила головой, пыталась перейти в намёт, дышло толкало меня в спину, я должен был рысить иноходью до самого дна балки...

Задача, возложенная на меня, кое-как доводилась до благополучного конца. Вместе с остепеневшимися гнедухами, моим спутником и маленькой Васютой, я снова погружался в созерцательное настроение. Шуршал в безбрежной мгле ночи тарантасик, роились звёзды в высоте, торжественно безмолвствовала степь, и вереницей неуловимых теней плыли и уплывали смутные мысли о том, что есть какая-то из веков предопределённая фатальная связь между мной, секретарём Круга, и дышлом, толкавшим меня в спину, между ретивыми на спусках гнедухами и загадочным русским народом, переходившим в стремительный карьер под горку... Есть таинственное сцепление между этой

немой степью и звёздами усеянной бездной вверху, между родным моим краем, чернобровой маленькой Васютой на козлах, национальным гнездом, в котором она и я вывелись, между неуклюжей, нелепой, но милой сердцу Россией и – всем необъятным миром, в вечном движении идущим вперёд, в великое, неизвестное будущее, закрытое от меня таинственной завесой.

Плыли из мглы безмолвной ночи мысли, неуловимо уносились в звёздную мглу. Печальной музыкой звенели в памяти стихи, знакомые со школьной скамьи:

Глухая ночь. Дорога далека.
Вокруг меня волнует ветер поле*)...

Да, далека дорога, и ночь загадочно безмолвна...

Порой мы боремся с этой таинственной немотой, говорим, мечтаем вслух. Мой спутник – П. А. Скачков, усть-медведицкий окружной атаман, – говорит об Усть-Медведице, нашем родном гнезде, о создании из неё культурного уголка, из которого свет шёл бы по радиусам в глубь и к перифериям округа. Он – неисправимый романтик. И знаю: сердце его навеки прилепилось к белому кресту над братской могилой, на седом кургане нашем – Пирамиде. Здесь зарыта наша скорбь и наша радость, – лучшие сыны нашего края родного, юные орлы, первые поднявшиеся в неравный бой за честь его и свободу, тут нашли вечное успокоение...

Здесь и залог упований наших на будущее воскрешение веры нашей в родное казачество. Мечтаем вслух. И не Бог весть как несбыточны наши мечты: альфа и омега наших полётов в будущее – пока родной округ, родной угол... Хорошо бы народный университет построить около Пирамиды, поднять агрикультуру в округе, создать бы опытное поле хорошее... Хорошо бы, если бы прошла дорога, нашлись бы предприимчивые и сведущие люди, насадили и оживили бы промышленность в крае... Хорошо бы добиться, чтобы казак наш имел не только всё необходимое, но и лишнее. Ах, хорошо бы...

И всё звенят в памяти грустной музыкой стихи Полонского:

Глухая ночь. Дорога далека.
Вокруг меня волнует ветер поле...

*) Слегка измененная цитата из стихотворения Полонского «Дорога» (1842):

Глухая степь – дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман – мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.

Но, может быть, дорога и не так уж далека и где-нибудь тут, за холмами, окутанными мглою ночи, тёплая станция с огнями, уютом и хорошим разговором?.. Бегут гнедухи под уклон, тарихтит дилижанчик по бревенчатой гати через какую-то речушку, чёрной стеной встают вербы на левадах, огонёк мелькнул вдали: хутор...

– Слепихин, что ль?

– А кто его знает, – говорит Васюта, – я тут сроду не была... Вот коль Купрюшку найдем, – стало быть, Слепихин.

Тарантасик минут пяток прыгает по кочкам, въезжает в хуторскую улицу, пахнущую кизяком, выезжает из неё за хутор, – керосиновый фонарь выныривает напугав, и около него чёрный силуэт телеги.

– Купрюшка, это ты? – спрашивает наш кучерок.

– Я, – отвечает от фонаря сиплый детский бас, и из-за лошади показывается фигурка в полушубке, вся величиной в кнутик.

– Идолова голова... ускакал!

– Дохтура велели скорей...

– Иде же они у тебя?

– В канцелярию пошли...

– Идолова твоя голова... иде же ночевать будем?

– Тут и заночуем. Домой ехать темно... ишшо кабы бирюки не съели...

Невзирая на недостаток мужества перед бирюками, я твёрдо всё-таки верю в Купрюшку – двенадцатилетнего донца, несущего ныне службу родному краю, пока в области транспорта. Верю и знаю, что не обманет меня моя вера... И Купрюшка, и Ванюшка, и чернбровая Васюта, все они – твёрдый камень, на котором будет созидаться лучшая, обновлённая жизнь моей родины, – «твёрдый камень-адамант»^{*)}, по стариковскому казачьему выражению... Немного старше их были те смелые орлята, которые первыми ринулись в бой с угнетателями родного края и нашли вечное успокоение под белым крестом на Пирамиде. Немного старше их и те славные малолетки, из которых сформирована и продолжает пополняться постоянная Донская армия, зерно будущей боевой мощи родного края...

С умилением вспоминаю сейчас я их всех – и Купрюшку, и Ванюшку, и Васюту, и этих юных, безусых молодчиков, короткие встречи с которыми выпрямили мою дотоле согбенную душу.

Помню: накануне открытия Круга сидел я в садике епархиального училища и смотрел на смену караула у здания. Чем-то милым, славным, славным, давно как будто забытым веяло на меня от стройных мо-

^{*)} Скорее всего – это контаминация слов *адамант* и *монумент*. Ср.: *Адамант* – алмаз, бриллиант (Даль); «Твердый камень адамант» – распространенная в святоотеческой литературе характеристика отцов и учителей церкви, прославившихся твердостью своей веры (Прот. Г. Дьяченко. «Церковно-славянский словарь»).

лодцеватых взводов юных казачков, от короткой, отрывисто-чёткой команды.

После команды «вольно» два молодчика подошли ко мне, взяли под козырёк и вежливо спросили:

– Дедушка, где бы нам тут оправиться?

Этот немножко неожиданный вопрос положительно умилил меня. Давно ли мы были свидетелями углублённого и расширенного понимания свободы, отводившего на предмет «оправиться» любое ближайшее помещение, будет ли то дворец, храм, музей, старинный архитектурный памятник? А теперь вот «спрашиваются»... Какое колоссальное преобразование понятий! И какими усилиями удалось достигнуть его?

И тогда уже я преисполнился уверенности, – говорю это самым серьёзным образом, – что родина жива и жить будет...

Видел я их на другой день, этих малолеток, когда их полки проходили перед старыми знамёнами, израненными временем, свидетелями былой доблести и славы казачьей. Звенела музыка. Поток радостным и бодрым неслись серебряные звуки, пели, разливались ликующим и звонким плеском. И за рядами шли ряды, сливая гулкий шаг со звенящим зовом труб. Шли стройные, восторженно-лихие, юные бойцы. И гордым, радостным трепетом билось сердце, ощущая родную близость этой юной, прекрасной боевой силы, оказавшейся в нескудеющей сокровищнице Тихого Дона...

«Есть ещё порох в пороховницах... Не оскудела сила казацкая»...

Звенела музыка разливисто и звонко, и за рядами шли ряды – юные, прекрасные, восторгом удали горящие. В чудесной симфонии слитого гула ритмически-чётких шагов и серебряных звуков встал величавый прекрасный образ родного края, старые боевые знамёна и могилы прадедов, героические песни и плач матери над убитым сыном, скрип бесконечных обозов со снарядами и грозный гул станичного майдана, и степь родная с седыми курганами, нужда, горе, труд и всеувлекающий порыв самоотвержения.

Звенела музыка... и клич юных голосов восторженно гремел в ответ на приветствие Атамана, и сердце ширилось радостной верой в народ, вынесший на плечах своих славные боевые знамёна и ныне, в полосу развала, отчаянья и забвения долга, создавший самый прочный фундамент государственного бытия – юную боевую силу, прекрасную молодую армию... Камень, на котором будет созидаться обновлённая хранина родины...

СВЕЖО ПРЕДАНИЕ

Из Медведицкой летописи

Донские Ведомости, 25 декабря 1918 г. (7 января 1919 г.)

Придет когда-нибудь время, ученые-исследователи тщательно разберут и определяют все нити ткани, из которой создается на наших глазах сложный покров современной истории. И может быть, явится большой художник, который воспроизведет диковинный узор этой ткани перед изумленными взорами будущих поколений. Загадочное для нас, темное и непонятное, – для них станет объяснимым, естественным и логически необходимым.

Мы, захваченные маховым колесом событий, ныне происходящих, не доживем до этого, не узнаем места, отведенного нам в мировой трагедии, не увидим своего отражения в будущей эпопее человечества, ибо тесными пределами ограничена жизнь отдельных поколений. Щебень и гравий, устилающий путь для будущего человечества, мы в лучшем случае, если судьба сулит нам в целости прибиться к берегу порядка и нормальной человеческой жизни, творческой работы и созидания, будем вероятно считать раны и подводить элегические итоги пережитых битв и крушений, наступлений и отступлений, отчаяния и неугасимой веры в торжество правды.

И может быть, найдем своеобразное утешение в этом стариковском подсчете, в этом мысленном странствовании по этапам перенесенного, выстраданного и канувшего в прошлое. Ведь можно сказать, впервые наши углы, доселе безвестные, глухие, первобытные, вошли в теснейшее общение с мировым процессом и сыграли в нем не последнюю роль. Неведомые доселе географические имена и названия, эти хутора, зимовники, балки, ерики, речки и курганы вышли на арену борьбы народов и классов, борьбы многовекового жизненного уклада и нового социального эксперимента, трагически обросшего старыми приемами грабежа, тунеядства и зоологической злобы, – вышли и выросли до размеров исторической достопамятности, – и недалеко то время, когда имена эти будут заучиваться в школах.

В большом хоре трудно рядовому участнику определить удельный вес своего собственного голоса. Отчетливее всего слышит и чувствует его он сам в процессе пения, в моменты напряжения, но уже теряет в дальнейшем, когда его звуки, слившись с другими голосами, создают сложную, могучую симфонию, уходящую в беспредельную высь. Так и нам, современникам и участникам великой исторической драмы, нет пока возможности угадать место той действующей силы, которая нам ближе всего, роднее и понятнее, костью от кости которой являемся мы сами. Сила эта, доселе скромно сторонившаяся от культурного шума и неугомонного состязания народов, совершенствовавших жизнь, обогащавшихся, шедших вперед, – с легким юмором очерчивала круговращение своего жизненного обихода и свою роль в поступательном шествии человечества приблизительно так:

– Какие мы народы? Народы мы степные, темные... Кабы мы грамоте знали... а то так, не письменные, копаемся, как жуки в земле... Сказано: казак да бык... Бык работает на казака, казак – на быка, и оба они – два дурака...

Сколько подлинной искренности заключалось в этом скромном самоограничении роли и сколько скрытого лукавства, – угадать мудрено. Последующая история показала, что самые поразительные завоевания ума человеческого, все чудеса техники, победившие сокровенные глубины океанов и заоблачные высоты, – все-таки в полной зависимости находятся от этих смиренных жуков, копающихся в земле. Казак и бык, связь которых с человечеством конфузливо выражалась в таких простых, обыденных вещах, как постанова в пункты ссыпок зерна, в столицы и в центры культуры – гуртов скота, овец, свинных туш, сала, шерсти, яиц, пера, пуха, – силою обстоятельств были выдвинуты на арену борьбы старого мира и порядка с новым опытом насаждения рая на земле путем всеобщего ограбления, виселиц и расстрелов. Они прошли известный период колебания. Осмотрелись. Потом положили на весы состязания свою земляную силу и дали ходу истории то исправление, которое соответствовало их духу, веками сложившемуся в борьбе за свое бытие и бранным оружием, и плугом...

Здесь мне хотелось бы отметить некоторые эпизодические моменты, попавшие в поле моего зрения, когда я входил в соприкосновение с этой новой ролью родных углов, глухих, смиренных и доселе безвестных. Просто – записать для памяти. Быть может, в картине огромного масштаба, какой является современная историческая арена, подробности эти пройдут вне серьезного внимания, останутся незамеченными. Но было бы жаль, если бы они затерялись бесследно, забылись. В них есть нечто характерное, даже назидательное, достойное запоминания – именно в мелочах жизни, в заметных штрихах и крохотных

осколках, окрашивающих своим цветом ее будничным, затрапезный наряд...

Ровно год назад, помню, в последней трети декабря, в серенький, ветреный день, ехал я в Усть-Медведицу. С детства, со школьных лет знакомая дорога от Глазуновской неторопливо развertyвала передо мной свои старые, примелькавшиеся глазу этапы: дубовые перелески, зябко шумевшие от ветра, луг под белой волнистой пеленой, пески, пересыпанные снегом, хуторские улочки с кучами золы в центре, с запахом кизяка и печеной тыквы... «Знакомый вид, знакомые места»... По внешности, на беглый взгляд, жизнь шла как будто обычным повседневным порядком: по утрам кричали кочета, дымили трубы, плелись сани с накраденным лесом из войсковой дачи, ребятишки гонялись за собаками, дезертиры ползли проторенными тропами к родным углам. Было оживленно. В песках, ближе к Усть-Медведице, встречались вереницы саней – все с клажей. Какая-то стеклянная посуда позвякивала в них, а сзади с озабоченным видом два, а то и три станичника, и у всех лица – точно толченым кирпичом посыпаны.

– В гимназию что ль ездили? – весело подмигивая, спрашивал иной раз мой кучер у знакомых встречных.

– В гимназию, – конфузливо улыбаясь, отзывались станичники.

– Добыли?

– Разжились несколько.

– Много?

– Ведер с двадцать.

– Имеет свою приятность.

Завистливые ноты звучали в голосе кучера.

И так время от времени он спрашивал о гимназии, а ему с веселой усмешкой называли количество ведер. И не трудно было догадаться, что гимназией остроумие моих станичников окрестило винный склад, а мелодичный стеклянный звон в саях намекал на наличность живительной влаги, предназначенной для утоления своеобразной «духовной жажды».

– Гребанут теперьча денег, – завистливо-почтительным тоном говорил кучер: – это вот на паре рыжих обогнал нас – это с Ендовы человек... Второй раз едет... Надьсь на пятнадцать тыщ набрал, вмах сбыл... Опять поехал... Озолотится человек...

Под шуршание полозьев и занимательную повесть своего собеседника на козлах я перебирал в памяти все, чем в последние недели преобразившаяся жизнь нашего глухого угла толкала, совала и глушила меня, человека оторванного от нее, но всеми нитями сердца тянувшего

гося к ней и верившего в здоровое ее чутье правды, добра и духовного благообразия. Был все время угол девственный, трудовой, скромный, в меру благополучный, в меру претерпевавший бедствия. Исправно и добросовестно нес он иго, налагаемое государством, и пределом воздаяния за эту добросовестность благодарно считал вахмистерские или даже просто урядничьи нашивки. После провозглашения свободы он долгое время не знал, какое употребление сделать из этой свободы. Ни помещиков, ни значительных буржуев вокруг не было, – жили все ровно, средним достатком, – грабить некого было. Войсковой лес был поблизости, – дело заманчивое. Но еще не утрачен был лиетет к заседателю, который хоть и переименовал наименование, но протоколы составлять не разучился. Пустым, малоценным делом казалась свобода.

– Слово свободы, а товару никак нет... К подошвам не приступишься, разувши придется ходить...

Но вот пришли с фронта большевики – не настоящие, а свои, доморощенные, – и сразу в какую-нибудь неделю перелицевалась жизнь, были переоценены старые ценности, перевернуты привычные понятия.

– Вот это голос, – говорил мне со скорбным изумлением старый приятель Сысоича другой день после встречи сына: ждал-ждал сынка, сухари сушил, сердцем сокрушался... Такое разуме держал в голове: придет, мол, будет кормить-поить... А он накормил...

– Побранились, что ль, Захар Сысоич?

– Какая брань: взял винтовку, нацелился в отца... – «Застрелю, такой-сякой!» – За что, по крайней мере, сынок? Что из последнего тянул, справил тебя на службу, копейки общественной не занял?.. – «Ты почему меня не женил, такой-сякой? Теперь все мои товарищи на теплых постелях с подружками, а я один всю ночь с соломой шепчись!»... И что выдумаете, выстрелил! Да спасибо – в потолок, а то может уже лежал бы я теперь под белым полотном... «Ты, – говорит, – кадет, такой-сякой!» – Да кто они есть, кадеты, скажи ты мне, сынок? – «Ученые люди»... – Какой же я ученый? аз – буки, бери кнут в руки, гони быков – вот все мое ученье... – «Ну, значит ты буржа»... – А это кто такое? – «Богачи»... – А-а, ну это, мол, верно... богат – не богат, а с работы горбат... я, положим, буржа, а кто же вы будете, с пылу горячие, господа фронтовики? – «Мы – большевики»... – Кто же это такое – большевики? – «Первые люди»...

Первые люди... Мысль неотвязно кружилась около них с тоской и тяжелым недоумением: неужели это свои, родные, близкие сердцу люди – сыновья и братья, – которых мы когда-то благословениями и слезами провожали на борьбу за честь родины, с трепетной надеждой

ждали назад и верили, что соберутся они воедино в родном краю и не дадут его в обиду?.. Неужели это они, всегда такие простые, понятные, пахнущие степью, силой земли и славными дедовскими традициями? Какое колдовство подменило их милый, молодецкий, казачий облик распоясанными, нелепыми фигурами в штанах «галифе», с видом саврасов без узды, ворвавшихся в тихую станичную жизнь? Их старый, родной, выразительный язык – бессвязной тарабарщиной, в которой, как в лохани, обильно плавали пестрые огрызки бессмысленных, исковерканных, чужих слов? Их простую, хорошую, естественную речь – заученным ораторским пафосом, похожим на восторженный лай юного Кутька, вырвавшегося из подворотни на улицу?...

Какое темное колдовство преобразило простую, здоровую душу в душу торжествующего смерда, с появлением которого тихие станичные и хуторские улочки наполнились пьяным гамом, руганью, гоготанием, циническими сценами с женщинами?

Первое время коренной станичник с сивой бородой, несмотря на звание свободного гражданина, оторопел и смотрел ущемленным зайцем. По улицам разгуливал дармоед в штанах «галифе», руки в карманах, а голодные, заброшенные полковые лошадки грызли плетни, прелую солому сараев, и стыдно было встречаться глазами с их грустными, тоскующими взорами... Фуражиры и артельщики вели картеж, какой никогда и не снился местным «буржуям».

– Что ж им тысячи не проигрывать, – грустно говорил мне старик-полчанин, – пришли ко мне двое, видать артельщики – «Продашь козову?» – Продам. – «Сколько?» – Триста. – «Ну, ладиться не будем, только расписку пиши на пятьсот»... Играть можно. И все – комитетчики... Что ж им не играть? Поназначали сами себе жалованья и дуются в двадцать одно очко...

По сравнению с тем, что делалось в других местах несчастной России, комитетчики и доморощенные большевики третьего полка, носившего имя Ермака Тимофеевича, раскрадывавшие полковые суммы, расточавшие полковое имущество, щеголявшие пьянством, дармоедством и праздным словоизвержением, были розовой водицей. Смирный наш угол после имел случай убедиться в этом. Но не мог не удручать этот резкий переворот души народной, всегда такой ясной и здоровой, этот смердящий дух... И не то мне было больно, что комитетчики приходили толпой обыскивать меня, как контр-революционера, обшарили закоулки на потолке и под полом, разыскивая пулеметы, – сколько то, что даже коренной мой согражданин-станичник, воспитанный в прекрасных традициях старины, рассудительный, прочно верный общественному долгу, – покачнулся в сторону «свободы», сбросил всякие обязательства, стеснения, кинулся истреблять

лес, спекулировать на все лады, набивать карманы кредитными бумажками... Превыше всего вознесены были интересы собственной шкуры и собственного корыта...

И когда он отказался дать сторожей к церкви и училищу, – «пущай, кому надо, те и нанимают», – и кучке полуголодных интеллигентов-«буржуев» пришлось метаться в поисках хоть столетних инвалидов, чтобы не бросить без призора станичный храм, – я почувствовал, что призванный к строению новой жизни «гражданин» решил начать с того, чтобы сбросить с себя даже те крохи общественного сознания, которые нес без особого обременения раньше и считал нужным нести...

От жизни пошел трупный запах...

В ГОСТЯХ У ТОВАРИЦА МИРОНОВА

«Донские ведомости», 13 (26) января; 19 января (1 февраля) 1919 г.

Совершенно случайно пришлось встретиться с подхорунжим Зеленковым, Борисом Андреевичем. Встречались мы не раз, конечно, и раньше, в первый период восстания в нашем округе, Усть-Медведицком, – я помню среди усть-хоперцев это худощавое, умное лицо с белокурыми усами и смышленным взглядом мягких серых глаз. Но проходили мы мимо друг друга, не до разговоров было. А теперь вот, столкнувшись в мирной обстановке за стаканом чая у писателя нашего Р. П. Кумова, ворохнули минувшее и разговорились, пустились в воспоминания о пережитом, – еще свежем, но уже обросшем новыми наслоениями, затененном дальнейшими событиями.

Зеленков, усть-хоперец, участник восстания с самого его начала, был мне особенно интересен, как живой свидетель первых ростков движения. Тот неуловимый момент, в который затрепетала благородно-негодующая, очнувшаяся от мутного угара мысль в среде, за месяц перед тем, может быть, устраивавшей облавы на офицеров, для меня был окутан такой же тайной непостижимости, как тайна зарождения жизни. И я не знаю, будет ли когда вполне открыта завеса над первыми осторожными переключением степных углов, хутора с хутором, над первыми шагами ощупью и с оглядкой, над всем тем прологом к героическому сказанию жизни, от которого веет седой стариной зипунных рыцарей. И кто расскажет, как вылетели первые искорки из казачьего кремня под секущими ударами жизненных уроков, раскрывших подлинную сущность «товарищеской» действительности?..

Даже самые близкие участники великого современного драматического действия казачьего затрудняются точно указать момент, с которого мысль претворена была в слово: «Жребий брошен!» – и слово стало делом...

Была в нашем углу полоса безнадежности – кратковременная, но беспросветная. И казалось, все живое, хранившее искру порыва, не

утратившее чувства чести, способное к протесту и жертве – вымерло или было забито в самые сокрытые щели жизни. Казалось, жизнь стала сплошным хлехом ко всему, кроме ценностей хлева, равнодушной. Пьяные, заплетающиеся языки опаскудили прекрасные слова, освященные терновым венцом крестных мук самоотвержения, веками возвышенной мечты человечества. В жизни царили корыто и шкура. Эти два лозунга руководили так называемым «трудовым» людом и теми, кто подыскал подходящую окраску и прикинулся усвоившим пролетарское мироощущение...

«Контрразведка» товарищей Рожкова и Миронова*), двух типов, на которых держалась советская власть в нашем углу, потешалась от скуки над ущемленным гражданином «свободнейшей в мире республике». На одном станичном сборе того времени перед «товарищем» Рожковым наш предводитель говорил коснеющим от страха голосом:

– Советскую власть признаю...

– То-то! – давась от смеха, грозил пальцем «товарищ».

Развлекался, – скучно было. Скука и тоска была смертная. И нечем было жить: ни веры в торжество правды, ни надежды на день грядущий не было. Темь, горечь горькая бессилья, отчаянье одиночества и безбрежной распыленности...

И – помню – когда Великим постом стали заезжать ко мне и пешком приходиться молоденькие офицеры из учителей и агрономов – «за книжками» – и осторожно нащупывать «настроение» – я с изумлением и сомнением спрашивал:

– Вы еще верите?

– Верим. А как же иначе? Иначе и жить не стоит...

– Но где же упор?

Упора не было пока, но благородно-мятежная юность верила, что он будет. И это всецело ее заслуга – сохранение угасавшего уголька веры в то, что клич возмущенной чести не только прозвучит среди безбрежного разлива шкурности, предательства, распыленности, но и

*) Миронов Филипп Кузьмич (1872–1921) – из казаков Усть-Медведицкого округа, окончил в 1898 Новочеркасское юнкерское училище. Участник русско-японской войны, был награжден четырьмя орденами. За участие в революционном движении 1905–1907 гг. на Дону уволен со службы. В 1914 г. пошел добровольцем на фронт, командовал сотней, полком. Награжден 4 орденами и Георгиевским оружием. В январе 1918 г. привёл полк с Румынского фронта на Дон, был окружным комиссаром на Верхнем Дону. В 1918 г. сформировал казачьи части в Красной армии и командовал ими на Южном фронте. В 1919 г. выступал против политики расказачивания, в октябре 1919 за самовольное выступление со своим Донским казачьим корпусом на фронт был арестован и приговорен к расстрелу, позднее амнистирован. В 1920 г. командовал 2-й Конной армией на Врангелевском фронте. В феврале 1921 арестован Донской ЧК и при невыясненных обстоятельствах убит часовым во дворе Бутырской тюрьмы, после чего было оформлено постановление ВЧК о расстреле «за подготовку на Дону контрреволюционного восстания».

не замрет без отзвука. Заслуга молодых орлят. Ибо старость, умудренная горечью и полуослепшая от тяжкого ига этой мудрости, негодовала, но сомневалась и жалась к стороне.

Но когда прозвучал зов восстания, – подхвачен он был окрепшими и вдруг помолодевшими стариковскими голосами...

– Скажите, Борис Андреевич, кому поклониться за восстание – старикам или молодым? – спросил я нашего собеседника – Зеленкова.

Он ответил не сразу:

– Старикам. Поддержали старики...

И, помолчав минутку, прибавил:

– Греха таить нечего: мы, фронтовики, раскачивались долго... Дело касалось, конечно, нас – ну разговоров было-таки... нейтралитет и прочее... Скрывать нечего... Словом сказать – заключил он, в раздумье глядя в налитый стакан, – начинали дело офицеры, раздували кадило старики. А мы уж подпряглись и вот... возьмем...

– Тяжеленько, конечно...

Зеленков мягко улыбнулся сквозь белокурые усы.

– Иной раз, как говорится по-нашему, по-хуторскому, аж пупок трещит, а тянуть надо... Я – благодаря Бога – участвовал в набегах, в жарких схватках, уцелел... Господь укрыл. Вот после двух сквозных – отвалился, ничего... Постиг однажды несчастный случай – правда: попал в гости к Миронову, – ну, вывернулся, Бог привел...

– В плену были?

– Так точно. Ровным счетом полтора месяца...

– У Миронова?

– Так точно. За ручку даже с ним держался...

– Да как же это вы?

– А очень просто...

И действительно, просто это вышло, – по бесхитростному, чуждому рисовки, простому рассказу Зеленкова. Было это 16 августа, когда отряд полковника Голубинцева*), вслед за отступавшей из Мариновки красной ратью Миронова, подошел к границам Саратовской губернии. Как известно, началась тогда полоса митингов в некоторых частях освободительных войск. Вышел вперед распропагандированный

*) Голубинцев А. В. (1882–1963) – казак Усть-Хоперской станицы, окончил Донской кадетский корпус и Новочеркасское юнкерское училище, участник Первой мировой войны. В 1917 г. полковник и командир 3-го Донского казачьего Ермака Тимофеева полка, на Рождество 1917 г. (по ст. ст.) привел полк из Бессарабии с фронта «в родную Глазуновскую». Участвовал в подготовке антибольшевистского восстания усть-хоперских казаков. Командовал полком, дивизией, один из видных командиров Донской армии в годы гражданской войны на Дону. Автор воспоминаний «Русская Вандея: Очерки Гражданской войны на Дону 1917–1920 гг.» (Мюнхен, 1959).

шкурник, инстинктивно угадывавший момент и восприимчивость почвы. Шкурник кричал: дальше идти незачем, из своей земли красных выбили, а там пусть сама Россия решает, выгонять их или оставить на завод, если они ей понравятся. Эта проповедь невмешательства впитывалась казаками, как вода губкой. Сотни отказались выполнить боевой приказ и остановились: дальше нейдем...

Зеленков со своим взводом был послан в разъезд – осветить*) слободу Кондаль. Взвод проехал саженой сто по саратовской территории.

– Стой! довольно! – слышались голоса сзади.

– Это чего же будет? – спросил Зеленков.

– Надо кончать войну, – чего!

– А возложенную обязанность выполнить не надо, стало быть? Долг службы?

– Буде, пожалуйста, тень наводить: долг службы! Из своей земли вымели навоз, а саратовцы – пушай, как знают: нравится им советская власть – пушай! Не нравится – нехай потрудятся сами выгнать, а мы им – не крестьяне...

– Стало быть, это окончательное ваше слово?

– Не желаем!

– Ну, ежели так – я один поеду, – стыдней будет вам...

– Езжай, если охоту имеешь. Авось дубовый крест заслужишь...

Выпросил Зеленков бинокль у сотника Степанова, поехал один. На окраине слободы опросил местного жителя, проходили ли войска через слободу? Проходили.

– Кадеты или большевики?

– Да как их разберешь? Я вот вас вижу, а почему я знаю, кто вы, кадет ли, большевик ли?

– А как думаешь, как на вас кокарда, а энти без погон...

Проехал слободу. Верстах в двух село Громки – вытянулось в одну улицу. Надо пересечь и его. Подъехал, зашел в крайний двор, опросил хозяйку: были войска? На рассвете прошли.

– А сейчас нет?

– В нашем конце не видать, а там – не знаю, брехать не хочу...

Поехал улицей. Половину села проехал, никаких ценных для разведки признаков не обнаружил, даже досаду стал чувствовать. Вдруг из-за угла показалась походная кухня с одним фурштатом на козлах. Упустить случай сделать сюрприз неприятелю – не в обычае казачества, – решил забрать кухню. Вынул шашку, пустил коня карьером. Фурштат, оглянувшись на топот, кубарем свалился с козел и шмыгнул в ворота ближайшего двора. Зеленков нагнал лошадь с кухней, завер-

*) Осветить местность – т. е. произвести разведку.

нул ее, слез с коня и примерился уже взобраться на козлы, – вдруг раздались выстрелы: в тылу оказалась конная застава красных, в конце села – пешая...

Окружили. В спину, в грудь уставили винтовки.

– Тех, что сзади, не видать было и не так страшно, а передний один в самую грудь упер, шумит: «Бросай шашку, а то дух вон!» Бросил, оробел, – виноватым голосом проговорил Зеленков, склоняя голову набок.

Помолчал. Вздохнул.

– Ну сейчас, конечно, обшарили меня, молодца, ошупали всего, коня отобрали. Повел его красногвардеец – закипело мое сердце... Легше бы на месте помереть: конь был – по редкости таких лошадей. Думаю: достанется предателям казачества мое родимое, а я пеш остаюсь...

Видно было, что волновало очень Зеленкова воспоминание о боевом товарище, – самая подлинная скорбь звучала в его голосе.

– Ну повели меня после того на допрос в Лопуховку, в штаб Миронова. Ведут по дороге, – «братская» сотня как раз окопы роет. «Братской» сотней у них называется, где казаки и солдаты вместе служат. А то есть сотни из одних казаков. Увидала меня братская сотня: – Стой! – шумят. Конвой ведет. «Стай, а то мы вас перестреляем!» Остановилась. Сейчас окружили меня человек с полсотни, приступили к разбору. – «Сымай кокарду!» Отдал им фуражку. Сорвали кокарду, растоптали ногами. – Шинель на нем новая – сымай шинель!» Шинель сняли, видят – на рубашке погоны. – «А-а, погоны!» Набросились на погоны, как растравленные собаки... Каждому желательно принять участие, – рвут! Кто рвет, а кто в голову бьет. Кому близко – кулаком, а кто подальше – норовит прикладом, лишь бы не отстать от других, – и я, мол, в чистом поле не обсевок...

Спокойно, ровно, с легкой усмешечкой рассказывал это Зеленков, и невольно подкупало нас, его слушателей, эта ясная, почти веселая выдержка, отсутствие рисовки, отсутствие волнения, негодования и злобы. Просто, мягко, скромно говорил он и дальше – местами о возмущающих душу вещах – и, кажется, главной заботой его была точность и обстоятельность: назовет фамилию и тут же, подняв палец, старается припомнить и непременно вспомнит станицу, даже хутор, откуда родом названный (обыкновенно красногвардеец), имя его и отчество. Слушаешь его и диву даешься, какое богатство живого, правдивого, летописного материала хранится порой в неприметной рядовой массе наших родных бойцов, и как жаль, что большая часть его, вероятно, осуждена на медленное умирание без использования...

– Погоны сорвали, зачали сапоги сымать и чулки. В сапоге у меня книжка была записная, состав взвода был в нее переписан. Прочли. –

«А-а, взводный! Он, так его раз-этак, не только сам шел на своего брата, трудящего народа, но и взвод за собой вел убивать нас... Чего его возить в штаб, – кончай тут!»..»

Один казак – высокий такой, здоровый, – Етеревской станицы, с хутора Большого, Попов – кажется, – развернулся, ка-ак даст мне, раз, другой и третий. Я упал. – А-а, лампасник, так твою и этак! Говори: где моя жена, где мои дети? Чего вы с ними сделали? – говори, живого не выпущу!» – Жена ваша, – говорю, и дети – идеи были, там и находятся, пальцем их даже никто не тронул... – Бреешь, лампасник, такой-сякой! Семью вы мою истребили, а меня, сына Тихого Дона, лишили звания казачьего, родных вершин лишили! Но это мы еще увидим, кто будет сыном Тихого Дона – вы ли со своим Красновым, или мы, истинные казаки, защитники революции!.. Сымай шаровары, – я тебе из тела вырежу лампасы, защитнику лампас!»..

Сняли шаровары и опять били.. Приготовился было я с белым светом распрощаться, однако не добились, выдулся. Пригнали в Лопуховку, в правление, втолкнули в тюрьму, замкнули. Приставили часовых – красногвардию, не казаков. Но мироновские казаки услышали, что в плен кадета взяли, лезут к окошку, шумят: – «Вырезать ему на теле лампасы, а на плечах – погоны!» А какой: – «Выколоть ему глаза и пустить!» – «Ну да! И самое лучшее: чтобы он больше не видел сражений с красной армией!»... Етеревский опять приходил – на другой день: – «Ты знаешь, – говорит, – кто тебя отдукал? Знай: отдукал тебя Етеревской станицы казак с хутора Большого – Попов! Да, впрочем, чего с тобой, с собакой, разговаривать? С тобой короткий разговор должен быть»..

Поднял винтовку, шелкнул, – я успел отклониться от двери в угол... Вдарил – мимо. Часовой отстранил его. – Ну все равно, – говорит, – рано, поздно, а ты не минуешь моей руки!»

В этот же день, на вечер, зашли еланские казаки.

А я, как слышал раньше, что усть-хоперцев красные в плен не берут, а в расход пушают, – я на допросе объяснил себя казаком Еланской станицы. Ну вот они и пришли, еланцы, поглядеть что за зверь попал в клетку. – «Доброго здоровья, товарищ!» – Здравствуйте. – «Вы откель будете?» – Еланской станицы. – «А с каких хутор?» – С хутора Дубового. – Чего же мы вас не знаем? Личность ваша нам незнакома... – Не знаю, почему вы меня не знаете. – «А ты чей будешь?» – Зеленков. – «А Василий Зеленков вам кто будет?» – Брат родной.

Ну тут они вошли в положение, сочли за станичника. После они меня – дай им Бог здоровья – все время поддерживали, кормили: когда арбузика принесут, когда пирожка... Без них я голодку схватил бы – целый месяц ведь, за замком просидел, белья никак не сменял... От

этого неудовольствия на третий же день по мне вошь, как козявка, поползла...

Стал я обследовать, конечно, тюрьму, как только опаматовался: сколь крепка? Попросился до ветра, осмотрел снаружи: под домом фундамента нет, стоит прямо на столбах, – значит, уйти свободно. Печка была немного развалена, вьюшка валялась – пополам перебита. Взял я один осколок, попробовал половицу – подается легко. – Ну – думаю – нынче буду уходить ночью... Это уж на третий день было...

Однако уйтись не пришлось...

– На третий день приходит ко мне казак Иван Качуков, Усть-Медведицкой станицы, с хутора... вот не припомню..., кажется, Подлиповского...

Зеленков, по своей привычке к точности обстоятельности, остановился, стараясь вспомнить, поглядел в потолок, поглядел на нас, слушателей.

– С Подлиповского, – сказал он уверенно. – Приходит... в руке револьвер: – Ступай за мной»... – Ну, думаю, конец: доведет до первого яра, чтобы не копать ямы, не трудиться, и прихлопнет... Вышли. Иду вперед, он с револьвером сзади. Иду – каждую минуту жду: вот выстрелит в затылок и – кончено... и все... Тут в один миг, можно сказать, все перебрал в уме, всю свою жизнь.

Мысли больше в родную сторону накидывали: жена, дети малые... Летели пули и снаряды и не тревожили меня, а тут вот рука предателя казачества нажмет собачку, и труп несчастный мой будет валяться без погребения где-нибудь в яру... А там детишки будут страдать, день при дне ждать, когда придет их поилец-кормилец, отец родной... Да... Такие и разные подобные мысли... Придут – мол товарищи, на грудях кресты – медали принесут, а про меня деточки проснутся – спросят: «Идее наш папаня?» – Ваш папаня, давно убитый, лежит землю не засыпан... Прощай, страна моя родная, тебя мне больше не видать*»...

Зеленков говорил с мягкой улыбкой, с легкой как бы иронией, над отошедшей в прошлое тоской предсмертных переживаний. Но трогательное и жалостное, что трепетало в этих воспоминаниях, хватало за сердце, как отдаленное, надгробное рыдание, сурово-властно, больно и «до смерти прискорбно»...

*) Ср. с русским переводом арии Анды из одноименной оперы Дж.Верди (премьера – 24 декабря 1871 года):

О край родимый, мой край дорогой, мне тебя вновь не видать!
О милый край, страна родная, тебя мне не видать!
Прощай!

– Д-да... Ну однако идем. Вижу: гонит он меня прямым стремем в Лопуховку. И, оказывается, пригоняет в конце концов в квартиру Миронова, – в доме священника он занимал помещение. Значит, будет допрос, – думаю. Приготовился ко всему. Пригоняет меня Качуков, и под стражей я вхожу в дом. Гляжу: сидят, графин на столе, рюмки, закуска. В роде, как бы пирушка... Миронова я от рода жизни никогда не видал, какой он есть из себя, но говорили: черный, мол, усы большие, глаза маленькие, заплывшие родинка вот в этом месте. Сейчас накинул его глазами: сидит, отвалился на спинку стула, щеку подпер рукой. Кругом, конечно, «товарищи», человек с десятка, личность мне ни одна незнакома. Пирушка же у них была по тому случаю, что Миронов выдал дочку свою замуж за своего начальника артиллерии – Голикова... студент он, кажется...

Ввели меня в помещение, поставили в дверях. Стою. Вскинул Миронов на меня глазами, пальцем поманил к себе. Обошел я кругом стола, подхожу к нему. Подает он мне руку, сажает рядом с собой. Посадил рядом, берет графин и берет чайный стакан. Ставит чайный стакан передо мной. Наливает стакан, наливает рюмку. Берет сам рюмку, мне велит взять стакан. Беру я стакан, а рука вот... так и прыгает, ходуном ходит. И совестно, а удержаться не могу, все чувства как-то заволновались во мне... Миронов говорит: – «Товарищи! выпьем за здоровье врага нашего – казака Зеленкова, пушай знает, что Филька Козьмич Миронов, казак с хутора Баран-Сенюткина^{*)}, есть враг не трудовому казаку, а враг тем, кто собрал несознательную массу и повел на убой за генеральские погонники... Пей, Зеленков, да смотри – пей до дна!..»

Выпили. Поставил он рюмку, на стол облокотился, закрылся ладошкой и заплакал. Вынул из кармана платочек, слезы утирает... Один наискосяк от меня сидел и говорит: – «вот, так вашу раз-этак, несознательное вы стадо, – видите теперь, кто такой Миронов? О ком он плачет, о ком слезы ронит? Об вас, об несознательной твари, он плачет, потому что он хочет счастья вам добиться, светлой доли, земли и воли, чтобы все были в равном достоинстве, никаких генеральев, офицерьев, ни прочих кровопийцев народа, чтобы не было, а честь всем и каждому была бы равна... Против кого же вы идете, головы с ушами, – подумали ли вы о том?..»

Встал Миронов из-за стола, вышел в особую комнату. Я подумал: до ветра. Гляжу: нет, входит через другую дверь, на плечах у него мои погонники. – «Имею честь представиться, товарищи: *урядник* Зелен-

^{*)} Ф. К. Миронов родился 27 октября 1872 года на хуторе *Буерак-Сенюткин* Усть-Медведицкого округа, области Войска Донского. В донских говорах «буерак» и «барак» – синонимы, но здесь не барак, а именно баран.

ков»... Смеются, в ладоши шлепают. – «Вот», – говорит мне, – за что вы пошли кровь проливать – за эти погонники, видишь? Казачество... А вникнул ли ты головой, что такое казачество? Пустая погребушка. Нет ни казаков, ни мужиков, не должно быть, а есть люди-братья, трудящиеся всего мира, равноправные, свободные граждане земли... да! На черта оно вам сдалось, это казачество? Кормит оно вас или разоряет? Эх, вы, кроты слепые, несчастные! когда вы глаза протрете?».

Сорвал погоны, швырнул в угол. – «Ну, а теперь, товарищ Зеленков, мы будем с тобой сурьезный разговор иметь. Да смотри, говори правду. Повильнешь в сторону – горе тебе будет!.. Говори: какой станицы, какого полка?». Отвечаю: полка Каргино-Боковского, сам станицы Еланской. Допрашивает дальше: кто командир дивизии, кто командующий войсками?

В то самое время входит военный комиссар Гугняев. А мы с ним в третьем полку служили. У меня так руки и опустились: очень же он хорошо знает, что я Усть-Хоперской станицы, а не Еланской, а усть-хоперцу не быть на-воскресе, раз к красным попал.

Обходит Гугняев кругом стола, подает всем руку. Подал и мне. Сел. Засмеялись товарищи. – «Чего вы смеетесь?» – говорит: – «чего во мне веселого нашли?». – «Да как же? ты с кем поздоровался-то? Ты с врагом революции ручка за ручку держался»... Тут он стал в меня глядываться. – Не признаете, Григорий Мануйлыч? – говорю ему. Он еще дюжей удивился, что я его по имени-отчеству называю, – «Личность знакомая, – говорит, – а не вспомню, где видал»... В третьем полку вместе служили. Зеленкова не припомните? – «А-а, ну теперь узнал»...

Миронов рекомендует: – «это кадет попался к нам, станицы Еланской». Тогда Гугняев обращает свое внимание: – «позвольте, почему Еланской, если он служил в третьем полку?» Я отвечаю: – Григорий Мануйлыч, радости мало, что я служил в третьем полку, а рожак я – станицы Еланской, с хутора Дубового, но в 1907 году пошел в зятя в Усть-Хопер, с усть-хоперцами и служил в третьем полку, с ними и на позиции был. А когда был на позиции, женка моя умерла... То пришедши с позиции, я опять ушел в свою Еланскую станицу...

– А женка моя, слава Богу, и сейчас жива, улыбаясь, вставил Зеленков для нас, слушателей.

– Ну, это они признали за самую правильность. Допили графин. – «Ну-ка, нацедите там», – говорит Миронов. Один товарищ взял графин, ушел. Через малое время приносит – поклон. Продолжают разделять время. Наливают всем. И мне в том числе. Гугняев говорит: – «Ну вот, Зеленков, раз ты попал к нам, погляди, за что мы сражаемся. Сражаемся мы за революцию, а также за интернационал, за власть народа и

за счастливую долю народа, а вы, темное несознательное стадо, идете за офицерские и генеральские погоны. Вот поживешь – увидишь, какой у нас строй коммуны»... – Пожить с удовольствием, Григорий Мануйлыч, – говорю, – но только не надеюсь головы сносить в целости, – дыжу серьезная у вас коммуна... Даже не знаю, жив ли останусь, но каждого часу жду, что решит меня какой-нибудь товарищ... – «Раз довели тебя до Миронова, то будь уверен: больше пальцем никто не посмеет тронуть. Куда нам его приставить, Филипп Козьмич?» – «Никуда приставлять мы его не будем, дадим ему литературы, пусть идет назад». – «Дело! Пушай отнесет литературу и объяснит несознательному стаду, чего видал»... – Ну это хорошо, – думаю, – нечего же мне и пол в тюрьме выламывать, – то ли уйдешь, то ли нет, а тут сами проведут... Принесли еще графин, выпили. Песни заиграли, революционные... Потом меня назад в тюрьму отвели.

Заночевал в тюрьме третью ночь, жду: придут, мол, принесут литературу, выпустят... День проходит – нет. Еще ночь переночевал. Завтра – слышим: последовало распоряжение – опять в наступление...

Ну тут меня и пошли перегонять из тюрьмы в тюрьму. Все тюрьмы вверх по Медведице пересчитал: был в Мариновской, в Островской, в Березовской. Сидел уже не один, других поприграли. Раз привезли восемь стариков березовских – ни глаз, ни губ не разберешь, до того были избиты. Взяли в плен тогда их около сотни, довели до тюрьмы восемь человек, остальных в расход пустили...

18 сентября – это уже больше месяца прошло – заходят ко мне опять еланские казаки, которые в лопуховской тюрьме меня подкармливали. – «Ты всё сидишь?» – Сижу. – Долго же ты... Верно, забыли про тебя»... – Может, и забыли. Вот вшишек кормлю второй месяц рубаху не сменял. – «Мы тебя возьмем на поруки»... – Когда бы ваша милость была!..

Пошли они к Миронову, через малое время приходят назад: – «Ну, пойдем, дают тебя нам на поруки». Приводят к Миронову. – «Ну вот, – говорит, – отпускаю тебя, Зеленков, на поруки товарищам, гляди, слово содержи твердо. Вот тебе записка, пойдешь к каптенармусу, по этой записке получишь шинель, сапоги, одежду. Ну, помни, слово содержать твердо!»... Я вспомнил первым долгом про коня.

– Товарищ Миронов, – говорю, – вот у меня тогда в Громках коня отобрали, желал бы я служить революции на своем природном коне... – «Гм... да... коня тебе дай, а ты на другой день шапочку сымешь и – до свидания?» – Никак нет, этого я себе нитнюдь не позволю! А только жаль мне коня своего природного, и сердце болит, что ездит на нем другой... – «Ну хорошо. Вот тебе записка. По этой записке можешь ты своего коня взять, если только он окажется цел, во всякое время и

во всяком месте. А сейчас назначаю я тебя к арестованным, будешь пленных караулить»...

Вот. То сам сидел, а то стал караулить тех, кто со мной сидел. Клетские казаки также со мной сидели – я за них стал хлопотать перед Гугняевым, чтобы их выпустили, – за них, мол, ручаюсь. – «Ты – говорит – сам только на поруки взят, а за других уже поручаешься». Однако выпустили. Дня через три меня к оружию назначили, при обозе первого разряда. Это было около Сенного хутора. Ну, тут я решил бежать, – патронов заготовил, винтовку любую из воза можно взять. Однако дюже мне коня своего хотелось выручить, через коня я еще дней пять провел у Миронова. Расспрашиваю, разужнаю: такой-то мол конь, приметы вот какие. Нигде не оказывается. Наконец, напал на след: конь мой, оказывается, остался в Грачах – у того самого солдата-красногвардейца, который при мне повел его. Солдат этот заболел и остался лежать в той местности. – Ну, значит, быть делу, коня мне от туда не выручить...

28 сентября, когда Сутулов левым берегом Медведицы зашел в тыл Миронову, началось отступление. Ну, тут уж раздумывать нечего, надо было уходить. Говорю своему товарищу – клетскому: – Вася, нынче ночью давай уходить. – «Уходить с удовольствием, да куда сунуться-то? Как бы пуля в затылок не угодила»... – А вот, мол, я взял слух, что у них позиция эту ночь будет вот по этим буграм, а обозы в ночь пойдут вперед. Ну, приотстанем около задней подводы, а ночью вдаримся к Медведице, там как-нибудь переберемся... «Ну так и – так!»

Дождались ночи. Ночь пасмурная. Идем около заднего воза. Выбрали себе по винтовке, патроны заготовлены. Стали переезжать один мосток через балочку, подхлестнули лошадь кнутом, чтобы не отставала, а само под мост. Посидели. Прислушались. Тарахтит всё, – значит, обоз не останавливается. Пошли балкой по лесу. До лесу дошли – шуршит лист под ногами, как бы застава не услышала, надо опушкой идти. Идем опушкой, крадемся. Слева стрельба пачками, справа – одиночные. Прилегли. Кто стреляет, по ком – не определишь. Полежали, пошли дальше. В одной руке у нас озеро или затон, с другого боку – река Медведица. Место узкое, усынок, думаем, – застава тут не должна быть. Крадемся этим усынком, к каждому шороху прислушиваемся. Подошли – затон кончился, в реку пал. Попробовали брод – глубоко. Что тут делать? – Давай плыть, Вася, – говорю. – «Да все перемочим». – А мы вот хворосту нарежем, плот сделаем.

– «Ну давай»...

Стали хворост резать – попались под руку колья, – как видать, кто-нибудь в общественном лесу поджился из рыбалок да спрятал. Это

нам к масти козырь, – есть из чего плетень сплесть. Сплели плетень – так, аршина два в квадрате, – спустили в воду. Ну, одно горе: хорош плот, да тонет. Тянешь его за собой – ничего, всплывает, а на месте – тонет. Не миновать – все перемочить. Думали-гадали, ничего не придумаешь, кроме как плыть надо. Разобрались, привязали одежду и винтовки к плоту, захлестнул я веревку одним концом за плот, другим опоясал себя. Василий говорит: – «что ты делаешь? Он тебя утопит»... – Авось, переплывем, – говорю. Василий говорит: – «я плавать, можно сказать, могу лишь по-топоровому»... – Держись – говорю – под воду, переплывешь как-нибудь. Тут не широко.

Поплыл он вперед, я с плотом за ним. Гляжу: поболтал-поболтал он руками, стал хлебать. – Держи под воду – говорю, – а то непременно утонешь... Глядь, с него и фуражка всплыла, а сам нырнул. Подплыл я к фуражке, поймал ее, взял в зубы, – Василия не видеть. Значит, пошел ко дну. – Ну – думаю – плот бросить – потонет, а Василия найду, нет ли? Доплыву до берега, а там будет видно, что делать. И самому-то чижало, и человека жалко...

Ну все Господь... К берегу еще не прибился – гляжу: Василий мой из воды вылезает под яром, как суслик. Значит, тонуть стал, а память еще не потерял: наткнулся на корневище. Ухватился за корневище. Ухватился за корневище руками и по корневищу к берегу прибился. Все Господь...

Ну вот, лежит мой Василий на берегу, водой блюет, а я кой-как подогнал свой плот, снял одежду, сапоги, винтовки, все намокло... Было это под самый Покров, вода свежая, аж жгет просто... Заря стала заниматься. Слышим: за леском зазвонили к утрени, – церкву не видеть. И где мы есть именно, – не определись, местность чужая. Оделись. Пошли. Идем, Василий глядит на меня и говорит: – «Неужели и я такой же, как ты? Ты на себя не похож, весь переменялся, черней чугуна стал». Все на нас мокрое, стыдь... – Это не суть важно – говорю, – а вот как нам пробиться к своим? Идем лесом, к каждому шороху прислушиваемся. Доходим до поляны. Глядим: на полянке скотина ходит, и человек верхом на скотине ездит. По всему видеть: местный житель, либо скотину ищет, либо стережет... Свистнули мы ему. Подъехал. – Скажи, дяденька, Христа ради, что за станица тут, иде это звонят? – «Малодель». – Ну скажи, не потаи, сделай милость, какие войска Малодель занимают: большевики или кадеты? – «Кадеты». – Правду ли говоришь? – «Истинный Бог»... Заплакал тут Василий и говорит: – «Дяденька! вот заря Господня и нынче праздник Господний – воскресенье, скажи ради Бога правду: какие войска Малодель занимают?..» Заплакал старик: – «Родимые мои! я сам казак, казаком и помереть

желаю! Правду вам говорю: Малодель кадеты занимают. Пойдемте, я доведу вас: тут вот застава ихняя, недалеко, в левадах...»

Ну и действительно привел, не обманул. Накормили нас казаки горячей кашей, обсушили... Слава Богу, отогрелись – ничего, не слегли. А уж стыдь была порядочная, при том же до самого затылка мокрые, хочь выжми...

– Куда же вы потом, Борис Андреевич? в станицу? – спросил я Зеленкова, когда он, закончив рассказ, умолк и с озабоченным видом стал допивать свой чай.

– Никак нет. Я, как не любитель засиживаться, прибыл в свой родной полк – доблестный тринадцатый. Но вскорости получил две сквозных: одну – грудную навывлет, другую – плечевую...

– Что же, совсем теперь поправились?

– Благодаря Богу, перевалился. Сейчас – опять в полк. Командира вчера своего тут встретил: ранен, на излечении. Теперь перемены в полку, поди, не мало. Жалко командира: раздушевный человек был, простой, доступный каждому, а другое – герой, каких по редкости, сам завсегда наперед... лестно было служить с таким командиром, очень его обожал весь полк... И песню про него играли:

Посыпались пули свинцовым дождем...

Сказал наш Лашенов: красных мы забьем...

Зеленков очень оживился, заговорив о «родном» 13-м полку и командире. И чувствовалось в этом восторженно-торопливом отзыве о командире свойство истинно героической души, сдержанной, скромной, затеняющей себя, но с бескорыстным восхищением отмечающей доблесть других...

29 ЯНВАРЯ 1918 ГОДА – 29 ЯНВАРЯ 1919 ГОДА

«Донские ведомости», 29 января (11 февраля) 1919 г.

История повторяется. В многообразных сочетаниях исторических сил, условий, положений, фактов, лиц часто бросаются в глаза черты близкого сходства, порой доходящие до удивительного совпадения. И в моменты тяжких испытаний мысль невольно обращается к прошлому, в нем ищет поучительных указаний, в нем надеется почерпнуть подкрепление усталых надежд на лучший день грядущий...

В истории нашего родного Дона бывали не раз трагические моменты. Не раз приходилось ему бороться за свое бытие, не раз на плечи казачества судьба возлагала ношу тяжкую до чрезмерности, ношу непосильную. И лилась рекою кровь казачья, сжигались казачьи курени, в пепел обращалось трудовое достояние, голод и мор косил население широких донских степей, и кровавое пиршество справлял жестокий враг в донских станицах и хуторах. Все это было. И всегда из таких испытаний выходило казачество не только жизнеспособным, но и в ореоле непомянутой славы, как сила зиждущая, как один из самых прочных устоев государственности, созданных русской народностью.

Есть близкая аналогия в положении Дона за минувший год, – точнее, два года – с тем, что он переживал 210 лет назад. Как и ныне, тогда казачеству пришлось бороться «за свое лицо», за свой казачий уклад, в котором наличность известных, борьбой добытых прав тесно связана была не только с материальной обеспеченностью, но и просто с достойным, свободным, не закрепощенным бытием. И как ныне, от Москвы тянулась тогда враждебная, нивелирующая рука, стремившаяся стереть самобытный лик казачества, урезать его права, подвести его под тот уровень, в каком обреталась тогда русская народная масса, под уровень закрепощенных «смердов». Рука эта принадлежала величайшему из государей своего времени – Петру I, поглощенному мыслью о перестройке русского государства. Рядом с этим гениальным политическим деятелем те курчавые брюнеты, которые ныне производят

«эксперимент» над несчастной Россией, кажутся просто резвыми щенками около медного изваяния льва...

Приснопамятные для казачества эти трудные эпохи – разделенные расстоянием в два века – выдвинули замечательных людей, в которых, как в фокусе, была сосредоточена вся сила осознания ответственности момента, все чаяния и привязанности казачества, его заветные мысли и трепет боли за родной народ. Это были подлиннные народные герои, на которых родной народ взвалил подвиг и которых тот же народ наградил крестом искупительной жертвы. За рознь, распыленность, за стадное ослепление и шаткость своих сородичей сложили свои головы эти герои-подвижники, своим народом выдвинутые, – атаманы Кондратий Булавин и Алексей Максимович Каледин.

Отодвинем в сторону исторические аналогии. Присмотримся к свежей, еще не закрывшейся ране недавнего прошлого, так тесно переплетенного с трагизмом текущего момента. Какая черта в общественно политическом облике Каледина нам особенно близка, особенно трогательна, особенно дорога? Он был широк и многосторонен. Он был деятель большого масштаба, и многое дано было ему вместить в себе. Он скорбел о развале общего отечества, о позоре России. Он опускал в отчаянии голову перед той бесстыдной свистопляской, которую на обнаженном трупе родины-матери устроили фетишисты интернационала. Он плакал над развалом русской армии, в доблестном лоне которой он вырос и состарился... Но больше всех болей в его сердце была боль о родном казачестве. Трепетнее всех тревог была тревога перед нависшей «товарищеской» тучей над историческим казачьим укладом, здоровым, обаятельным своей доблестной простотой, верным завету государственности, порядка, выросшим из самых демократических начал боевого братства и равенства. Над кровным своим, приросшим к сердцу народом чаще всего застывал он в скорбном раздумье.

С проницательностью большого человека он видел еще тогда, когда большинство было слепо, когда толпа упивалась революционным пустословием, что опасность растворения казачества, или – точнее – упразднения его в новом строе надвигалась с логической неуклонностью еще до большевиков, еще от тов. Керенского, Чернова, Скобелева... Ведь уже тогда группую авантюристов и жуликов был выкинут флажок «трудовое казачество», в котором смысла было не более чем в «трудовом солдатстве», например, но для темной, усталой и озлобленной души была готовая пища ненависти и вражды к соседу, другу, брату, более одаренному и преуспевшему в жизни. Яд разъединения, дурман обманных, лживых посулов, голый подкуп оказались сильнее любви и самозабвенного служения вождя, старавшегося предотвратить

эпидемическое ослепление родного казачества. Слишком не равна была борьба. Доблестный атаман, воспитанный в лучших традициях старой военной школы, был прежде всего человек долга. Благородство и честность приемов были его вооружением. А против него пущены были в ход удушливые газы клеветы, подлогов, самой подлой низости и предательства...

Казачество не поддержало своего атамана. Казачество выдало его на пропятие. И как Кондратий Булавин в подобных же обстоятельствах, повторил и Алексей Каледин величаво-благородный жест – добровольно ушел из жизни...

В многозвучном прошлом – давнем и недавнем – выстрел Каледина звучит грозно и предостерегающе. Он напоминает народу, из которого вышел доблестный атаман, не только о необходимости встряхнуться, сбросить слепоту с очей, дурман из угоревших голов, но всеми силами и помыслами отдаться величайшему делу защиты родного края, общему делу казачества, с которым неразрывной нитью связано благополучие каждого отдельного казачьего существования. Он предостерегает и верхний слой казачества о необходимости не забывать уроков, преподанных пережитыми событиями, стряхнуть рознь, разьединение, узость и мелочность самолюбий и единое задание поставить перед собою, возвышенное, достойное казачества, святое – спасение родного Дона, сохранение его для потомства казачьего в целом и неущербленном виде.

Безмолвный этот завет незабвенного первого атамана выборного сохраним в сердце и претворим в жизнь в нынешний момент величайшей трудности и ответственности. Этим хоть отчасти искупим общую нашу вину – вину казачества – в безвременной его кончине.

РОМАН КУМОВ

«Донская волна», №9 (37), 24 февраля 1919 г.

Схоронили Романа Кумова... Привычно ныне зрелище смерти, и одеревенело сердце от обилия горя. Но трудно примириться с мыслью, что ушел из нашей мрачной, непогожей жизни свет тихий, ласковый свет – Роман Кумов... «Какое сердце биться перестало!...»*)

Смуглей, холодной, темней стало в непогожей жизни нашей. «Если не было бы цветов, вся земля тянулась бы скучная и серая, и не было бы на ней никогда веселой и душистой весны... Никогда не клали бы на холодный заснувший лоб печальных, трогательных, угасающих венков из живых цветов и глубокая любовь была бы бессильна в своем порыве – излиться до конца, до края в сильном и глубоком образе... Никогда не было бы букетов – разноцветных и пахучих, с которыми люди с давних пор приходят в церковь в зеленый день Троицы... Но они недолговечны»...

Так в своих «Бессмертниках» написал Роман Кумов. И как это хорошо, или точно, как печально выражает его жизненный образ, его до слез обидную судьбу... Его имя известно было родному краю далеко не в той степени, как оно этого заслуживает. До обиды мало известно. Войсковой Круг – соль Донской земли – не почтил отошедшего писателя национальным погребением. Но ведь здесь, в сосредоточии надежд и тревог казачества, в центре, созидающем оборону веками сложившегося казачьего уклада, выковывающем спасение России, никто не подозревал, что вблизи Круга работал скромно, бескорыстно, самоотверженно – замечательный писатель-казак, отдавший тем же тревогам, заботам и упованиям весь жар своего редкостного сердца. Ибо подвиг жизни Романа Кумова совершался не на боевом поприще, а в бессонном уединении рабочей, заваленной бумагами, комнаты...

Да, это был человек не боевого поприща. Это был человек чувства, широкого чувства любви ко всему живущему, к человеку и человечес-

*) Из стихотворения Н. А. Некрасова «Памяти Добролюбова» (1864):

Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

тву. И чувство это воплощалось им в обаятельную форму художественного слова. Любимый им сородич-казак когда-нибудь узнает огромную ценность такого человека, который таинственной и волшебной силой Богом дарованного таланта вызвал к жизни все, что в его – казака – простой, целинной душе бродило неясными тенями, «мыслей без речи и чувств, без названия радостно-мощный прибой»^{*)}, его скорбь и его восторги, смутную, чужим непонятную, но нам близкую красоту нашей родины, степей безбрежных, седых курганов в жемчужном зареве, безбрежной песни о славной старине казацкой... Незабываемым словом умел выразить это Роман Кумов. И долго будет жить на свете его прекрасное слово... Оно будет учить детей казачьих сознательной любви к родному краю, будет воспитывать в них те возвышенные, облагораживающие навыки, понятия и чувства, которые человека от зоологического уровня поднимают до образа подобия Божия.

Великую грозу и непогоду переживаем мы. В этой грозе тонуло имя Романа Кумова, но тихий свет и обаяние его личности, его таланта, освещал знавшим его непогодь безвременья. Сколько в нем было любви и нежной застенчивой теплой ласки... С мягкой грустью любил помечтать о том светлом, прекрасном, что осталось там, «за рубежом», в Москве. С благодарностью вспоминая то хорошее, что дала она ему – ее университет, ее церковки, театры, литературные кружки... Любил он Россию, несчастную, страдающую, растерзанную... Любил он Россию любовью нежной и трогательной, со страстным нетерпением ждал ее воскресения. Но паче всего и всего беззаветней любил он край родной, его степную красоту самобытности, любил родное казачество. Его он воспевал и славил, его радостям и скорбям он отдал лучшие стороны своего таланта – и в рядах лучших его людей он должен занять и займет одно из самых почетных мест...

«Вечная память» над местом его упокоения звучала не только обычным простым церковно-молитвенным песнопением – она будет подлинно вечной памятью таланту, совершившему краткий, но славный путь благоговейного служения Родной Земле...

^{*)} Из стихотворения В. С. Соловьёва «В Альпах» (1886):

В берег надежды и в берег желанья
Плещет жемчужной волной
Мыслей без речи и чувств без названия
Радостно-мощный прибой.

ЗАБЫТЫЕ СЛОВА

«Донские ведомости», 31 марта (13 апреля) 1919 г.

Это было тридцать лет тому назад.

Умирал великий русский сатирик, патриот в лучшем смысле этого слова, захватанного – к сожалению – не всегда опрятными руками. Патриот, свою неугасимо горящую любовь к родине напоивший «оцетом и желчью» негодующего смеха над темным, резким и безобразным в любимом ее облике. Умирал и на смертном ложе писал о «забытых словах»... Перо выпало из холодеющей руки раньше, чем он успел начертать эти слова, – изобразил он только удручающую картину бескрайнего немого кладбища с поникшими серыми крестами – тяжелый сон в серых сумерках одинокой тоски и горького духовного сиротства.

«Забытым словам» не суждено было прозвучать лебединой песней из уст писателя, отдавшего России всю кровь своего сердца и весь сок своих нервов. Старый поэт А. М. Жемчужников в надгробных стихах договорил эти слова:

– Отчизна. Совесть. Честь...*)

Теперь, когда я вспоминаю холодный, хмурый, с мелким дождем петроградский день, когда хоронили М. Е. Салтыкова-Щедрина, и весь огромный путь, пройденный русским народом за эти три десятилетия, – я чувствую: свинцовый груз тоски неутолимой давит мое сердце... «Забытые слова» – отчизна, совесть, честь – так и не вознесены из мусора мерзости и запустения жизни...

*) Из стихотворения А. М. Жемчужникова (1889) «Забытые слова» (Посвящается памяти М. Е. Салтыкова):

Слова священные, слова времен былых,
Когда они еще знакомо нам звучали...
Увы! Зачем же, полн гражданственной печали,
Пред смертью не успел ты нам напомнить их?
Те лучшие слова, так людям дорогие,
В ком сердце чувствует, чья мыслит голова:
Отчизна, совесть, честь и многие другие
Забывшие слова.

За эти десятилетия были поражения, страшные уроки революции, разложения. Всплывали за один миг лучезарные надежды и надолго тонули в черной пучине отчаяния. Народ колесил разными дорогами, и толпы оправдывали своим поведением желчное утверждение поэта:

Им нужен только хлеб да бич...*)

И лишь малые группы русских людей бережно хранили «забытые слова – отчизна, совесть, честь»... люди долга и самоотвержения. И как поредели их славные ряды!

Но... «не бойся, малое стадо»...

Среди низости и бесстыдства, среди гнили и зоологического нигилизма, продажности, шкурности, подлой трусости и оголенного разврата, – вдруг зазвучат порой голоса – и даже не сверху, не из «города, на горе стоящего», – а из сырой и темной глыбы народной, – голоса, зовущие вспомнить о долге, о совести и чести, вспомнить о родине. Как освежающий ветер степи, они разгоняют гнилые ароматы мерзкого содома, мечущегося от животного страха к жадной погоне за живой и благополучием своего хлеба, – освежают, и бодрят, и вселяют веру в конечное торжество «забытых слов», забытой правды Божьей...

Передо мною документ. Он не очень грамотно написан. Даже совсем безграмотно. Но тем ценнее искренность чувства, его продиктовавшего, чувства простого, здорового, честно негодующего на мерзостное зрелище забвения долга перед родиной. Степной человек пришел в город, в средоточие культуры, тревог и забот, надвинутых грозным нынешним часом, – и был поражен картиной равнодушия и бесстыдства, разлитого по стогнам этого центра тревог и упований... И, потрясенный, взяв в мозолистую руку перо и корявым почерком, не заботясь об орфографии (здесь она исправлена) излил свою жалобу в кривых и наивных строках...

«Войсковому Кругу, хозяину земли войска Донского.

Шлем земной поклон. Да хранит вас Господь и дарует вам силу в трудах ваших на благо войска Донского и родины России.

К вам, наши избранники, обращаемся со слезной мольбой, а именно: обратить внимание на происходящий ужас и бесчеловечность.

*) Измененная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный» (1823):

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

По приказу нашего войскового Атамана реквизированы некоторые биографы под лазареты. Мы слезно, стоя на коленях, просим вас закрыть все театры, клубы, биографы и шато-кабаки. Ибо они есть рассадник разврата, разгула и пропаганды. Кому они сейчас нужны? Только для мародеров, спекулянтов, казнокрадов, шулеров, проституток, изменников, продающих свою родину, и главное – для шпионажа, пропаганды и агитации, и где за ложу в театре и ставку в карты продают все секреты родины. А женщины – это бездушное существо, состоящее из тела и платья, что оне не сделают за платье для театра и за высокие ботинки и ложу в театре, за ставку в карты? Всё, всё – вплоть до торговли своей дочерью, ребенком. Ведь сейчас нет семьи, где бы муж, если он офицер или солдат, не был бы на фронте или уже убит. А если коммерсант, то какие же теперь дела, чтобы бросать такие деньги на театры и клубы при такой дороговизне? Значит, что же это за деньги и каким путем достаются? Да и вообще разве теперь время веселиться, гулять и пьянствовать, когда страна наша изнывает в страшной непосильной борьбе?

Вот живой пример. Человек приехал идти на фронт и думал, что в городах патриотичность и борьба с большевизмом, – а тут, что называется, «бал во время чумы»... Ищу три дни полчанина. Приду в один театр – битком народу, нельзя войти. В другой – тоже. Наконец нашел в каком-то злачном вертепе, под названием «Городской клуб». Гляжу: полно женщин и мужчин, режутся в карты, все полупьяны и пьяны. Мой полчанин – тоже. Я и говорю: разве тут у вас водку продают?

Он говорит:

– Сколько угодно. 75 руб. бутылка. Вот поживи, – говорит, – денек-два здесь, мы с тобой выпьем...

Я говорю, что мне на фронт нужно.

– Мне, – говорит, – тоже на фронт нужно, а вот уже две недели никак не вырвусь, жаль расстаться. Кругом веселье и все живут, а ты иди на фронт. Да еще дураком называют, кто не сумеет отвертеться от фронта. Ты, – говорит, – вот что: подавай докладную командиру, что мол ну... мать при смерти... Ну, дадут отпуск на три-четыре дня, вот мы и кутнем здесь, а на фронт успеем еще! Я познакомлю тебя с бабочками-давалочками, – слышишь?..»

Вот она, истина святая...

«Умоляем: закройте театры и клубы, вы сделаете великое благо для родины и для счастья дорогих защитников наших. Умоляем!..»

Это «умоляем» есть пламенный и благородный зов к воскрешению забытых слов – «отчизна, совесть, честь». И пусть прислушаются к нему равнодушные толпы с ослабленной памятью о родине. Пусть прислушаются и шкурники, и пенкосниматели современного вавилонского столпотворения, мечущиеся от жирного куска к зоологическому страху и трепету за драгоценную свою шкуру...

Пусть прислушаются патриоты из «Русского Собрания» г. Ростова, приславшие тому же Войсковому Кругу телеграфное послание с обстоятельным исчислением своих жертв от «железки», «девятки» и лото, с патриотической слезицей:

Подайте мальчику на хлеб –
Он Велизария*) питает...

Пусть хоть ныне вспомнит эта порода «сыпняков», удивительно схожих по облику, будут ли это русские или филистимские фамилии, – пусть вспомнят забытые слова:

Отчизна. Совесть. Честь...

Ибо придет время – и близко уж оно, – забытая отчизна потребует к себе на суд нелицеприятный всех, забывших ее в час тяжелого испытания. «И будет плешь на всякой курчавой главе», – по выражению библейского пророка.

*) Велизарий (Велисарий) – полководец императора Восточной Римской империи Юстиниана I Великого (490—565). Консул 535 года. Один из величайших полководцев Византийской империи.

ВИЗИТКА ОТ АРОНА БИБЕРА

«Донские ведомости», 11 (24) апреля 1919 г.

Чудное качество – простота. Простота души, ясность и доверчивость. В детях оно особенно трогательно – бесхитрое, открытое отношение к миру, к людям, скотам и зверям, доверчивый отклик на голос родной матери и на мягкий шелест гада ползущего.

И русской народной душе оно очень свойственно. Не плохая душа: честная, широкая, и... простоватая. Сколько остроумных поговорок и смешных рассказов об этой простоватости русского человека сложено! О том, как рязанцы или тамбовцы соломой огонь тушили, огурцом телушку резали, а пошехонцы в трех соснах блуждали.

Все это свидетельствует не то что о темноте нашей, а о нашем бесхитром ротодействе, о склонности доверчиво и всерьез прислушиваться к мошенническим посулам, кидаться на приманки и попадаться на удочку в мало-мальски сложных и запутанных отношениях жизни. Порой это бывает смешно. Но больше – обидно и огорчительно.

Житейская практика на протяжении тысячелетней истории много раз жестоко учила слепо доверчивый народ русский. Дорого платил он за эту науку. И все-таки не научился мерить и взвешивать, вдумываться и вглядываться в тех, кто сулит голодному хлеб и рыбу, а дает змею и камень.

Но никогда, кажется, такой дорогой ценой не приходилось расплачиваться за доверчивую слепоту и ротодейство, как ныне, в полосу углубленной революции. Советское владычество и коммунистические опыты развалили великое наше отечество, залили кровью все его углы, самые отдаленные, глухие и смиренные, оголодили, оголили, всех уравнивали – и стариков и младенцев – горем горьким и слезами. Живешь в нынешней кровавой мгле – окаменело сердце от обилия горя и страдания, живешь – не живешь, тоскливо озираешься кругом, неведомо кого вопрошаешь: что же это за будущее, что за беспросветная и бескрайняя тьма? В чем ее вековечная тайна? В какой глубине таятся ее могучие корни?..

И невольно мыслью обращаешься назад. В прошлом, пережитом ищешь ответа и объяснения. Помню, это было лет шесть назад, до войны. В теплый апрельский день копался я в саду, а мой приятель Агафон Синецын, швец и шерстобит по ремеслу, безземельный гражданин Шацкого уезда, но родившийся на Дону (ныне запропал где-то в Царицынской коммуне), сидел на пне старой груши и читал обрывок старой газеты. Читатель он был неторопливый, серьезный, солидный, а в газете одинаково интересовало его все: и политический отдел, и статья о театре, и объявление о продаже породистых щенков. В то время нельзя было очень распространяться насчет того рая на земле, о котором сейчас так много говорят разные советские «Известия», «Борьбы», «Правды» и «Коммуны». Писалось тогда больше о разных житейских случаях, веселых и печальных.

– Самоубийство... ново... новобрачного, – прочтет с запинкою Агафон и задумается. Под весенним солнышком хорошо сидеть неподвижно и не спеша обмозговывать события большие и малые.

– Гм... что же это ему не понравилось? – соображает вслух Агафон.

Поле для догадок просторное. Мимоходом – глядишь – завернет еще станичник-другой, и идет себе мирная, неспешная беседа в звенящей тишине весеннего дня.

Помню, в этот день был нашим собеседником еще Тихон Семибратов. Послушал он о самоубийстве новобрачного и обратился ко мне с вопросом:

– Вы про Арона Бибера читали?

– Нет.

– Да про него во всех газетах пишут.

– Впервой слышу.

– Про Арона Бибера?!

– Ей-Богу, впервой. Каюсь в своем невежестве, но не читал.

– Да во всех газетах! У него в Варшаве собственный дом. Пятиэтажный.

– А кроме дома, чем знаменит Арон Бибер?

– Чем знаменит?

Семибратов немного запнулся, задумался.

– Как видать, знаменит брехней. Чистой брехней. Описывает он в газетах про себя такую публикацию: «За четыре рубля девяносто девять копеек высылаю пятьдесят предметов»... Пятьдесят предметов! Часы-будильник, дюжину иголок, дюжину конвертов и разные другие вещи... бруслеты, броши, цепки, гармонью... За 4 руб. 99 копеек.

– Не дорого.

– Цифра-то дешевая, да на поверку выходит чистейшее мошенничество, жульничество, словом сказать...

– Неисправно высылает?

– И высылает без задержки, но только предметы – одна видимость... жульничество.

Догадался я, что Арон Бибер, вероятно, – один из королей варшавско-лодзинской рекламы, и отчасти подивился, как глубоко, в какие девственные, глухие степные уголки проникла известность его при содействии печатного слова. Ведь, пожалуй, действительно во всех газетах писалось, что у Арона Бибера пятиэтажный дом в Варшаве и в доме этом склад «предметов», высылаемых по первому требованию сотнями и полусотнями за такую оригинальную сумму, как 4 руб. 99 коп., – ни больше, ни меньше. А я по лености мысли и отсутствию любознательности никогда не взглянул в тот отдел печати, где процветает литература Аронов Биберов.

– Догадываюсь, что поднадул вас Арон Бибер на пятидесяти предметах? – смеясь, говорю своему станичнику.

– Никак нет, не на пятидесяти предметах. Я визитку от него выписывал.

– Визитку?

Поглядел я, признаться, не без удивления на Тихона Семибратова, на его ватный потитух, сооруженный не очень искусной иглой Агафона Синицына, на чирики, солидными своими размерами напоминавшими дредноуты английского флота, запыленные и выпачканные дегтем шерстяные чулки. Взглянул на почтенную пегую его бороду с былками соломы в ней – самый хуторской, простецкий облик... И визитка от Арона Бибера. Фасон как будто не к лицу.

– Визитку, говорите?

– Сказать даже – не одну визитку, а всю тройку: при визитке – жилетка и брюки. За семь целковых полный кустюм. И опубликовал Арон Бибер так, что – из чистого чевиота... – Дешовка...

– То-то вот. Цена-то дюже подходящая для нашего кармана, ценной-то и скружил голову. Выписал я визитку, жилет, словом – всю тройку... Ко Святой. И концы в концов вот... самый наш природный пиньжак на вате отвечает и зиму, и весну... Вот тепло Господь посылает, а я все в нем хожу... для прилику...

– А визитка?

– А визитка – жульничество, больше ничего. Первым долгом опубликовал в газетах Арон Бибер, что визитка из чистого чевиота, а колер – какой кому угодно. Приказал я Лукьян Григоричу написать: колер наподобие офицерского сукна-трика. Концы в концов присылает – полосатую... До того странно, что ребятенки следки шумели: «зебра полосатая! зебра!» По улице нельзя было пройтись... Ну, это бы не в счет, перенести можно. А вот: на третий день попал под дождик, и

визитка моя тут же вся пятнами пошла, а через неделю расплзлась врозь, как мочало, – прелая оказалась... Голос?

– Н-да...

Помолчали мы, задумались. Ловкий плут Арон Бибер, да ведь очень уж прост и Тихон Семибратов. Даже не жаль: дураков учить надо, а за науку обычно плату берут... Вслух этого мы с Агафоном Синицыным не сказали Тихону, а после между собой в этом смысле перекинулись словом.

– А нельзя ли будет его к ответственности притянуть? – прервал молчание Семибратов.

– Кого?

– Арона Бибера.

– Да как же вы это сделаете?

– Нельзя? А почему мои семь целковых – трудовые! – должны пропадать, когда у него дом о пяти этажах? Чистойшей брехней набрехал и то, и это... разве это можно допускать?

Долго-таки судили-рядили мы: нельзя ли при наличности у Арона Бибера дома о пяти этажах стянуть с него трудовые семь целковых Тихона Семибратова? Визитка-то ведь явно недоброкачественная... Агафон Синицын, положим, приводил в интересах беспристрастия и то соображение, что «в товар не влезешь». Но Тихон Семибратов возражал на это резонно и с формальной стороны: был указан цвет шевюта «наподобие офицерского сукна», а визитка выслана была до неприличия полосатая.

Все это было резонно, и все-таки, в конце концов, пришли мы к неутешительному выводу, что семь целковых пропали: скользка, как угорь, порода Аронов Биберов, ничем не ухватишь ее...

– Носи, брат, потитух на вате, свой, природный, – сказал Агафон Синицын, – тижаловат, да надежен, а визитка от Арона Бибера – она, конечно, может, по журналу сделана, да не по нашим костям...

На том и порешили.

Вспомнил я этот случай с визиткой от Арона Бибера и думаю: как будто недавно было это и как давно все-таки... Сколько событий, сколько перемен – печальных и горьких... Сгинул где-то Агафон Синицын – увлекся керенками, пошел в Царицын. Сменил Арона Бибера Леон Троцкий и новую визитку напялил на доверчивого казака Тихона Семибратова. И знаю: кается уже мой простоватый станичник ныне и проклинает и гнилую визитку, и Леона Троцкого, и свою слепую доверчивость простофили. Тоскует по своему казачьему бешмету и чекмену, прочному, уютному, веками обношенному и сердцу милому...

И в чем тайна обаяния той паскудной визитки Арона Бибера, спрятавшегося, может быть, под псевдоним этого самого Льва Троцкого (право, не умею я отличать эти распространенные русские фамилии –

Нахамкесов*), Биберов, Кацов, Бронштейнов, – путаю, кому какая принадлежит)? «Мир без аннексий и контрибуций»? – «Интернационал»? – «Циммервальдская программа»? – «Российская коммунистическая федеративная республика?»

Все это – визитка от Арона Бибера, сшитая, может быть, «по журналу», но гнилая, полосатая и негодная для плеч казацких...

И нам дорого пришлось заплатить за эту визитку... Заплатить великой родиной-матерью Россией, растерзанной на куски, заплатить потоками родной крови казачьей, морем слез казачьих осиротелых семей... Подлый мир «без аннексий и контрибуций» заключен был лишь для того, чтобы разжечь братоубийственную гражданскую войну, опустошить страну, оголить доверчивых пошехонцев «советской республики». От свободы осталась одна «стенка»: хочешь – лицом становись, хочешь – спиной, это свободно допускается перед отщесствием к праотцам... Вместо старого, не очень совершенного порядка – новый, и никогда еще мир не видел такого бесшабашного казнокрадства, грабежа, бесследной расточительности, как при советском правительстве...

Не могу выразить всей беспредельности своего горя, когда думаю, зачем мой сородич-казак и станичник, простой, хороший, трудящийся, ходивший в привычном казацком платье, в чекмене, в бешмете, дубленом тулупе, вздумал напялить на свои казацкие плечи гнилую, распозающуюся визитку от Арона Бибера, он же – Леон Троцкий? Обидно до слез. Горько без конца.

Но верю: поймет все-таки казак и уразумеет, что его родной чекмень и прочней, и уютней, и благородней гнилой лодзинской визитки. И вернется к национальному своему облику...

*) Нахамкес – фамилия видного меньшевика, участника революции 1917 г., редактора «Известий» Ю. М. Стеклова (1873–1941). Получил широкую известность в связи с тем, что после октября 1917-го перешел к большевикам и проводил с особой изощренностью демагогическую пропаганду классовой борьбы и ненависти. Его имя в те годы стало нарицательным.

РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ*)

«Донские ведомости», апрель – июнь 1919 г.

Новочеркасск, 1 апреля

М. П. Богаевский

В зале заседаний Войскового Круга войска Донского есть плафон, изображающий группу национальных героев казачества, прошедших крестный путь современной борьбы за Дон. На этом изображении, среди военных людей при оружии, близко и дорого знакомых нам, донцам, есть скромная штатская фигура в очках. Может быть, впервые историческое полотно, живописующее казачью жизнь, ввело в сонм воинственных фигур штатский пиджак. И не без основания. Под этим пиджаком билось и горело сердце бойца, призывным кличем зажигавшего дух казачий тем же огнем, каким зажигал его голос боевых вождей.

Митрофан Петрович Богаевский...

Год назад навеки замолк этот удивительный трибун, выдвинутый трагической русской современностью из скромной педагогической среды в центр государственных событий. Год назад он был убит большевиками. Убит гнусно-предательски, безоружный, доверчиво пришедший к этим углубителям революции с словом любви и правды, с искренним зовом к примирению и прекращению братоубийственного истребления. И все «благовестие» большевизма – пусть оно будет праздновать временное торжество свое у слепых людей – навеки запятнано этой невинно пролитой кровью героя-мученика.

М. П. Богаевский был лучшим идеологом казачества.

*) Редакционные статьи, в жанре хроники текущих событий, в издании разделены на два блока. Ф. Д. Крюков был редактором «Донских ведомостей» с 31 марта (13 апр.) 1919 г. до 13/26 июня и после летнего перерыва – с 22 октября/4 ноября до конца года. С 14 июня по 22 ноября 1919 г. номера газеты подписывал и. о. редактора, профессор Н. П. Асеев, друг юности Федора Крюкова. После смерти Ф. Д. Крюкова в 1920 г. Николай Пудович стал хранителем его архива.

Разное содержание входило в это имя – казачество. На историческом своем пути термины, понятия и слова обрастают привходящими наслоениями и не всегда соответствуют чистой, первоначальной мысли, в них вложенной. На наших глазах хорошие, дорогие, светлые слова, захватанные грязными руками, были опаскужены до неузнаваемости. Ласковое, милое слово «товарищ» – до чего оно доведено ныне? А «свобода»? А «трудовой народ»?

С понятием о казачестве также происходил процесс исторического изменения. От времени, когда с казачеством сочеталось представление о зипунном рыцарстве, ушедшем от крепостной неволи и кровью добывавшем себе простор и независимость жизни, и до того момента, когда казаков трактовали как самый прочный фундамент самодержавного строя и говорили о них в неизменном сочетании с жандармерией, – легло большое расстояние. Но на том расстоянии сложился хороший, здоровый, драгоценный тип русской народности – тип боевой и трудовой, закаленный в лишениях, выносливый, утвердившийся в сознании долга перед родиной, не выносивший рабского или крепостного бытия, дороживший своим человеческим достоинством, создавший своими трудами и боевым историческим путем жизнь достаточно просторную и здоровую, которой привык дорожить и за которую не только нес жертвы государству, но и готов был постоять головой своей. Тип современно казачий.

Военное, боевое прошлое гармонично слилось в нем с трудовым и гражданским сознанием.

Идеологом этого казачества и был М. П. Богаевский.

Он не хуже нахамкесов и прочих курчавых брюнетов знал Маркса. Он лучше их знал цену революционным словесам о свободе, равенстве и братстве. Он болезненнее их чувствовал несовершенство старого порядка. Он был не худшим гражданином мира, чем эти паразиты, питавшиеся в революционных щелях подачками из охранного отделения самодержавия.

Но у него была Родина, родной народ, к которому крепко прилепилось его честное, правдивое сердце. Он любил его беззаветной любовью верного сына, он болел его несовершенствами и невзгодами, он был горд его славной историей. Он прежде всего хотел и добивался, чтобы народ этот был таким, каким сложился он в том идеальном представлении, которое создалось у него путем исторического изучения его великого прошлого. Он знал, что у этого народа были боевые и мозолистые руки. Знал, что верхний его слой и слой нижний слиты естественно и прочно, что дворянство казачье, ведущее начало от Емельяна Пугачева, едва ли имело другие привилегии, кроме тех, которые

давали иному донскому аристократу право подмахнуть какую-нибудь жалобу мировому судье: «из дворян урядник Лихобабин...» В целом – это была единая, однородная, гранитная глыба.

Вот к этой группе русского народа, воплотившей в своей боевой общине и истинное равенство, и подлинное братство боевое, и исторически воспитанную свободу, и достоинство личности – к ней было крепко, невидимыми бесчисленными нитями привязано сердце М. П. Богаевского, за нее оно горело неугасимым огнем любви, тревоги и заботы.

Революция должна была дать казачеству хотя бы крошечное улучшение жизни. Смести наносное, дурное, унижающее, вернуть то лучшее, что было в историческом прошлом. Равенство? Но равенство не по оголенному смерду, привыкшему гнуть спину перед палкой, в каких бы руках она ни оказалась. Свобода? Но если она простирает виды на трудовое и боевое историческое достояние казачества, основу его самобытного уклада, если она стремится стереть исторически сложившийся облик с здоровым государственным сознанием, облик казака, – долой такую свободу международных проходимцев...

Это был общий голос, единая мысль всего не ослепшего казачества. И ярче всех выразил ее М. П. Богаевский.

В самую трудную пору, пору отовсюдного натиска на казаков как реакционную силу, пору клеветы, инсинуаций, слепой злобы, – выступил Богаевский на борьбу за родной Дон, за родное казачество – и сколько боевого энтузиазма проявил он в этой неравной, трагической борьбе.

М. П. Богаевский погиб. Но искра его благородного воодушевления, его вера зажгла великий костер, который не потухнет, пока не завершится великое дело казачества.

И пока живет казачество, пока суждено ему жить, не умрет имя вождя, будившего самосознание казачества. Когда-нибудь благородный зов этого лучшего сына Дона дойдет до самых глухих уголков родных степей – и имя его будет звучать в песнях казацких рядом с именами славнейших его героев.

Новочеркасск, 7 апреля

<Христос Воскрес!..>

Христос Воскрес!..

Как ни зияют раны распятой родины, как ни полита слезами родная земля-кормилица, как ни напоено смертельной горечью зрелище каждодневной смерти

на боевых полях, в знойном бреду ужасной эпидемии, – все-таки неугасимо горит вера и твердит сердце: страданием и смертью побеждена смерть и Христос воскрес...

Никакие доводы угрюмого, холодного, скептического рассудка не победят этой с детства укорененной, радостной веры сердца, жаждущего жизни, солнца, тепла и света, веры в то, что воскресший Учитель войдет в грязь и смрад нашего безумного бытия и светом радостной надежды озарит бесприютных, бездомных, осиротелых, упавших духом. Придет к народу, потерявшему облик человеческий, разложившемуся, издающему аромат трупа и тления, – и коснется язв и струпьев его растерзанной души и воззовет ее к разумной человеческой жизни...

Есть нечто непобедимое в этой вере. Усталое и удрученное сердце все-таки бьется радостным трепетом, дожив до красного весеннего солнышка, до нежного золота клейких тополевых листочков, до изумрудной зелени далеких луговин среди разлившихся ериков – и безмолвным восторгом отзывается серебристому звону в голубой высоте – крику летящих к северу диких гусей... Есть неистребимое тяготение к жизни, есть неугасимое упование, что жить будем...

Казалось бы, какие основания у этой веры? Не на песке ли привычки и беспомощного ожидания держится это упование? Кругом – ужас озверелого истребления, мерзость запустения, торжествующее гоготание хунхузов коммунизма, разжигание злобы, помутнение всеобщее и голое бесстыдство. Какие основания для веры в то, что любовь Искупителя греховной мерзости человеческой снова озарит мир и войдет руководящим и движущим началом в нашу жизнь?

Никаких, кроме незыблемости извечного закона, возвращающего нам тепло, свет и радость весеннего возрождения земли после суровых мертвящих холодов, после немного зимнего оцепенения. Лик воскресающей природы, победная песнь жизни над смертью будит веру и в нас, удрученных, поруганных, надломленных в непосильной борьбе и горьких скитаниях, – что самоотвержением и самопожертвованием будет сломлена временная смерть Родины и мы войдем в жизнь светлую и радостную... Скорбные ныне изгнанники, лишенные родных углов, с тоской обращающие взоры в северную сторону, – изведуют радость возвращения к родному пепелищу.

Святая кровь, которая ныне орошает родные степи, эта жертва искупления, даст Родине дремучий урожай. В горниле испытания выкуется крепкое, здоровое, жизнеспособное донское казачество, в борьбе за честь и достоинство родного края явившее образец рыцарской верности долгу. И к самоотверженному юношеству нашему, душу свою полагающему за край родной, к верным Тихому Дону станичникам, к

доблестным старикам, не посрамившим славного имени предков, ко всему славному казачеству, поднявшему на плечи свои тяготу и скорбь Родины, – пусть дойдет привет нашей веры и упования:

Христос воскрес!

Пусть донесется он, этот привет, и до наших врагов – братьев, поставленных против нас если не прямыми правнуками Иуды Искарюта, то его внебрачными потомками. Мы верим, что ослепленные дурманом корыстного натравливания, гонимые страхом и сознанием уже сделанного непоправимого преступления, – прозреют темные люди и оглянутся на своих вождей, и устыдятся, и зажгутся огнем святого негодования, ибо за сребреники предали они самое святое – Родину... И негодуя, они принесут жертву искупления, прислушавшись к велению совести и долга перед родным казачеством, – и тогда встретимся мы с взаимным братским приветом:

– Воистину Христос воскрес!

И истосковавшиеся по забытому, заброшенному, привычному, святому труду, мы вернемся к запустелой родной земле, польем слезами радостного свидания родные полосы, бросим здоровое зерно в недра вековой кормилицы нашей, – и зазеленеют родные степи, зашумят колосья родных полей тихим, безбрежным шумом радостного привета:

Христос воскрес!

Новочеркасск, 3 мая

Зов братьев

Из-за плотины красных, которая разделяет нас, казаков верхних юртов, от родимых углов, покинутых нами в неравной борьбе, в стужу и холод, донеслись до нас страшные вести, доносятся

раздирающие стоны матерей и детей, умоляющим криком звучит клич о помощи отцов и братьев...

С надрезанным сердцем покидали мы зимой родные места. С горьким отчаянием видели мы, как дешево достается врагу его торжество, как широко раскрыта ему дорога помутневшими головами малодушных людей.

Мы знали, что горьким горем, слезами горючими, жестоким запустением заплатит за это родной край. Мы знали это, говорили об этом, просили и молили образумиться...

Но что-то непостижимое было в этой стадной слепоте изнуренных усталостью, стужей и голодом людей, поверивших сатанинским лживым посулам красных негодяев, преклонивших ухо к подлым речам

наемной мрази, для которой честь – пустое слово, которая на слепоте и невежестве народа устроила свое распутное благополучие.

Видели мы и знали, но были немощны и бессильны остановить роковой обвал жизни. Ибо как песок стал под ногами тот упор, который был когда-то тверже гранита, – дрогнула казачья стойкость. От изнурения ли это произошло, или от обманутых надежд на стороннюю, союзническую помощь, о которой стали толковать слишком преждевременно и легкомысленно, – не все ли равно?..

Дрогнула казачья сила и прогнулась.

Ждали мы скорого отрезвления от этого дурмана. Ждали, что жестокими уроками будут научены уму-разуму легковверные простецы, попавшие на удочку красных негодяев.

Но то, что случилось теперь, о чем узнали мы как о сбывшемся из писем оттуда, из наших родных станиц, ныне восставших, превзошло даже самые мрачные предчувствия наши.

Из-за гребня красных, отделяющего нас от наших родных хуторов и станиц, мы слышим раздирающий детский крик – то кричат в смертном ужасе убиваемые младенцы, наши родные дети... Мы слышим предсмертный хрип и стоны насилуемых женщин – то наших матерей, сестер, жен и дочерей насилуют и душат паскудные красные звери... Мы слышим отчаянный зов о помощи – то восставшие братья и отцы наши, там оставленные, кличут нас на помощь...

И как берет за сердце этот боевой братский клич, этот родственный зов на помощь!

Читайте эти простые, полные тоски и ужаса и все-таки не сломленной надежды, письма из-за гребня красных, отделяющего нас от наших несчастных родных братьев, ныне восставших в верхних округах.

I.

Дорогой дядя, мы зимой в первых числах января приняли советскую власть. Все сбазамыкал командир 28 полка Фомин хутора Рубежного, а дядя Николай Игнатов служил в 28 полку. Сперва было жить ничего, хорошо, а когда пришли коммунисты, стало очень плохо. Начали вешать и казнить казаков. Из станицы Вешенской расстреляли 1500 человек казаков и казачек, а оружие мы еще раньше сдали все, и у нас ничего не осталось. Тогда восстали станицы Казанская, Мигулинская, Вешенская и Еланская. С кольями да с дровками в руках кинулись мы на них и отбили и винтовок и всякого военного имущества. Мобилизовались от 17 до 55 лет включительно. Теперь нами, казаками, занято много. Фронт расположен по хутору Ягодному, Горбатову,

Каргинской станице, Меркуловский хутор. Множество народа из казаков, восставших против коммунистов, побили, но и наши своей казачьей атакой рубят почем зря. Дядя Николай срубил 17 штук коммунистов. Коммунистов программы, чтобы всех казаков стереть с лица земли. 1919 г. апреля 28 дня. Алексей Михайлов Назаров.

II.

Вы уже слышали, что мы приняли советскую власть, но сперва пошли советские войска тихо и хорошо, не причинили вреда, и как за ними последовала армия, которая начала уже делать расстрелы и грабежи, забирают все добро из сундуков и хлеб, и скот, и лошадей. А за то наш Верхне-Донской округ восстал, а оружие было все сдано красной армии. Вот во второй раз с вилами наши донцы восстали и приобрели оружие, отбив у коммунии патроны, ружья, пулеметы, орудия и пока с большим напряжением бьемся с проклятой коммунией, то есть с евреями, и очень нам трудно, потому что нас всего 4 станицы, а всего 10, но они заняты коммунистами и нельзя им ворочаться. Но уже бьемся из всех сил. У нас забирают советских комиссаров в плен, и у них найдены были инструкции, в которых указано стереть все казачество с лица земли. И вот у нас организованы войска с 18-летнего возраста и до 55 лет включительно.

Хутор Каргин часто переходит из рук в руки, а разорили его на прах. Хутора выжигают, ворвутся в дом – семейство вырезают до 5-летнего возраста. Женщин насилуют до смерти и девушек 10-летних насилуют. Птицу выбивают, овец загоняют со дворов на один баз и сверж овец настилают соломы и зажигают. Было и то, что где крепкий двор и высокая огорожа, настилают толстый слой соломы и нагоняют полон двор баб, зажигают солому, и все погорают во дворе. Но всего нельзя описать. Брошено наше несчастное казачество. Никому не нужно стало. Нету хороших вождей. Эх, встань и посмотри на войско Донское, где-то подевались отроки-суворовцы и Ермак Тимофеевич, что на Дону творится. 1919 г. 27 апреля. Игнат и Елизавета Назаровы.

III.

Мы встали против красных 4 марта, взяли в руки оружие все поголовно, кто ружье, кто штык, кто вилы. Погнали мерзавцев из пределов своих и до сих пор бьемся, хотя у нас плохо: снарядов мало. Много они нам причинили убытку и положили жертв, но и мы негодяям не уважаем, словом всю картину трудно описать. Много страсти пе-

реживаем. Идите скорей, будем вместе драться. 1919 г. 27 апреля. Струковы.

IV.

Посылаем тебе низкий поклон. Семейство живы и здоровы. С хутора посылаем низкий поклон. Некоторых побили 16 человек. Сейчас мы на фронте, скорей идите на выручку. Ради Бога пришлите на аэроплане снарядов. Затем до свидания. Ждем вас. Пошли Бог вам пробраться в родной край. 27 апреля. Афанасий Кривошлыков.

V.

Мы переживаем тяжелый момент, так что коммунисты, эти проклятые опричники от Бога и от народа, начали нас арестовывать и расстреливать. Но безвинная кровь переполняла чашу и мы вспыхнули, т. е. восстали против этой проклятой коммунии и начали их бить беспощадно и сейчас очистили нашу станицу Вешенскую, Мигулинскую, Казанскую, Букановскую, Слащевскую. Пока держимся и вас ожидаем к себе на помощь. Идите скорее к нам. Сейчас мы служим по 55 лет и не пускаем этих разбойников к себе. 28 апреля. Егор и Федосья Образцовы.

VI.

Дорогой брат, Ваня. Мы переживаем тяжелый момент, так что вселилась к нам проклятая коммуна, начала нас переводить, начала арестовывать нас и расстреливать. Много велось это тяжелое время, велись расстрелы и аресты. Приехали проклятые коммунисты и к нам на хутора и с нашего хутора арестовали 99 человек, и в числе этих и я, и папаша мой были арестованы, даже намечен был я к расстрелу. Кроме того, батюшка и псаломщик были арестованы, но дошел такой момент, что переполнилась чаша нашей невинной кровью. Тут взволновалась казачья кровь, вспыхнули дела, сразу побили в Вешенской станице всех коммунистов и прислали ко мне донесение, что Вешенская занята казаками. В тот момент, когда нас арестовали, я предложил казакам, чтобы кинуться и похватать винтовки у тех, которые нас арестовали, но казаки не были уверены, что Вешенская занята казаками, и сробели вырвать винтовки. Но все-таки мы не дались, и с этого момента мы завели войну и сейчас деремся с этими проклятыми разбойниками, так что наша Еланская станица, Вешенская, Мигулинская, Казанская, Букановская, Слащевская и Каргинская все очищены нами. Ваня, вас

каждый час дожидаем к себе. Не знаем, дождемся или нет. Идите к нам и совместно с вами погоним это проклятие из Донской области. 28 апреля Николай Обнизов.

Вы слышите, братья-казаки, этот зов великого страдания родных братьев:

«Эх, встань и посмотри на войско Донское, Ермак Тимофеевич!»

Это зов терзаемых лютой пыткой наших братьев...

Откликнемся же на него всей силой братского порыва и святого отмщения!

Новочеркасск, 8 июня

Партизаны

Ряды их поредели, и далеко не все они, юные, загорелые, бодрые и ясные, вернулись на смотр к подножию медного Ермака, на ту площадь, где три месяца назад их водитель – генерал Семилетов – благословил их на ратный подвиг.

Поредели ряды. Смертью храбрых легли прекрасные, юные цветы Донской земли – там, над Донцом, в родных степях, показывая старшим пример памятования долга перед родиной, великий и трогательный образец того самопожертвования и самозабвенной любви к Родине, о котором как бы забыли уставшие, истрепавшиеся, угасившие дух отцы... И этот подвиг самоотречения был «камнем во главе угла», был самым прочным устоем в новом фундаменте, на котором строятся ныне и будет достроена грядущая светлая жизнь Родины.

В жертву ей было принесено самое дорогое, нежное и хрупкое, будущая надежда земли родной, оторванная от той тихой лаборатории, в которой мысль медленным, бережным и трудным путем обогащается силою знания, прирожденный талант выковывается в могучее орудие служения человечеству.

Все было оторвано от школ и отдано Родине.

Нет цены этой жертве, нет награды, достойной возместить прекрасный восторженный подвиг юных героев, и нет слов, которыми, в утешение пронзенному скорбью сердцу материнскому, потерявшему близкое и кровное, невознаградимое, можно было достойно очертить всю величавость и красоту этого незабвенного подвига... «Плачьте, родные, но и гордитесь: века будут жить в памяти родной земли славные имена ваших сыновей», – такими приблизительно словами приветствовал вождь партизан Э. Ф. Семилетов тех скромных, пригорюнившихся,

прикованных взглядами к серым каскам женщин, которые стояли на ступенях войскового собора.

«Плачь и гордись, страна родная»...

Музыка звенела так бодро и радостно. Ряды за рядами шли со своими боевыми знаменами юные семилетовцы, чернецовцы, дудаковцы – юные, загорелые, закопченные лица и редко-редко борода лопатой или просто щетинистый подбородок. Четкий звук шагов падал ритмическим эхом, гулко звенела каменная грудь площади, звонко откликнулся юный хор голосов на приветствие своего вождя. Звенела музыка так радостно и гордо, и сердце ширилось, и тени отошедших подвижников вставали пред мысленным взором – героев и борцов за Край Родной: Каледин, Назаров, Чернецов, Богаевский... И верилось: еще есть порох в пороховницах Тихого Дона, не оскудела сила казачья!..

Спасибо вам, великое казацкое спасибо, юные герои, выпрямившие согбенную тревогами и сомнениями душу нашу! Вы воскресили надежду и веру в силы, кроющиеся в недрах родной земли, – да славится в роды и роды ее святое имя! Спасибо вам, вдохновители и трудники, вожди юной рати партизанской, Семилетов, Гушин, Дудаков, Е. Д. Богаевская и все скромные героини-офицеры, водившие в славные бои родных наших воинов, сестры, делившие с ними опасности, нужду и тревоги бранной жизни... Спасибо! В делах казацких будут воспеты ваши имена и ваш подвиг святого долга перед Родиной...

ЧУВСТВО ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА

«Донские ведомости». 21 апреля (4 мая) 1919 г.

Бывают ушибленные места, к которым нельзя прикоснуться, чтобы не вызвать мгновенной и острой боли. А в непрерывной сутолоке жизни прикасаться приходится и надо. К таким больным, ушибленным местам нашего государственного бытия, нашей современной истории, подходит вопрос о союзниках. По чьей вине ушиблись мы об этот вопрос, – по чужой ли, или по своей собственной, – устанавливать нет особой надобности. Ушиблись – это несомненно. Теперь осторожно и осмотрительно приходится накладывать целительный пластырь на ушибленной место.

Английская миссия была в Новочеркасске, была на Донском фронте. Серьезная материальная поддержка со стороны Англии – несомненный факт, реальным свидетельством которого является огромное количество снаряжения, оружия, обмундирования, медикаментов и всяких технических средств, доставленных английскими кораблями. Нам, русским, борющимся с разрушительными противогосударственными силами, разваливающими Россию, остается только разумно, вовремя и умело использовать это техническое богатство. И надо перестать обывательски надеяться на то, что кто-то должен еще повалить нашего врага, а уж с лежачим тогда мы и сами, пожалуй, справились бы...

Однако нудное нытье о «живой силе» нет-нет да и зазвучит в воздухе, насыщенном обывательской паникой, шкурничеством и ображениями об ориентациях, уже потерпевших чувствительный удар. Есть эта мечта, и никакие уроки жестокой действительности не преобразят шкурников разного вида и ранга в граждан, несущих в сердцах своих святой огонь самопожертвования. – «Это очень удивительно, что вы нуждаетесь в живой силе, – а вы в ней действительно нуждаетесь» – говорил генерал Бриггс*) в частной беседе: – «состав корпуса у вас очень малолюдный. Но уверяю вас: если бы мне завтра дали пол-

*) Генерал Чарльз Бриггс – с конца 1918 по конец 1919 глава британской военной миссии в Южной России.

номочия, я в одном Ростове мобилизовал бы не менее двух корпусов здоровых, молодых, вполне годных для фронта людей. Если бы у нас в Англии оказался хоть один такой человек, не бывший на фронте, ему никто не подал бы руки, женщины застыдили бы его как лишенного всякого чувства чести».

И когда это слово – «честь» – прозвучало в устах англичанина, в нем почувствовалась та полнота и значительность, от которой мы за два года революционного пустословия совершенно отвыкли. Что-то дорогое, святое, когда-то близкое, а ныне полузабытое, напомнило это великое слово. В многозвучном прошлом казачества в дни тяжелых испытаний в полосу потрясений и бед умели дорожить им, этим словом, те, чье славное имя досталось нам в наследие, чьими трудами, потом и кровью создан наш казачий уклад.

Не в первый раз падает на плечи казачества тяжкая ноша бедствий и великого труда. И не впервые рядом с высоким героизмом, удивительным терпением, выносливостью и самопожертвованием ползает в тайных закоулках низость душевная, подлость, шкурничество и хитрой личиной прикрытое предательство. Был героизм, вызывающий восторг, была высокая доблесть, была слава. Прорывались и периоды развала и позора. Но никогда низость душевная не справляла такого торжества, как ныне. Никогда отсутствие простого здравого смысла, слепота и забвение чести не достигали таких вершин, как ныне. Самые подлинные паразиты – мошенники мысли и родинопродавцы – прикинулись друзьями трудового народа и, купленные немецкими деньгами, во время борьбы за отечество бросили в его темную усталую душу дьявольски-искушающую мысль, что борьба за родину есть выдумка владык, что германский народ не хочет войны, что оружие надо бросить, – и сам собой придет мир, благоденствие, обилие хлеба и всяких жизненных припасов. Усталая душа серых бойцов поверила и, отравленные лестью продажных иуд, они бросили защищать отечество, оставили на произвол судьбы Россию, огромные, созданные народным трудом средства. Заглушая стыд бессмысленным пустословием, разошлись серые шинели по домам, но вместо мира, спокойной работы и хлеба, получили новую войну – гражданскую, по бессмысленности, опустошительности и жестокости превосходящую всё доселе виденное. С первого же дня переворота крайние социалистические листки вопияли о необходимости этой войны во имя нового общественного порядка, дающего людям якобы свободу, равенство, братство, земной рай...

И вот мы теперь – живые свидетели этого мира, братства, равенства, всеобщего благоденствия и земного рая.

Да, устали наши бойцы, – это верно. Но разве не уставали наши деды и прадеды в години бедствий? Разве не видали грозы над собой?

Разве не лилась потоками их кровь? Но они паче своей шкуры дорожили родным краем, честью Тихого Дона. Не умом, а сердцем знали они, какая великая святыня – родина, ибо все близко к сердцу и драгоценно в ней все: и каждая борозда родной степи, и родной курень, пропахший кизечным дымом, и убогая младенческая колыбель, слезы матери, старая дедовская песня, простой казачий жизненный уклад и былая слава казачья... И когда могущественнейший государь своего времени – султан турецкий – погрозил однажды, что придет и сотрет казачество с его городками с лица земли, ответил на это (в 1682 году) атаман донской: «Зачем тебе так далеко забиваться? Мы люди небогатые, городки наши не корыстны, оплетены плетнями, обвешены терном, а добывать их нужно твердыми головами, на посечение которых у нас есть твердые руки и острые сабли»...

Вот язык чести, и этим языком умели говорить наши предки с врагами грозными и могущественными. Мы забыли этот единственно достойный казачества язык. Мы позорно растерялись, расплылись, разбежались перед человеческим отребьем.

И только изредка дойдет из серых рядов, стоящих перед численно превосходным врагом, зов чести к тем, кто скрываются за спинами родных героев и ноют о «живой силе». Вот простое, не очень грамотное, но драгоценное по содержательности письмо Войсковому Кругу казаков Березовской станицы, состоящих в конном дивизионе отряда полковника Сутулова: – «Если мы – донцы и есть у нас патриотизм к родине, будем стоять твердо, а не ожидать того, кто бы нам сделал, а не мы. Нет, хороший хозяин сам управляет в доме хозяйством, а на работника не полагается. Многие из нас ждут: вот придут союзники, которые расправятся с большевиками и устроят нам порядок... А сами стараются уклониться из строя, спасая свою личную шкуру в тылу и громко крича «война до победного конца»! Нет, станичники, храбрые донцы! надо дружно всем браться за это дело, чтобы сокрушить красных хулиганов, которые пьют нашу казацкую кровь, – тогда-то придут к нам на помощь те, которых мы ожидаем».

В этих простых словах слышится отзвук старого, забытого, единственно достойного казачества языка, – умевшего громко и величаво говорить о чести и достоинстве имени казачьего...

ЖИВЫЕ ВЕСТИ

«Донские ведомости». 21 мая (3 июня) 1919 г.

«Великая туга была по всей Русской земле»*).

Так, рассказав о разбойном нападении какой-нибудь свирепой дикой орды, заключал бывало повесть свою об ужасах и потоках крови русский летописец. И в простых, скупых на краски и подробности словах о великой скорби родной земли чувствовались и бездонное горе сиротства, и отчаянный вопль уводимых в плен полонянок, и жуть немого молчания пустых полей, усеянных костями воинов, погибших в неравном бою за родной угол...

Читали мы когда-то эти стародавние сказания, читали с тем интересом спокойного и уверенного сознания, что все, о чем рассказывал летописец, было и ушло безвозвратно, что это нужно было для создания великого государства, что на фундаменте этих испытаний укрепилось несокрушимое здание империи, занимающей шестую часть света. Прошли страхи и ужасы, смирились и зажили мирною жизнью свирепые когда-то опустошители... Прошло все и не вернется.

И было горькой, но безвозвратной, казалось, звучала печальная родная песня, сложившаяся в седых даях многострадальной казацкой старины.

*Чем-то, чем наша славная земелюшка распахана?
Не сохами она распахана, не плугами,
Распахана земелюшка наша конскими копытами,
Засеяна казацкими буйными головами.
Чем-то батюшка Тихий Дон цветен?
Цветен наш батюшка Тихий Дон вдовами да сиротами.
Чем-то в Тихом Дону вода посолена?
Посолена вода в Тихом Дону горькими сиротскими слезами...*

*) *Туга и тоска.* Цитата из «Слова о полку Игореве»: «Туга и тоска сыну Глебову». По Далею в южных и западных русских говорах «туга» – печаль, скорбь, тоска, грусть, горе, кручина. (Так и в древнерусском.) Донское «туга» – непогода.

Казалось, что вся скорбь, вся великая туга и тоска, и горячая жалоба, вылившаяся в этой печальной старинной песне, есть только исторический памятник, поэтическое свидетельство пережитых народных страданий, которым в новом историческом укладе нет места.

Но они вернулись, времена отжитых испытаний и мук, времена туги великой. Пришли и сели в «переднем» углу нашей жизни... И нам немного потребовалось для того, чтобы загнать эту жизнь в звериные норы, залить ее кровью, заполнить ужасами! Всего – какой-то кучки предателей, заранее имевшихся в запасе у германского штаба для русского фронта, и тех неразменных тридцати сребренников, за которые Иуда продал Божественного учителя, а его внебрачные потомки – великую, но простоватую и доверчивую Россию. Доставленные немцами в запечатанных вагонах, эти люди с подложными паспортами с изумительной легкостью углубили «революционное сознание» той человеческой породы, которую умный старый генерал Драгомиров с любовно-ласковой иронией называл в своих приказах «святой серой скотинкой». Просвещенная революционным сознанием, она утратила святость и обрела лик звериный. И с этим ликом быстро пошла до логического конца – и вот мы видим воочию воскресение пещерного периода человеческой истории: люди простые, трудящиеся, мирные скрываются в пещерах, степных пустырях, лесах, на островках; цветущие степи окутаны дымом пожарищ; вернулись преступные муки, пытки, сожжения детей и женщин. Стон и вопль отчаяния оглашает знакомую ширь родного края...

Картину этой вернувшейся из забытой тьмы времен страшной жизни восстановили в простом, бесхитроном рассказе два казака Мигулинской станицы – К. Е. Чайкин и Е. А. Мирошников, в лодке приплывшие от восставших казаков Верхне-Донского округа. Доклад их слушал Войсковой Круг 16-го мая...

– От восставшего Верхне-Донского округа мы просим, чтобы нам дали вождей, – говорит К. Чайкин, – так как у нас сформировалось около пяти дивизий войск, в состав которых входят и юноши, и старики от 17, даже от 15, и до 60 лет, а вождей нет. Нам и дали документы с тем, чтобы поехать в Новочеркасск с объяснением, в чем мы нуждаемся, и объяснить, возможно ли помочь, в чем мы нуждаемся.

Когда проезжали мимо Усть-Медведицкого округа, то слышали стрельбу и во время пути избегали встреч с молодым обществом; стариков не избегали, а даже старались увидеть и внушить, чтобы они дали нам помощь. О себе говорили, что мы из германского плена, следуем на родину в Сальский округ. Мы объясняли, что Верхне-Донской округ восстал против красных, обиженный расстрелами и грабежами, которые они производили. В последнее время красные даже стали

убивать женщин и детей. Затем стали издеваться над иконами: повыкололи глаза Спасителю и Божьей Матери. Спрашивают у женщин и детей: что это есть? – «Это есть Спаситель и Божья Матерь». Тогда они натаскали в церковь соломы, загнали их туда и говорят: ну, пусть они вас спасут.

Рассказ о путешествии этих гонцов, которые в старенькой лодочке посланы были своими станичниками с одним немногословным наказом – «либо вождей добудете, либо дома не будете», рассказ их полон живейшего драматического интереса и тоже воскрешает забытую былль старых повестей. Вот некоторые эпизоды:

– В каком положении ваши хутора Мигулинской станицы? – был задан вопрос.

Чайкин. – Пострадали хутора правой стороны реки Дона: Ежовский, Ольховский, Мешков, Павловский, Назаревский, Баташевский, Коноваловский, затем сюда к Вешенской станице хутор Варварино.

– Как начиналось восстание и что заставило восстать?

– Сначала были беспорядочки, но не особенно сильные, и нам все говорили, что на днях прибудет чрезвычайная следственная комиссия и этого ничего не будет: у нас не должно быть таких грабежей и произвола, как у вас. Когда приехала чрезвычайная следственная комиссия, то грабежи увеличились в три раза и то убивали по 5 человек, а теперь стали по 50. И как тут стало больно, что оправдательных документов никаких нет. Когда собиралась партия людей, чтобы оправдать одного человека, а их всех арестовывали на месте и расстреливали. После этого было, конечно, больно, что стариков повыбили и до молодежи начали добираться, даже женщин многих порасстреливали. Значит, исход один: поьют и нас. Так давайте прежде уьем их, а тогда ляжем сами. 20 февраля я получил известие, что назначен ряд расстрелов. Тогда же попал я и еще человек 15. Мне стало жутко, что вот, скоро уьют; притом я съездил на некоторые казанские хутора и узнал, что там идет волнение и ожидается восстание.

Прихожу я к своим товарищам, назначенным к расстрелу, и говорю: «Вы ничего не знаете? Я вам выясню, что мы назначены 16 человек к расстрелу и нам осталось жить не дольше, как до 27 или 28, а потом будем расстреляны». – Так что же мы будем делать?

«Делать вот что будем: в Казанской станице – только это тайком, чтобы не выяснилось – готовится восстание. У меня есть винтовки и 9 ящиков патронов, так что на нас этого хватит и мы или уьем их, или будем разбегаться. Я уже сговорился в Казанской ст. об этом и ожидал дня, когда нас позовут. Приезжает 25 ночью от Казанской ст. казак и спрашивает хозяина дома. Я испугался и думаю, значит, не

поспел и мои успехи все пропали: патроны не достал, винтовки тоже зарыты. Выхожу и спрашиваю его, что ты за человек. — Я, — говорит, — Казанской ст. — Что такое? — Да там приезжали вы тогда насчет восстания, так у нас сейчас уже сорганизовалась дружина. — Это меня несколько обрадовало. Через некоторое время приехало три подводы, забрали у меня патроны и мы поехали в ст. Казанскую. Там уже собралось около 500 человек народу, не все с винтовками, а все-таки большинство. В 2 часа ночи 25 под 26 мы окружили ст. Казанскую и только хотели пройти по дворам, захватить их спящими и побить. Но они оказались все в сборе, воспевали какой-то гимн и вели к трибуналу 130 человек, связанных за руки, чтобы убить. Между ними были женщины и старики.

Тогда мы бросились в атаку и побили их около 200 человек. После этого мы стали устанавливать свой порядок: поставили своих лиц к телефону, чтобы не было никакого подозрения. Если спросят, то ответить, что все благополучно, или отвечать, послали и т. д. Только что успели это сделать, приезжают два эскадрона красных. Захватили и их расстреляли, а винтовки и оружие забрали. Тогда мы немножко отдохнули, в некоторые хутора вошли и закусили.

Около ст. Мигулинской на главной дороге мы поставили заставу так, что из Мигулино пропускали, а туда не пускали.

Там же в это время собралось около 400 человек председателей и секретарей от всех хуторов и станиц. Тогда мы на каждом перекрестке саженьях в 5 от огородов установили по 4 человека, чтобы они образовали цепь. Затем Казанская ст. зашла с правой стороны, а наша внизу с левой и мы сделали несколько выстрелов. Женщины, находившиеся в их штабе, говорят, что слышны какие-то выстрелы в тополях. А один там ходит с револьвером и как только кто разинет рот, сейчас направляет револьвер: прошу молчать. Вы слушайте, что я скажу. Но сейчас же он и сам услышал выстрелы. Тогда выскакивает оттуда и кричит: «Товарищи, к оружию». Как только выкатили пулеметы на перекресток и стали смотреть, где цепь, а тут под носом не видят, что люди сидят, ожидают. Только они выкатили пулеметы, эти моментально побили их пулеметчиков и забрали пулеметы. Тогда они давай спасаться и побросали винтовки. Их много побили, но и немножко оставили в плен.

Затем мы двинулись 27 числа в Вешенскую, а оттуда пошли в Шумилинский х., но там сдались без боя и все их заградительные отряды отступили на Солонцовский хутор. Там уже казаки знали о восстании в Мигулино и потому стали ловить по дворам красных, побили их и присоединились к Шумилинскому отряду. Вешенская ст. тоже сда-

лась без боя, потому что Фомин, узнавши об этом, сел на лошадь, привязал один пулемет ей за хвост и ускакал.

— Каково приблизительно общее число расстрелянных большевиками?

— Нашли около 180 человек. А которых расстреляли раньше, тех не нашли — пропали без вести. Расстрелы происходили не так, а обязательно или язык проколят, или голову, жилы вырвут. Так что ни одного трупа не находили просто расстрелянного, а обязательно все тело порвано. Были еще такие случаи, что разуют и поставят на снег, он замерзнет, а потом убивают. Это заметно потому, что у него ноги уже почерневшие. Если его застрелить, то тело будет нормально, а если заморозить и потом убить, так он почернеет.

— Когда вы восстали, вам иногородние помогали?

Чайкин. — Нет, ничего не помогали, и даже некоторые шли с ними.

Мирошников. — Когда мы им предложили присоединиться к нам, так они не хотели. А потом, когда красные стали отступать и позабывали и у них, и у нас все, то они пришли к нам и сказали, что мы согласны вам помогать

Депутат. — Как там смотрят красные на Круг и как они поступают с семьями членов Круга?

Чайкин. — Очень сурьезно. Когда они уходят из села или отступают, то забирают все состояние. Если кто станет просить, чтобы оставили что-нибудь, то сейчас дадут ему оплеушину или просто красногвардеец револьвером ударит.

Мирошников. — Если где они находят на полати одежду с погонями, которая уже лет 5–10 там валяется, сейчас начинают терзать семью. Хотя эти погоны и не имеют никакой силы, но раз сказано их уничтожить, значит нужно, чтобы было исполнено. Даже если детишки найдут на улице кокарду, начнут играть и принесут домой, и тогда беда.

Бояринов. — Кто творил эти ужасы: казаки, русские люди или других наций?

Чайкин. — Есть русские. Как я говорил, Андреев — казак, но большинство евреев. В чрезвычайке и трибунале — самый жид. Без евреев никакой свадьбы у них не сыграется.

Председатель. — Позвольте поблагодарить станичников за интересное сообщение, которое они нам сделали.

Деп. Бородин. — Я прошу, чтобы все те выражения в подлиннике, в тех красках, как они были сообщены, были напечатаны в газетах или на отдельных листках, чтобы население знало все это.

Председатель. — Это мы поручим секретарю Круга.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДОКУМЕНТОВ

«Донские ведомости». 11/24 мая 1919 г.

В январе среди отступавших наших частей, и по хуторам, и по станциям в огромном количестве распространилось воззвание «К трудовым Донским казакам» – большой лист, крупная, жирная, разгонистая печать. Наверху, под пятиконечной сионской звездой, значилось:

«Казачий Отдел Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Красноармейских, Крестьянских и Казачьих Депутатов».

Титул длинный, без передышки и не выговоришь.

Раздавалась и подсовывалась эта прокламация не только переодетыми жидками, агитаторами, но и наемными агентами среди казаков, своими переметчиками. Дивизия Миронова возами возила с собой эту литературу.

Нужно ли говорить, что в этом широком возвании «Казачьего Отдела», нанявшегося обслуживать товарища Троцкого, было безбрежное болото наглой лжи и обмана, бесстыдной лести «трудовым» казакам, клевета и уклон, направленные на борющееся за родной край казачество и его вождей. Для мало-мальски не слепого человека ясно было видно предательство и наемный характер этого зазывания.

Зазыватели вопили:

«Если бы вы, станичники, знали, зачем вас гонит Краснов против рабочих, крестьян и трудовых казаков, грудью отстаивающих советскую власть, вы никогда не пошли бы против советской власти...»

«Довольно, трудовые казаки, бродить впотьмах, пора понять обман Красновских слов. Бросайте ряды белого офицерства!»

«Становитесь, казаки, в ряды стойкой красной армии, и мы дружным могучим усилием опрокинем стан белой гвардии...»

Напрасно было бы искать в этом листке разъяснение, в чем же «обман Красновских слов» и защиты казачьего дела. Ничего, кроме

животного лая, слюны, злобы и одного припева на каждом шагу: «Много уже товарищей-казаков перешло на нашу сторону, и здесь, в свободной России, им становится ясно, зачем генералы стараются удерживать трудовых казаков под своею властью»...

Из чего же это им выяснилось? И как? Сообщается далее в этом самом воззвании предателей следующее:

«Недавно в Москву прибыли перебежавшие на нашу сторону казаки. Ничо им в Москве не угрожает; наоборот, они присутствуют на митингах и собраниях и имеют возможность встречаться со своими братьями, казаками красных войск. После одного митинга в присутствии членов казачьего отдела в. ц. и. к. сов., станичники вынесли следующую резолюцию: Мы, казаки, перешедшие на сторону советских войск, заслушав доклад членов казачьего отдела в. ц. и. к. сов., выражаем свою душевную радость при виде здесь, в сердце советской России, своих братьев – трудовых казаков, и клянемся жизнью отомстить обманувшим нас бывшим офицерам. Призываем вас, станичники, немедленно последовать нашему примеру, сложить оружие и переходить на сторону красной армии, где встречают нас, как родных братьев...

Видите, как великолепно: побывали на митинге, выяснили все обманы, но от читателя удерживают их в секрете, и сразу «призываем вас»... Хорошо бы спросить у этих «братьев – трудовых казаков», сколько керенок уплачено им за предательское усердие?

Мало того, что эти наймиты готовно прилагают руку к заранее сфабрикованной резолюции, но они, как верноподданные холуи, спешат почистить сапоги своему новому хозяину и заканчивают резолюцию словами преданных смердов: «Много лет здравствовать председателю совета народных комиссаров тов. Ленину!»

И в то самое время, когда этот листок возами развозили по станицам, хуторам и воинским частям, в кармане у каждого комиссара, у тов. Миронова, у тов. Щаденко и Думенко*) и у прочих наемников Троцкого лежал следующий секретный циркуляр:

*) Думенко Борис Мокеевич (1888–1920) – участник войны 1914–18 гг., вахмистр. Весной 1918 г. организовал в хуторе Весёлом партизанский отряд, затем командовал батальоном в Крестьянском социалистическом полку. С июля 1918 г. командир кавалерийского полка, с сентября 1918 г. – 1-й Донской советской кавалерийской бригады, с ноября 1918 г. начальник Сводной кавалерийской дивизии, в которой его помощником и командиром бригады был С. М. Будённый. С сентября 1919 командовал Сводным кавалерийским корпусом, освободившим Новочеркасск в январе 1920. Награжден орденом Красного Знамени. По обвинению в организации убийства комиссара корпуса был осужден и расстрелян.

Щаденко Ефим Афанасьевич (1885 – 1951), сын рабочего, член РСДРП с 1904 г. С ноября 1917 г. командир красногвардейского отряда. В августе-ноябре 1918 г. комиссар штаба

«Последние события на различных фронтах и в казачьих районах, наше продвижение вглубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск заставляет нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственной мерой самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость тут недопустимы. Потому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков и крестьян, истребив их поголовно, провести беспощадный и массовый террор по отношению вообще к казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе против советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлох иногородних с казаками в земельном и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоружение казаков и расстреливать каждого, у кого будет оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до восстановления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящее указание.

Ц. к. постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство наркомзему разработать в спешном порядке практические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.

Центральный комитет р. к. п. С подлинным верно: Заведующий общим производством политотдела южного фронта (подпись).

Верно: Секретарь политотдела VIII армии Черняк.

С копией верно: Секретарь военкомдив Б. Кочаров»*).

Северо-Кавказского военного округа. В ноябре 1918 – январе 1919 г. – член РВС X-й армии. Участник обороны Царицына.

* Этот документ впервые опубликован в качестве Приложения к типографскому воззванию «Ко всему трудовому народу Дона!» (середина марта 1919) и начинается словами «Образец циркуляра Российской Коммунистической партии (большевиков), руководствуясь коним павшая власть вводила порядки на Дону. Копия с копии. Циркулярно. Секретно...».

Что это циркулярное руководство не осталось только на бумаге, но было выполнено в масштабе даже более широком, чем намечено было в секретном приказе, мы видим из документов, на днях полученных от восставших казаков. Член окружного совета Верхне-Донского округа от станицы Казанской Гавриил Суяров рапортом сообщает Войсковому Кругу войска Донского, между прочим, следующее:

«За время существования коммунистической власти в станице Казанской при исполкоме была коммунистами учреждена чрезвычайная следственная комиссия, состоящая из комиссаров латышей и председателей ученых евреев, именовавших себя по фамилии Коваленков и Костенко. Эти последние два еврея, имея при себе более ста человек коммунистов заградительного отряда, спустя несколько дней после их вторжения, с первых чисел февраля сего года отобрали у всего населения оружие и начали производить аресты более сознательных жителей и граждан иногородних, зажиточно живущих, которых поочередно среди ночи со связанными руками выводили за станицу и в ярах расстреливали ежедневно по 5–10 человек, отдавая в приказах по станице, что расстрел производится упоминаемых лиц за контр-революцию против советской власти. Таким образом, расстреляв в станице Казанской более ста человек граждан, они начали арестовывать целыми обществами: на хуторе Базковском арестовано до 35 человек стариков, прибывших в станицу ходатайствовать об освобождении арестованного без всяких причин казака Якова Андреева Коршунова, и хут. Гармиловского 24 чел. за то, что последние собирались в потребиловку*) для учета» ...

В том же рапорте, ниже, о разгроме Мигулинской станицы сообщается так:

«Было разграблено все имущество, оставленное жителями: угнали скот, лошадей, овец, истребляли птицу, жгли дома, разбивали окна в домах и увозили все ценности и хлеб. 18 числа апреля казанцы не в силах были далее переносить все варварства коммунистов, которые начали избивать оставшихся в хуторах стариков, детей и насиловать женщин» ...

Рукописный подлинник воззвания хранится в Российском государственном военном архиве и подписан руководителями Вешенского восстания, членами Окружного совета Даниловым, Ермаковым, Выпряжким, Лосевым, Суяровым, Благородовым, Куликовым и Мельниковым (РГВА. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 168. Л.41, 41 об.).

См. <http://volgokray.narod.ru/index.html>

*) Потребилка – магазин потребительского общества, кооперативная лавка.

Пусть те предатели, которые в январском листке выражали свою душевную радость при виде «в сердце советской России своих братьев – трудовых казаков» и предательски звали, продажные души, последовать их примеру, сложить оружие и переходить на сторону красной армии, «где встречают нас, как родных братьев», – пусть эти негодяи прочитают следующее письмо казаков хутора Калиновского Мигулинской станицы, письмо, написанное кровью и слезами:

«Дорогие братья. Спешите к нам, просите своих командиров, Большой Круг, отца-Атамана, пусть снабдят вас боевыми средствами. Прорвите фронт предателей-большевиков, грабителей-большевиков и бегите к нам на помощь. Спасите нас. Мы, оборванные, голодные, холодные, влачим свое несчастное существование по оврагам, буеракам и островкам Донского поля: коммунисты забрали у нас всё – скот, птицу, хлеб, сожгли наши хутора. Мы задыхаемся в дыму, который застилает наши поля. К этому же тиф свирепствует во всю и добивает нас окончательно. Спешите же, не то многих своих родных не досчитаетесь вы. К примеру скажу: в хут. Варваринском осталось 9 дворов, остальные сожжены. Сожжены точно также все 46 хуторов нашей станицы, лежащие на правом берегу Дона. Кланяются вам ваши отцы, матери, жены, но, к прискорбию, не все: многие из них изрублены, расстреляны или же заперты в дома и сожжены. Андрей Аф. Сытин».

Сопоставьте эти простые, правдивые, трепещущие жгучей болью документы и лживое воззвание предателей казаков, перебежавших на службу к тов. Троцкому, взвесьте роль красных гадов, готовящих в ядовитых своих железах смерть казачеству... Оглянитесь вокруг: сколько лютых страданий, крови, мученичества, и сколько ужасов, слез, невыносимой скорби и отчаяния принесено в наши родные углы! Во имя чего эта мука крестная? За что? Чем оправдают красные негодяи этот вопль детей, сжигаемых вместе с изнасилованными матерями в разграбленных куренях? Чем искупят красные разнузданные гады безумный крик отчаяния девочек-подростков, насилованных гнилыми пьяными зверями? Какой ценой должны они расплатиться за надругательство над нашими святынями, над седовласыми стариками-отцами нашими, отдавшими на служение великому когда-то отечеству – России – свои силы, свои лучшие годы, проливавшими кровь в защиту народа русского?

Час возмездия не далек. Сердце каждого истинного казака не может быть глухо к родному детскому крику, к полному отчаяния зову матерей, жен, сестер, к боевому призывному кличу стариков, вместе с

малыми внучатами бьющихся там, в далеких степях, в неопишуемой нужде и лишениях против проклятого красного отребья сатаны...

Вспыхнет ретивое сердце казацкое. Загорится огнем святого отмщения, закипит молодецкая кровь, вспомнит славную удадь былых времен и могучим, неустойчим напором прорвет красную плотину за Донцом...

И тогда...

Тогда и Троцкий, и все Иуды узнают грозную тяжесть руки казацкой, руки отмщающей за обиды и поругание края родимого, Дона Тихого... Они узнают. И до седьмого колена не забудут...

К ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО КРАЯ

«Донские ведомости». 23 мая (5 июня) 1919 г.

События, переживаемые нами, поставили значительную часть населения Дона в условия предметного и практического познания его географии, местных, бытовых и хозяйственных особенностей. Верхнедонцу пришлось «порыбалить» в гниловских и елизаветинских водах, хопец находил трапезу в калмыцких кибитках, медведицкие казаки присматривались к хозяйству таганрогских хохлов и т. д. К сожалению, путь этого практического отечествоведения «соком достался», обошелся дорого, — и дай Бог, чтобы в ближайшем будущем он заменился школьным изучением родного края, любовным, обстоятельным и внимательным. Для этого нашему отделу Народного Просвещения придется приложить много усилий. Справедливость требует отметить, что в эту сторону уже устремлено деятельное внимание и — если принять во внимание те труднейшие условия, в которых приходится вести работу просвещения — сделано немало. Издана донская хрестоматия. Подходит к концу издание географического описания войска Донского. Сейчас перед нами — «географическая карта Всевеликого войска Донского», составленная полковником В. Д. Поповым. По наглядности, по серьезности выполнения это — единственная карта, дающая полное представление о родимом Тихом Доне, — и даже беглое знакомство с нею наполняет сердце тою патриотическою радостью и гордостью, которая так понятна, так близка в переживаемые дни. Приводим, кстати, отзыв об этой работе полковника Попова, полученный им от бывшего донского атамана П. Н. Краснова:

Милостивый Государь Владимир Дмитриевич!

Сегодня я, наконец, получил, изданную Вами по моему поручению, переданному Вам через управляющего отделом Народного Просвещения Владимира Николаевича Светозарова, «географическую карту Всевеликого войска Донского». Я считаю своим долгом принести Вам не только от себя, но и от войска

Донского, представителем которого я был в то время, когда издавалась Вами карта, самую искреннюю признательность. Отличная, необыкновенно четкая карта Ваша послужит отличным пособием для донской молодежи при изучении ею истории и географии родного края. При помощи ее каждый донской казак скоро научится познавать величие и природные богатства своей земли и еще горячее ее полюбит. Карту, Вами изданную, я считаю необходимейшим пособием в той «школе патриотизма», без которой немыслима никакая ни средняя, ни низшая школа и которая есть лучшее средство борьбы с большевизмом и образования на Дону прочной ячейки русской государственности. Составлением и изданием этой карты Вы внесли в переживаемое нами тяжелое смутное время крупную лепту для воссоздания снова единой и великой России.

Уважающий Вас П. Краснов

Желательно самое широкое распространение этой карты по станциям, хуторам, слободам и селам, селам в школах и станичных, волостных и сельскохозяйственных правлениях. Познание родного края – первый шаг к сознательной и деятельной любви к отечеству.

ПОСЛЕ КРАСНЫХ ГОСТЕЙ

«Донские ведомости». 7, 17 августа 1919 г.

1.

Зелено, сочно, пестро и весело, как в мае. Буйные заросли перепутанных не кошенных трав, изумрудные атавы, гигантский татарник, лебеда и брица по червонным загонам хлеба, бирюзовые васильки. золотистый подсолнух и дойник... Простор безбрежный. Бездонная синева, и в ней белыми лебедами круглые серебристые облачка.

Родная степь цветет, зреет, щеголяя роскошью, блеском, богатством сокровищ, скрытой мощи. Пестрым нарядом прикрыла обычную пустынную, наготу, свежие раны, язвы и струпья. Зеленая и золотая, кричит о воскресении, о близости жизни возрожденной, светлой, обильной, просторной и радостной.

Но порой в окно вагона потянет тяжелым трупным запахом, и долго провожает он убегающий поезд. Трупы лошадей, трупы быков валяются у дорожной насыпи, вокруг змеистой линии окопов, свежих и поросших травой. И свежие холмики – с убогими деревянными крестиками и без крестов, – безыменные свидетели смертного боя братьев и единомышленников, связанных единой горестной судьбой, разделенных злым демоном вражды и фатального затмения...

Трупы обгорелых железнодорожных зданий, зияющих пустыми окнами, трупы сожженных паровозов, опрокинутых вагонов. Что-то скорбно выразительное, трогательное и величавое есть в этом зрелище недвижимой машины, уткнувшейся в мать-сыру-землю, в ее гигантских колесах, осях, буферах, несокрушимых стальных членах. Все это низринуто, перевернуто, опрокинуто и сейчас бездыханно. Но все еще могуче, твердо и пригодно и словно ждет, когда придет вооруженный силой понимания и любви хозяин, поставит вновь на рельсы, в естественное положение, споткнувшееся стальное тело, и бездыханный механизм оживет, вздохнет, зашумит ритмическим шумом и двинет могучим дыханием десятки сиротливо ожидающих вагонов по чугунным лентам, сейчас проржавевшим и заросшим травой...

Он придет, хозяин. Несомненно придет. И в опрокинутой машине, и заброшенных сиротливых вагонах символ нашей современности – грустной, но не лишенной надежды. Уже звенят рельсы тонким звоном набегающих и уходящих в жемчужный туман поездов, открылись зеленые дали Заволжья, пыхтит буксир, стаскивая с мели беляну с лесом, гудят заводские гудки. Оживает и разминает затекшие от мертвого сна члены опрокинутая и вновь становящаяся на рельсы жизнь.

Немножко есть фантастического в этом долгожданном зрелище величавой русской реки, усеянной сейчас недвигимыми белыми пятнами парусов, в этом замызганном виде пыльного города с запахом нефти и воблы, его тяжелых белых цистерн по высокому берегу, фабричных труб и мелкой панорамы тесовых домишек по ярам и обрывам так называемого «Капказа». Все это было когда-то так знакомо, так близко, и все затянулось мутной пеленой забвения за два года, отделенное таинственной чертой непримиримой вражды двух миров.

Город, на беглый взгляд, по внешности мало изменился. Советское владычество внесло ему свою долю разрушения, загажения, сору и грязи, но много памятника никакого не оставило, ничего нового не прибавило, кроме, может быть, двух-трех заржавленных вывесок, на которых старое хозяйское имя было затерто и заменено обозначением, гласящим, что это – магазин «трудовой артели приказчиков». В магазине «трудовой артели», как и в других, пыльная пустота, паутина и уныние, кое-где – две-три спящих солдатских фигуры и звонкоголосые рои мух на засиженных окнах. От прежнего обилия, особенно – гастрономического, ничего не осталось, а когда-то по части треугольника был город за славой.

И так страшно было слушать тощего, оправляющегося, видимо, от болезни обывателя в войлочных туфлях, говорившего со слезой умиления в голосе:

– Все есть... Господь дал... все сейчас: чего хочешь, того прошибь... И хлеба ешь – не хочу, горы целые на базаре, и огурцы, и вышни... Мясо есть... Всякая фрухта... Господь-кормилец привел дожить... А не чаяли... Думали: помрем, не евши...

Да. Видно, что предметный урок нового социального строя был жесток до беспощадности. Голод, сыск, устрашение, равнение всех по оголению и разутости здесь, в «красном Вердене» Совдепии должно было оставить особенно яркий и выпуклый след. И так хотелось заглянуть любопытствующим оком внутрь этих ободранных домов и домишек, в душу этих людей, группами собирающихся на панелях, в скверах и на живописном волжском берегу, серую грудю тел заполняющих вокзал и платформы.

Как будто все та же серая толпа. Может быть, посерела больше, оборвалась, обнищала, больше обогатилась коростой и насекомыми и оскудела детворой, – мало видать ползающих среди нее детишек, точно помело их вымело с платформы, уцелели лишь маленькие, бойкие хулиганчики с газетами и папиросами. Но уж, наверное, кто-нибудь новое прибавилось к обычному облику этого «трудового» стада без пастыря, углубленного революционным сознанием? За два года, отделившие меня от непосредственного соприкосновения с «младшим братом», российским мужичком, он в моем представлении облекся в таинственный покров интернационального или элементарно большевистского фасона и стал еще более загадочным сфинксом, чем был во времена тургеневского Базарова.

Я ходил по платформе среди пестрых кучек, с неизменным ароматом «русского духа», сидел рядом с ними по соседству с ужасной уборной, на стенах которой какой-то грамотей изобразил мелом: – «Да здравствует непобедимая красная армия! Да здравствует товарищ Троцкий!» Приглядывался, прислушивался... Ничего, кроме вопросов брюха, мне не удалось уловить. Никаких парений в высь, никаких экскурсий в область социальных или политических отношений, никакой революционной философии.

– Огурец? Огурец в Арчаде двадцать монет сотня, а тут он семьдесят пять, восемьдесят... Так не прямой ли мне расчет на порожных доехать да собрать мешка два?..

– Тут в одном месте напал я подошву... семьсот просит... пары три выйдет... первейшая подошва, соковая!..

– У военных дешевле попадает...

– Всевозможно...

– ... При большевиках муж получал девятьсот, да я семьсот, а купить нечего было. За Волгой, бывало, через большую силу ухватишь если полмешка – слава Богу, а то и с деньгами голодом сидели... Сейчас – слава Богу – получаем и меньше, а все доступней стало...

В той же демократической среде ехал я в вагоне, – современное расстройство транспорта очень способствует самому тесному объединению классов и состояний, всеобщему равенению в смысле претерпения тесноты и неудобств. Если не принимать в расчет единственного офицерского салона, всегда битком набитого, – некоторый отбор представляет публика, едущая на крышах – учащиеся, казаки, солдаты и бабы-спекулянтки, которые полегче и побойчей. Остальной путешествующий мир наливается без разбора и в первый класс и в телячьи вагоны – «до отказа». От Царицына я как раз волею стихий втиснут был в синий вагон, на котором стояла римская цифра I. От прежней роскоши, от мягких пружинных диванов остались только одни вос-

поминания в виде клочков шерсти по стенам и обрывков клеенки, кишащих клопами. Ни дверей, ни стекол в окнах. Даже пол был взломан в одном месте. В «купэ» со мной рядом сидел на мешке закоптелый батюшка без подрясника, в рубахе и заплатанных штанах.

– Все мое ношу с собой.. *отпіа теа*, – поясняет он по-ученому кастельно своего костюма: – «товарищи» очистили на совесть, осталась лишь зимняя ряса на лисьем меху... ну, сейчас – не по климату...

Господствующие позиции в нашей клетке заняты были полдюжиной крикливых женщин мещанского типа с корзинками, узлами, мешками, ведрами. В обстановке тесноты, бесприютности, духоты и грязи эти особы чувствовали себя, как в родной стихии, быстро устраивались, объявляли войну, заключали мир, сорили, судачили, спорили, выкладывали сенсационные новости о фронте, о международных отношениях, о ценах, обо всем. Казаки и солдаты, вообще мужской персонал, ехавший в нашем вагоне и, видимо, бывалый, наметавший взгляд, относился к ним с легкой, снисходительной иронией, не очень стеснялся в выражениях, не очень церемонился.

– Спекуляричаєте? – спрашивает черноусый унтер-офицер пухлую даму с толстыми золотыми кольцами в ушах, в розовом капоте с глубоким вырезом, открывавшем некоторые женские прелести цвета солдатской голенищи.

– Дядичка! милый! – певучим басом отвечает дама: – пять человек детей, муж калека... А дороговизма вон какая – семь рублей хунт мяса... Чем я должна?

По-видимому, опыт создал уже некоторый шаблон для мелко спекулянтских формулировок: у каждой такой гражданки муж калека или убит на войне (непреренно – германской), полдюжины детей, нужда, беспомощность. Сведущие люди уже знают, что это – выдумка, и лишь приятельски подмигивают бровью.

– И какая жизнь наша! Как собака на обрывке – мечешься туда-сюда, покою не знаешь, полопать путем некогда. Купить – погрузить надо. Отдай пятьдесят. Там – глядишь – стражник: – «чего везешь?» И уже знаешь, чем он, стерва, дышит... Лезешь в карман, достаем четвртной, – не глядит. Опять давай полсотни, а то и всего Ермака...

– А все-таки расчет есть?

– Куды ж денешься? пять человек детей...

– А работать вот никого не дозовешься, – говорит грузный человек с седой щетиной на подбородке, едущий на Кубань.

– Это за шесть-то рублей в день? Покорно вам спасибо, дядичка!

– Зачем за шесть? Я шестьдесят дам – иди, пожалуйста.

– А детей на кого брошу?

– Да, ведь, бросаешь же?

– Никуда не пойду, на месте останусь. Куда я от своего добра пойду? Я, может, всю жизнь билась, нажила домочек... работала, хлопотала... И от своего порога пойду?

– Но поезд надвигается, может раздавить?

– Пуцдай на месте помру, а от своего добра никуда не пойду!.. – вставила толстомяся.

– Конечно, что нам все равно, моя соседка: как тогда работали, при Николае, так и сейчас отдыху не видим...

В атмосфере этих беглых разговоров и споров постепенно выступали кое-какие черты углубления революционного сознания, которые проведены были в душе народной воспитательным воздействием большевизма. Низменная приспособляемость к жизни, расчет, онемение совести и чувства долга всплывали, как аромат трупного гниения. Но жизнь, неугасимая и неистребимая рядом с этим давала яркое и трогательное свидетельство героически-стойкого страдания, самоотвержения и истомленного ожидания торжества правды...

II.

Может быть, придет когда-нибудь время – беспристрастный, эпически спокойный повествователь с достаточной полнотой и последовательностью изобразит ту картину, которую сейчас в силах передать лишь сухой протокол, – картину крестных мук Дона Тихого, картину великой скорби, ужасов и унижения, смердящего торжества подлости и продажного предательства, общей испуганной немоты и общего порыва возмущения души народной, очищенной великим страданием.

Может быть, волшебной силой художественного слова облекутся в плоть безмолвные обугленные руины хуторов и станиц, горестные братские могилы и одинокие холмики под новыми крестами, в траве белеющие кости... Зазвучит живыми голосами степной простор, поглотивший звуки орудий, гул и лязг, топот копыт и гиканье лавы, песню торжества и стон предсмертный...

Может быть, отойдя на расстояние, в исцеляющую даль времени, будет создано целостное отображение великой туги народной, беды казачьей.

Сейчас это сделать нет сил. Слишком близки, слишком свежи, остро и жгуче болезненны кровавые раны и язвы гвоздинные, зияющие на теле родного края. Слишком изнемогает от животрепещущей близости этой сердце в тисках тошной тоски и стыда горючего, бессильной злобы и горького терзания...

Только протокол, один протокол, сухой и бесстрастный, ныне может воспроизвести по порядку и по форме с суровой скупостью на краски,

но обстоятельно, ту эпопею безвестного страстотерпчества, которое скрыто в огромных ямах, ярах и буераках, издающих и сейчас еще тяжелый трупный запах. Может намекнуть на ту потрясающую симфонию младенческого крика, предсмертного хрипения, треска пламени и воплей отчаяния, которые смолкли в этих обгоревших развалинах, – тот ужас надругательства, который застыл в безумных взорах сироток-девочек, без присмотра бродящих ныне по хуторским улицам.

Беспристрастный протокол даст сухие цифры: скажет, что в Усть-Медведице по подсчету самого трибунала 23 дивизии, застрелено свыше трех тысяч контр-революционеров.

Протокол подведет итоги планомерного опыта тов. Троцкого в Урюпине: около девяти тысяч расстрелянных...

Я пройду пока мимо этого языка действительности, мимо этих потрясающих цифр, этих леденящих ужасов. Бледны и немощны пред ними всякие слова, всякие краски. В беглых, бессистемных впечатлениях я попробую передать только мелкие осколки разбитого зеркала жизни, те черты новой обыденности, которые провело пятимесячное господство большевизма на старом, привычно-знакомом, милом и по-стылом родном облике станичного и хуторского быта.

Сперва все шло по-хорошему. 18 января красные обстреляли станицу, выпустили по ней свыше сотни снарядов, убили одного старика, двух коров и разбили цейхауз станичного правления, в котором хранилось в качестве вещественных доказательств семь жестяных кубов, отобранных начальником стражи у самогонщиков.

Въехал Миронов на автомобиле, занял под постройкой дом священника, приказал выбрать комиссара.

Народ собрали к правлению. Сходились туго, робко, с опаской. Какой-то оратор в заячем треухе уже размахивал руками на майдане, очень часто повторяя:

– Товарищи-и!.. товарищи-и!..

Говорил бойко, шибко, стремительно, как цыган, – и сам на цыгана был похож. Понять можно было только одно: советовал казакам проклясть Краснова, вернуть детей по домам и спокойно заняться своим трудом.

– И самое лучшее! – крикнул Климка Мирошкин среди общего безмолвия.

– Мы бы и давно с удовольствием, – подхватил толстый Василий Григорьевич.

И как будто мешок с картошкой прорвался, – глухо загалдел майдан, что давно все готовы сидеть по домам, кабы своя воля была. Долго галдели. Никишка Козел кричал:

– Буде уж аполеты-то офицерам заслуживать! Достаточно... До-служились до того, что рубахи на пузе нет...

И ему поддакивали пестрые голоса со всех сторон. Заметно было, что мысленные люди сразу поняли, как подладиться и угодить оратору.

Потом цыган говорил, как организовать совет, кого выбирать в комиссары. Рекомендовал в комиссары непременно человека самого неимущего, голыша, по-большевистски называемого пролетарием. В комиссары никому не хотелось: по прежнему опыту знали, что из комиссаров в тюрьму дорога самая прямая и самая торная. И ни у кого не было уверенности в прочности успеха красных, – Миронов уже в третий раз проходил через станицу и возвращался в первые два раза от Усть-Медведицы очень поспешно и бесславно. Комиссарам первого призыва пришлось поплатиться, – правда, не головой, а мягкими частями и кратковременным пребыванием в тюрьме, но и это – удовольствие среднее. Потому придумать комиссара было не легко.

– Сергей Николаевич, ты человек писучий... – стали просить моего школьного товарища и полчанина, старика с кирпичным лицом и огненно-рыжей бородой.

– Ась?..

Сергей притворился глухим, – в нужные минуты он умел это делать с большим искусством.

– Потрудись для общества... покомиссарь.

– Кого?..

– Комиссаром тебя назначить хотим! Чуешь? Жалованье приличное... Слышь что-ль? Статуй глухой! Вылупил бельмы-то... ишь, а ведь слышит, черт! Придурился рыжий кобель....

Сергея забраковал цыган, когда узнал, что у него дом под железом, есть лошади, коровы, хозяйство. Не пролетарий.

– Да давайте Левона косолапого назначим, – закричал Никишка Козел, человек торговый, плутоватый, изобретательный, – Левон – куды уж еще голей... Занятие у него самое перлетарское: наденет через плечо набедренник, стоит на паперти, кусочки собирает... Дадим общественный кусок....

За Левона вступилась жена, – сам он человек был смиренный и безответный... Жена с негодованием закричала:

– Это еще чего выдумали! для смеху он вам дался?

– Да ведь для общества, Апрося, общество желает, – приложив руку к животу, начал, было, увещательным тоном Никишка.

– Но Апрося не дала яму кончить, резко и пронзительно крикнула:

– Нитнюдь!.. Левон, ты гляди у меня! – прибавила она грозно в адрес супруга, – ты этой жмудии не поддавайся... гляди!.. Када придешь ночевать, ежели чего... мотри!..

Левон снял шапку, поклонился обществу и смиренно сказал:

– Господа старики! я нутрем нездоров, живот у меня выходит и ногами неправ...

Майдан загалдел. Озорные насмешливые голоса послышались из углов:

– Ты на бабу не гляди!.. Ты подумай: жалованье, какое будешь за-гребать, – пятьсот в месяце!.. Народный человек будешь... А баба ночевать не пустит, – ночуй в управленьи, в атаманской канцелярии... Можешь спокоен быть – даже как летом в санях... Найдем и бабу, коль того... коммуническую...

– Ногами я не прав...

– Не честь станице будет, – кричала Апроська, – комиссара косолапого выбрали... Сам по дороге идет, а ж... целиной едет... Какой это комиссар!

– Не беда! Тут – писать, а не по горнице плясать требуется...

Провозгласили Левона Косолапого комиссаром, заставили идти к Миронову – ума зачерпнуть. Левон поплелся, снял шапку еще не входя во двор к батюшке, а когда его допустили пред светлые очи Филиппа Кузьмича, помолился на образа и, кланяясь, сказал заплетающимся от страха языком:

– К вашей милости, ваше высокоблагородие...

Миронов пыхнул, закричал, ногами затопал, – был выпивши:

– Что это за «высокоблаговодие»? Что это за чучело такое?

Длинный, несурзанный Левон в бабьем ватном пальто, с костылем в руке, с вывернутой ногой, и впрямь немного напоминал солидное чучело на бахче. От страха он онемел и зажмурился, с фатальным смирением приготовившись к оплеухе. Товарищ Миронов кричал что-то о холопских навыках, о Краснове, о белых погонах, – ничего не удержалось в испуганном соображении Левона. Понял только одно – ясно и облегченно, – когда Миронов крикнул:

– Пошел вон!

Опять не забыл помолиться на образа, поклонился и поплелся «на общество» дать отчет о высокой аудиенции.

– Ослобоните, господа старики, нутрем я не здоров и напужан, живот у меня выходит, – повторял он в заключение своего доклада.

На митинге орудовали уже новые лица, – свои станичные большевики, уходившие с Мироновым семь месяцев назад, – Филька Думчев, Васька Донсков, Семка Мантул. Держались они уверенно, развязно, с бахвальством. Кое-кого приласкали, кое-кому пригрозили. Видно было, что все вышли в люди, были при деньгах, занимали видные посты. Филька Думчев был командиром сотни, а раньше – в станице – промышлял самогоном, сбывал краденое, тем и кормился кое-как. Не малой

шишкой был и Васька Донсков, из старых стражников, – комиссаром по продовольствию.

– Вам же было сказано, – говорил он высокомерным тоном, распахнув дубленый тулуп, – вам же собчали не раз, что как только ваш Бог помостит мосты, придем в гости... Ну, вот и пришли... Хотите – примайте, хотите – нет, а мы пришли и завтрашнего числа будем иметь об вас конгресс... кому чего... кто чего заслужил.

Левона Васька освободил пренебрежительным мановением руки:

– Ступай, старик... Чижол для этого дела, не годишься. Корпус в себе, конечно, ты имеешь, но – кубышка не та... Ступай...

Левон даже засмеялся от радости. Потом он шепотком уверял, что нарочно так сделал, чтобы его прогнали, подхитрился и нашел, чем досадить Миронову.

Заместитель Левону нашелся сам собой: пришел из Усть-Медведицкой тюрьмы Филипп Кизлян, подметало с мельницы. Сама судьба послала его станице.

– Филипп Игнатич! вы в курсе этого дела... – сказал Рыжухин, солдат, выгнанный за воровство с мельницы.

– Я – что-же... я – с удовольствием, – готовно отвечал Кизлян.

– Поднимайте руки! – скомандовал старикам Васька Донсков.

Рукава – дубленые и нагольные, новые, обтрепанные, засушенные – дружно поднялись вверх.

– Единогласно! – сказал Васька Донсков.

Кизлян откашлялся, втянул подбородок и обвел собрание торжественным взглядом:

– Господа старики... то есть... товарищи – поправился он, – триста лет ждали мы, когда взойдет солнце... да... жили, можно сказать, в роде каких-нибудь дикарей, эскимосов которые обитают на мысе Доброй Надежды... или там где-нибудь... в Бабель Мандепском проливе, извините за выражение, и питаются сырым раком... Жили мы, товарищи, как жуки в навозе копались, хребтину гнули, на других работали... Я двадцать лет страдал! Двадцать лет!..

Кизлян выкрикнул это грозно и со слезой, и как будто тут и споткнулся – оборвалась нить красноречия.

Помолчал, поглядел растерянно вокруг и прибавил:

– Двадцать лет... и никто этого не знает, на своей груди я все перенес...

Дальнейшее строительство станичной власти на этом остановилось – впредь до особых указаний. Миронову, видимо, было не до реформ. Впереди предстояла Усть-Медведица, его родная станица. В третий раз он вел на нее красных товарищей. Семь месяцев назад он

едва унес ноги из этих самых мест, к которым его сердце было прикреплено многими нитями и жадной отщизни, и честолюбием, и обычной тоской усталого человека, познавшего цену окружавшему его товариществу. Усиленно распространялись о нем слухи, – приятелей и сочувствующих у него было не мало по хуторам и станицам, – что он собирается принести покаяние, искупить свою вину эффектным предательством своих советских владык, но сомневается:

– Краснов, может, и простит, да бабы усть-медведицкие не простят... разорвут...

Теперь он в своих листках призывал казаков бросить оружие, вернуться по домам и заняться мирным трудом. А клеветы его устно добавляли:

– Возьмем Черкасск, сделаем деда Миронова атаманом, а потом на коммуну пойдем... Выбьем коммуну – заживем спокойно... довольно уж навоевались...

И многим станичникам эта упрощенная схема упорядочения взбодраженной жизни очень понравилась.

Вечером Миронов вызвал к себе батюшку, которому оставили в доме лишь крошечную спаленку. Из нее батюшка и наблюдал потихоньку, как начдив ходил по залу из угла в угол в глубоком раздумьи, а свита на цыпочках подкрадывалась к дверям, прислушивалась и снова удалялась в кухню.

– Вот что, отец, – сказал Миронов, остановившись перед батюшкой и изучая его испытующим взглядом, – вы мне нужны...

Батюшка поклонился и сказал:

– Рад служить... чем могу, конечно...

– Нужны вы мне вот для чего... – Миронов сделал паузу, поглядел на часы, подумал. – Вот для чего... Нужно мне послать литературу в Усть-Медведицу... Человека такого... подходящего... нет... Так вот – вы...

Батюшка похолодел от страха и поспешно сказал:

– Я большой человек, Филипп Кузьмич.

– Ну?

– Не могу... право... увольте ради Господа...

Миронов нервно дернул усом.

– Не можете... та-ак.

– Я напорчу, право слово напорчу... Где мне... растеряюсь... Тут нужен опыт...

– Так, так... Вот все вы таковы... жрецы по чину Мельхиседека... Дурачить народ, держать его в сетях суеверия, возбуждать против нового откровения истины, правды... свободы, братства... вы – сколько угодно... да... Зачем вы тут торчите? Почему вы не бежали?

Миронов, чем дальше, тем больше горячился, входил в негодующую и устрашающую роль, но похоже было, что всерьез не сердился, а хотел лишь покуражиться. И, может быть, долго куражился бы над испуганным иереем, если бы неожиданно раздался набат. Грозный начдив вдруг сам побледнел и бросился к револьверу. Заметался и весь его штаб по дому, по двору, – все, видимо, необычайно перепугались чего-то.

Тревога оказалась преувеличенной. Ничего особенного не случилось. Лишь где-то на окраине станицы загорелось гумно, а ребята, увидавшие зарево, забрались на колокольню и с большим азартом начали звонить в колокола.

Ребятам дали плетей. И затем последовало распоряжение Миронова – запретить колокольный звон совершенно.

III.

Было нечто фантастическое в том преображении обиденной станичной сцены и распределении ролей, которые последовали с приходом красных гостей и с их вмешательством в бытовую распорядок станичной жизни.

Сказочно-чудесный, фантастический элемент чувствовался и самими новыми хозяевами и строителями. Комиссар Войхович, курчавый брюнет, уже на третий день по въезде в станицу, после ревизии казацких сундуков нарядившийся в широкие шаровары с лампасами, смеясь, спрашивал у товарищей:

– Абрам, что ты себе скажешь после этого? Можно было этому поверить месяц назад – Абрам Кацман в казацком... как это, беш... бешмоте с казацкой нагайкой... шпоры... Абрам Кацман! Кацман! Эта звучит гордо...

– Яша, иначе это не могло быть, – закуривая цыгарку, за неимением папирос, с твердой убежденностью сказал тов. Абрам, юркий и развязный молодой человек с синим подбородком, – мы должны были поить своих коней в волнах Дома... мы обязаны были быть среди казачков и... над казаками...

– Абрам Кацман... Оська Соловейчик, Рубинштейн Исай Исаич... кто бы этому поверил?.. Мы им будем строить... Абрам, мы будем строить им новую жизнь! Что ты себе думаешь?

– Вещь серьезная!

Фантастическое чувствовалось и местными людьми – не говоря уже о тех, кто попал в угнетение, но и торжествующими. Гаврила Гулевой, печник, по паспорту граждан. Шацкого уезда, а по воле судьбы родившийся, выросший и созревший в недрах земли донской, оказался

комиссаром милиции. Ходил, озирался и сам себе не верил, что он – комиссар. Еще так свежо было у него в памяти, как бывало заседатель Пастушков (царство ему небесное) отрезвлял его своим пухлым, но сокрушительным кулаком. Этот метод вразумления перешел у Пастушкова из старого режима и в новый, когда объявлена была свобода и когда Степан Алексеевич вместо заседателя стал именоваться начальником милиции.

Очень хорошо помнил Гаврила Гулевой, как, уповая на «слово свобода», он в присутствии Пастушкова, конфисковавшего у Василия Говорухина четверть ржавого, еще не усовершенствованного, но уже издававшего дразнящий аромат напитка, позволил себе со вздохом, как бы в сторону выразить легкий протест:

– Правду сказал Тургенев:– «эх», говорит, «Россия, Россия!.. Жаль, говорить, мне тебя, Россия!»

И Пастушков, застыв на один момент от изумления, вдруг развернул и дал... Удар, по обыкновению, был искросыпительный. Голова у Гаврилы мотнулась на сторону, как зрелый подсолнух, а Степан Алексеевич без особого гнева, почти ласково, сказал:

– Тургенев мог такие слова к своему месту сказать. Но ты, сукин сын, рылом не вышел критику наводить!

– Да я нечаянно, вашбродь, – смиренно пробормотал Гаврила, утирая ладонью сильно увлажнившийся нос.

А теперь?

Теперь Гаврила был одним из виднейших представителей «народной власти» и стоял на такой линии, что сам безвозбранно мог развернуться и дать любому бородатому хозяйственному станичнику, как заведомо неблагонадежному в товарищеском смысле, затаенному врагу нового порядка. Как его когда-то отправляли для вытрезвления в станичную тягулевку, так ныне он мог без лишних слов погнать в станичный «ревок» священника, учительниц, любого старика...

Неужели это не сказка, не сон?

Нет, не сказка, это была самая подлинная действительность. Это было воплощение в жизни «народной власти».

Чем особенно привлекательно была народная власть, так это тем, что она давала легкий «кусок» большому числу лиц, ранее такого куска не выдавших, старому чиновничьему режиму было далеко до нового социалистического в смысле разветвленности и широты бюрократического аппарата. В такой небольшой станице, как Глазуновская, например, где до прихода красных гостей административная машина состояла всего из шести частей – станичного атамана, двух его помощников, казначея да двух писарей – и весь месячный бюджет не шагал

выше 300 рублей, теперь для организации народной власти было создано сразу 64 должности, не считая многочисленного штата тайных шпионов. Месячный бюджет шагнул за 90 тысяч рублей.

Кроме станичного комиссара, которым лишь короткое время был Филька Кизлян, появился извне комиссар политический. Потом возникли комиссары по просвещению, продовольствию, по земельным делам и разные другие. Каждый получал не менее 500 рублей в месяц – цифра для станичных обывателей дотоле умопомрачительная.

К власти были привлечены люди наиболее благонадежные в революционном смысле. Таковые оказались главным образом в среде того слоя, который прошел некоторый тюремный стаж, и состоял в обделенном сословии, по станичной терминологии именовавшемся «мужичьим». Из этого мужичья теперь выдвинулись наверх наиболее разбитные молодцы, которых до этого времени станица расценивала довольно пренебрежительно и называли «обормотами», «белогубыми щенками», «сопляками» и вообще титуловала не очень лестно. А тут эти обормоты неожиданно вышли в люди и стали солью земли. Сын столяра Ивана Молокова – Васька Танцур, ходивший приседа, потому что правая нога была у него на шесть вершков короче левой, – надел шпоры, увешал себя красными жгутами и стал главным лицом по обыскам, арестам и реквизициям. Он забирал лошадей, скотину, хлеб, мебель, книги, картины. Старики, почтенные, заслуженные, главы больших патриархальных семей, стояли перед ним без шапок, бегали по его указанию рысью, выполняли унижительные приказания. А он помахивал плетью и покрикивал на них:

– Поворачивайся, поворачивайся живей, сивозебрые товарищи! Веселей ходи, скорым маршем! По-кавалерийски!..

И поворачивались.

Он нарочно пригнал самых богомольных стариков в дом к священнику, чтобы перенести от него реквизированный рояль. И когда старики стояли в недоумении перед громоздким инструментом, не зная, как к нему приступить, Васька плетью стегнул несколько раз бородатого Карпыча, старого гвардейского артиллериста саженного роста, и приказал ему лезть под рояль.

– Помилуйте, Василь Иваныч, машина-то вон какая, а у меня грызь...

– Подымешь, – коротко, тоном не допускающим возражений, сказал Васька, – а то подвеселю! Ай, в ревком хочешь?

– Воля ваша. Поступайте, как закон велит...

– Лезь!

Карпыч подлез под рояль, понатужился и – точно – поднял и вывез его к двери. Но дня через три он взял да умер... Говорили – «от тоски».

Горечь ли унижения, или грыжа сделала дело, – Бог весть, – но всем казалось сказочно-невероятным, что старого царского слугу согнула в дугу не какая-либо болезнь лихая, сила внушительная, а презренная мразь – Васька Танцур...

Комиссаром по просвещению стал Гораська Слива, почталъон. Он тоже нацелил шпоры, шнуры, увешался револьверами и бомбами, и в таком воинственном образе являлся даже на клирос в церкву, когда разрешалось богослужение, – он был любитель пения. Вообще у «товарищей» была большая склонность к внешним знакам отличия, и цена за пару шпор в станице дошла до двухсот рублей. Погоны, конечно, были одиозным предметом, но втайне о погонах вздыхали. К штанам с лампасами особую склонность обнаружили жидки-комиссары, – все они нарядились в казачьи чекмени и шаровары, извлеченные из казачьих сундуков. Все стали обладателями лучших коней, которых, впрочем, быстро портили и приводили в негодность неумелым обращением. Все носили казачьи шашки и нагайки.

Культурно-просветительное ведомство привлекло в свое лоно наибольшее количество местных сил. Во главе его был поставлен станичный комиссар Филька Кизлян, после того как он сочинил для сцены пьесу «Белопогонники», в которой досталось на орехи Краснову, генералам, офицерам, попам и прочим «кадетам». Все они, по пьесе, погибают со срамом в мутных волнах Черного моря, а прозревшее трудовое казачество поет «Интернационал».

В качестве комиссара по пролеткульту Кизлян обнаружил неудержимое усердие. Он, между прочим, раскрал всю мою библиотеку, истребил рукописный материал, собрание писем, альбомы. Требовал, чтобы моя семья не только мыла полы в «культурно-просветительном кружке», – что она и выполняла, – но также, чтобы и «читала лекции» по разным отраслям знания.

– Товарищ Крюкова, вы назначены завтра читать текцию по физике, – объявлял он властным тоном.

– Помилуйте, товарищ, я же не подготовлена к этому...

– Чего там не подготовлена! Прочти и расскажи словами... Разобъясни – и все...

– Вот разобъяснить-то и не могу.

– Странная вещь! Я вот прочесть не могу, а словами рассказать – это у меня очень свободно. Как с горы на салазках съехать...

– Говорок! – одобрительно утверждал Гаврила Гулевой, явившийся с нарядом на общественные работы: – у него – дарование... Иной сидит при хорошем месте, а почему он сидит, спроси – неизвестно... Ему, может, не сидеть, а голым гузном ежов давить, а он сидит. А

другой башковатый человек, а потерянной жизни... Вот хочь бы Филипп... Такой говорок – от семи кобелей отбредется...

Затя с лекциями в станичном пролеткульте провалилась. Посещение их, как и посещение митингов, было обязательною повинностью. Но когда на митингах стали арестовывать намеченных стариков и пачками увозить их в Михайловку, в тюрьму, – испуганные станичники запрятались в норы, захворали, стали сказываться в отлучке. Митинги опустели. Опустели и лекции и чтения в культурно-просветительном клубе. Тогда на лекции махнули рукой, а собрали со всей станицы граммофоны, гармошки, балалайки и открыли веселый дом. Обставили его реквизированною мягкою мебелью – щедро, даже расточительно, но без особой заботы о стиле. Приглашенная в организационную комиссию Макрида Синицына, давняя жрица богини любви, рябая, широконогая баба, очень насмешила членов комиссии, когда, с размаху севши на пружинный турецкий диван, вдруг испуганно ухнула и всплеснула руками.

– Ты чего, товарищ Макрида? – участливо спросил Кизлян.

– Да я думала – провалилась... какой он мягкий...

– Вот буржуи на каких лавках-то посиживали! А теперь мы посидим – трудовой народ...

Макрида собрала ядро увеселительной коммунистической ячейки. Первые роли были определены ее дочери Машке, которая в коммунистическом общежитии была переименована в товарища Мусю, и Малашке Спиридоновой. Малашка стала называться Эмилией. Под аккомпанемент балалайки и гармоники оне пели сатирические куплеты о царе, помещике, попе и генерале. Кизлян рассказывал комические сцены в том же духе. В заключение часов до двух ночи шли танцы. Буфет носили кавалеры в собственных карманах.

Эта сторона культурно-просветительной деятельности возымела огромный успех. Молодежь станичная сперва несмело, а потом, входя во вкус, очень охотно и усердно потянулась к вечерним и ночным развлечениям, введенным в обиход патриархально-строгой ранее станичной жизни.

– Бабство молодое взбесилось... прямо взбесилось, – говорил мне старый мой школьный товарищ: – как мало-мальски примеркать станет, все туда – в культурный кружок. И всю ночь кружатся... Станешь говорить снохе: – Машка! и не стыдно тебе, и не совестно? Муж у тебя бьется, любушка, в смертном бою, а ты свальному греху предалась! – «А какое твое дело? Перед мужем сама буду отвечать», – говорит. Голос? Все аж закипит: эх, кабы старые права, миколаевские, – вожжами бы ее, стерву... а теперь поди – тронь, пожалится дружку своему и

завтра же тебя, раба Божьего, в ревок или режь-ком... как это у них там называется... а там разговор короткий: к стенке...

Из всех гнойных струпьев, оставшихся от большевизма, самый злокачественный и отвратительный – этот след распущенного погружения в свальный грех, утратившего всякую сдержку стыда и стеснения. Тлетворное дыхание свободы в этой области оказало свое разлагающее действие и в патриархальных хуторских углах, и в культурных центрах, свихнуло совесть не только легким «бабочкам-козявочкам», но и цивилизованным особам, среди которых, увы, – из песни слова не выкинешь, – изрядный процент приходится на долю учительниц...

Были насилия разнузданной красной рвани, – о них слушать больно до нестерпимости. Но еще горшею горечью отравлялась душа, когда приходилось узнавать о гнили душевной, заразившей, как и гниль физическая, пошатнувшийся организм родного народа...

«В нынешние светлые лунные ночи...»

«Донские ведомости». 12/25 сентября 1919 г.)*

В нынешние светлые лунные ночи по берегам родного Дона, закутанных золотистой дымкой, перекликаются не только ружейным и пулемётным огнем воюющие, но и обыкновенными человеческими голосами. Драгоценное свойство юности – всегда, во всяком положении, как бы ни было оно тяжело и мрачно, находит предмет своеобразного развлечения.

– Бросьте, воевать! – доносится с «того» берега, когда-то своего, близко знакомого, а теперь обвеянного зловещей загадочностью.

– А вы покажите – на примере! – отвечает наш берег.

– Что вы, черти, не дадите воды напиться? Воду гнилую тут пьём.

– Погодите, мы вас не так напоим еще.

– За кого воюете? Подумайте; за генералов!

– А вы за кого?

– Мы за Ленина.

– И Троцкого? Вашему Ленину Мамонтов последние волосенки выдергивает.

По существу детское зубоскальство – вся эта словесная перепалка двух берегов. Но если вдуматься глубже, в ней трепещет тот же трогательный вопрос, который волнует всех – и старых, и малых, многосведущих и тёмных, простых и умудренных людей: за кого, или точнее, за что идет эта кровавая бессмысленная бойня, кому от нее выгода, кто стал благополучнее, счастливее, какое улучшение и облегчение внесла она в жизнь, какой новой истиной осветила и возвысила человечество?..

«Мы – за Ленина»... Вот – конечный итог, к которому дошли и кровавым путем «расширения и углубления революции» пришли пустоголовые люди, обратившие в ремесло грабительскую войну. Ни одного клочка, ни одного обрывка не осталось от тех высокопарных вешаний о свободе, братстве, равенстве, красовавшихся когда-то на

*) Заметка в газете озаглавлена: «Ф. Д. Крюков», подписана Ф. Крюков и сопровождается предисловием: *В Усть-Медведицкую дружину зачислен известный Донской писатель и секретарь Войскового Круга Федор Дмитриевич Крюков. В газете «Сполох», издающейся в той же станице, им помещена следующая статья:*

красных знаменах. Свергнув старые кумиры, российская революция к конечному этапу своему осталась при едином болванчике, изображающем плешивую фигурку с отвисшим брюшком – при Ленине. Не очень почетное знамя.

Но если спросят нас с «того» берега, за что мы воюем, – мы попросту, по-человечески скажем им, врагам нашим, но и нашим братьям, связанным с нами узами единого языка и истории, и единой горестной судьбы: мы воюем за свой родной край, за целость его, за бытие казачества, за право жить тем бытовым укладом, который унаследовали мы от славных своих предков и которому все – от генерала до рядового казака – мы одинаково преданы всем сердцем. За честь родины мы бьемся, имя которой Ленин и Троцкий опозорили, которую они предали и продали, на место которой поставили «весь мир», а в сущности – шайку международных проходимцев жидовского происхождения*).

За родину... В ней для нас самое дорогое, заветное и святое: и политая трудовым потом родная нива, и родительские могилки, колокольный звон родной церкви, старая дедовская песня и плач матери, провожающей родимого сынка на службу родному краю, кизичный дымок наших куреней и каждая тропинка в своей леваде... Все убогое и бедное в родине – многоценнее нам тех самохвальных заявлений о коммунистическом рае для всего мира, которое протрубили вы раньше и от которых дошли до паскудного истукана под фальшивой кличкой – «Ленин».

За родину мы бьемся. За нее, единую, великую и святую, готовы сложить головы в смертном бою.

*) Юдофобские настроения не характерны для писателя Федора Крюкова. (См. например, его рассказ «Четверо», где с теплотой и нежным юмором описан Арон Перес, бывший кутаисский приказчик, попавший на Южный фронт 1-й мировой войны.) В 1915 г. Крюков участвовал в стличном литературном сборнике «Щит», посвященном теме гонений на евреев, поместив в нем статью о погибшей на фронте медицинской сестре Софье Ольшвангер. (См. «Сестра Ольшвангер». // Щит. Литературный сборник. Под редакцией Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба. Петроград, 1915).

Пафос этой статьи лучше всего передают такие строки: «Чтобы принести жизнь свою в жертву родине в годину тяжелых испытаний, Софье Ольшвангер пришлось пройти через ряд рогагов и препятствий, которыми так обилел тернистый путь сынов и дочерей ее племени. Еврейка. Общины, носящие Красный Крест, не зачисляюг в свои кадры евреев. Только настойчивое ходатайство покойного кн. Варлама Геловани помогло Софье Ольшвангер, опытной земской фельдшернице, войти сестрой милосердия в комплект 3-го лазарета Государственной думы. Единственное, может быть, счастье, которым подарила ее родина, скупая на ласку и привет к ней, дочери обделенного правами народа! И за то она должна была принять чистую жертву бедной падчерицы своей – ее прекрасную жизнь: и маленький холмик каменистой земли среди величавых гор, за Мерденеком, – в Ольтинском направлении, – будет в ряду славных русских могил...» (Ф. Крюков. Казацкие мотивы. М., 1993. С. 425).

УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ БОЕВОЙ УЧАСТОК

«Донские ведомости». 14 октября, 2 ноября 1919 г.

[I.]*)

Штаб Усть-Медведицкой сводной бригады. Тут в актовом зале высшего начального училища совмещены и сосредоточены не только все части и отделения штаба, но и все учреждения станицы и округа во главе с управлением окружного атамана. Командный состав, писаря, вахмистры, каптенармусы, фуражиры, дружинники всех возрастов, пленники «товарищи», которых некуда деть, разномастные просители и просительницы, – все собралось в пеструю, несколько хаотическую, но по-семейному тесную кучку. Писаря – убеленные сединами люди из учителей гимназии, реального и духовного училища и других школ. Командный состав – помоложе, их бывшие ученики. Рядовая масса бригады – тоже ученики, настоящие: гимназисты, реалисты, семинаристы, малолетки из медведицких станиц от 15 до 18-летнего возраста. И это сочетание людей, связанных узами единых школьных воспоминаний и отношений, создает особую атмосферу тесной спаянности и семейно-родственной теплоты и в штабе, и в бригаде. И сама война у родного порога, в родном углу окрашивается в те патриархальные, веющие отголосками давней старины тона, которые впервые восприняты, если не на родных полатях из рассказов, то на школьной скамье, со страниц хрестоматии родного языка.

За стенами – тихий осенний вечер, теплый, мечтательный, с «того» берега Дона громяхают редкие бесцельные орудийные выстрелы, и, когда смолкает гром разрыва, слышны звуки гармоники на Воскресенской и переливы высокого подголоска за буераком, на Чирской. Из темного сумрака улицы в полосу света в залу выдвигается фигура с винтовкой – белобрысый молодчик, лет эдак шестнадцати, в до-

*) В газетном тексте нумерация частей отсутствует.

машней рубаше на выпуск, в полинявшей фуражке блином, с белым четырехугольником под кокардой, в белых от известковой пыли чириках. Винтовка тяжеловата для его жидких плеч, но придает ему вид воинственный, хотя и не столь грозный.

Сняв фуражку, он ищет глазами нужного человека и останавливается на господине в черном плаще – тюремном смотрителе, который, шевели седой щетиной бровей и бороды, углубился в изучение свежего номера газеты «Сполох».

– Господин... начальник... – медленно, с расстановкой, детским басом начинает рапортовать молодец с винтовкой, держа в левой руке фуражку и оружие, а правой делая подвысь.

– Дурной... дурной... – скорбным голосом перебивает его окружной атаман, полковник Лашенов, видя вопиющее нарушение военного этикета, – не так...

– тюрьмы... – продолжает выжимать из себя юный бас, ни на что не взирая...

– Не так же, дурной: разве под пустую голову берут подвысь?

Командир первого сводного полка, он же – прокурор местного окружного суда, член Войскового Круга В. Г. Хрипунов, как главный инструктор и воспитатель молодой нашей части, тоже разгорячен оплошностью подчиненного.

– Стой, стой! Не так... – Ты винтовку возьми в эту вот руку... вот... Понял? – показывает окружной атаман, – затем вот так... тремя пальцами... И чтобы она у тебя играла...

Он показывает прием, и винтовка, действительно «играет» в его пальцах, как карандаш.

– Вот... понял? ну... теперь к ноге – говори...

– Бабу привели, – кратко и угрюмо заканчивает детский бас раньше начатый рапорт, начало которого он, подавленный новыми наставлениями, уже забыл.

– К ночи это не вредно, – слышится веселый голос за спинами командного состава.

Андрей Платонович, начальник тюрьмы, сердито оглядывается в сторону остряка и говорит:

– Года не те.

– У старого козла и рог покрепче, – возражает на это какой-то «ветхий деньми» проситель.

– Ну, пойдем... замкнем ее... – деловитым тоном говорит начальник тюрьмы, оставляя в пренебрежении замечание насчет козла... – Опять саданул, с... с...! – прибавляет он в сторону не далекого разрыва, – так и норовит в штаб гостинец послать... ну, и сволочи... ей-богу, сволочи!..

Очень различны ощущения и переживания войны у своего родного порога, в родном углу и где-нибудь в чужой, прежде незнакомой стороне. Здесь, дома, сочетание обыденного, обжитого, примелькавшегося взгляду с новыми и чуждыми элементами текучей жизненной обстановки, вносящими беспорядочную толкотню, тревогу, пугающий гром, создает впечатление чего-то фантастического, невероятного, сказочного. Как будто ничего нет перед глазами непостижимого и невиданно-нового. Все это – война, ее обычные черты, ее быт и грозный облик, – знакомо, пережито, испытано. Уже в четвертый раз гремят разрывы гранат и шрапнели над Усть-Медведицей. И все-таки эта оглушающая музыка кажется здесь нелепейшим недоразумением и бессмыслицей, именно здесь, в тихом и смирном нашем уголке...

Самое удивительное и трогательное во всем этом взбудораженном историческом моменте – то, что, не взирая на пугающие громы и трески, простое, будничное, от молодых ногтей знакомое и близкое, остается таким же ясным, неизменным, врачующим сердце, каким было, есть и будет из века в век. Небо ясно. «Весь день стоит, как бы хрустальный, и лучезарны вечера». Тихо. Тепло. Леса за Доном убраны в чудесный разноцветный осенний наряд. Солнышко не жжет, а ласково греет. И никак не можешь вдоволь упиться этим ласкающим теплом чистотой и глубиной синевы, белой паутиной, в ней плавающей, прозрачными задонскими далями. И никак не можешь понять, почему все это – ясное, близкое, до малейшей черточки, знакомое – золотистые пески «бруны» с красноталом, александровский луг, войсковой лес, хутора с ветряками, станицы – все видимое как на ладони – вон родная глазуновская церковь, до нее верст 30 всего, – почему все это обведено сейчас чертой загадочности и таинственности, отрезано и недоступно? Что мешает мне переехать на «ту» сторону зеркально-недвижимого Дона и посидеть с удовольствием под старыми серыми вербами? Почему, как только в мертвом безлюдье «того» берега обнаружатся признаки движения, наш берег сразу приветствует его ружейной трескотней, – а если подымается пыльца на наших дорогах, сейчас же гремят «их» батареи?..

Таковы, видно, неизбежные условия участия в историческом процессе, близкого и непосредственного, в борьбе старого и нового социального строя, в создании жизни будущего человечества. Огромный маховик истории захватил в свое вращательное движение и наши далекие уголки. И вот доселе безвестные миру седые курганы, безыменные ерики, музги, пески, неведомые степные балки, какая-нибудь речушка с не очень благозвучным наименованием, в сводках переданным в Раствердяевку, – выровнялись в одну шеренгу с Карпатами.

Дарданеллами, Верденом, Марной... И кто знает, – может быть здесь-то, в немых просторах наших степей, где умирают с таким же героизмом, как и на Марне умирали, суждено произойти событиям, которые дадут гигантскому мировому маховику иное направление, несущее усталому миру мир и отдохновение?...

Но должен сказать начистоту: мы, ныне стоящие на естественном рубеже, остановившем дальнейшее продвижение численно и технически превосходящих нас красных армий, – мы, старики и малолетки Усть-Медведицкой сводной бригады, отнюдь не претенденты на великолепные позы в современном историческом процессе. Мы скромны и достаточно равнодушны к славе. Есть нечто более ценное для нас, – свое близкое, родное волнует нас, печалит и радует, тревожит и наполняет воодушевлением больше всяких далеких перспектив истории человечества.

– Эх, молотьяба-то, молотьяба-то пропадает, – гулко вздыхает старик с белой щетиной на бороде, в белой фуражке и синей рубашке, – мы стоим с ним на монастырской горе и наблюдаем бой за Ярославой хутор.

С правого берега Медведицы, из-за утеса над хутором Шашкиным, не переставая бухает ураганным огнем неприятельская артиллерия. Снаряды рвутся на правой стороне Дона, против хутора Затонского. Нам, с монастырской горы, не видать наших цепей за лесом, но общая картина боя доступна наблюдению, и вполне естественно, что оба мы волнуемся ожиданием: удается или нет наша попытка занять Ярославой, как вчера удалось с хором Шемякиным?

Старик приложил козырьком руку к глазам, весь ушел в наблюдение, но – странно – говорит все время о домашней своей сухоте, о хозяйственных думушках.

– Этот луг у них Губановка называется... Так я думаю: наши цепи должны лежать во-он за этой плешинкой... Сенов набирают на нем страсть. Нонешний год были травы – не вылезешь. И все осталось без предела: некому работать... Вот время подошло какое... Да оно и в Писании указано... А сейчас в степе, сколько этой некоси стоит – Боже мой...

Своими близорукими глазами я натываюсь на черную, медленно движущуюся, как смола, массу – между монастырем и Затонским хутором. Обращаю на нее внимание своего собеседника. Он поворачивает козырек в ту сторону, куда я указываю, всматривается и говорит равнодушным тоном:

– Пленных ведут... Вон... ишь... вон они стали пущать по ним снаряды... ишь... ишь... вон иде лопнула, видите дымок? Шрапнель...

Потом, помолчав и обернувшись к прежнему наблюдению, вздыхает...

– Ночи стали просторные... лежишь-лежишь, все думушки пере-думаешь, все советушки пересоветуешь... Самая молотьба, – уторомк встал бы на зорьке, посад посадил и – помахивай кнутиком, гоняй... Ан дело не указывает... И когда она кончится, эта погибель?..

Может быть, мой случайный собеседник, мне ранее незнакомый, и не обобщает всех наших местных умонастроений, но с уверенностью могу утверждать, что он, его дети и внуки, сейчас стоящие в рядах защитников родного края, их соседи, однохуторяне и станичники – все менее всего ломают голову над конечными заданиями той миссии, которая возложена на них судьбой. Не потому, что она недоступна их пониманию или не касалась их сознания, – мысль о воссоздании единой России отнюдь не чужда им, – но в их простецкой расценке своя привычная, обыденная миссия хозяйственного труда и устройства, понятная и близкая сердцу, не менее высока и существенна, чем объединенная Россия, не говоря уже об осчастливленном мире и всем человечестве. Поэтому угол наш чужд громких слов и кимвалов бряцающих, красивых жестов и великолепных поз. В нашей бравой нынешней обыденности для них нет соответствующего резонанса, и наше выполнение долга перед родиной аскетически чуждается какого бы то ни было громогласия и орнаментовки.

Поэтому-то у нас чаще всего слышится один простой, естественный и искренний вопрос:

– Ну, когда она кончится, эта погибель?

Но когда в тихие, теплые ночи с «того» берега, затканного лунным светом, доносится крик: «товарищи, внимание, давайте кончать войну!» – наша сторона, твердо и решительно откликается:

– Замажь рот, пархатая тварь. Мы кончим... узнаешь скоро... хороших гостей хорошей задвижкой угостим...

«Товарищи» – даже в глазах легковой в простоватой части медведицкого воинства – выветрились, полиняли и утратили всякую степень кредита. И не только потому, что выдохлись листки их, – сейчас они перебиваются старьем, макулатурой зимнего изготовления, все еще с Красновым воинствуют, – но и главнее всего – в силу полного отсутствия благородства или даже простой благопристойности способов их войны. То, что «товарищи» грабят и присваивают *нажитое* казачьим хребтом добро, – не вызывает уже ни изумления, ни естественного негодования, – бери, черт с тобой, перекладывай до поры до времени в свой карман, придет время – посчитаемся... Но есть виды гнусности, которые даже и для «товарищей» чрезмерны: стрельба по детям, по женщинам, выходящим за водой к берегу, по телатам, доверчиво бредущим на косу к водице, стрельба по окружающей больнице, по обeim церквам, по пустым школьным зданиям... Ни

цели, ни смысла не разгадать в этом бессильно-злым желанием напакостить, разбить, причинить ненужную боль...

Мы – я и мой собеседник-старик – спускаемся с горы к монастырю «навестить святых». Когда мы выхолили на открытую часть ската, вражеский берег приветствует нас коротким звуком: та-ку. Повторяет его раз, другой, третий... Пульки повизгивают где-то высоко в стороне, а все же неприятно. Останавливаемся и смотрим с упреком в сторону предполагаемых «товарищей».

– Что вы, сволочи, не видите что ли, мы без всяких тех... идем по своему делу... – басит в их сторону мой седовласый спутник.

– Та-ку! та-ку! – отвечают на это из леса.

Старик пожимает плечами:

– Ну и сволочь! право сволочь... Давайте подадимся влево, тут ложбинка... А то, как бы бешеная какая-нибудь не окарябала... Ну, это и люди! – негодуяще обращается он ко мне, – пропаганды и сволочь... больше ничего...

Я молча соглашаюсь с ним.

[II.]

Участок, занимаемый первым Усть-Медведицким полком, тянулся верст на двадцать. Здесь – на горах в буераках, песках, перелесках и талах действовала (и действует) самая юная часть Донской армии, воинство, одетое и обутое в живописные лохмотья, но доброе, жизнерадостное и разудалое. Именно – разудалое. Обычная терминология, свойственная официальным реляциям и оценкам, – «доблестная», «героическая» часть, в применении к нашим лихим бойцам отдавала бы некоторой тяжеловесностью и недостаточной точностью. И не потому, чтобы доблесть – самая возвышенная и самоотверженная – была чужда им, их духу и их действиям. Уже многие из них пали смертью храбрых, скошены, как нежные купыри, безжалостной косой смертоносных эпидемий. И все-таки атмосфера удали и неистребимой жизнерадостности окружает каждый пост, каждую цепь, каждую группу этих славных мальчуганов-героев.

– Ну и лихачи! Неподобные лихачи! – отзываются о них деды, лежащие с ними рядом в окопах.

– Надьсь наш Тимошка Котелок вылез, не угодно ли, из окопа и с манеркой направился по косе за водой. Они в него и из винтовок, и из пулемета – та-та-та-та... Зачерпнул-таки, сукин кот, успел... Глядим: бегет, а пулемет как швельная машинка, зажаривает по нем... тра-та-та-та-та... Не добеж, упал... Как-кая беда! Сгорились мы: зря пропал

мальчонка, убит. – А может, мол, не убит, подранен лишь? – Тимошка! ты жив, ай нет? А он, сукин кот, задрал ноги да пятками чириков шлеп-шлеп друг о дружку: жив, мол, и здоров... воду лишь вот расплескал, назад надо иттить... Ну, не землеед-ли?..

Это пренебрежение к опасности, нежелание думать о ней, по общим отзывам, выявилось основной чертой, отличавшей всю Усть-Медведицкую сводную бригаду, которой пришлось действовать на растянутом верст на полтораста боевом фронте, от Трех-Островянской до Усть-Хопра. Эти лихие мальчуганы не обнаружили, может быть, нужной выдержки, хладнокровия, осмотрительности. Они, например, рвались в ночные разведки, а старые, испытанные разведчики после двух-трех опытов брали их неохотно и объясняли эту неохоту так:

– Толковать нечего: легки, все у них вприпрыжку, за ними не успеешь. Но одно: стрелять уж охотники без меры, даже чрезвычай... залоташат, засуетятся, того и гляди, что свой же тебя снижет... Нет уж, ну их к Богу, без них спокойней: средственно ведешь свою линию, как надо, по стрельбии, – им и живот легче...

Но это был не тон укора или пренебрежения. В отечески-снихождительном ворчанье слышалась теплая ласка и скрытая гордость юной порослью, вырастающей в период бурь и невзгод и мужающей духом старого доблестного казачества. Теплый юмор и удовольствие звучали в стариковских и начальнических отзывах. Суровый человек, с хриплым голосом, со шрамом во всю щеку от рубленной раны, – есаул Грошев, командовавший этими малышами, говорил с трогательной мягкостью и лаской в голосе:

– Ходил я нынче ночью, проверял посты на своем участке, – туман, темно, красные от скуки, верно, строчат по нас... Слышу: кто-то сзади меня шмурыгает носом. Оглядываюсь: вот такой шкалик – с винтовкой...

– Ты чего?

– Так что за вами, господин есаул... Место опасное, как бы вас не убили...

– А что ж ты поделаешь, если убьют?

– Все какую ни-на-есть помощь могу дать... в случае чего... для оборонной руки...

– Ну ладно, значит, телохранителем моим будешь?

– Так точно, господин есаул.

– Валяй.

Походили мы так с ним часа два, до рассвета. Проводил он меня до хутора.

– Теперь, господин есаул, я пойду, а вы ляжьте позарюйте...

– Слушаю, – говорю, – а ты куда же?

– Я – к вахмистру. Хочу попроситься домой, – я с Буерак-Сенуткина, – рубаху переменить: вша заела.

– Ну иди, перемени, я тебя отпускаю.

– Никак нет, господин есаул, к вахмистру беспрерывно надо: он бумажку таку даст... А без бумажки меня за дезертира сочтут... Счастливо оставаться, господин есаул. Отдохните себе, на зорьке оно словно... имеет свою приятность...

Есаул подмигивает бровью и смотрит победоносно и гордо:

– Какова дисциплина? Какое сознание долга? Я его отпускаю, а он: «нет, мне бумажку от вахмистра, а то за дезертира сочтут...» А сам – вот-вот этакий, от земли аршин шесть вершков, не больше... Винтовка его к земле придавила, однако – дух... дух несокрушимый... чудо-богатырь по духу... И это, я вам доложу, не то что заключение, – все молодчики... орлята... льята...

Есаул восторженно потрясает кулаком в воздухе, затрудняясь найти для аттестации своих чудо-богатырей достаточно выразительные и сильные уподобления.

– Вчера также один... по фамилии Кумов... Посылаю его со срочным донесением. – «Поедешь, – говорю, – вот тут вокруг этой горы... понимаешь?» – Так точно. – «На Хованский. Срочное донесение. Срочно – понимаешь?» – «Так точно»... Ушел. Минут через пяток – слышу весь красный берег затрещал от стрельбы. Что такое! Глядь, а этот самый Кумов жарит карьером на Хованский берегом напрямик. Ах, елки зеленые, что же это такое? Я же приказывал, что же это такое? Я же приказывал! Ну, я ж тебя, голубь мой, если пронесет Господь, наставлю в дисциплине. Сердитка меня взяла, а сам думаю: хоть бы пронес Бог благополучно... И что ж вы думаете! проскакал-таки! А уж строчили-строчили по нем – во-о!..

Хрипит счастливым смехом есаул, крутит головой, смотрит козырем.

– Мало того: назад – этим же трактом... Ну, тут уж был наказан. Видим: останавливается, слезает с коня, нагинается. Значит, сам ранен или конь. Потом уж ведет в поводу, вижу...

Издали шумлю: цел, что ль, елки зеленые? – «Так точно, господин есаул. Только вот... трошки... руку попортило... Землей присыпал». – Землей? Сукин ты сын, что ты делаешь? Пойдем за хутор, промоем. Я ж тебе как приказывал? Почему не ехал, где указано? – «Лошадку жалковато, господин есаул: кругом горы – версты четыре, а тут – рукой подать»... – Ах ты, друг сердечный, таракан запечный! Ну а если бы тебя и совсем с лошастью ухлопали – короче вышло бы? – «Не должно быть, господин есаул, он не попанет»... – «Не попанет»? Гм... да... «Не попанет», а сейчас в больнице лежит... Ничего, мордашка веселая...

Кажется, никакие невзгоды, никакая нужда, или холод, ни голод не в состоянии омрачить «эти веселые мордашки». Может быть, потому, что они примелькались глазу в своих пестрых лохмотьях, со своими босыми и полубосыми ногами, – не особенно останавливаешься мыслью над этим вопросом: откуда этот неиссякаемый родник бодрости, резвости, жизнестойкости среди окружающих вздохов томительного ожидания, тревог и уныния? Непривычный, свежий человек должен был бы остановиться в изумлении перед этими большими ногами, весело попрыгивающими по октябрьскому белому утренничку, перед этим подобием штанишек, разлезшихся не только по всем швам, но и по всем нитям обветшавшей в конец ткани. А мы тут как-то попривыкли, молча проходили мимо, как будто так оно и надо и быть иначе не может. Лишний повод для обиходной юмористики.

Помню, сидел я как-то в сапожной швальне. Усть-Медведицкой ремесленной школы, чинился и потому волей-неволей пребывал в одном только сапоге. Вошел еще один клиент, малый на взгляд этак лет четырнадцати, с краюхой ржаного хлеба под мышкой. Стал у дверей и робко спросил у главного мастера, обломком косы орудовавшего над клочком лохматой юхты:

– Дядя, а что стоит починить сапоги?

Мастер, суровый и надменный, как все мастера, не сразу удостоил нового клиента взглядом:

– А ну, покажи... ногу-то, ногу вперед!

Малый выставил вперед ногу в подобии сапога, обмотанную веревкой с клочком подметки с боку.

– А штаны не рассчитываешь починять? – спросил мастер, окинув мрачным взглядом сплошную прореху выше колена и ниже колена.

– Нет.

– А то бы уже заодно... Посмеялись все мы – и клиенты, и мастера, – в самом деле, и для штанов потребовался основательный ремонт.

– Сводного полка, что ли?

– Так точно.

– А станицы какой?

– Березовской.

– Гм... там все такие... егаря... Ну, брат, дело за товаром. Починка не дорого стоит. Товар добудешь, приходи – будем торговаться...

Березовский «егарь» постоял у дверей, пошмурыгал носом, молча повернулся и ушел. Раз «дело за товаром», то починка становится мечтой о сказочной жар-птице в райских садах... Походим босиком...

Я видел их, этих милых малышей, в разные моменты их воинского бытия.

Я видел их в момент первого формирования, когда из беженских таборов приводили их станичные атаманы со стариками. Ребята держались кучками, глядели диковатыми бычками, бродили косяками, загорелые, заветренные, в пыльных чириках и разномастных рубахах, и в первое время, когда бравые вахмистры и даже сам командир полка В. Г. Хрипунов и командир бригады полк. А. А. Гордеев учили их поворотам и построениям, были смешны, неуклюжи и нестройно-зыбки их ряды. Но внимание, которое уделено было этим вооруженным детям, было действительно отеческое, теплое, умелое внимание, преобразившее в одну неделю неуклюжих медвежат в надежную воинскую часть. И было много трогательного в оригинальной картинке: немолодой уже человек с лысиной во всю голову, прокурор местного окружного суда, член Войскового Круга, гвардии войсковой старшина В. Г. Хрипунов, с золотым Георгием на груди, широкими шагами, вприпрыжку, переносился от головы колонны к хвосту, весь взмокший от пота, воодушевленный и воодушевляющий, кричал зычным голосом:

– Ать-два... ать-два... Лево-й-право-й... лево-й-право-й!.. Ать-два! Л-левой!.. Л-левой!..

Обучение это шло под звуки канонады – красным отчетливо было видно все, что делалось на улицах Усть-Медведицы, и они посылали трехдоймовые гостинцы в сторону юной неприятельской части. И когда вражеский снаряд, жужжа и захлебываясь, пролетал над ее головами и разрывался поблизости, зеленые воины первое время разлетались от него, как стая воробьев, или падали ниц, прижимаясь к матери-земле, командиру не без труда, не без криков приходилось собирать их снова в колонну и под выстрелами делать «шаг на месте», чтобы приучить спокойно слушать музыку гранат и шрапнелей.

– Ать-два! ать-два! – энергично выкрикивал, махая в такт руками, В. Г. Хрипунов, стоя впереди, на виду, спиной к красным, как бы предлагая им целить в свой собственный тыл.

И приучая своих питомцев показывать пренебрежение к красному врагу, он водил полк с музыкой по улицам. Жужжали снаряды, рвались с громом и столбом пыли, а марш веско и бодро гремел, разливался, звенел, и Н. П. Васильев, наш первоклассный артист, доселе человек чрезвычайно штатский, а ныне мобилизованный, махал на виду у красных своей капельмейстерской палочкой, как едва ли махал когда-нибудь какой-нибудь закаленный в боях маршал своим жезлом...

Я видел их в окопах, когда они, заняв пост, изумляли стариков своей рьяной службистостью: ни очереди, ни смены, – все на посту, все не смыкая глаз, глядят в ночной, затканый серебристой лунной дымкой вражеский берег и на каждый шорох шлют выстрелы, – пострелять они любили... И видел, как враг необычайно озадачивал

стрелять они любили... И видел, как враг необычайно озадачивал их, появляясь внезапно и просто на берегу. Помню, догнал меня раз на улице малый с винтовкой, давившей его к земле, весь потный, взволнованный:

– Дедушка! там четверо вышли каких-то... красные, должно быть, руками махают... сдаться что-ль хотят... чего нам делать?

И чувствовалась совершенная озадаченность в детском лице и го-лосе этого запыхавшегося воина.

Я видел их в бою, – как на ученье разворачивались их цепи, и шли бестрепетно вперед они, одетые в лохмотья, когда рядом с ними обмундированные в английское братья-крестьяне Таганрогского округа из так называемого старообрядческого батальона сдавались и перебежали на вражескую сторону без особых колебаний, без особой необходимости. Я видел их на больничных койках, раненых и умирающих, и ни одного зрелища более трогательного не удержала моя память, как зрелища безвременного угасания этих нежных, зеленых купыриков.

– Игнат, играй мне песню, – говорит с одной койки больной полудетский голосок.

– Сыграй мне, Игнат, «В лесах темных Кончуранских русский раненый лежал»... – Да ведь не приказывают, Тимоша, – говорит сидящий у изголовья брат ли, или товарищ.

– Кто не приказывает?

– Доктор.

– Я позволяю. Я – тяжело раненый. Мне сам фершал Иван Сергеевич на гармонью играл... «Русский раненый лежал»... – медленно повторил полудетский голос.

И в тоне, вложенном в эти слова – русский раненый – звучала невыразимо-трогательная детская печаль, хрупкая и нежная. И трудно было удержать слезы жалости и скорби, ибо родина, великая и убогая, несчастная родина теряла последние лепестки, самые ароматные, нежные и прекрасные... Я никогда не забуду дней, проведенных среди этих юных бойцов за край родной, вблизи неугасающего юного порыва, и героизма, и самоотверженности. Близость эта выпрямляла*) согбенную печалью душу, сметала колебания и сомнения: есть еще порох в пороховницах родного края, в пороховницах казачества**)...

*) Автор использует выражение из рассказа Глеба Успенского «Выпрямила». Герой рассказа, русский учитель, увидел в Лувре Венеру Милосскую и почувствовал, что одухотворенная красота статуи «выпрямила» его «скомканную» душу.

**) См. 9 главу повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1842): «Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнуты ли казаки?»

СТАРШИЙ БРАТ И МЛАДШИЙ БРАТ

«Донские ведомости», 1919, 8 (21) ноября

Было это осенью 1917 года.

На железных дорогах господствовали товарищи в серых шинелях. Они ездили не иначе как в вагонах первого класса, торговали краденными казенными вещами, сахаром, табаком, лускали семечки, насыщали воздух пряными словцами, читали нравоучения той испуганной публике, которая с билетами первого и второго класса стояла в проходах, жалась к стенкам и виновата была уже тем одним, что не сморкалась в кулак, не плевалась шелухой подсолнушков.

Я ехал в одном купе с полковником Донской армии, больным туберкулезом. Была долгая остановка в Царицыне. Нас обыскали, подозрительно осмотрели. Строго взыскательные демократические лица несколько раз заглядывали в окно, проходили, уходили... Подошел к окну казак в гимнастерке и шароварах с лампасами, очень внимательно поглядел на полковника, углубленного в газету, кашлянул раз, другой и третий. Осторожно заговорил:

– Ваше высокоблагородие, кабыть, это вы?

Полковник поднял глаза. Удивился. «Ваше высокоблагородие», отмененное со всей суровостью революционного правотворчества, и в самом деле прозвучало, как отдаленный звон в глухой чаще леса.

– Гляжу-гляжу и боюсь обмишулиться: кабыть, мол, наш командир полковник Попов?

– Да.

– А меня не признаете? Кудинов. Второй сотни. Конь у меня был саврасый, может – припомните, в Добрудже подстрелили?

– А-а, Кудинов! Как же, как же! здорово, мой дорогой...

– Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

– Оч-чень рад... ну как? давно из полка? как домашность?*)

*) *Домашность*: здесь, по-видимому, семья, родные. Ср.: *Домачка* – колхозница, имеющая малолетних детей и пользующаяся льготами на работе (ДС); *Домашность* – домашний обиход, хозяйство и все домашние принадлежности (Даль).

– Да ничего, слава Богу, ваше высокоблагородие...

Началась беседа – не очень связанная, отрывочная, беспорядочная. В сущности, ею скоро завладел безраздельно Кудинов, начавший посвящать полковника во все подробности своей жизни по приходе из полка. Рассказал, сколько скотины у него в хозяйстве, сколько посева, как между делом подработал на прессовании сена. Полковник слушал, одобрительно покачивал головой. Подходили «товарищи» с семечками, с некоторым изумлением прислушивались, глядели то на офицера в погонах, – тогда это уже было редким зрелищем, – то на казака, не раз повторявшего «ваше высокоблагородие». Уходили молча.

Пробил второй звонок. Кудинов попрощался, отошел. Через минуту неожиданно появился снова – уже не у окна, а в дверях купе и, протягивая полковнику две французских булки, – тогда они еще были, – с робкой лаской сказал:

– Ваше высокоблагородие... гостинчик вот от меня... не погребуйте...

– Что это? – смущенно спросил полковник.

– Франзоль, ваше высокоблагородие.

– Да... но... к чему, Кудинов?

– Не погребуйте, ваше высокоблагородие: гостинчик от меня... Как вы наш старый командир... У кого-кого, а у вас за нашего брата всегда печенка болела... По гроб жизни мы должны это помнить...

Полковник засуетился было, чтобы отблагодарить чем-нибудь, но пробил третий звонок, поезд тронулся. Кудинов, провожая командира добрыми пожеланиями, выскочил уже на ходу.

Вот эта «франзоль», эти две булки, это смущенно любовное бормотание казака перед своим старым командиром, когда кругом дико оскорбляли, глумились над офицерами, срывали с них погоны, охотились на них, – неожиданным лучом осветила мне одну бытовую черточку в казачьем офицерском облике: его естественную близость к меньшему брату, рядовому казаку, его тесную спаянность с ним, его подлинный демократизм.

Я часто вспоминал эту «франзоль» и после, когда травля, направленная против офицерских погон, дошла до вершин бессмысленно-злобного бешенства, когда эти погоны стали почти единственным ресурсом, на котором выезжали большевистские зазывания к «трудовому» казачеству. Заученная травля помещиков и капиталистов, с которой успешно выступали перед рабоче-крестьянской аудиторией «товарищи», в глазах «трудовых» казаков представляла интерес не больший, чем ирландский вопрос или африканские колонии. И лишь Миронов нашел и подсказал подходящий мотив для революционного углубления казачьего трудового сознания – погоны.

По-видимому, сейчас эта изрешеченная мишень, за малой пригодностью, сдана уже в архив тов. Троцким, человеком сообразительным, но было время, когда над ней упражнялись и вожди, и ораторы, и «трудовые» изменники казачества в достаточной мере. И был угар. С успехом дошли до полной разнузданности самых низменных инстинктов, вывернули все паскудство человеческого дна, раскрылся во всей наготе дурман и ошалелый запой доморощенного нигилизма, достигло кульминационных точек бессмысленное бормотание чужих исковерканных слов, непонятных лозунгов. И когда наверх мутного потока жизни всплыло зловонное разложение, от которого стало задыхаться само «трудовое» казачество, – момент отрезвления и покаяния вошел в казачью жизнь так же властно, как незадолго перед тем ворвался угар временного безумства, – и вспыхнул дух святого протеста. Казак опять обратился к своей родной, рядом, нераздельно, единой с ним жизнью живущей интеллигенции, – к офицеру, вождю и вдохновителю этого протеста во имя чести и достоинства имени казачьего.

Я вспомнил «франзоль» казака Кудинова.

Я понял, что то, что другим, поставленным трагическим сцеплением событий под наиболее жестокие удары революционного шквала, доставалось ценой величайшего труда, напряжения всех сил, великого подвига стратотерпчества, – офицеру-казаку досталось много легче, проще и естественнее: само пришло. Еще не вполне выяснено и раскрыто, какими путями, какими тропами сносились и перекликались степные балки, ерики, шляхи и курганы, – но казак сам, без зова и клича, вспомнил, «хватился» своего старшего брата, нашел своего природного вождя – офицера. И этому вождю не нужно было приседать до мирозерцания младшего брата, находить с ним единый язык, единую цель, единый идеал, – ибо по происхождению, по образу жизни, по всем заветам и обычаям он был костью от кости той народной среды, которая вела свою традицию от зипунного рыцарства родных степей. Он был тем натуральным, а не натурализованным демократом, который с полуслова, с полунамека, нюхом понимал казака и говорил с ним так, как надо, и для этого не требовалось особого усилия: само собой выходило так, как было нужно.

Отсюда отнюдь не должен вытекать вывод, что офицер-казак не поднялся над младшим братом по интеллекту, что он слишком элементарен, малокультурен, сер. Есть – или было, по крайней мере – у людей белой кости и алой крови известное поползновение взирать сверху вниз, «мелко крошить» казачество и его офицерство. Вернее: было. И может быть, находился кое-какой материал для такого трактования. Эпизодические проявления избытка первобытности и удали в обстановке, не требующей особого восторга воинственности и «буести духа»,

давали такой материал. Но за всем тем общий интеллектуальный уровень нашего родного офицерства, скромного, на медные гроши добивавшегося образования, не избалованного послаблениями, трудом и подлинной доблестью пробивающего себе дорогу, – отнюдь не ниже культурного уровня офицерского корпуса всей русской армии. Но одна несомненная черта отличает наше офицерство, казачье, – прирожденная способность полного и тесного слияния с рядовой массой, исторически унаследованный навык к истинному, не показному равенству, отсутствие барской психологии, подлинный демократизм и полное единство основных гражданских чувств: каких бы разных политических воззрений ни держались казаки, какая бы разница чинов и рангов ни отличала их друг от друга, – любовь к родному краю, Дону Тихому, гордая и трогательная привязанность к родному брату прочнейшей, неразрывной спайкой объединяет старшего брата и брата младшего, и генерала, и казака рядового...

Три четверти донской интеллигенции вышли из Новочеркасского военного училища, ныне справляющего свой полувековой юбилей. И вся эта интеллигенция ушла в свой народ, ему отдала свои знания и способности, с ним жила единой жизнью. Она, эта военная интеллигенция, отдавала и общей матери-России свои силы, билась и умирала за ее целость, честь и достоинство. Но то, что она отдавала своему родному краю – на заре своей жизни и на закате ее, – то для нас, донцов, особенно ценно, и важно, и значительно.

И когда ныне судьба всю донскую интеллигенцию собрала в родной край и власть событий заставляет пройти через Новочеркасское казачье военное училище учителей, студентов, агрономов, инженеров, все, что есть у нас образованного, умственно обогащенного, самоотверженного – я говорю: слава Богу, родной край, родное казачество много обретут от этой школы, сообщающей своим питомцам не только специально военные знания, но и традиционный боевой дух казачий, удадь, силу, беззаветную привязанность к политой кровью дедов родимой землице и способность полного и прочного слияния с народной массой, станичной и хуторской. Слава Богу! За полосой тяжелых испытаний наступит черед строительства жизни, творческого труда и созидания. И спаянные узами единой крови, единой боевой школы и единой судьбы, пойдут нога об ногу, рядом, нераздельно – офицер-казак и казак-рядовой, старший брат и брат младший, – найдут путь к лучшей жизни, обновленной и оздоровленной, пойдут к светлому и славному будущему...

ЦВЕТОК-ТАТАРНИК

«Донская речь», 12/25 ноября 1919 г.

Мы проезжаем узкой улицей и вилючими хуторскими проулками, среди гумен, левад, садов и разбросанных дворов. Мой спутник и сверстник Макар Бобров, вырвавшийся в числе других моих станичников от красных, ровным спокойным голосом рассказывает о своих скитаниях по ту сторону баррикады. Впереди вьется пыль над нашими отходящими обозами, – противник отжимает нас назад. Выстрелы гремят позади нас, над родной нашей станицей.

Я лишь один денек успел провести в ней, поглядел руины сожженного и опустошенного родного гнезда, родные могилы. В душе – печаль. И вместе – ровное чувство спокойной убежденности, что иначе нельзя, что этапов, определенных судьбой, ни пеш не обойдешь, ни конем не объедешь, но конечный шест уже мелькает за недалеким певралом*).

– Ваньки говорили все зимой, что рукаву шубу не одолеть, – говорит Макар: – а сейчас не то настроение... Одно: скорей войну кончать...

Коммунию эту они клянут, на чем свет стоит, обрыдла она им, как постылая шлюха, ждут лишь случая...

Я гляжу на разрушенный снарядом старенький куренек, на обугленные развалины, – обидно, горько. Но нет отчаяния: пройдем через горнило жестокой науки, будем умней, союзней и, может быть, лучше устроим жизнь.

Навстречу нам медленно идет пожилая женщина с коромыслами на плечах. Макар слезает с лошади:

– Тетушка, дай-ка напиться.

Осенний день тих, тепел и хрустально прозрачен. Выстрелы бухают гулко и четко, и все как будто прислушалось к ним. Только в перерывах

*) Слова из стихотворения Я. Полонского «Дорога» (1842):

...Недалеко до хаты –

Знакомый шест мелькает за бугром.

раскатистого грохота в притаившейся тишине опустелого хутора где-то тихо-тихо звенит тонкий голосок, причитает «по мертвому», – и тонким жалом жгучей тоски впивается в сердце монотонная мелодия.

– Чего это она плачет? – напившись из ведра и утираясь, спрашивает Макар – равнодушно, как бы мимоходом.

– Чего плачет, – неторопливо отвечает казачка с коромыслами: – есть нечего, жить не в чем...

Говорит голосом грустно поучающим, как будто вопрос Макара был детски наивен и излишен, когда все так ясно, и просто, и обычно... Есть нечего, жить не в чем...

На гумне, неподалеку от нас, старик в теплой шапке и босой стоит над старой веялкой.

– Ну что, дедушка, оставили что-нибудь товарищи?

– Оставили... как после пожара травы, – отвечает он почти весело, приподымая шапку: – вот хожу, гляжу, красуюсь природой... чисто сделали... «Буржуй, мол, ты, такой-сякой»... – Я – буржуй? А ну покажи свои руки... показал руки – не рабочие. – Ну вот, гляди мои, на... видишь? Кожа на подошву годна, а ты: буржуй... Ну, пользуйся, моим добром, Бог с тобой... Ну, только помни: обед да полдни, – поговорка есть такая у нас... Правда, это я ему не сказал напрямки, а так, наумком, но он понял...

Старик многозначительно качнул головой.

– «У тебя, говорит, сын офицер!» – «Нет, два...» «Сколько скотины имеешь?» – Штук с десятка есть. – «Так как же ты не буржуй! Ты самый буржуй и есть: сыновья – офицеры, скотины – рог с рогом» ... Угнали скотину. Быков, правда, успел отогнать в барак, там с ними и жил, а то все – под гребло... Ну да ничего: слава Тебе, Господи, сам жив остался, семья уцелела, сынки – слава Богу – еще целы... А живы будем – все добудем... Добудем! Небось, и сии не без скотины живут...

Тон у словоохотливого старика добрый и уверенный. Ясный тон человека, выдержавшего ряд толчков, ниспосланных судьбой, но не покачнувшегося, нашедшего в себе силы подавить временные огорчения. В нем нет жалобы, нытья, – и это как-то особенно трогательно и утешительно. Чувствуется лишь скрытая точка прочного озлобления и решимости до конца стоять за свое бытие, за право жить по-своему, без фраз бороться или способствовать борьбе.

Достаточно ли крепки окажутся наши казацкие нервы в этой неравной борьбе «рукава с шубой», или пошатнутся они в какой-либо лавине испытаний, – одно несомненно: органическая неспособность казачьей природы приладить себя к атмосфере того социального опыта, который тов. Троцкому безвозбранно удалось проделать над Россией

и который у нас на Дону напоролся на жизнестойкость и упорство цветка «татарника», – кто не помнит прекрасной интродукции к «Хаджи-Мурату» Льва Толстого?

Жизнь потрясена до основания, перевернута, искалечена, разбита. И в то же время она цепко держится за свое насущное и привычное, за будничные налаженный обиход, за старые, проторенные тропы повседневного распорядка, забот, хлопот... С муравьиным упорством непрестанно она, если не торопит и совладеет, то починяет разбитое, восстанавливает разрушенное, заполняет опустошенное. Фантастическое сочетание со знакомыми старыми буднями неожиданно налетающих шквалов и истребительных вихрей войны, революционных грабежей и убийств, делает ее нелепо-чуждой и странной до невероятия.

С утра дымят трубы станичных и хуторских куреней, запах кизека и тыквы борется с чудесным запахом осеннего листопада, бабы выгоняют на улицу коров и телят, скрипит журавец над колодцем, на коромыслах босоногие девчаты несут воду. Все, как в тихие дни мира, благодатно ясные и скучные...

Но через час-другой над тем лужком, где бродят телята, начинают рваться снаряды, через станицу проходят войска – и иной раз трудно разобрать, свои это или красные. Изредка, как луч солнца в хмурый день, на миг судьба пошлет радость мимолетного свидания с кем-то из своих родненьких: у ворот заржет Бурый или Звездочка, – подъехал Никашка из 28 конного или сам отец из первого сводного. Наскоро поедят арбузика, обменяются двумя-тремя словцами, поплачут и – снова на коней.

И вот уже рвутся снаряды в гумнах, левадах, над самой станицей. Маленький Панкратка в куче неунывающих семилетних охотников за осколками мчится к местам разрывов и роется в свежих воронках и выбоинах, собирает в подол остро разорванные стальные гостинцы и свинцовые картечки. Встревоженный слышит голос матери:

– Панкратка, иди, супостат, в окопчик!

– С-час, – неохотно отзывается издали детский голос, озабоченный и поглощенный спортивным увлечением.

Визжат снаряды, замирает сердце в томительном ожидании разрыва, черного столбы дыма и пыли. Оглушительный гром всегда кажется таким близким и адским.

– Панкратка, сибирная душа! кому говорю? – опять взывает испуганно-сердитый голос.

– Зараз!

– Шкуру спущу! Вот она, хворостина-то...

– Не хочу я в окопчик...

Панкратка хныкает, трет глаза кулачками, идет – заплетает ногу за ногу: хворостина все-таки таит в себе силу какого-то гипноти-

ческого внушения, и угроза ее неизмеримо реальнее, чем сверлящее жуужжание трехдюймовой гранаты.

– Не хочу я в окопчик, там лягухи сидят.

Рубашонка, накрахмаленная сладким арбузным соком и запудренная пылью родимой земли, похожа на кожаный фартук кузнеца. Ноги и руки, как у арапа, и голые колени глядят в широкие амбразуры штанишек. Все как всегда – буднично, точно и форменно... И как колючий, стойкий репей-татарник растет и закаляется в тревогах и невзгодах боевой жизни будущий защитник Дона и матери России – босоногий, оборванный Панкратка, предпочитающий сидению в погребке с лягушками пыль станичной улицы под грохот канонады.

Есть неожиданная и своеобразная прелесть в этом сочетании неистребимой жизненной энергии и близкого веяния смерти. Вот ветхий старичок Платон Самойлыч, самый крупный усть-медведицкий домовладелец, по нынешнему масштабу по малой мере миллионер, несет на плече обломанную ось. Белая борода патриарха, темные очки на носу, ватный картуз с большим козырьком, широкий пиджак до колен, из-под коротких брюк лопухом глядят стоптанные штиблеты на резинках...

– Казаков поставили ко мне полон двор, – говорит он тонким, кряхтящим, стариковским голосом: – ребята молодые, настроения развязного... козыри... А вот по хозяйственной части – хладнокровны. Вот она – вещь... денег стоит, а они ее середь двора бросили без внимания...

– Охота же вам возиться с этим...

– Казенная вещь, мой сердечный... Надо прибрать... Говорил им: ребята, да вы бы того... прибрали бы... – «Возьми на дрова, а нам время не позволяет: плясать очередь подошла, никак нельзя уволиться... Козыри – ребята...

Приложил палец к ноздре, высморкался старичок, переложил ось на другое плечо, крякнул:

– Вчера одного... бонба... взводный урядник, такой из себя хват... В разведку иттить собрались, дал он наставление взводу: «на случай, мол, убьют меня, не разбегайтесь, команду передаю Хорохоркину»... Все честь честью. Потом в гармошку приказал играть и плясать зачал. Уж он выхаживал, уж он выделявал курбеты такие... юла юлой... – «В последний раз, может, чего-то сердце чует, не вернусь», – говорит... Ан она его нашла тут же на дворе... бонба... И осколок-то немудрящий, а угодил в висок и – на месте... Такой хват – урядник...

Надо думать, что такой же смертоносный снаряд, «бонба», – Платон Самойлыч все еще старинной терминологии придерживается, – не раз разрывался около этого древнего усть-медведицкого абorigена. Не раз, может быть, он творил молитву и мысленно прощался с белым светом, который он сперва плотничком-работничком, а потом богобо-

язненным подрядчиком обстраивал и украшал скромными деревянными церковками, училищами, казармами и собственными домиками. Не раз сердце «закатывалось» у него от неожиданного грома и грохота сбоку, сзади, спереди. А вот забота об обломке оси, хозяйственная сухота, долгим веком усвоенная, никак не покидает его и у порога в потусторонний мир...

Пестра и неожиданно разнообразна ныне в своих сочетаниях жизнь в родном моем краю – там, в северном углу Донской земли. От горьких причитаний, за сердце хватающих напевных жалоб осиротелой, дотла разоренной казачки, которой «есть нечего, жить не в чем», до головокружительного танца бравого урядника перед разведкой, сулящей смерть, один только шаг. Даже и шагу нет. Рядом, плечом к плечу, живут они – жгучие слезы тоски-кручины и отчаянное веселье обреченности...

И когда мимо меня проходит колонна родного полка на костлявых, заматаных бесперерывной работой лошадаках, и песенники впереди играют родную песню, в которой «тоска и удаль, красота разгула и грусть безбрежная»*), слились в одну чудесную симфонию, и дирижер-станичник с седой щетиной на подбородке, в облезлой папахе, на буланом маштачке, размахивая плетью, дребезжа разбитым баритонном весь уходит в воодушевляющую роль хормейстера, а рядом с ним другой – с каштановой бородой, из-под самых глаз уходящей волнами к плечам и поясу, залихватским подголоском выделявая фантастические узоры на безбрежной, как степь родная, мелодии, – я чувствую и всем существом своим понимаю «все-таки есть еще порох в пороховницах казачества»...

И я вспоминаю прекрасный образ, который нашел великий писатель земли русской в «Хаджи-Мурате» для изображения жизнестойкой энергии и силы противодействия той девственной и глубокими корнями вошедшей в родимую землю человеческой породы, которая изумила и пленила его сердце беззаветной преданностью своей, – цветок-татарник... Он один стоял среди взрытого, взборожденного поля, черного и унылого, один, обрубленный, изломанный, вымазанный черноземной грязью все еще торчал кверху. «Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял, – точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаза, но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его»**).

*) Самоцитата из стихотворения в прозе «Край родной».

**) До этого у Л. Н. Толстого в «Хаджи-Мурате»:

«Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется “татаринном” и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники,

Необоримым цветком-татарником мыслю я и родное свое казачество, не приникшее к пыли и праху придорожному в безжизненном просторе распятой родины, отстоявшее свое право на достойную жизнь и ныне восстанавливающее единую Россию, великое отечество мое, прекрасное и нелепое, постыдно-досадное и невыразимо дорогое и близкое сердцу.

чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, – он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его, “Какая, однако, энергия и сила жизни, – подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. – Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь”».

ЗДЕСЬ И ТАМ

«Донская речь», 27 ноября (10 декабря) 1919

В столицах шум. Гремят витии...
Н. А. Некрасов

Среди безудержной словесной расточительности, в атмосфере общего убожества мысли, рабьего фетишизма перед «завоеваниями революции», сердцевина которых – сплошная гниль и плесень, в чадном угаре политического распутства, постылой алчности, бешеной погони за кусками, в невылазной яме голодных и холодных жалоб, ропота, озлобления – тоскует сердце и болит душа.

Думы, горькие, как полынь-трава, неотвязные, тоскливые, как ненастные осенние вечера, уходят туда, где теперь на зябком ветре, под дождями и метелями, под студеной изморосью, в грязь и слякоти идет великая работа, кипит страда безбрежная и неусыпная. Работа боевая. Страда повинная, служебная, подготовительная.

С трепетом робких надежд, томительных, вздыхающих, с лихорадочной тревогой ожиданий толкуются и копошатся около этой работы тысячи людей, выжитых из родного гнезда, из обжитого угла, – людей мне близких и невыразимо жалких. Хутора, спрятавшиеся в степных балках, буераках, рощицы, крошечные полевые плетеные хатки, старые скотные дворы, по-казацки «базы», – всё, в прежние времена к зиме обычно пустующее, заброшенное, ныне убого оживлено кибитками, арбами, тощей скотинкой и озябшими людьми, не имеющими иного приюта, кроме безбрежной степи под низким серым небом.

Из-за барьера, отделяющего их от врага, из-за Дона, с седых курганов и меловых высот правобережья – глядят они каждый день на далекие церкви родных станиц, на ветрянки, на светлые полянки песков. Глядят, вздыхают. Шепчут губы детскую молитву Неведомому и Всемогущему, и глаза застилаются слезами...

Они, конечно, висят гирей на ногах войсковых частей. Они стесняют боевую работу, затрудняют продовольствие, снабжение фуражом, вопрос размещения. Но они же придают войскам тот дух прочного ожесточения и непримиримости, который служит залогом успеха. Дух

святой ненависти к врагу, притеснителю, расхитителю трудового достояния, неудовлетворенную жажду отмщения. Отныне борьба не на жизнь, а на смерть перешла из области ораторских фигур в полосу действительного массового настроения.

И как бы порой положение наше ни было трудно и тяжело, каких бы возмутительных размеров ни достигало наше разгильдяйство, ротозейство, беззаботность и непредусмотрительность, какие бы прорехи ни зияли в механизме нашей обороны – я верю в чудодейственную силу этой отныне неискоренимой ненависти к красному угнетателю, ожесточившей сердце народа. Она выручит, она спасет. Я знаю: эгоизм, низкое лукавое ныряние в сторону от долга, шкурничество, безбрежное воровство, усталость, разутость, раздетость еще не раз бросят нас в зыбкую пучину тревог и отчаяния. Но каждый раз с удвоенной и утроенной силой вспыхнет огонь святой ненависти к угнетению, во имя чего бы оно ни входило в жизнь. В наличности ее и прочности нет сомнений для тех, кто разделяет скитания и тоску бесприютности в холодном, тускло-золотистом просторе наших родных степей с беженцами медведицких и хоперских станиц.

Августовское отступление было совсем иного характера, чем январское. Четыре месяца хозяйствования красных научили станичников уму-разуму больше, чем миллионы воззваний, указов, прокламаций и речей. В январе из станиц и хуторов уходили только «реестровые кадеты», т. е. занесенные в списки обреченных, воинствующие противники большевизма и полу-большевизма, имевшие все основания опасаться расправы от местных, до поры до времени таившихся шакалов доморощенного большевизма. У этих сторонников советской власти по ту сторону баррикады были родственники, члены семьи, своя заручка, и естественно, что каждое слово, каждая царапина, полученная здесь с «кадетской» стороны, должны были быть возмещены десятикратным воздаянием. Потому «кадеты» и уходили.

Иной раз удивительным казалось, что заведомые «буржуи», богачи спокойно оставались дома, а очевидные пролетарии, голяки, бросали скудный родной угол и шли с отступающими. Так удивил меня прошлой зимой сосед мой Антон Мокров, плотник по профессии и несомненный кандидат в члены комитета бедноты по своему имущественному состоянию.

– Антон, да ты-то чего испугался?

– Занесен в кадеты.

– На каком основании?

– Да так... С Андреем Красиным подрались мы через колодезь...

Вышел сурьез маленький. Конечно, я подломал его под себя и патрет

попортил ему трохи... А вот после-то хватился, да поздно: надо бы уважить, пушай бы он мне лучше раза два, ну три дал бы в морду... пересопел бы, и все...

– Да почему же?

– А потому! У него три сына в красных – вот почему. Он теперь, Андрей-то, – его рукой не достанешь. Я бы, может, и не пошел, ну, баба пришла с улицы, говорит: – Антон, не быть тебе на воскресе, Андрей Красный грозит при всем народе: «Придут – говорит – наши, первому Антошке Губану конец будет! Кадет, мол, такой-сякой, он на мне рубаху опустил у колодезя. Я ему это не подарю!»... Чего же делать оставалось: сгрёбся и пошел...

– Да какой же ты кадет?

– А чем докажешь, что не кадет? Я, конечно, за казачество всегда стоял. И Андриюшку когда бил, я ему пробукварил всё – и про сынов, и про измену казачеству, и про то, как он вербёнки общественные покрал... Всё... Обыкновенно, как в нашем быту водится при сурьезе...

Количество «кадетов» по станицам и хуторам было не велико. Мироновские агенты уверяли, что никто не будет тронут. Зима была лютая, бросать теплое, насиженное родное гнездо и идти в неведомую даль на стужу, холод и голод было тяжело. И потому из станиц и хуторов ушла лишь небольшая часть жителей, по преимуществу деревенская интеллигенция. А фронтовики, иззябшие, изверившиеся в удаче, усталые, озлобленные непорядками, недодачами и недоедами, сдавались целыми частями и возвращались домой. И так очевиден был развал, так неминуемо казалось полное крушение казачества и поднятого им великого бремени воссоздания России...

Но красные помогли. Образумили. Не только террором дали они отрезвляющий прием сильнодействующего лекарственного средства. Ограбления, издевательства, насилия, тюрьма, расстрелы сделали свое дело. Но еще горше для простой казацкой жизни было то просветительное творчество, которое производило безвозбратные опыты над обыденной жизнью, веками налаженной, привычной, приросшей к сердцу бесчисленными нитями. «Культурпросвет», или просветительные кружки, ввели свальный грех. Замолк колокольный звон. Умерла родная песня казачья, дедовская, широкая и грустная, ласкающая сердце сладкою болью смутных, далеких воспоминаний. Ввели обязательное хождение на митинги, обязательную повинность прочтения красных газет, где непонятным, тарабарским языком излагали перспективы нового социального откровения.

– Получай газеты, тетка! – строго говорил комиссар по просвещению, какой-нибудь Васька Косолыдый, раньше никчемный, презренный мужичонко.

– Да я неграмотная...

– Бери, блины будешь печь на них!

– А не поотвечаю я за них?

– Обязательно! В ревком позовут, могут спросить: как ваш сюжет о леригии, например, или о коммунических яичках.

– Да будет уж вам смеяться-то.

– Какой же смех? Вот как распишут тебе то место, откуда ноги растут, – узнаешь, что за смех... Культурпросвет – это тебе не смех, это первеющей важности вопрос! Привыкли вы жить дикарями – эскимосами с мыса Доброй Надежды, которые питаются сырым раком... А теперь вас возьмут в переплет, в зубы возьмут вас... в хорошие зубы!..

И эти «зубы» действительно наполнили жизнь сплошным соглядатайством, трепетом, оглядками, безысходной тоской оголенности и закрепощения какому-то новому жизненному укладу, непонятному, нелепому, удручающему душу слякотью бездельных вторжений, грязью бесстыдного нигилизма, гноем разнузданности.

И когда с приходом казачьих войск снова вернулся старый, милый, привычный порядок жизни, зазвучал звон колокольный, прозвенела старая дедовская песня и знакомые переливы ее ухватили за сердце, заставили его забиться трепетною радостью возврата и свидания, тогда заплакали все – старые и молодые... Тогда поняли, что нет ничего дороже на свете родного уклада, веками налаженного, своего облика казачьего... И сказали:

– Нет, будет! Пошатались, хлебнули горя – довольно. Со своими жить, со своими умереть... Придется опять отходить – не останемся. Бог с ним, с нажитием нашим... Уйдем со своими... Все уйдем!..

И ушли. Ушли все – даже те, у которых по ту сторону барьера были свои люди, сыновья, братья. Собрались, пошли и эти.

– Терентий, ты куда?

– В отступ.

– Да у тебя зять в красных...

– А черт его бери. Я об нем нисколько даже не понимаю. Я за качество желаю и иду. А, может, он мне, зять-то, первый голову снесет. А то я его на вилы посажу...

Мир раскололся на две половины, и трещина выросла в глубокий овраг, через который даже близким людям трудно стало переключаться.

Отход был в августе, по теплу. Широкая картина бесконечно движущихся обозов, гуртов скота, овец, лошадей, людей напомнила что-то библейское, трагическое и величавое. Мысль оторвалась от будничных забот и суетности, поднялась от обыденного, мелкого, примелькавшего глазу до высоты исторического предопределения. Горькое чувство неудач скрашивалось сознанием жизненной упруго-

сти казачества, прочной спаянности его, наличием здорового инстинкта самосохранения и уверенности в конечном одолении.

Была скорбь. Была и светлая вера в грядущий успех.

И в дни теплой осени, ясные, хрустально-прозрачные, жизнь беженцев под открытым небом, в широком просторе степей, где миллионы десятин осталось некоси брошенных на корню трав, была не только сносна, но даже и привольна. Были еще запасы хлеба, вывезенного из дома, была работа по хуторам. Правда, благополучные собратья-казаки не прочь были поприжать пришельцев, использовать их как дешевую рабочую силу. Иной хозяйственный старичок норовил и вовсе не заплатить – скажет «спаси Христос» – и все. Но все же возможность заработка и пропитания была, кров тот же Господь Бог давал бесплатно, и эти звездные палаты в ясные тихие ночи были прекраснее царских дворцов...

Никакой заботы сверху, никакого попечения об этих людях, покинувших родные хутора и станицы, не было. Усть-Медведицкий (да и Хоперский также) округ был предоставлен самому себе – тут без всяких усилий была достигнута и автономия, и суверенность, потому что в центре, в средоточии власти, в Новочеркасске, совсем как бы вычеркнули из памяти северный отрезок Войска Донского. Окружной атаман как суверенный властитель объявил всеобщую мобилизацию. Войска, потерявшие связь со своим интендантством, сели на шею местного населения. Беженцы от 17 до 60 лет стали под ружье. Прокурор Усть-Медведицкого окружного суда вступил в командование полком. Учителя постарше стали штабными писарями, молодые – вместе с учениками ушли в строй.

Здоровый жизненный инстинкт сослужил службу. Красные, попытавшиеся перешагнуть через Дон, тихий, обмелевший, заваленный песками, встретили неожиданный отпор от разномастных ребятишек и седовласых стариков. И сейчас стоят в нерешительности перед этим славным барьером...

Но время идет.

Ушли теплые, хрустально-прозрачные дни ясной осени, лучезарные вечера и звездные ночи. Потускнела степь, почернели засохшие травы. Зябкий ветер пошел гулять в широких просторах, дожди заплакали над их печальным умиранием. И уже белый снежный саван одел печальную наготу земли. Некуда деться голодной «худобе» беженцев, около которой и ради которой живут они по степным балкам, буеракам и заброшенным базам. Дохнет она от чумы, от бескормицы.

Мрет беженская детвора от болезней. В знойном бреду лежат в землянках и кибитках взрослые – некуда приклонить голову. Кому нужны они, грязные, смрадные, больные, оборванные и голодные?

И по-прежнему предоставлены они самим себе. По-прежнему автономны до полной суверенности. Ибо те маленькие люди, на которых возложено бремя заботы о них, в бессилии опускают руки: нечем помочь...

«Державные хозяева» земли донской среди потока красноречия уделили некоторое количество внимания, а больше словесной водицы и в сторону этой юдоли скорби. Вынесли постановление: такое-то количество «денежных знаков» отчислить и помочь. Совесть чиста, свободна от упреков в равнодушии, от самоугрызения. Но что с этими бумажками можно сделать там, в пустынных степных просторах, где ветер гуляет и вьюга поет дикие песни?

Да, да, об этом, конечно, должны ломать голову не те, кого витийствующие политики каждодневно отрывают от дела, связывают по рукам и ногам, треплют, шельмуют, на ком безвозбранно упражняют свое красноречие... Они, а не мы. Но что-нибудь надо бы взять и на нашу долю.

Ибо по-прежнему оборванные ребятишки, разутые, раздетые, с винтовками в руках всё сидят там, в окопах, рядом со стариками, глядят вперед – туда, где за Доном вдали белеют родные церковки, машут крыльями хуторские ветрянки, синеют рощицы левад. И тоской сжимаются их сердца, слезы застилают глаза...

За их спинами вижу лица людей благополучных. Право же, не бедна наша донская земля, не скудна средствами и запасами, красные гости находили в ней каждый раз и хлеб, и вино, и елей, и одежду, и обувь. И сейчас в хуторах, станицах и городах от Дона и до моря живут сытно, тепло, с хорошим запасцем. В городах так шумно и дорого веселятся. Там воодушевленно «гремят витии», делают политику. Там много приветственных плесков и криков...

Развеселое житье...

И каюсь – расстроенное мое воображение среди этого витийственного пафоса и веселого шума порой рисует нелепую картину: а вдруг к окнам, залитым светом, подойдет из студеной тьмы забытый защитник и скиталец, брошенный там на произвол судьбы? Застучит озябшею костлявою рукою в теплую светлую залу и напомнит о себе сытому брату:

– Брат, ты забыл про смену? Выходи же: пора...

ВОЙСКОВОЙ КРУГ

«Донская речь», 6/19 декабря 1919 г.

Войсковой Круг...

Вспоминаю я дни своей далекой юности, полосу романтических настроений. Первое близкое знакомство с родной стариной, казачьей, – знакомство, конечно, поверхностное – рисовало мне наше прошлое одним шумным, головокружительным праздником. Тут и лихие набеги, и славные боевые схватки, красивая смерть среди чистого поля под ракитовым кустом, и широкий разгул, безбрежная песня, бешеный танец. Ничем не стесняемый простор, вольность, свободнейший уклад жизни, равенство, самая широкая демократия. И в центре политической жизни, буйной, зыбкой, вечно мятущейся – войсковой круг, носитель идеи народоправства, коллективный разум зипунного рыцарства...

Казалось все это прекрасным, как мечта, и безвозвратно канувшим в прошлое, навсегда утерянным, ибо кругом была тогда удрученная немота, подчиненность без разговоров и суровый порядок, охраняемый монументальным жандармом, городовым и урядником. Скучная, хмурая была жизнь – и лучшие люди из сознательного слоя русского народа, покупая французскую булку за пятак и сапоги за пять целковых, со вздохом, вполне искренним, говорили:

– Так дальше жить нельзя...

Говорил и я. Но жил. И теперь, уже задним числом, должен сказать, что жить было можно, и недурно жить, вспоминая, мечтая о широком празднике свободы прошлой, в века ушедшей жизни.

И когда жизнь, казавшаяся недвижимой и закоченевшей, неожиданно встрепенулась, а мечта прошлого стала действительностью настоящего, я вижу себя и многих других в положении того чеховского чиновника казенной палаты, который всю жизнь мечтал о деревенской жизни, просторной и сытой, и в центре мечтаний своих почему-то непременно помещал крыжовник. На склоне лет, путем сбережений, урезов, недоедания и недосыпания он добился-таки осуществления своей мечты и получил возможность отведать собственного крыжов-

ника. Крыжовник вышел жесткий и кислый, а ошастливленный утопист ел и говорил:

– Как вкусно! Ах, как вкусно!..

Мысленно я говорил прилизительно то же в апреле 1917 года, когда волею судьбы и Глазуновской станицы сидел в театре Бабенко на заседании первого Войскового круга, тогда называвшегося еще съездом. Круг гудел, как улей, жужжал, порой кричал, галдел, порой дремал под умные рассуждения о преимуществах федеративной республики перед простой демократической и дружно, доброжелательно аплодировал всем ораторам без исключения.

Воплощение мечты не вполне совпадало с ее чистым первоначальным образом: Круг не совсем был похож на тот, каким он рисовался мне в романтических представлениях юности. Но зрелище было оригинальное, интересное, дотоле невиданное: скуластые лица калмыков в ложе направо, архиерей в черном клобуке в ложе налево и потные, взмокшие, бородатые, загорелые лица станичников в суконных чекменях на вате, в гимнастерках, серых тужурках – в партере.

И когда длинный оратор в сюртуке долго и обстоятельно говорил о положении аграрного вопроса в Новой Зеландии, старик-вахмистр Иван Демьяныч, мой сосед, изнывая от жары и вздыхая, шептал мне на ухо гулким шепотом:

– Теперь можно бы и домой... Слава Богу, скovyрнули кой-кого... Хорошо бы еще архиерея сохннуть: Семашкевич какой-то... поляк, как видать? Ай у нас своих архиереев не найдется, своего донского корня?..

Отголосок старины, вольнолюбивой и широкой, как море, сказался только в этой наклонности к «сковыриванию». Ибо ниспровергали тогда всех и вся без разбора, без особых поводов и оснований, просто – увлекаясь процессом ниспровергательной практики. Дело было легкое, забавное, веселое, и делалось оно «без размышления, без думы роковой»*)

Помнится, по какому-то вопросу выступил тогда я против увлечения этой практикой огульного скovyривания и ниспровержения. По наивности я думал, что если старый русский поэт дерзал «истину царям с улыбкой говорить»**), то отчего бы не сказать ее державному народу? Но меня после первых двух-трех фраз скovyрнули самым безапелляционным жестом...

*) Парафраз из стихотворения Аполлона Майкова «Fortunata»:

Ах, люби меня без размышлений,
Без тоски, без думы роковой...

**) «И истину царям с улыбкой говорить» – из стихотворения Г. Р. Державина «Памятник» (1795).

Через несколько месяцев тот же вольнолюбивый и все ниспровергавший Круг стоял навытяжку перед авантюристом Голубовым, и лишь один казак нашел в себе мужество не унизиться до этого лакейства и заплатил за это жизнью. Это был атаман Назаров...

Романтическая мечта потускнела.

Нынешний состав Войскового Круга вышел из горнила жестоких уроков и испытаний. Он тверже своего первого предшественника, менее склонен к шатаниям, более осмотрителен и рассудителен. Зуд ниспровержения не чужд и ему, но он введен уже в парламентарные рамки и хотя порой потрясает министерские портфели, однако бьет не до бесчувствия, с самым легким членовредительством и в конце концов гнев перелагает на милость и снисхождение. Так было, например, в минувшую сессию. Замахивались грозно, но били мягко.

– Не мешает подавить его, как лимон, чтоб из него сок потек, – предлагал один оратор меру по отношению к какому-то носителю власти.

Но все, слава Богу, обошлось благополучно и сравнительно мирно.

В области законодательного творчества нынешний Круг не блещет особой плодовитостью. За исключением земельного закона, ценность которого не бесспорна, большинство принятых им законов – к примеру, положение о сенате, о пенсиях, о станичном самоуправлении – представляет собой продукт добросовестного позаимствования из хороших проектов, сделанных раньше. И самое участие в этом творчестве отмечается очень неравномерным распределением внимания к вопросам одинаково большой важности. Над законопроектом о налоге на прибыль единодушно дремлют и правые, и левые, и центр. А вопрос о том, в каком помещении должны выдерживаться до вытрезвления подвыпившие и буйствовавшие лица духовного и офицерского звания, вызывает горячие прения, и на него ухлопывается целое заседание. Он рассматривается со всех сторон, пересматривается, толкуется и вкривь, и вкось, и прямо, и с боков.

Председатель несколько раз пытается поставить его на голосование, но то там, то здесь поднимается рука депутата, желающего высказаться, и если ее не замечают, слышится умоляющий голос:

– Разрешите мне слово!

– По какому вопросу? – изумленно и с досадой в голосе осведомляется председатель, обычно редко теряющий терпение.

– По этому самому вопросу.

– Я не могу дать вам слова.

– Я по этому пункту хочу сказать...

– По пункту? Ну... пожалуйста...

– Э-э... ихм... К примеру сказать, помощник станичного атамана позволил, конечно, задержать пьяного учителя...

– Да нельзя ли без примеров? Вопрос, кажется, ясен...

– Факты были...

– Мало ли что было. О чем вы желаете сказать?

– Об этом самом. Если мы станичного атамана считаем хозяином станицы, то будьте любезны, предоставьте ему право...

– Мы и предоставляем.

– Никак нет. В статье не сказано, вместе ли со всеми арестованными вытрезвлять попов и офицеров или в особом помещении? Ежели атаман поступит по усмотрению, вы думаете – пройдет это ему дурно?

Юристы-практики из среды депутатов предлагают вставить в статью:

– На общих началах... на общих основаниях...

– То есть в нашу природную донскую клоповку?.. Очень приятно!

– Что значит: на общих началах? – возражает вдруг новый голос: – на общих началах офицера сажают на гауптвахту.

– Тогда – «на демократических началах», может быть?

– А если сам станичный атаман налимонится, то предоставить право демократических начал его помощнику...

Мой сосед о. Иларион скорбно качает головой и шепчет мне:

– Хорошо, если атаман с культурным понятием... А выберут какого-нибудь сектанта, тогда уж попок рюмку вина не выпей, а то непременно в тюрьме переночуешь...

Бытовые ноты всегда звучат полно и разнообразно в нашем юном парламенте. Но та сторона законотворчества, которая требует подлинного юридического понимания и соображения, не всегда соответствует серьезности вопроса.

И, конечно, значение Войскового Круга заключается отнюдь не в его законодательной продуктивности. Он важен как знамя, вокруг которого группируется сейчас казачество, несущее сверхсильную ношу борьбы с расточителями несчастного отечества. С трудом, шатаниями, колебаниями, с ошибками и промахами, с напряжением и борьбой Круг все-таки сумел собрать для этой борьбы силы, каких никогда никакой власти еще не удавалось извлечь из населения в таком исчерпывающем количестве. Нынешний Круг состоит из лиц, непосредственно прикосновенных к этой трагической борьбе, рисковавших жизнью, бестрепетно глядевших в глаза смерти, разоренных и претерпевших – и в этом его сила, сила засвидетельствованного подвига и самопожертвования, залог готовности к борьбе и жертве в будущем, во всякую минуту, когда этого потребует родной край.

И еще сила его – в здоровом государственном смысле, в инстинктивном чутье государственного самосохранения. Он может аплодиро-

вать разным речам – и федеративным, и самостийным, и вздыхающим о старом налаженном порядке, ныне опрокинутом и сданном в архив. Но за кем идти – он разбирается верно и безошибочно.

Может быть, в минуту исключительных испытаний он не найдет силы удержать на должной высоте свой нынешний авторитет у населения, несущего нужду, лишения, неисчислимы потери, тающего, падающего под тяжестью крестной ноши... Может быть, героический дух изменит когда-нибудь ему... Может быть. Гадать трудно. Но пока – нет другого имени, вокруг которого донское казачество собралось бы такую плотной грудой, как ныне, – нет имени, кроме имени Войскового Круга Всевеликого войска Донского.

РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ

«Донские ведомости», ноябрь – декабрь 1919 г.

Новочеркасск, 17 ноября

Кубанские события пришли наконец к благополучному завершению и становятся отныне достоянием истории.

Итоги дней 5–7 ноября

Все хорошо, что хорошо кончается. И как это ни парадоксально звучит, хорошо

даже то, что в Париже подписали договор, – или «проект договора», как с точностью заправских юристов назвали его некоторые представители кубанской делегации на Войсковом Круге – дипломатические представители «Кубанской республики» с меджлисом «Горской республики». Право же хорошо, что это случилось, и хорошо, что самые ревностные и яркие «вожди» казачества – кубанского и отчасти донского вынуждены были, ограждая своих единомышленников от обвинения в политическом предательстве изображать их актом легкого поведения в политике. Ибо существо договора все-таки было конфузно.

Отныне диапазон сверх-демократических, самобытно демократических голосов, допускавших на «принципе согласия, но не подчинения» – примет более умеренные размеры, а федералистический авантюризм или авантюристический федерализм будет отодвинут в надлежащее место. Отныне в здоровое русло серьезного обсуждения и деловой работы войдут вопросы краевого самоустранения и создания твердой и авторитетной власти на Юге России. Отныне сознание ответственности переживаемого момента из области празднословия переходит в область действительного служения великому делу восстановления России.

Кубанские события стали достоянием истории. Но поучительное значение их, с ними связанных фактов, и им сопутствовавших явлений остается не только сейчас, но и пребудет на долгое время.

Это был кульминационный момент борьбы двух политических течений, вышедших из нашей революции, – одного выдвигающего на первый план свой демократизм, идею народоправства, весьма самобытного и своеобразно толкуемого, и осуществление его мыслящего в

России единой, «но с перегородками – и другого, ставящего превыше всего достижение единой святой цели – воссоздания России без уступки кому бы то ни было, с государственным порядком, не угнетающим ни одного класса или группы населения порядком тоже демократическим, но менее членовредительным, чем «федеративный» порядок перегородок.

Но не только в этом споре и этом столкновении двух течений заключается интерес минувших дней. Назидательное значение их лежит и в том отношении, которое проявила к жгучим вопросам этих дней рядовая масса законодателей и которое могло служить до известной степени отражением взглядов и настроений народного пласта, являющегося фундаментом государственности и на своих плечах несущего сейчас главную ношу по воссозданию России. Эти дни выяснили, что политические «вожди», точнее – парламентские лидеры наши не вполне обладают силой подлинного властвования над умами, способной вести серую массу от словесных упражнений к делу. Похоже было, что не глубина мысли, не признанная ее ценность, а звучащая сила слов, звонких и непонятных, в роде того диковинного слова «сикамбр»^{*)}, которым где-то у М. Горького щеголяет какой-то сверхсвободный босняк действует иногда на доверчивые умы, боящиеся показаться отсталыми или тупыми. И хорошие, простые здравомыслящие люди с усилием, доходящим до пота, блуждают в лабиринте состязаний о федеративной республике и суверенных правах, – состязаний страстностью своей напоминающих приснопамятные дебаты товарищей и полутоварищей об отдании военной чести. Были в эти дни (5–7 ноября) прений о суверенных правах Кубанский республики моменты комические и трогательные одновременно. Представитель кубанских горцев Кара Мурзинов, глубокий старик, начав читать по бумажке заготовленную речь, споткнулся на первых выпретенных словах, махнул рукой и заговорил задушевым тоном о том, что невыносима стала жизнь, несмотря на все «завоевания» революции, на все демократические приобретения. Приедешь в аул, все одно твердят: «дедушка, хлеба нет рубашка нет, довольно забастовка»... Это была речь по поводу... нарушения суверенных прав Кубани.

Сходя с вершины академического спора о суверенных правах к простым отношениям повседневности, прения сводились к взаимным счетам, накопившимся за время совместной жизни и работы сил, создающих единую Россию.

С одной стороны обидой почиталось то, что был приказ, существо и форма которого являются преждевременным отрицанием суверен-

^{*)} *Сикамбры* – древнегерманский народ на Рейне и по обеим сторонам Рура, против которого предпринял поход Цезарь в 55 г. до Р. Х.

ных прав пока самостоятельно действующих политических образований. И приказ этот по связи с другими менее существенными, но не редкими проявлениями абсолютистского тона является признаком недостаточно уважительного и бережного отношения к казачьему политическому правосознанию, безапелляционным вторжением в область жизни, на подлежащую стороннему вмешательству. Конечно, такой тон, вызванный м. б. необходимостью, не способен упрочить того цемента, которым держится и крепится совместная боевая работа сил, созидающих единую Россию.

Он возбуждает чувство протеста до поры до времени скрытого, он родит тайное раздражение за которым забывается и величие цели и ответственность момента. Рядом с этим открыто и честно была выяснена другая сторона медали утрата чувства ответственности не только за слова, но и за действия: кубанская делегация настоятельно подчеркивала, что она уполномочена просить содействия у Войскового Круга по вопросу о приказе (или точнее о приказах, ибо в вопрос вошел и приказ ген. Врангеля, не входя в рассмотрение договора Быча по существу, а касаясь лишь его формальной стороны. Как ни простодушно и доверчиво большинство Круга, как ни готовно он идет иногда за лидером, обладающим даром гладкой фразы и наигранным пафосом, но свести все вопросы к детской игре «в зайцы», к спору о том, на «сале» или «не на сале» пойман убегающий игрок, тут расчлнить вопрос на такие тонкие прослойки решительно не удалось.

Появление на Круге ген. Деникина смахнул все усилия кубанской делегации и сторонников отстаиваемой ею точки зрения, как карточную постройку. В его потрясающей речи перед Кругом во весь рост встали единственные подлинные суверенные права – права распятой России. Когда-то пошатнулись казаки в своей преданности великой родине из-за жалования и других мелочных счетов. Это было под стенами Кремля в эпоху лихолетья. И вынес тогда инок Авраамий Палицын церковные сосуды и предложил их казакам в уплату жалованья. Встрепенулась совесть казацкая, загоралось сердце огнем бескорыстного воодушевления при виде этой святыни, и уже не было больше помину ни о деньгах, ни о взаимных счетах... Ген. Деникин показал другую святыню: язвы распятой родины. И сказал, что за полным обретением ее, святой, единой, великой России, он пойдет раз избранным путем до конца, доколе Господу Богу не будет угодно прервать его жизнь и перед этим словом, твердо сказанным словом истинного подвижника и подлинного борца за святую идею, померкла вся словесная труха «вождей» казачества, – один из них именно так определил себя и своих единомышленников, подписавших «проект договора». Пустозвонная фраза потонула в одном могучем слове правды и великой жертвы – как в трубном гласе тонет мышинный писк...

Новочеркасск, 27 ноября

**Ответственность
момента**

Может быть, никогда не было момента в нашей исторической современности столь грозного и столь ответственного, как ныне. Борьба за наше «святая святых» – за Россию, за ее целостность, единство, достойное бытие, – борьба за собственное

наше право жить, за казачество, за его исторически сложившийся уклад, борьба унесшая столько жертв, потребовавшая столько крови, страданий и слез, – эта борьба подошла ныне к той последней черте, для которой существует только одна формула выражения: «не на жизнь, а на смерть»...

И, может быть, никогда мелкости души обывательской, заячья психология и психология хлева не доходили до такой неприкровенности, как сейчас. Голос упитанного, лукавого шкурничества, ни о чем, кроме собственного корыта и собственной утробы, не желающего помышлять, никогда не был так возмутительно гнусен, как в этот важнейший момент великой русской исторической трагедии.

Это ли не величайшая в мире трагедия, когда горсть людей героического духа, истекающих кровью, годы, долгие годы ведет борьбу за родину-мать, попанную, поруганную распятую, в условиях такого неравенства, которое вызывает одинаковый возглас изумления и Ллойд-Джорджа, и у тех полубессловесных масс, что ныне всепожирающей саранчой опустошают трудовое казачье достояние?

– Вот говорили: где это видано, чтобы рукав шубу одолел, ан одолевает, – сознаются «Ваньки», согнанные под ружье плетями и палками тов. Троцкого.

И если отойти на некоторое расстояние, оглянуться, вспомнить, как наши хутора начинали эту величаво-трагическую борьбу с самодельными пиками, вилами и чекмарями, то и в тяжелой скорби испытаний выпрямляется согбенная душа от чувства гордого сознания и твердой уверенности, отменяет все сомнения, все тревоги. Есть у великого писателя земли русской, у Льва Толстого, один великолепный образ жизнестойкой энергии и силы противодействия истреблению: цветок-татарник – в интродукции к повести «Хаджи-Мурат». Среди черного, унылого, безжизненного поля стоял он один, обрубленный, изломанный, вымазанный грязью. «Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял – точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаза, но он все стоит, не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом него».

Необходимым цветком-татарником мыслится нам и родное казачество, и героическая Добровольческая армия, не приникшие к пыли

и праху придорожному, когда по безжизненным просторам распятой родины покатились колесница торжествующего смерда, созидавшего российско-филистимскую*) советскую республику. Тверда наша вера в эту непобедимую жизнестойкость, непоколебимо упование. Но горькое горе нашей исторической дороги – обывательская забывчивость, подлое лукавство, виртуозное мастерство шмыгать в безопасную подворотню в моменты грозные и вылезать вперед, пылить, фыркать, брызгать зловонной слюной злобной критики, клеветнической брани, когда это можно делать в условиях безопасности и безответственности. Критикующий, пустословящий, злословящий политикан-обыватель не прочь думать, что этим сотрясением воздуха он содействует и помогает успеху дела. Ведь думал же тот помещик из побасенки, который, сидя в тарантасе, плетущемся в гору, усиленно кряхтел, – что он этим кряхтением помогает лошадям...

Но когда дело коснулось действительной помощи родине, когда был поставлен такой, например, важности вопрос, как экстренная необходимость одеть к зиме армию, – какой гвалт поднялся и о нецелесообразности приёмов реквизиции, и о переплеченных пенязях за провизию, и об остановке всей жизни вследствие приказа, запрещающего в течение одного дня выходить из дома. И это кричали те люди, которые не так давно с трусливым безмолвием отдавали самые ценные свои вещи красных хулиганам.

Большевики уже давно отмахнулись от приемов словесной расточительности для убеждений о памятовании долга. Советская власть решительностью манер далеко превзошла старый абсолютизм и отнюдь не смущается и не испытывает никакой неловкости, применяя ту «государственную палку», без которой государственная власть – не власть, а «одно воображение». И шкурник там очень чувствует и почитает эту самую палку. И в моменты борьбы не на жизнь, а на смерть нет иного способа понудить лукавцев подставить плечо под общую ношу, кроме метода беспощадной понудительности. И в нашей родной истории была славная полоса, когда «дубинка» великого преобразователя вывела Россию из положения отсталого, пренебрегаемого полуазиатского царства на славный путь великодержавия. Рискуя навлечь на себя неудовольствие нынешних пламенных наших республиканцев мы все-таки дерзаем указать на примере гениального царя-трудника, как заслуживающий подражания и последования.

Само собой разумеется, что мы верим еще в наличие совести и чести наших сограждан, в известной доле благополучно живущих за спиной доблестной армии нашей. Мы указываем только на некоторое

*) *Филистимляне* – известный из библии пришлый народ в Палестине (по имени которого она получила свое название), враждовавший с евреями (Ушаков).

ослабление памяти их, на временное забвение о долге. И конечно, есть необходимость забывчивым людям время от времени напоминать о том, что есть родина, что крестные муки ее вопиют об облегчении, есть армия, изо дня в день глядящая в глаза смерти и имеющая право на самое пристальное внимание к себе сытого и одетого тыла, есть часть народа, вместе с армией разделяющая тяготу войны, — и ради собственного блага не надо забывать об этом.

Не забывайте о родине, иначе она напомнит о себе. Не заставляйте власть применять государственную дубинку. Помните о долге перед родным краем, перед Россией.

Новочеркасск, 11 декабря

Знамя

Мануила Семилетова

Мы снова — в какой уже это раз! —
вступаем в полосу надгробных рыданий,
великих утрат, потерь безвозвратных...

...Судьба жертв
искупительных просит*)...

Хотим мы того или не хотим — великое жертвоприношение потрясенной жизни свершается с неумолимой обреченностью, неуклонностью и неустанностью, — на алтарь всеожожения за тьму тем грехов наших, глубокого национального нашего падения, непрерывной чередой возлагаются жертвы, — и какие жертвы! При нашей невольной расточительности, при нашем вынужденном безрасчетном расходовании сил и дарований, — то, что вырывает у нас судьба в переживаемый момент — это лучшие, самые крепкие дубы в нашем опустошенном, поредевшем, облетевшем казачьем лесу. В том дремучем лесу, который веками исторической жизни, героической борьбы и труда неустанного стяжал «силу гордую, речь высокую, доблесть царскую».

Мы редко оглядываемся назад. Может быть, так и надо. Но порой горестно ропщет сердце: сколько могил! бесценно дорогих, незабвенных, осиянных славой, но все-таки безвременных могил...

Вот скошен косою смерти Мануил Федорович Семилетов.

Имени этому надо бы звучать в славном хоре тех имен, которые приведут в Москву победные рати лучших детей народа русского, борющихся за воссоздание великого отечества. Имя это — не только имя

*) Из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице» (1855):

Чтоб одного возвеличить, борьба

Тысячи слабых уносит —

Даром ничто не дается: судьба

Жертв искупительных просит.

горячего патриота, борца и героя, одного из первых поднявшего знамя борьбы против насильников, прикрывшихся великими когда-то лозунгами революции, – это имя творца и создателя общественно-боевого, патриотического движения, которому присвоено название партизанского. В сущности, это название, может быть, несколько узко и слишком ограничено в применении к тому движению, которое создано и организовано ген. Семилетовым. Объем и направление партизанства наших дней не всегда совпадали с тем, что мы привыкли представлять с партизанской деятельностью в военной истории.

Движение, начатое Чернецовым, широко организованное Семилетовым и Дудаковым, есть объединение под одним знаменем патриотической борьбы за родной край, за его исторические устои лучшей, благороднейшей, наиболее самоотверженной и подвига жаждущей части сознательного казачества – нашего юношества. Среди развала и падения духа, на торжище предательства родины, в момент наивысшего торжества скотских инстинктов, среди исключительного господства интересов собственного корыта и собственной шкуры, уцелел один живой оазис, один светлый и чистый родник возвышенной любви к распятой и поруганной родине, памятования святого долга, благородных порывов сердца – прекрасная, благородная юность, наша молодежь. Неизменная носительница недремлющей совести народной, она больше всех чувствовала боль родины, скорбела ее скорбями, страдала ее страданиями. И когда иуды искариоты продавали великую Россию за сребренники, тогда дети бросали школьные скамьи и бежали искать «текинцев» Корнилова, ибо не хотели ждать вождя, а сами искали его, жадно ловили хотя бы самый далекий и невнятный звук призывного клича...

Семилетов почувствовал, понял эту великую жажду подвига и указал ей нужное и самое целесообразное направление. Он собрал под славное партизанское знамя все лучшее в смысле твердости духа и готовности к жертве. И он бережно хранил это самое дорогое сокровище родного своего края, ибо понимал, как оно хрупко, нежно и драгоценно не только для нынешнего дня, но и для грядущих судеб родной земли. Он понимал, что это – последний резерв и – возможно – единственный в момент тягчайших испытаний для Дона. Он не расточал его ради соблазнительных победных лавров. Но в нужную минуту он отдавал эту бесценную жертву на алтарь спасения родины, – и мы никогда не забудем великих заслуг Семилетовского партизанского корпуса перед казачеством и перед Россией.

В суровой, длительной полосе боевой работы было бы чрезмерным неразумием предъявлять к неокрепшим юным организмам требование неугасимого горения. Есть пределы выносливости человеческих нервов,

есть пределы возможного напряжения даже для самого пылкого алкания боевого подвижничества. И несомненно, главная ноша титанической борьбы за бытие России должна лежать и лежит не на одних юношеских плечах партизанских отрядов, – весь народ должен нести ее. И с гордым чувством мы можем сказать, что наш народ – Донское казачество – с честью несет эту сверхсильную ношу. Но бывали моменты, – колыхалась эта ноша на плечах уставших. И в эти моменты ее подхватывали герои, в сердце которых не было места колебаниям чувства долга перед родиной, – или жить лишь при условии непомянутого достоинства и чести родины, или умереть вместе с ней, защищая ее славное имя до последнего вздоха, до последней капли крови...

Таким героем был Мануил Семилетов. Такими героями завещал он остаться и своим славным сподвижникам-партизанам, и всем нам Донским казакам.

Новочеркасск, 15 декабря

**Долг перед
Родиной**

Не в первый раз наше «общество», волею судеб, переживает достойный горького смеха переход – даже не переход, а пережат – от легкомысленной забывчивости и самоуверенности к самому жалкому перепугу и растерянности.

Не в первый раз скороспелые и приятные перспективы, связанные с приближением переезда в Москву, сменяются паническим лепетом о том, куда бежать, где укрыть свою драгоценную шкуру. Не в первый раз ликующее празднословие преобразуется в холопский ропот разочарования и готовность лечь – увы, не костями, а ничком – перед какой бы то ни было силой, лишь бы она заслонила собой перепуганную заячью душу от реющего в отдалении хищника...

Не в первый раз.

И не в последний, может быть. Скоро сказка лишь сказывается. Дело же – особенно величайшее в истории человечества дело, доставшееся в удел современным поколениям, – делается не скоро, движется вперед путями трудными, тернистыми, медленными. И да будет благословен не только герой, душу свою отдающий за други своя, но и незаметный, повинный работе вол, в честном сознании долга скромно и безмолвно прорезающий свою борозду в одном направлении – к созданию единой мощной Родины, в которой – и только в ней одной – все усталые и обремененные обретут покой и отдых.

И в нынешний трудный момент одно нужно для блага несчастного отечества нашего: чтобы перепуганное двуногое стадо уподобилось

этому скромному, незаметному волу, честно ведущему свою борозду на общей русской полосе. От праздного пустословия и малодушного метания надо перейти к делу и делать его готовно и добросовестно. Мы так много, так красноречиво, так горячо критиковали. И так мало и плохо работали для Родины. Пора за дело. Хотя бы самое скромное дело, самое малотрудное и доступное силам. Вот перед нами призыв власти к мобилизации одежды. Это и есть то дело, которое надо сделать в первую очередь и сделать осмысленно. Целесообразно, так, чтобы одет был именно раздетый и голый, чтобы собранное не попало в бездонную пропасть хищных приобретателей, татей и разбойников. В этом общество может и должно помочь власти. Вот призыв к мобилизации сил, нужных для возможной обороны Новочеркасска, нужных для того, чтобы не врасплох была застигнута столица Войска в момент случайной опасности. Как бы ни была мало совершенна организация такой самообороны, ей надо отдать наши помыслы и наши силы, дружным откликом помочь ее совершенствованию, но не сотрясать лишь воздух бесплодной критикой и сеянием слухов.

Не всем дано быть героями. Но гражданами, памятующими о долге перед родным краем, должны быть все. И если судьба приведет нас к лучшему, более светлому и удобоносимому периоду жизни, – мы, честно исполнившие высокий долг перед родиной, будем иметь право глядеть прямо в глаза нашим детям и будущим поколениям России – несомненно великой и единой в будущем нашей Отчизны. Если же судьба судит иначе, то да обретет в себе каждый из нас мужество беспретпно взглянуть в глаза грозному моменту и поведением своим не посрамить славного имени казачьего.

Новочеркасск, 17 декабря Несомненно, грозен переживаемый час, и великую ответственность несем мы за судьбы Родины. Дон, казачество, Россия, та Россия, к которой бесчисленными нитями прикреплено наше сердце

Сила духа

к которой всеми корнями жизни приросли мы, – все поставлено перед трагическим, роковым вопросом:

– Быть или не быть?

И в этот час, перед этим фатальным вопросом грозному испытанию подвергается наше право на достойное существование, наш гражданский дух: делается смотр всему нашему духовному багажу, кладется на весы вся наша внутренняя ценность.

Что мы предъявим Родине в час грозной опасности? Трепетное метание, стадный перепуг, жалкую растерянность от того, что сенат с своей канцелярией переезжает в менее суровый климат и идет разговоры об эвакуации института благородных девиц? Или что другое?

Есть у Тургенева одно чудесное стихотворение в прозе. Великий писатель был потрясен и душевно выпрямлен случайным зрелищем: как малая птаха степная защищала свое гнездо от собаки. Крошечное крылатое существо со всеми своими животами в один миг могло в разинутой пасти огромного пса. Но ни на одно мгновение оно не задумалось, не заколебалось перед опасностью и бросилось вперед на страшного врага со всей силой своего птичьего воодушевления. И один этот боевой вид, эта готовность самопожертвования заставили податься назад озадаченное чудище с высунутым языком... «Мы еще поборемся», – так выразил писатель свое чувство при виде этого яркого и трогательного проявления силы духа в крошечной птичке. Хорошо бы иной раз перепуганным сынам отечества, переметчикам, летчикам, шкурникам и дезертирам всех степеней и всякого ранга позаимствоваться мужеством и сознанием долга перед родным краем хотя бы у самого обыкновенного воробья, защищающего родное гнездо, родную застреху, родную свою воробынью краину. С уверенностью можно было бы воробыной готовности постоять за свое, родное, дорогое за тот угол земли, который дал нам жизнь, взрастил, вспоил, вскормил нас, за то, что мы зовем Родиной – мы были бы несокрушимы в борьбе с босыми, раздетыми, голодными, забитыми страхом и безмерной усталостью полчищами тов. Троцкого. В истории бывали ведь не один раз моменты борьбы в условиях разительного численного неравенства. Горсть одушевленных любовью к родине древних греков разгромила же миллионную армию персидского деспота. И не опрокинули ли разоренные, нищие голландцы, ставшие за свободу своей угнетенной родины, огромную рать испанского короля, в владениях которого не заходило солнце? И не патриотическое ли воодушевление наших далеких предков решило участь Мамаевых полчищ на поле Куликовом?

Все это старо, может быть, и слишком известно, чтобы сохранить свежесть убедительности и силу созидательности. Но и заячья психология малодушных и шкурников тоже не блещет новизной, ее непрактичность, ее бесполезность самоочевидна. Простой здравый смысл, простой житейский расчет указывает, что испуг и паника никогда дела не поправляли, никогда жизни не творили, – гибель и рабья жизнь всегда были уделом трусов и паникеров.

В ответственный и грозный момент да не будет посрамлено нами, нашим поколением славное историческое имя Дона Тихого. Не раз

подставляя он свою грудь под удары за спасение единой святыни нашей – России, великой общей Родины нашей. И

В искушениях долгой кары,
Перетерпев судеб удары
Окрепла Русь*)..

Воскреснет, окрепнет, вознесется к светлой, здоровой жизни она и теперь, преодолев все ниспосланные ей испытания. И в широком потоке самоотверженных усилий, ее воздвигающих, да займет подобающее место и наше честное, готовное выполнение патриотического долга в переживаемый момент.

Новочеркасск, 21 декабря

Единое на потребу

Может быть лишним, странным, не нужным покажется вопрос о том, что нужнее всего нам теперь в грозный момент, в момент величайшей ответственности нашей перед историей, перед народом, перед детьми своими, в момент величайшего и последнего напряжения всех наших сил. Ведь поставлено на карту все: бытие родного края, судьба казачества, целостность родных и близких нам людей, семей наших, собственная жизнь, все трудовое достояние наше, скудное скромное, малое, но нашим трудовым потом облитое, ибо все мы – кость от кости своего трудового народа.

То, что грядет под флагом коммунизма, если судить по эксперименту, который восемь месяцев назад был произведен над Доном, над северными и южными его округами, есть наглое пиршество торжествующего смерда, издевательство, измывательство, оплевание души народной, физическое заражение народного организма гнилыми, разнужданными наемниками, и смерть, сопровождаемая жестоким мучительством. И, конечно, странен вопрос, что нужнее всего в момент такой борьбы между жизнью и смертью?

Всякий сгнивший заживо организм борется за свое существование, борется за жизнь, борется против натиска истребления и разрушения. И чем больше здоровых задатков, здоровой крови уцелело в нем, тем упорнее его борьба, его протест против смерти. Только гнилые микробы, болезнетворные, наличность которых тоже имеется среди «флоры» каждого организма, ослабляют обороноспособность организма, мешают его борьбе со смертью, расточают его силы не по прямому назначению.

*) Из поэмы Пушкина «Полтава»: «Но в искушениях долгой кары...»

Казачество и все с ним спаянные здоровые русские силы сейчас, сию минуту переживают кризис, после которого – или жизнь, или смерть. И тут нужно одно: решимость одолеть какую бы то ни было цену. И все мысли, все средства, все стремление должны быть направлены к тому грозному сейчас, которое подошло к нам вплотную.

Кажется, так ясно, так очевидно. И нашим руководящим кругам, нашему политическому мозгу надо прямо, честно и мужественно показать пример бестрепетной готовности бороться до конца и – если нужно – умереть. Пример нужен, пример воодушевит, укрепит, создаст волю к победе! «Вы город на горе стоящий»... Город на горе, на который устремлены взоры снизу...

Сейчас идет экзамен всему казачеству – и Дону, и Тереку, и Кубани. Вся тяжесть великой борьбы легла на плечи казачества. Это признано главным командованием, и уже отпала бесполезная для обновляющегося государственного организма шелуха «особых» учреждений, вносивших в Великое дело воссоздания России столько острых углов.

Но самый строгий, самый ответственный экзамен производится сейчас руководителям казачества, его интеллигенции. Сумеет ли она в этот момент дать, что нужнее всего, – увлекать и заражающий пример смелого, неустрашимого натиска на врага, самопожертвования и веры в победу, – или распылится в многословии и суесловии, в толчении около «подготовительных» или «учредительных» занятий, около планов и проектов, осуществление которых терпит и маленькое отлагательство? А последнее поползновение есть в некоторой части наших «лучших» людей.

Люди простые и мужественные, люди, в которых сохранилась здоровая казачья кровь, знают ныне только одно слово вперед! Вперед на врага, переступившего наш родной порог. Мы вчера имели высокую радость слышать на совещании членов Круга этот мужественный зов простого зипунного рыцаря. Слышали и другие голоса, которые доказывали, что погоны не обязывают еще стать в ряды армии в этот момент, раз носители их посланы для законодательной деятельности, для «умственной» работы. И слушая их, думалось: нет, более прав тот депутат, который с рыданием в голосе восклицал: – «ваше превосходительство, Атаман! казаки! нет, мы Дона не отдадим! это немислимо! это невозможно! Господь дал нам жизнь, пусть Господь и возьмет ее, а за Дон мы все должны грудью стать! умереть должны!»

Мы преклоняемся пред этим честным, мужественным, единственно достойным сейчас призывом – не отдавать батюшки Тихого Дона, единым сердцем и единою мыслью биться за него до конца и – победить или умереть у родного порога...

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ КРЮКОВ

25-летие писательской деятельности

*Материалы юбилейного номера газеты
«Донские ведомости», 18 ноября 1918 г.*

*Материалы юбилейного номера журнала
«Донская волна», 18 ноября 1918 г.
Новочеркасск. 1918.*

*Из сборника «Родимый край»,
посвященного двадцатипятилетию литературной
деятельности Ф. Д. Крюкова (1893–1918 гг.).
Усть-Медведицкая, Донской области. 1918.*

Авторы статей, помещенных в Приложении

Скачков Павел Автономович, род. в 1878 г. в г. Ростове-на-Дону. По профессии ветеринарный врач, участник первой мировой и гражданской войн, одно время окружной атаман Усть-Медведицкого округа. С 1920 г. в эмиграции, был заведующим Донским казачьим архивом. Принял активное участие в издании в Белграде «Донской летописи», написав предисловие к нескольким выпускам. В отличие от некоторых других патриотов Дона, Скачков считал казачество частью русского народа и, размышляя о его исторических судьбах, подчеркивал, что «прошлое – дает разгадку настоящему». Умер в 1936 г.

Краснушкин Вениамин Алексеевич, родился в 1890 г. в ст. Константиновская. Донской журналист, в 1918–1919 гг. редактор-издатель ростовского журнала «Донская Волна». Литературный псевдоним – «Виктор Севский». Погиб в ЧК зимой 1920 г. в Ростове.

Сергей Пинус – псевдоним Сергея Александровича Серапина, род. в 1875 г. в г. Вельск Вологодской губернии. Поэт, переводчик (), до 1918 года преподаватель русского языка в Усть-Медведицком Платовском реальном училища. Сотрудник газеты «Донские ведомости» (Новочеркасск), в Крыму при Врангеле соредатор казачьей газеты «Сполох». Умер в 1927 г. в эмиграции, в Болгарии.

Арефин Семен Яковлевич – публицист, писатель, автор ряда книг, печатался в «Русском Богатстве».

Кумов Роман Петрович, род. в 1883 г. в ст. Усть-Медведицкая. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Журналист, писатель, сотрудничал в журналах «Летопись», «Исторический вестник», «Путь», «Мир», «Нива». Пьесы Кумова с большим успехом ставились в столичных театрах. После революции 1917 г. вернулся в родную станицу, печатался в газете «Север Дона» и в журнале «Донская волна». Умер от тифа 20 февраля 1919 г. в Новочеркасске.

Горнфельд Аркадий Георгиевич, род. в 1867 г. Известный критик, литературовед. Окончил курс в Харьковском университете, изучал теорию словесности под руководством Потебни. Журнальную деятельность начал в «Русском Богатстве», где состоял в последние годы и членом редакции. Умер в 1941 г.

Боцяновский Владимир Феофилович, род. в 1869 г. в семье священника. прозаик, драматург, историк литературы. Окончил курс на историко-филологическом факультете СПб. университета. Умер в 1943 г. в Ленинграде.

Сватиков Сергей Григорьевич, род. в 1880 г., в Ростове-на-Дону. Историк, общественный деятель. В январе–феврале 1919 работал в отделе пропаганды при Особом совещании – правительстве генерала Деникина. С 1920 г. в эмиграции. Умер во Франции в 1942 г.

Ветютнев Дмитрий (п. эвд. Воротынский), (1899–?) – прозаик, лит. критик, мемуарист; род. в ст. Усть-Медведицкой Донской обл. оконч. станичное духовное училище и духовную семинарию (Новочеркасск); с 1920 в эмиграции (Франция).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА К ПРОИЗВЕДЕНИЮ
Ф. КРЮКОВА «РОДИМЫЙ КРАЙ»

П. Скачков

«Донская Волна», № 12, август 1918 г.

После захвата власти большевиками в Усть-Медведицком округе во главе с Войсковым старшиной Мироновым 21 января 1918 года Ф. Д. Крюков жил в своей Глазуновской станице, в 39 верстах от Усть-Медведицкой, изредка наезжая в нее повидаться со своими друзьями и навестить сына, учившегося в реальном училище.

Когда, в конце апреля, в округе началась вооруженная борьба казаков – «кадет» с их противниками казаками – «мироновцами», изгнанный из станицы Усть-Медведицкой «Революционный Совет» Миронова перенес свою резиденцию к железной дороге, в слободу Михайловку, откуда и руководил всеми операциями.

Вооруженная борьба разгоралась, переговоры, ведшиеся на происходившем в мае в Михайловке Съезде Делегатов обеих сторон, не приводили ни к чему и явно затягивались Мироновым, ожидавшим отряды красных матросов из Царицына и Борисоглебска, для наступления на Усть-Медведицкую, объявленную контрреволюционным гнездом, подлежащим уничтожению.

Шла подготовка и в Усть-Медведицкой, но у казаков-кадет не было оружия, кроме шашек, не было патронов даже на имевшееся ничтожное число винтовок. Приходившие отряды отдельных станиц, в 3–4 сотни конных и пеших казаков, имели на весь отряд всего каких-нибудь 15–20 винтовок, с 5–8 патронами на винтовку, что понятно не могло не отражаться на настроении казаков.

Воодушевленная учащаяся молодежь шла в бой, вооруженная одними палками и доставала себе оружие у красных. Были уже десятки убитых и раненых; в станице не было ни медикаментов, ни перевязочных средств и не было ни копейки денег на самые необходимые расходы по уходу за ранеными и неоткуда было достать их.

Тот патриотический подъем, какой царил среди восставших казаков 14 хуторов ст. Усть-Хоперской – родины Атамана А. М. Каледина, далеко не захватывал станицы и хутора округа. И в то время, когда за Доном уже горели хутора и шайки матросов с орудиями и пулеметами

двигались от линии железной дороги на Усть-Медведицкую, расстреливая десятками ни в чем не повинных стариков, и когда безоружная молодежь и казаки восставших отрядов гибли в неравных боях, в это время в станицах и хуторах левого берега Дона шли бесконечные споры, на хуторских сборах, о том: нужно ли участвовать в борьбе и чью принять сторону.

Некоторые хутора выбрасывали белые флаги, заявляя этим свою «нейтральность». Другие делились на две группы: «нейтральных» и «восставших». И, наконец, были хутора, делившиеся на резко обособленные три группы: «мироновцев», «кадет» и «нейтральных».

К этой последней группе, скрывавшей в себе и самый «шкурнический» элемент станиц и хуторов, в первые дни принадлежала и родная станица Ф. Д. Крюкова – Глазуновская.

Все эти колебания казаков, бесконечные споры их на собраниях, начинавшиеся с раннего утра и кончавшиеся поздним вечером, угнетающе действовали на Федора Дмитриевича, жившего в своей станице и часто вызывавшегося казаками на сбор, – для разъяснения тех или иных вопросов. Для него, приговоренного уже к смерти и чудом спасенного от расстрела, все вопросы были ясны – нужно братья без колебаний за топоры и вилы и очищать родную землю от разбойничьих банд, именовавшихся революционным народом.

Но это мнение не было по душе большинству казаков его станицы, для них более были приемлемы призывы обыкновенных шкурников, скрывавшихся под видом нейтральных, и в то время, как большая часть боевых казаков ушла к Миронову, а меньшая сражалась в рядах кадет, шкурники философствовали в станице на тему: «моя хата с краю».

Все убеждения Федора Дмитриевича на сборах, что эта шкурническая позиция не спасет их от расстрелов и грабежей красы и гордости революции – матросов – уж по одному тому, что они казаки – на его станичников не действовали, и только позже они убедились в этом горьком опыте, и Глазуновская станица была впоследствии одной из непоколебимых в своей стойкости в борьбе с красными.

В эти тяжелые первые дни начала борьбы с красными в Усть-Медведицком округе, в дни полной неопределенности, душевного шатания и неуверенности, не только в далеком будущем, но и в завтрашнем дне, в тяжелой общей душевной угнетенности – только учащаяся молодежь местных учебных заведений, с примкнувшими к ней студентами, была бодрa и весела. Образованный из нее подьесаулом Алексеевым партизанский отряд, с пением своего бодрого марша, ходил за станицу на обучение, резко выделяясь среди общего угнетенного состояния.

А оно питалось фронтом, с которого шли тяжелые вести, – молодые казаки, так называемые фронтовики, сформированных в станицах отрядов держали себя неопределенно, среди них было много колеблющихся, а из хуторов левого берега Дона и прямо сочувствовавших Миронову, – все это создавало неуверенность в отрядах. Отдельные отряды часто митинговали, отказываясь выполнять боевые задания, все еще надеясь на мирное разрешение вопроса, – быть ли в округе большевистским советам или жить казакам по старине?

На поднявших восстание Усть-Хоперцев, мужественно дравшихся с большевистскими бандами, сыпались упреки в поднятии напрасно оружия.

Знаменитый Кузьма Крючков, бывший по обыкновению в первых рядах, жаловался, что ему нельзя слова сказать, как ему сейчас же со злобой говорили: «Всемирную славу хочешь и генеральские погоны?»

При таком крайне неопределенном настроении казаков, не могло быть уверенности в поднятое ими же самими дело борьбы с большевиками у офицеров, призванных казаками же в свои отряды. Своим жертвенным примером они воодушевляли свои отряды и многие из них гибли при обстановке, исключавшей возможность этого в иных условиях, – так погиб сотник А. И. Емельянов, не поддержанный казаками отряда при команде его «В атаку!...»

Но поднятое дело борьбы все же не умирало, напротив, оно росло и ширилось. Один за другим приставали нейтральные хутора к восставшим и высылали свои отряды за Дон на помощь бившимся там казакам.

И целые дни, на вершине пирамиды, ставшей теперь «исторической» точкой округа, стояли толпы народа, молча, пристально всматриваясь в даль Задонья, где на широком, многоверстном пространстве горели отдельные хутора и кое-где рвалась над ними шрапнель... гудели орудия.

А по дорогам зеленеющей майской степи из присоединившихся хуторов заунывными казачьими песнями, полными грусти, тянулись змейки казачьих отрядов, шедших к Дону на сборный пункт.

Далекой, эпической стариной, обвеянной грустью, веяло от всей этой картины... На горе часто бывал и Федор Дмитриевич Крюков... Здесь мало говорили, но само молчание говорило больше всяких слов. В такой обстановке, между жизнью и смертью, в ст. Усть-Медведицкой был устроен «летучий» концерт для получения средств на первую помощь раненым.

Утром, в день концерта, к уезжавшему Федору Дмитриевичу в свою Глазуновскую станицу, только что освобожденную от большевиков, повидать родных и свой очаг, обратилась его квартирная хозяйка,

А. В. Попова, приглашенная участвовать в концерте, написать что-либо для прочтения ею на этом вечере.

Федор Дмитриевич... уезжая, вышел из своей комнаты и, передавая ей набросанный «Родимый Край», сказал: «Подойдет – прочтите, а нет – выбросьте»...

«Родимый Край» был прочитан под аккомпанимент – экспромт рояли П. П. Васильева и произвел неопишное впечатление... В открытые окна переполненного зала реального училища с далеким видом на Задонье, видно было зарево горевшего в двадцати верстах за Доном хутора Зимовника – то отряд красных, предводительствуемый матросом, жег дома семей офицеров, ушедших в противные отряды. Изредка слышны были одиночные орудийные выстрелы...

На сцене сидели 17 юношей партизанского отряда, раненых в бою под хутором Шашкиным, где из отряда в сто человек было одних только убитых 26...

Один за одним проходили вокально-музыкальные номера грустных мелодий, невольно отражавших общее настроение, и наконец вечер заканчивался мелодекламацией А. В. Поповой. С редким по теплоте чувства искусством стала она читать это стихотворение под мелодию казачьих песен, полную тоски и грусти. Прочитанный несколько раз подряд «Родимый Край» произвел на присутствующих неизгладимое впечатление...

Его наизусть знала молодежь, в сотнях экземпляров его требовали на фронт, и со словами из него «за честь Отчизны» шли в бой молодые и старые казаки.

Психологическое влияние на казачьи массы этих немногих строк, сочетавших в простых и ясных словах близкие и безгранично дорогие душе и сердцу каждого Донца понятия, – было огромно. Они, эти немногие строки, связывали его настоящее с далеким прошлым истории его Родного края, обвеянной такой поэтической красотой, и в тяжелые, мрачные дни полной неизвестности его настоящего они придавали бодрость и укрепляли веру в будущее. В этих строках казаки своей простой душой глубоко чувствовали, что в их многовековой истории начинается новая страница, и что, написанная их слезами и кровью, – она не забудется русским народом.

Нужно было видеть эти вдохновенные лица молодежи и слышать бесконечные повторения отдельных мест из «Родимого Края», чтобы понять оставленное впечатление в каждом, прочитавшем его, и оценить все его психологическое значение на поднятие духа и настроения в колебавшихся народных казачьих массах...

Убитая молодежь в первом бою с Мироновым из отряда партизан подьесаула Алексева, в числе 13 трупов, была похоронена в общей

могиле, на высшей точке горного берега Дона, в четырех верстах от Усть-Медведицкой, называющейся «Пирамидой» и на огромном деревянном кресте над этой «Братской Могилей» был приведен конец из «Родимого Края» от слов «...Во дни безвременья, в годину смутного развала...», но по занятии 29 января 1919 года Усть-Медведицкой станицы красными, крест начали рубить, но Миронов остановил и приказал сорвать только эту надпись.

В ясные летние дни с «Пирамиды» открывается редкая по красоте картина беспредельной Донской степи, с извивающимися на много десятков верст вокруг нее Доном и красивыми степными притоками его: Хопром и Медведицей. По радиусу в 80 верст с «Пирамиды» видны станицы и хутора, утопающие в зелени садов и левад, с белющими в них колокольнями церквей. Легкой синеватой дымкой, среди зеленеющих лугов, отмечены пути Старого Дона, Медведицы и Хопра и какой-то особой грустью веет от картины кажущихся беспредельными пустыни сыпучих песков, левого берега Дона...

У подножия «Пирамиды», на берегу Дона, с впадающей в него с противоположной стороны Медведицей, красиво расположился Усть-Медведицкий Преображенский монастырь, так много раз воспетый Ф. Д. Крюковым... в произведениях, придающий какую-то особую мягкость и теплоту общей картине...

Нужно было видеть Ф. Д. Крюкова, присутствовавшего на похоронах этих первых жертв «гражданской войны», чтобы понять его душевное состояние... Оно вылилось во втором его стихотворении в прозе, названном им «Пирамидами» и посвященном героям «Братской Могилы»...

Федор Дмитриевич Крюков умер 20 февраля 1920 года на Кубани.

П. Скачков

[Перепечатано: «Донская Летопись», № 1, 1923]

ИЗ ЮБИЛЕЙНОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «ДОНСКИЕ ВЕДОМОСТИ».

18 НОЯБРЯ 1918 Г.

ТЕЛЕГРАММА ДОНСКОГО АТАМАНА ЮБИЛЯРУ

Донским Атаманом отправлена в станицу Усть-Медведицкую Федору Дмитриевичу Крюкову следующая телеграмма:

«Как старый писатель, беллетрист, приветствую Вас, Федор Дмитриевич, с Вашим юбилеем и желаю еще много, много лет дарить русскую литературу Вашими высокохудожественными очерками. Как донской казак, счастлив сознавать, что не иссяк Дон Иванович крупными талантами. И имя Ваше как перл сверкает среди имен родной литературы. Как Атаман горжусь быть представителем народа, который дарит великую Россию столь славным именем как Ваше. От души желаю вам здравствовать на многие годы. Привет и поздравление и доблестной Усть-Медведицкой станице с юбилеем ее талантливого станичника».

Донской Атаман

Краснов

* * *

ПРИВЕТСТВИЕ Ф. Д. КРЮКОВУ

Комиссия законодательных предположений Войскового Круга по случаю 25-летия литературной деятельности Донского писателя Ф. Д. Крюкова послала юбиляру в Усть-Медведицкую станицу телеграмму такого содержания:

«Примите наш сердечный привет и поздравления. Четверть века честно служили Вы мыслью, созидая духовно “Русское Богатство”, воплощая в несравненные художественные образы быт Донского края. Донцы никогда не забудут заслуг своего согражданина-писателя. Душою мы с Вами. Провозглашаем Вам здравицу».

По поручению членов Комиссии
Председатель

Харламов

* * *

«Донская волна» «КРЮКОВСКИЙ НОМЕР»

Сегодня вышел специально посвященный Ф. Д. Крюкову № 23 еженедельник «Донской волны».

Номер богато иллюстрирован фотографиями писателя в разные периоды его жизни, зарисовками, портретами с натуры и карикатурами.

Помещены статьи, фельетоны и стихи донских писателей и журналистов Романа Кумова, С. Я. Арефина, Виктора Севского, Сергея Пинуса, Макса, П. С. Автономова, Н. А. Казмина и др.

Весело составлен сатирический отдел журнала «Митинг улыбок», в котором рассказ Вл. Кадашева «Товарищ Либкнехт», стихи Якова Гальского, Фил. Пенкова и др. Карикатуры, шаржи А. Н. Воронецкого, Конст. Ротова и Леонида Кудина.

* * *

СБОРНИК В ЧЕСТЬ Ф. Д. КРЮКОВА

Ко дню юбилея Ф. Д. Крюкова на его родине в ст. Усть-Медведицкой выпущен сборник «Родимый край», посвященный писателю.

В сборнике статьи и рассказы Романа Кумова, Сергея Пинуса, М. Коновалова и др. и письма Влад. Короленко.

* * *

ТЕЛЕГРАММА ЮБИЛЯРУ ОТ РЕДАКЦИИ «ДОНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

Редакцией «Донских ведомостей» отправлена Федору Дмитриевичу Крюкову следующая телеграмма:

«Вам, дорогой Федор Дмитриевич, и ... родимого края Донского, шлют привет редакция и сотрудники “Донских Ведомостей”. В вашей честной и блестящей четверть вековой работе писатель и общественные деятели черпаем мы силу для своей работы и надеемся с вашей поддержкой служить нашей газетой на пользу и благо Дона и России».

* * *

ТЕЛЕГРАММА КРЮКОВУ ОТ «ДОНСКОЙ ВОЛНЫ»

Редакцией «Донской волны» Федору Дмитриевичу Крюкову отправлена приветственная телеграмма следующего содержания:

«Редакция “Донской Волны” земно кланяется писателю Земли Донской и верит, что попирует на золотой свадьбе казака с литературой».

Виктор Севский

* * *

ПРИВЕТСТВИЕ Ф. Д. КРЮКОВУ ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТАНИЦЫ

В студенческой общеказачьей станице при Донском Университете Федору Дмитриевичу Крюкову отправлена телеграмма следующего содержания:

«Студенческая общеказачья станица при Донском университете поздравляет с золотым днем 25-летней литературной деятельности».

* * *

ТРИ МОМЕНТА

Помню, это было давно. Я был еще маленьким школьником. Изредка приезжал я через станицу Глазуновскую, родину Крюкова, приютившуюся на лесистом берегу бурливой Медведицы.

Помню, с трепещущим замиранием сердца подъезжал я к родине Ф. Д. Крюкова. И с какою-то безотчетностью, болезненною тоскою и сожалением провожал я глазами исчезающую вдаль станицу. Это было давно. Далекие уже прошедшие образы встают перед моим душевным взором.

И чудится, что это было вчера. С каким-то горячечным любопытством по приезде в свою станицу бросаюсь и просматриваю в «Огоньке» овалы медальончики депутатов-земляков эпохи первой Государственной Думы. Каким-то особенным неподдельным брыз-

жущим восторгом искрятся мои глаза, когда среди других я нахожу депутатов от Донской области.

То были мои первые знакомства с именем Крюкова-депутата.

* * *

А это было, помню, в окружной станице.

В этот же период я узнал, что депутат Крюков – писатель. Про него мне рассказывали так, что у меня складывалось впечатление о нем как о живом писателе. Новый Крюков-писатель вытеснил из моей души и старого Крюкова-депутата, и я уже знал, что он для меня немножко депутат, но больше писатель.

При чтении его рассказов, передо мною вставали и чудная разноголосая донская степная ночь, с ее хороводом сверлящих ухо звуков, и картинки патриархальной жизни каких-то хуторков, склеенных из многих уголков, виденных мною.

В ночную звенящую тишину, при чтении его рассказов, я слышал величественное скрипение журавцов, блеяние овец, коз, мычание коров, гонимых разгоревшейся краснощекой, брызжущей жизнью казачкой на водопой. Минуты чтения, посвященного этим маленьким улейкам, вызывали во мне какое-то сердечное забвение и мысли горячие наполняли все мое существо и разжигали любовь к прелести жизни этих серых уголков.

Такие минуты чаще всего приходят в глуши, где нет ни звона, ни грохота, ни суетливой скачки бездушного, с каменным сердцем, города, а там, в степи, в заброшенной хуторке, где по утрам и вечерам одна лишь музыка – журавец, да гомон по колодкам стучащих баб, где временами кажется, что нет кругом людей, а только гуси, куры и телята.

И такие чудные минуты, обвевающие какую-то нежною дымкою жизнь незаметных хуторов, впервые показывались рассказами из Донской жизни Крюкова.

* * *

Позже, уже в юношеском возрасте я встретил Крюкова в своей родной станице Усть-Медведицкой.

Из этих встреч в мою память врезалась первая встреча.

День был яркий, весенний. Журчали маленькие ручьи. До того я прослышал, что Крюков в станице. Всех станичников я знал наперечет. Чтобы не пропустить писателя <...> портрету, лицо Крюкова, и приготовился к встрече.

Иду по грязной К<...>ской. Встречаются три человека. Среди двух, в черном костюме, с заложенными сзади руками, с белым отовсюду

выглядывавшим галстуком, узнал я Крюкова, я вперил свой взгляд в заученный образ и проводил его глазами за угол квартала. Передо мною остались переплетенные пальцы его черных перчаток, коренастая сутуловатая фигура и забрызганное грязью великорусское пальто. Скрывшись за угол квартала он продолжал идти в моем воображении медленно, но решительно походкой. От его собеседников остались какие-то слегка прыгающие фигурки.

Последний раз я видел его уже здесь, в Новочеркасске, на Круге. Гудел надо мною зал театра. Президиум был где-то далеко на сцене. Желтели в сумраке лица. Блестели стекла пенсне, отражая свет. Крюков был секретарем Круга.

Вот, думаю, в протоколах будут и казацкие <...>вы, и скрипение торжественных журавцов, и запах удушливого укропа. Увидел я только его серую фигуру по правую сторону длинного, зеленого стола, <...> кипами бумаг.

Теперь же я знаю, что он у себя, в родных местах поет и славит широкие, Донские, степные, полынные просторы.

И. Сямарохов



Ф. Д. Крюков
с племянницей

Фотография и рисунки
на сс. 310, 325 и 328 взяты
из юбилейного номера:

Донская волна. № 23. 1918 г.

ЖИЗНЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф. Д. КРЮКОВА

Посвящается учащимся

Жизнь человека это – материал, это тот воск, тот мрамор, та бронза, из которой мы отливаем свой образ. Много этого драгоценного материала мы портим в силу наших пороков и грехов по нашей духовной немощи: или та или другая часть этого материала лежит и потом сдается смерти неиспользованной глыбой в силу нашей ленности. Но есть люди, – и мы все должны походить на этих людей, – которые работают над своей жизнью резцом своей воли и своего идеала. Свет идеала горит в каждом человеке, идеал все более проясняется при устремлении к нему человека, и есть люди, которые из своей жизни и своей жизнью создают высокое художественное произведение, и сами становятся для нас идеалами.

Не только литература, но и наука, и гражданская работа должны содействовать достижению нами, каждым в отдельности и всеми вообще, единственной этой цели, достойной человека, именно – цели совершенствования. Через ошибки и падения, через порывы и медленную работу над собой, через познание и усилия воли мы должны идти вперед и выше: жизнь есть восхождение, и главный смысл литературы и всякого искусства есть содействие этому восхождению.

Литература, как и всякое искусство, дает нам познание жизни и самих себя, и это познание есть средство нашего духовного восхождения. Как живут люди и как надо, жить, – исследование этого вопроса есть явная или скрытая цель всякого большого искусства и бессознательная или сознательная цель всякого большого художника.

Ф. Д. Крюков дает множество бытовых картин русской крестьянской и казачьей жизни, но с какой же целью писатель пользуется остротой своего художественного зрения, богатством своей художественной памяти и мастерством своего языка? Это собрание пейзажей, типов, сцен, жизненных случайностей не предназначено для сдачи в архив или в музей как безразличный материал истории и этнографии

оно не предназначено и для простого увеселения, для простого развлеченя читателя, как особый занимательный способ убивать время. Нравственный свет, проникающий рассказы Крюкова, делает их не только прекрасными, – этот свет осеняет и открывает нам пути жизни. Один из приемов художества Крюкова для нравственного воздействия на читателя, это – выявление скрытого горя. Горе и скорбь часто закрываются формами и видимостями жизни, часто намеренно прикрываются скромностью или самолюбием человека. И вот скорбь живет, скрытая и неведомая для чужих равнодушных глаз и сердец, и к ней присоединяется новая тяжесть, – тяжесть одиночества. Еще чаще чужое горе так и остается для нас чужим по нашей тупости к его восприятию, обратившейся в позорную привычку. И опять горе и скорбь остаются одинокими, уже не по нашему неведению, не по нашему неумению различать и видеть их, а по нашему равнодушию.

Литература, поэзия, искусство ставят нас на порог религии: они приводят нас к этому порогу и в этот момент, исполнив свое назначение, покидают нас. Ни литература, ни религия не могут уничтожить страдания, как такового, но литература учит нас уничтожать злой элемент страдания: она воспитывает в нас универсальное сочувствие, чувство всеобщей виновности и круговой поруки за человеческие страдания; она дает нам дар прозрения, она ослабляет наше роковое разведение; она внушает нам, по крайней мере, умение слышать шепоты и воздыхания, видеть тайные слезы и скрытые раны, понимать душу ближнего.

Рассказ Ф. Д. Крюкова «Мать», это – наглядный урок, научающий нас спешить понимать чужое горе и девять его своим. Это – хождение по мукам старой казачки за своего сына, который, по вздорному делу, попал в тюрьму и которому, однако, грозит смертная казнь. Вот и ей, этой казачке, пришлось испить горькую чашу людского непонимания и невнимания, и не будь двух, по профессии и по сердцу участников, адвокатов, ее сын был бы повешен. А, ведь, раньше и она была грешна этим же непониманием и невниманием к чужому горю, как и все мы.

В рассказе «Казачка» студент Ермаков, интеллигентный человек, не глупый и по природе сердечный и чуткий, – каким несостоятельным оказался он в этой науке понимать чужое горе! Тайное горе казачки, которую Ермаков любит, близко подходит к нему, даже говорит с ним горькими намеками, но горе по природе недоверчиво и стыдливо, а он лишен настоящего понимания; намеки и жалобы казачки скользят по его душе задевают ее, но не проникают глубоко. И вдруг, однажды, утром ему говорят, что она повесилась... Самоубий-

ство часто, а может быть и всегда, – печальное следствие одиночества. Друзья и близкие человека, который решился на самоубийство, виновны в том, что не сумели подойти к страдающей душе или даже ее увидели этого страдания.

И другой интеллигент, учитель Васюхин, тоже не спешит помочь страдающей девушке, которую любит Нравственное бессилие чеховских героев, какая-то бледная не мочь сердца заставляет многих опускать руки и стоять в грустном раздумье, там, где нужно спешить понять чужое горе и спешим прийти к нему на помощь. И нищий, крестьянин Ферапонт, (в рассказе «Мечты», проводивший в осеннюю темень сотника до дому и намеками просивший у него муки, долго ждал, «все еще ждал, не раздастся ли хоть из-за калитки голос сотника: Зайди, мол, завтра, может отвесим тебе полпудика...») Но голос не раздался.

Возбуждая в нас нравственную боль за вашу позорную неспешность на пути к чужому горю, за наше привычное равнодушие к нему, Крюков предостерегает и от другого нашего греха: бросать камни в тех, кто уже и без того побит. Спешить на помощь, но не спешить осуждать, – вот другое нравственное положение, которое затаено во многих образах Крюкова. Смелей можно осуждать общее явление, чем отдельные личности. Осуждать можно, например, воровство, но вор вору рознь, и историю каждого преступления нужно рассматривать отдельно и внимательно, прежде чем осудить. В этом отношении еще раз нужно назвать рассказ «Мать». Если бы наше сердце всегда было сердцем матери!.. Люди, преступившие закон или общественный нормы, уже потому заслуживают внимательного к себе отношения, что они несчастны, они страдали и страдают: на ряду с людьми злой воли и корыстных побуждений совершают преступления и люди добрые, наделенные иной раз большой душой. Таков герой рассказа «В родных местах». Понять чужое преступление – это почти тоже, что понять чужое страдание, так как преступление очень часто ни что иное, как наиболее нам, опытным людям, чуждое и одинокое страдание. Одинокое и единичное преступление, какое, например, описано Крюковым в рассказах «Мать» «В родных местах», должно вызывать в нас чувство сострадания в милосердия, ту милость, которую призывали к падшим и Пушкин, и Достоевский, и Толстой. В этом отношении Крюков не изменил великим заветам русской литературы. Только ликующее и организованное преступление должно вызывать наше безусловное и мужественное осуждение, и вот почему длительное, планомерное и торжествующее преступление красных справедливо вызывает со стороны Крюкова в его последних публицистических выступлениях возмущение беспредельное и осуждение беспощадное. Нельзя быть равнодушным к добру там, где оно есть, но нельзя быть

равнодушным и к злу, если оно торжествует. Предоставлять добру самому справиться со злом, это и значит быть «постыдно равнодушным» к тому и другому.

Как будто в предвидении современной разрухи, когда остановился труд народа, и каждый человек взалкал труда и счастья труда, Крюков изображает эту выбитость из колеи и горькое сожаление потерявших почву людей о прежнем, о потерянном рае. Пусть труд иногда недостаточно вознаграждает, пусть он тяжел, но в обстановке привычного уклада родного быта, этот труд дает высший духовный подъем и минуты святого счастья. Терпуг (в рассказе «Зыбь»), натура сильная и сложная, начитавшись погромных брошюр социализма, потянулся из тесного быта на большую, как ему казалось, дорогу общественного строительства, но скоро, хотя уже и поздно, понял он, что это не более, как большая дорога грабительства и разрушения.

Его предсмертные мечты и думы с тоской благословляют прежний уклад его жизни, в этот миг, преобразившийся в светлый образ труда и нерушимого счастья. Позднее раскаяние, позднее прозрение, осевшее героя рассказа «Зыбь», учат, с какой осторожностью нужно относиться к позывам разрушать жизнь и строить новую, к этой мании переустройства, которая теоретически прививается и внушается неустойчивым людям агитационной литературой. У каждого из нас тысячи способов украсить, упорядочить, осветить и осчастливить собственную жизнь в данных нам пределах, но мы презираем это дело и мним себя способными устроить прежде всего жизнь всего народа, всего государства. И мнят это всего чаще именно те люди, которые оказались наименее способными устроить самих себя и свою собственную жизнь. И в этом отношении герой рассказа «В родных местах», этот каторжник, это единичное и одинокое несчастье и преступление, эта трагедия личности, — явление более высокого нравственного порядка, чем экспроприаторы, герои той «Зыби», которая знает не личность, а коллектив, не духовное алкание, а материальные аппетиты, той зыби, которая, все нарастая, превратилась, наконец, в современный нам красный шторм.

Сергей Пинус

ИЗ ЮБИЛЕЙНОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА

«ДОНСКАЯ ВОЛНА».

18 НОЯБРЯ 1918 Г.

Ф. Д. Крюков родился 4 февраля 1870 года в ст. Глазуновской О. В. Д.* Отец его, казак-землероб, долгое время был в родной станице атаманом, что особенно сблизило будущего писателя с казачьим общественным бытом. Первоначальное образование Ф. Д. получил в станичном приходском училище. С особенною признательною любовью вспоминает он всегда учителя этого училища. Гр. Ерм. Васильева, сумевшего возбудить у своих учеников интерес и любовь и к живой жизни, и к книге. В 1880 году Ф. Д. – поступил в усть-медведицкую гимназию и окончил ее в 1888 году с серебряной медалью. Высшее образование писатель получил в Петербургском Историко-филологическом Институте.

По окончании высшей школы Ф. Д. поступил на службу учителем истории и географии сначала в Орловскую гимназию, а потом, в связи с нашумевшими в свое время «Картинами из школьной жизни», в которых некоторые орловские педагоги увидели себя, перешел в Нижегородскую гимназию. Педагогическая деятельность писателя была прервана в 1906 году, когда он был выбран депутатом в 1-ую Думу от Донской области. Вместе с другими депутатами он затем подписал Выборгское воззвание и за это высидел три месяца в петроградских Крестах.

Художественно-литературная деятельность Ф-ра Д-ча началась в 1898 году, когда в октябрьской книжке «Русского Богатства» был напечатан его первый рассказ «Казачка». С этого времени писатель дает каждый год приблизительно по одному рассказу – педагогическая работа отнимала все время. Но по выходе из Крестов писатель всецело отдается уже литературной работе. Свои произведения он помещал преимущественно в «Русском Богатстве», в котором с 1912 года, за смертью П. Ф. Якубовича-Мельшина, состоит редактором художественно-беллетристического отдела вместе с Вл. Г. Короленко и А. Г. Горнфельдом.

Параллельно с литературной работой, не прекращается в то же время его общественно-политическая деятельность. Еще в 1-ой Думе он был членом-организатором «Народной социалистической партии».

* О. В. Д. – Область Войска Донского (до 1917 г.).

В свои наезды из Петрограда на Дон он принимает большое участие в местных донских делах.

Когда началась революция, Ф. Д. на конференции Народно-Социалистической партии единственный из числа присутствующих высказался за конституционную монархию, в силу чего принужден был уйти из партии. Однако это обстоятельство не помешало желать партии включить имя Ф-ра Д-ча в избирательные списки в Учредительное Собрание, но Ф. Д. отказался. В Учр. Собр. писатель шел по казачьему списку, и ныне, за смертью первых кандидатов в этом списке – Каледина и Богаевского, должен быть считаем выбранным в Учр. Собрание.

Наступивший затем на Дону большевистский режим всегда имел в писателе решительного противника. Большевики это знали, и когда красные этим летом побывали на родине писателя – ст. Глазуновской, они с особенным вниманием отнеслись к писателю, дом разграбили, а за самим Ф. Д. послали розыски. Писатель был найден на поле в шалаше и отвезен в центр большевистской власти на Дону в последнее время – в слободу Михайловку. Только счастливая случайность спасла жизнь писателя.

В августе этого года Ф. Д. был выбран на Большой Войсковой Круг от станицы Глазуновской и на Круге единогласно был почтен высоким званием Секретаря Большого Войскового Круга.

[Виктор Севский]

* * *

«О КРЮКОВЕ»

Крюков – донской национальный писатель. Через него впервые наши казацкие мочезинки и полынские степи заговорили о том, чем они живы. И Крюков первый из донских художников слова начал писать о них, скромнейших, так, что в каждой строчке его стояло, как налитая полно капля: «я горжусь, что я сын этих мочезинок и пустынных степей». Благородная гордость сына своей матерью-родиной. Нежнейшая привязанность сына к матери.

Но, все же, главная, замечательная сила его не в этом. Она – в его прекрасной любви ко всем людям без изъятия и ко всему живущему под солнцем. И эта благостная сила нашего первого донского национального писателя особенно дорога в наши дни внутренних распрей и кровей. Писатель – это уже мало в нашу тяжелую годину. И озеро отражает утонченно и роскошно небо со звездами, бездушное озеро. Сердце потребно нам в эти суровые дни, а не бесстрастный изобразительный талант. Сердце человеческое, То сердце, которое Царь Давид изображает под видом белого пахучего воска, струящегося на огне.

Этому сердцу низко поклонимся в день его 25-летней непрерывной творческой работы...

Роман Кумов

* * *

«КАЗАК КРЮКОВ»

В России, да и по всему миру, про казаков всегда рассказывали небылицы.

Где-то в Германии при каких-то раскопках был найден череп странного существа: не то обезьяна, не то человек. Ученые заинтересовались и стали доискиваться, строились разные теории и предположения.

Одни говорили, что это череп существа переходного периода от обезьяны к человеку, существа жестокого и кровожадного; другие, споря с ними, полагали, что это череп обыкновенный человеческий, но принадлежавший патологическому субъекту. Из этих последних один ученый обратил внимание на то, что череп найден был в местности, по которой лежал путь русских войск, гнавшихся за Наполеоном, и вот он, совершенно серьезно, в строго научном труде, высказал предположение, что череп принадлежит ... казаку, «представителю этой странной нации, населяющей юг России».

В России до этого не дошли, не рассказывают сказок про белых медведей, гуляющих под развесистой клюквой. Но все-таки и у русских людей нет правильного представления о казаках.

Лет восемь назад один инженер в Петрограде задавал мне вопрос: «Как велик у нас на Дону среди казаков процент ... магометан?» И когда я пытался убедить, что казаков-магометан на Дону нет, он отнесся к моим словам недоверчиво, впрочем, доверие его ко мне было подорвано еще раньше, когда я назвал себя казаком. В его голове, по-видимому, не укладывалось представление о казаке с моим штатским костюмом.

Этот инженер не одинок. Казаков, действительно, почти всегда представляют себе как воинов, на коне, с пикой. Этих, по-нашему, «военных» казаков часто видели в столицах в полках гвардии, на западной окраине. Про них рассказывали много, рассказывали и хорошее и дурное, то об их подвигах на позициях, то об их «зверствах» в мрачные 1905–6 годы.

Но казака-селянина, казака-хлебопашца не знали. А о казачках так даже и не думали, что они есть. «А на ком же простые казаки женятся?» — такой вопрос задала казачьему офицеру дама в столичном салоне.



Донской писатель © Д. Крюков
 1918 г. 100 коп. Издательство «Донской писатель»

В нелепости представлений о казаках виновна, в достаточной мере, и русская литература. Когда писалось о казаках, то имелись в виду казаки-воины. Про мирного казака-землероба почти не говорили, а если и касались этой стороны жизни, то касались или бледным, неярким пером или в местной казачьей печати.

Федор Дмитриевич Крюков, кажется, первый заговорил об этом. На страницах толстого, широко распространенного журнала двадцать пять лет тому назад появилась его «Казачка». И

с тех пор красочное талантливое перо писателя стало рассказывать русским читателям о казаках и казачках, их хуторах и станицах с куренями и левадами.

Открылся перед читателем новый, до того почти неизвестный ему уголок жизни: уклад быта казачьего, так непохожий на уклад мужицкой Руси; сочная яркая речь казачья с неожиданными оборотами; романтическая душа казака, его песня.

А Крюков хорошо знает и понимает этот уклад. Редкий дар наблюдательности помогает ему уловить мельчайшие характерные черточки. Недаром и глаза у Федора Дмитриевича такие острые, пронизательные (чуть-чуть с казачьей хитрецой) ничего не пропустят и возьмут самое важное, самый тонкий штрих отметят.

Речь же казачью Крюков постиг в совершенстве. В его очерках и рассказах казаки говорят своим живых языком. Эта способность передать натуральную казачью речь самая замечательная черта в творчестве Крюкова. Не знаю, может быть, я теряю беспристрастие, но мне кажется, что никем во всей русской литературе не достигнута та безыскусственность и натуральность говора простонародья, которую мы наблюдаем у Крюкова. У него нет ни слащавого сюсюканья, ни вульгарной подделки; он не вкладывает в уста своих персонажей интеллигентских слов и оборотов. Крюков говорит за них, как раз так, как говорят они сами.

Больше того, Крюков не только передает в неприкосновенности язык казачий, он и мысль казака сохраняет во всей ее непосредственной чистоте. Он не навязывает своим героям собственных мыслей, не

принуждает их чувствовать, как чувствует он сам. Душа казачья понята им проникновенно.

Душа казачья выливается в песне. И не простая случайность то, что в компании, когда хором поют песни, Федор Дмитриевич выступает в роли «подголоска». «Подголосок» чуть ли не самая характерная особенность казачьей хоровой песни, а Федор Дмитриевич роль подголоска исполняет мастерски.

Крюков показал русскому читателю казака.

После 1905–6 года, когда казакам пришлось нести, против их воли, полицейскую службу и принимать участие в «усмирениях», особенно сильно были распространены рассказы о казаках. Русское общество не учло развитого у казаков чувства дисциплины и стремления к государственности и стало думать о казаках, как о «прирожденных городо-вых». И, право, в то время даже лучшие русские люди были недалеко от немецкого ученого, приписывающего казаку череп неведомого кроважадного и жестокого существа.

До Крюкова мы могли извинить русского интеллигента за его заблуждения на счет казаков. Теперь мы вправе ему не прощать. Ибо теперь, в ответ на всякие рассказы, мы можем сказать:

– Ты невежда. Ты так говоришь потому, что не знаешь русской литературы. Есть большой русский писатель, почитай его, тогда ты поймешь, что такое казаки, и ты поймешь также, почему мы, казаки, гордимся нашим Крюковым.

Н. Казьмин

* * *

«БЫТОПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ ДОНСКОЙ»

Двадцать пять лет пишет Ф. Д. Крюков о казачестве. Двадцать пять лет любовного внимания к родному краю, тщательного, талантливого труда над поэтическим претворением своеобразного быта, неслужной психологии донского казака.

И его знают плохо. Даже казачья интеллигенция. Не та, что разбросана была по России и порвала связь с родиной и родным народом, не только живущая в донских городах. Часто, очень часто можно встретить учителя, священника, врача, работающих среди казаков, зачастую привязанных к ним, отдающих много труда родному народу и не читавших ни одного рассказа Крюкова. Не знают его даже в станицах очень близких к его родной – Глазуновской станице.

Не так давно в местной казачьей большой газете задавался недоуменный вопрос: «да что же сделал Крюков для пробуждения национального

самосознания в донском казачестве?» И немногие могли ответить на этот вопрос, немногие могли обнаружить глубокое невежество автора в донской общественной жизни.

Дико это. Обычно у нас в России, на Дону, но трудно мириться с тем, что талантливый, большой журналист, один из редакторов такого журнала, как «Русское Богатство», посвятивший большую часть произведений своей родине, своему краю, не читается своими земляками. Знают его как депутата первой Думы, теперь его фамилия часто мелькала на страницах местных газет в связи с последним кругом, но как писатель, он поразительно мало известен, и конечно, он этого не заслуживает.

Особенно теперь, последние годы, с 1905 года стали говорить о казаках. Тогда еще казачество выявило свое особое лицо. И одни его возненавидели, другие пели ему оды, курили фимиам. Начало войны сопровождалось крикливым восхвалением казачества, на дешевых папиросах и конфетах первым появился портрет земляка Федора Дмитриевича по округу – Козьмы Крючкова.

В первый же день революции 1917 г. телеграммы принесли радостную весть, что казаки с народом. И здесь, в этой революции вокруг казачества шел непрерывный гул разговоров, споров, сплеталась горячая, непримиримая ненависть с любовной надеждой, восторженным преклонением.

С самого начала и до наших дней.

Казака не знали. В торжественных, полемических и иных речах, в домашних спорах было много истории, ссылок на свои наблюдения, но знания Гомера казачества не замечалось.

Недоуменно наблюдали стойкость казачьих частей в пору развала фронта, как неожиданных диковинных гостей встречали «донских» большевиков-фронтников.

И не думали, что и казак-герой, казак – гражданин; и казак-большевик живет уже в рассказах Крюкова. В его рассказах живет и казак-земледелец, крепкий хозяин, восставший теперь против грабителей, нарушивших его, хотя и тяжелую, но мирную и любимую трудовую жизнь.

Говорят сейчас о необходимости родиноведения в школах всех ступеней. Нужно помнить о трудах Ф. Д. Крюкова. Они – единственный неисчерпаемый источник бытописания казачества.

Свои очерки и рассказы Ф. Д. Крюков издал в двух книжках. Это весьма редкие у нас книги. В 1907 г. «Русским Богатством» был издан сборник: «Казацкие мотивы» и лет пять-шесть тому назад вышли его «Рассказы». Большинство произведений в этих книгах (в первой шесть из восьми) посвящено казачьему быту. Кроме того, масса очерков, фельетонов и рассказов разбросана в книжках «Русского Богатства» и в номерах «Русских Ведомостей».

Редко когда поэт-Крюков уходил из станицы, от казаков. И не потому, что он не знает другой жизни, пишет ее хуже. Нет, и здесь встречаются у него редкие по художественности бытовые картины, острые, проникновенные наблюдения. Он любит свой край, его тянет к поэтическому переживанию своей родной земли, жизни родных ему людей.

Никогда не уходит он от людей, у него нет широких степей пустынных, безлюдных, нет глухого леса.

Любуется он лунной ночью «мечтальной, безмолвной и красивой» на сонной улице... теряющейся в «тонком золотистом тумане», где белые стены хат на лунной стороне кажутся мраморными и смутно синеют в черной тени. Небо светлое, глубокое, с редкими, неяркими звездами, широко раскинулось и обняло землю своей неясной синевой, на которой отчетливо вырисовываются купы неподвижных верб и тополей. Тишина, «сонное безмолвие» ночи нарушается стуком ночных обходчиков да тихими, нежными, робкими звуками песни. И мотив этой песни, мотив казачьей песни – «небогатый, ровный и грустный», звенит она «нежною грустью, увлекательною и задушевною, и манит к себе с какою-то неотразимой силою, и заставляет дрожать самые сокровенные струны сердца».

Весенним ранним утром, на восходе солнца, пахнет в станице отпотевшей землею и влажным казачьим дымом. Ладно и шумно. «Неистово орут кочета, мягким, медным звоном звенит вдали гагаканье гусей; вперебой блеют выгнанные на улицу овцы и ягнята, – как школьники нестройным, но старательным хором поющие утреннюю молитву; в кучах сухого хвороста сердито-задорно считаются между собою воробьи»...

«Звонкое, короткое хлопанье кнута сменяется то отрывистым, то протяжным бойким свистом и переплетается с добродушно грозными, понукающими голосами:

– Цоб! К-куда? Цобэ, перепелесый, цобэ! Гей, бычки, гей! Цоб-цоб-цоб! («Зыбрь»).

Степь «шевелится и звучит пестрыми голосами». Оглашается она иногда «звонким и гулким ударом», «взрывом общего, дружного шума» дерущихся пьяных станичников.

Не уходит от людей поэт. Внимательно и любовно присматривается к важному и мелкому в их жизни, к прекрасному и безобразному.

Тщательно записывает курьезы языка: Вы – люди?! Вы хуже мухи летящей!.. Митрий, оставь! говорю: прекратить! сам себя... Ведь дурак, несовершенного ума...

Необыкновенно живо он передает тонкими штрихами исковерканную на военной службе своеобразную казачью речь.

В произведениях Ф. Д. Крюкова вся несложная и так редко нами понимаемая жизнь казака и казачки. Здесь его четкая и яркая фигура,

сделанная резцом талантливого скульптора... простое открытое лицо с русою бородкой... широкие, слегка опущенные плечи усердного земледельца... и во всем этом... что-то покорное судьбе, смиренное и вместе неуклюже-могучее. Кулачный боец Бугор с длинными волосами, развевающимися по ветру, как львиная грива, с огромной стройной, красивой своей силой фигурой, напоминающей царственное животное.

А вот казачка: «она вскинула на него свои карие, блестящие глаза и улыбнулась весело и недоверчиво. Смуглое лицо ее, продолговатое, южного типа, с тонким прямым носом, с тонкими черными бровями и глазами, опущенными длинными темными ресницами, было особенно красиво своей улыбкой: что-то вызывающее, смелое и влекущее к себе было в ней, в этой улыбке»...

Все, что переживает казак, в своей однообразной жизни – проводы на службу, на войну, кулачки, пирушки, любовь, искания правды, счастья, чувства матери, отца, – проникновенно освещено ровным спокойным, зачастую сверкающим юмором, талантом художника.

Особенно хорошо, четко рисует Крюков захватывающие, бурные и красивые своей беспредельной страстностью картины любимого казачьего спорта – кулачек. К ним он часто возвращается; есть описание кулачек и в «Казачке» и в «Зыби». Здесь во всю ширь проявляется удаль казака, стойкость, любовь к боевому гару, здесь он приучается к войне. И когда ребятишки спрашивают старика-воина, – А что, дедушка, страшно на войне? – Дед отвечает, – Вот, милый, как на кулачках: сперва страшно, а как разгоришься, так ничего. Все идет по ритуалу, начинают драку мальчишки. Старшие подзадоривают. Увлекаются сами. Выступают бойцы-одиночки. Идет стена на стену.

Это праздник, здесь – песни, хоровод, любовные свидания, молодечество ради ласкового женского взгляда.

«Станица всегда поет». Поет она и тогда, когда провожает своих сынов на войну, а провожать приходится часто. И тогда слышатся песни... грустные, песни разлуки, прощанья, песни тоски по родине и проклятия чужбине... Хорошо встречать... Звенит бодрая, радостная песня приветствия тихому Дону: «За курганом пики блещут».

Подошли мы к Дону близко...

– Здравствуй, наш отец родной!..

Но, провожая, станица плачет и поет о столах нестерпимой материнской муки, о запустелом доме, о сиротстве детей, о неумолимой тоске, постылой чуждадельной стороне, где постелюшка – мать-сыра земля, изголовище – бел-горюч камень, одеяльце – шелкова трава... («Станичники»).

Тоскует казак в больших, каменных казармах, надоедает ему спать, тянуть однообразные песни, переругиваться, слушать сальные

рассказы... вспоминается ему станица, ее праздники, кулачки. Гложет сердце злая ревность.

Пишет он на родину. И здесь твердая своеобычность, привычные, десятилетиями выработанные формы. «Затем, дорогая моя мамушка, Варвара Аксеновна, – во-первых, беру перо стальное и пишу письмо дорогое. Ты лети, мой листок, от запада на восток, ты лети возвевайся, никому в руки не давайся. Дайся тому, кто мил сердцу моему, и дайся одной – моей мамушке, родной»... и т. п. и т. д. – много в письме казака отступлений, формальный приветствий, зачастую неожиданностей, напр., в рассказе «Казачка» письмо прерывается заглавием «глава 3». Расспрашивает казак о мелочах своего хозяйства, отдает подробные распоряжения, посылает поклоны всем, а о жене – ни слова.

И заливаясь горькими слезами мать, истосковавшаяся по сыну, измучившаяся без хозяина.

Жена – «жалмерка» редко остается верной мужу. «Обыкновенная история» жены казака-воина, оставшейся без мужа, в опасном жутком одиночестве, тепло, мягко и сочувственно рассказана Ф. Д. Крюковым в его: «Казачке», «Станичниках», «Зыби», «Офицерше».

Все это повторяется, все это из поколения в поколение, варьируясь в частности, переживает казак. 1905 год нарушил это однообразие. Казак Андрей («Станичники») идет не на войну, как его деды и прадеды, а в город, «на усмирение». В нем и его родных возникают сомнения в нормальности, законности такой службы, бьется мысль, ищет привычных берегов и... не находит. Мутит душу, толкает на дикие выходы вроде «экспроприации» у станичных купцов («Зыбь») шести аршин кашемиру и 18 руб. 43коп.

Было это давно. Никто не видел того, что видел и слышал поэт. Никто ведь и перед самым появлением большевизма в станицах не



Донской писатель Ф. Крюков
Рисунок из журнала «Донская волна»
(№16, 30 сентября 1918)

допускал возможности распространения здесь этой болезни. А между тем, было в казачестве что-то для него благоприятное. Станичные купцы ограблены и когда об этом узнали, то прежде всего удивились и прониклись невольным уважением к героям, точно им удалось перешагнуть, наконец, заколдованную черту, за которую многие давно хотели бы заглянуть да мешала смутная робость».

Чужим, одиноким живет среди казаков интеллигент. Любит свою родину, студент Ермаков («Казачка») своих станичников, льнет к ним, но «грустно ему в их шумной, веселой, беззаботной толпе... чужой, неумелый и ненужный» он здесь. Учителю Васюхину («Дневник учителя Васюхина») кажется, что никому в станице «нет никакого дела ни до его одинокой тоски, ни до его дум и волнений, в которых, однако, их интересы занимают такое видное место».

Далеко, конечно, не дано в этом наброске полного представления о ценных художественных открытиях нашего донского поэта, но много уже то, что хоть часть краевой интеллигенции узнает, о чем он думал, чем был и волновался, может быть, хоть через двадцать пять лет после появления его первого рассказа («Казачка») прочтут его те, кому приходится жить и работать среди донского казачества».

П. Автономов

* * *

Ф. Д. КРЮКОВ КАК ПОЛИТИК

Федор Дмитриевич Крюков вспоминается мне больше всего и ближе всего в своей политической деятельности.

Волею нашей общей мачехи – всероссийской судьбы – он был втянут в водоворот политики, отдал ей массу сил, времени, нервов, пожертвовал для нее нормальным ходом развития своего мягкого лирического дарования.

В трудные времена пришлось ему начать свою политическую «карьеру».

Превратности русской истории довели страну в то время до тупика, дальше уже начинался застой, «гниение на корню» всех ее богатых возможностей областей. Гнет самодержавия давил тогда со всею силою произвола. Все живое задыхалось.

Наиболее активные элементы русской интеллигенции уходили в подполье, чтобы, рискуя свободой, здоровьем, всем своим будущим, нередко жизнью, подтачивать из него песчинка за песчинкой глухую

каменную стену бюрократически-самодержавного усмотрения. Менее активные изворачивались на все лады, чтобы как-нибудь отстоять возможность «легальной деятельности» на пользу общества.

Началась русско-японская война, приближалась и настала первая русская революция 1905 года.

Политическая деятельность в то время была далеко не шуткой. Она требовала от человека, сознавшего себя гражданином, готовности к самопожертвованию, отказа от многих и многих деталей личной жизни, а в некоторых случаях и почти аскетического подвижничества, и во всяком разе, готовности ко всяческим, самым неожиданным сюрпризам и превратностям судьбы. Самодержавию был объявлен «шах» и самодержавие боролось за свои prerogatives далеко не мягкими мерами.

Ф. Д. Крюкову пришлось испытать на себе эти превратности судьбы, когда он из парламентского кресла депутата 1-й Государственной Думы должен был перебраться на скамью подсудимых, а затем и в одиночную камеру «Крестов» за подписание Выборгского воззвания.

В члены Государственной Думы Ф. Д. Крюков прошел от Донской области.

В то время казачество только что просыпалось. Гнет самодержавия давил и его не меньше, если не больше, чем остальных российских подданных – к общему бесправию по отношению к нему присоединилось еще и бесправие специфически казачье в виде кабалы от военного министерства, но казачество искало еще тогда выхода не в том направлении, где искала его вся остальная Россия. Казакам – я имею в виду массу казачью – казалось еще тогда, что в союзе с самодержавием они смогут лучше и вернее обеспечить свою судьбу и казачьи шашки еще прикрывали тогда шатавшийся трон.

Трудна была тогда работа на Дону, трудна была и обязанность представителя казаков в первом российском парламенте.

Интересы и нужды казаков вопили к небу, но интересы и нужды эти в то время заслонялись в глазах широких кругов русского общества той одиозной обязанностью «усмирителей», которую заставило нести казаков самодержавие.

Надо было раскрывать глаза казакам, на них самих – «чем ты был и что стал!» надо было бороться и с общественными предрассудками, сложившимися против казаков в широких кругах русского общества. Ф. Д. Крюков делал и то и другое.

Усть-Медведицкий округ до сих пор, думаю, помнит и чтит деятельность Ф. Д. в первом направлении; деятельность его во втором направлении не забыта русской журналистикой, которая знает и це-

нит Ф. Д. Крюкова за его письма с Дона и очерки Дона в «Русском Богатстве» и «Русских Ведомостях».

А признание русской журналистики – придиричливой, избалованной и капризной в этом отношении – чего-нибудь да стоит!..

Припоминая деятельность Ф. Д. Крюкова в период от 1-й русской революции до начала настоящей войны, поскольку мне пришлось наблюдать ее, я не могу не отдать должное той стойкости и безропотному и, пожалуй, благодушному терпению, с какими он переносил сыпавшиеся на него жизненные невзгоды, явившиеся результатом его определенной политической деятельности.

Подпавав преследованию за Выборгское воззвание, Федор Дмитриевич лишился возможности вернуться к педагогической деятельности, потерял место и в зрелых уже годах должен был начинать сызнова свою деловую «карьеру». Приютив его тогда у себя, Петербургский горный институт предоставил ему место библиотекаря с грошевым содержанием. Помню, шли мы как то с Ф. Д. через Николаевский мост, и он с непередаваемым юмором рассказывал мне о своих делах.

– Вот я, как-никак, действительный статский советник, по старости лет принужден снова служить на 35 рублей в месяц.

Жить в Петрограде в то время на 35 рублей было нельзя, но Ф. Д. перебивался кое-как, пока его удерживали в Петрограде общественные обязанности.

Как член центрального комитета народно-социалистической партии, пробовавшей тогда выйти из подполья наверх и «легализоваться», Ф. Д. нес на себе сложные обязанности по организации молодой партии и выбраться из Петербурга ему было нельзя. Только разгрузившись от этой работы, он получил возможность покинуть Петербург и приехал на Дон в «свою» Глазуновскую станицу и стал жить исключительно литературным заработком.

С этого времени начинаются его известные «письма с Дона» и «очерки Дона», в которых он рассказывал русскому обществу все то, что он подглядел и подслушал среди казаков в своей Глазуновке.

Не скрывая и не прикрашивая ничего из тех наблюдений, которые рисовали казаков с отрицательной стороны, Ф. Д. умел все же выделить то основное здоровое ядро казачьей самобытности, которое уцелело еще исстари и которое заставляло его беречь, холить и отстаивать эту самобытность. Поступаясь для нее кое-чем из чистоты программных построений.

Ф. Д. Крюков издавна был, если можно так выразиться, романтиком казачества. Его привлекали и пленяли в казаках их простодушие, незлобливость, доверчивость, нетребовательность и доброта, своеобразие и патриархальность их быта и отношений. Задумываясь над

возможностью сохранения положительных качеств казаков и привлекавших его сторон из быта, Ф. Д. подобно многим другим из своих земляков находил, что эти качества сохранились до последнего времени, благодаря изолированности казаков от остального населения России, и готов был согласиться на продление этой изолированности и в дальнейшем. А так как изолированность эта обеспечивалась больше всего особенностями военной службы и порядка ее отбывания, Ф. Д., зная и учитывая все отрицательные стороны этих особенностей, шел все-таки на сохранение их, рассчитывая при их помощи задержать и укрепить то своеобразие казаков, которое ему было так дорого.

В последний год Ф. Д. пришлось, видимо, пережить очень много. Большевизм с его упрощенными схемами людских отношений, с его «экспроприацией экспроприаторов», переведенный на общепонятный доступный для масс язык формулой – «грабь награбленное» от которой в неискушенных диалектикой головах оставалась только первая половина, – именно: «грабь!» – внес сумятицу и в донские полки. А через них и в станицы. И Дон увидел у себя «советы» и советскую власть со всеми атрибутами последней. В частности, не избежали этого поветрия Усть-Медведицкий округ и Глазуновская станица, в которой жил Ф. Д.

Конечно, Ф. Д. попал в разряд «буржуев», был зачислен в «контр-революционеры», и ему пришлось скрываться и, в конце концов, быть арестованным красноармейцами своей же Глазуновской станицы, на-вербованными из иногородних, сидеть в Глазуновской «холодной» и испытать прелести большевистского этапа...

Как удалось ему выцарапаться невредимым из всей этой передраги, я не знаю. Но он потом принимает участие в организации восстания в округе против большевиков, и кажется, участвует и в самом восстании.

Он не любит рассказывать о своей деятельности, но один раз в разговоре со мной у него вырвалась такая усмешка:

– Вот, пришлось собою и генерала на белом коне изобразить!..

Восстание удалось, большевики вытеснены из пределов области, появились первые завязи порядка, законности, окрепли, пошли в рост. Прошли выборы делегатов большого войскового круга и мы видим Ф. Д. Крюкова секретарем круга. И после долгого периода мытарства, разочарований, скорби о падении и развале горячо любимого края, здесь на крупе впервые ощутил старый писатель и общественный деятель горячую радость.

– На параде молодых донских полков, представленных войсковым атаманом кругу, увидел я, – рассказывает свои впечатления в киевской газете «Вечер» Ф. Д., – прояснилось затуманенное скорбью лицо родины.

Все, что было дорого и мило, все, к чему навеки приложилось сердце, с чем неразрывно срослось оно невидимыми корнями, могучим прибоем вырывалось из глубины подсознательных тайников души и воплощалось в одном звуке, трепещущим восторженным порывом:

– Родина...

Выпрямлялась согбенная под тяжестью тяжелых сомнений душа, ширилось сердце радостной верой...»

«Цветы лазоревые и полынь горькая – трава родная!» – в этих словах весь Крюков с его горячей неостывающей любовью к родному Дону со всеми его достоинствами и даже недостатками.

«Не по-хорошу мил, а по-милу хорош» Дон для старого писателя.

С. Арефин

* * *

«ПИСЬМО В. Г. КОРОЛЕНКО К Ф. Д. КРЮКОВУ»

В. Г. Короленко, крестный отец Ф. Д. Крюкова как писателя, всегда тепло относился к донскому писателю и состоял с ним в оживленной переписке.

Приводим одно из наиболее интересных писем Короленко к Крюкову, свидетельствующее о том, как ценил донца-писателя старый редактор «Русского Богатства». Письмо датировано 11 ноября 1898 года, и следовательно, относится к первым годам литературной деятельности Ф. Д. Крюкова.

Многоуважаемый Федор Дмитриевич. Прежде всего, считаю нужным немного оправдаться. Правда, самое оправдание начну с признания другой своей вины, именно, – что я не писал Вам о той роли, которую в «обработке» Ваших очерков «Тихого Дона» играла заботливая рука цензуры. Священник Благовидов весь истреблен именно цензором, – я имею ввиду лишь некоторые сокращения и смягчения и именно для того, чтобы уцелело остальное. Но, увы! У нас теперь на счет священников можно выражать лишь опасение, что все они будут живыми взяты на небо. Все остальные «сомнения» решительно упраздняются. Точно также я не выкинул бы прекрасных воспоминаний о прошлом, о «сермяжном войске» и многого о Стеньке. Поверите ли Вы, что мне стоил трех поездок в цензуру даже невинный разговор о

Стеньке с мальчишками. Вообще – поверьте, что многие истинные вандализмы в Ваших очерках принадлежат не редакции.

Меня очень огорчила та часть Вашего письма, где Вы пишете о своем «случайном визите» в литературу. Ваши очерки производят впечатление жизненности и даровитости. Картина схода, с фигурой Дворянского, несколько казачьих фигур, наконец, Ваша «односумка» – все показывает, что Вам едва ли следует бросать литературу. Конечно, раз Вы чувствуете сомнения относительно своей работы на темы из других «областей», кроме области Войска Донского, то, значит, надо попробовать еще, и период искуса еще нельзя считать оконченным. Но не пробовать еще, кажется, будет грешно. Очень жаль, что нам не пришлось в голову посоветовать Вам сразу заменить Вашу фамилию псевдонимом. Я и не подозревал, что практика российской словесности может считаться предосудительной для человека, преподающего его теорию юношам. Но мне не хочется верить, что Вы будете в состоянии заглушить в себе дальнейшие позывы к литературе. Конечно, сжигать за собой корабли, раздражать слишком сильно милостивое начальство (странное оно, все-таки!) – не следует, но это и не необходимо.

Затем – крепко жму Ваши руки и желаю всего хорошего. А главное – ждем еще и еще. Ведь даже и Дон – далеко не исчерпан. Мало ли там еще Дворянских?

До свидания. *Вл. Короленко.*

Конечно, был бы рад видеть Вас у себя, когда будете в Петербурге. Мой адрес: Пески, бул., д. 4, кв. 18.

* * *

«НЕЮБИЛЕЙНЫЕ СТРОКИ»

Заслуги Федора Дмитриевича Крюкова перед родной донской землей и русской литературой велики и о них еще многое скажут.

Но мне бы хотелось на юбилейных торжествах в далекой станице Усть-Медведицкой видеть не одних благодарных соотечественников донского Глеба Успенского, но и строгого прокурора.

Строгому прокурору тоже нашлось бы, что сказать уважаемому юбиляру.

Мне кажется, прокурор, облобызая Федора Дмитриевича за то, что он дал, успел дать Дону и России за четверть века своей литературной деятельности, всё же сказал бы:

– Дорогой писатель! В бочку заслуженного вами юбилейного меда разрешите влить мне прокурорскую ложку дегтя. Я – прокурор и я обвиняю вас во многих преступлениях перед родной литературой.

– Вы писатель милостью мудрого донского неба, вместо того, чтобы дать за двадцать пять лет вашей деятельности только два томика своих рассказов, могли бы написать значительно больше. Вместо писательства, вы изволили не один год гнуть спину над исправлением ученических тетрадок в орловских и прочих гимназиях.

Вместо писания бытом насыщенных очерков и рассказов, вы изволили сметать пыль с библиотечных шкафов, состоя в почтенной, но не для вас, писателя, должности библиотекаря горного института. Вы же, забыв свой дар бытописателя, шли в Государственную Думу, депутатом от родного Дона и, вероятно, в своё оправдание скажете, что произнесли там прекрасную речь о казачестве и его нуждах.

– Дорогой Федор Дмитриевич, для речей есть, были и будут Родичевы, Маклаковы и Милюковы, а в литературе Крюковых очень мало. Первая Дума – учреждение весьма почтенное, но для вас более удобная трибуна – страницы «Русского Богатства».

И нужно ли было Крюкову сидеть в «Крестах», если «Кресты» и их быт не для Крюкова, рожденного под особенным казачьим небом... Я понимаю, когда красногвардейцы тянут Крюкова на казачью «тюгулевку», и скорблю о страданиях человека Крюкова, но завидую писателю Крюкову, знающему теперь в быте казачьем все до «тюгулевки» включительно.

«Кресты» – пустое место в биографии писателя Крюкова.

Юбиляр морщится, но прокурор продолжает:

– Милый Федор Дмитриевич, не находите ли вы, что донская школа ничего не потеряла бы, если бы директором Усть-Медведицкой гимназии был другой статский советник. Я знаю, что вы шли в гимназию с желанием пользу принести, но, взяв под мышки журнал отметок, не смущаете ли вы ваших муз, весьма ревнивых к своим жрецам?

– И еще: не слишком ли шикарно для войска Донского, что исторические, но все же скучные и все же протоколы заседаний большого войскового круга вел писатель (и самый большой) донской земли – Федор Крюков. Для казака Глазуновской станицы Крюкова, может быть, это и высокое, и почетное звание – «секретарь круга», но нельзя забывать писателю Крюкову, что он и в журналах самого Короленко был не вестовым, а помощником и ближайшим сотрудником.

Подведя итоги, не вправе ли и донская, и русская литература спросить у Федора Дмитриевича Крюкова:

– Две ли книжки рассказов было бы, если бы все двадцать пять лет ушли на служение литературе?

Прокурор умолк... Слово принадлежит юбиляру.

– Последнее слово подсудимого.

Я не знаю, что скажет Федор Дмитриевич прокурору, да и сильно сомневаюсь, чтобы таковой оказался на юбилейном торжестве, но думаю, что и у Крюкова нашлось бы много слов оправдания.

Крюков – ученик Короленко, двадцать пять лет верно служивший заветам «Русского Богатства».

И я хорошо помню, что в юбилейный день самого Короленко Александр Яблоновский заговорил о:

– Ненаписанных книгах.

О тех книгах, которые Короленко написал бы, если бы он был только писателем, но не гражданином.

Жизнь Крюкова – литературного сына «Русского Богатства», – те же «Ненаписанные книги».

В Крюкове гражданин заслонял писателя и заставлял его не раз откладывать в сторону перо и идти в бой за свои идеалы с другим оружием.

И не одно это. Кто помнит, что Крюков сидел в «Крестах», что Крюков писал под гнетом директоров гимназий, гнавших из Крюкова писателя, что Крюкова сжимали виц-мундиром, что писатель Крюков служил библиотекарем за гроши?

У Толстого была своя «Ясная Поляна», но слышал ли кто-нибудь, чтобы русский народ сам, создал для кого-либо из русских писателей «Ясную Поляну»?

– Живи и работай.

Русский народ едва не убил Крюкова на его же родине – в Глазуновской.

Понятно, не будь виц-мундира – Крюков дал бы больше.

Понятно, ««Кресты» – лишний крест для Крюкова»...

Б. Маркова

* * *

«ЮБИЛЕЙ Ф. Д. КРЮКОВА В СТАНИЦЕ УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОЙ»

Родимый край чествовал родного писателя. Редкое явление: обычно не славится пророк в отечестве своем... В ноябрьский звонко-холодный вечер под церковный праздник Воскресения пришел праздник культуры: 10-го... Около русско-донского писателя объединились казаки и иногородние, интеллигенция и народ, женщины и мужчины, «шпаки» и военные. В культурном единении – сила!.. На эстраде «Всесословного клуба» он стоял, юбиляр, ровно 80 минут. Стоял – твердо – здоровый и сильный, такой скромный, без позы, а потому и близкий всем. Пред ним прошло двадцать депутатий: каждая со своими словами, со своими подарками.

– Примите небольшой дар, – предлагает окружной атаман, – от сотрудников газеты «Север Дона». Это первый опыт издания в родной станице книги. Только любовь и признательность могли преодолеть нудные трудности по изданию «Родимого края».

– А от Усть-Медведицкого гарнизона примите, многоуважаемый Федор Дмитриевич, лучшие пожелания и... сто рублей 22 коп. на образование стипендии Вашего имени в средних учебных заведениях ст. Усть-Медведицкой. Это от казаков... пожалуйста, извиняйте! – кланяется низко казачок и сходит со сцены под добродушную улыбку публики и дружные аплодисменты.

Идут, идут депутатии с адресами и картинами. «Женское общество», «Драматический кружок», – педагоги, кооператоры, учащиеся. Звонким молодым голосом читает реалист собственное стихотворение:

За Дон с тобой всегда страдать
От всей души захочет всяк...

Шорох прошел в зале, поднимаются с места и шепчут:

– Глазуновцы, глазуновцы вышли, станичники!

Словно открылась страничка Крюковской книги, и оттуда вышли на эстраду «герои» его произведений. Живые! – любопытно!

– С чем бы не пришел к тебе, дорогой станичник, – всегда без отказу. Дай Бог тебе!..

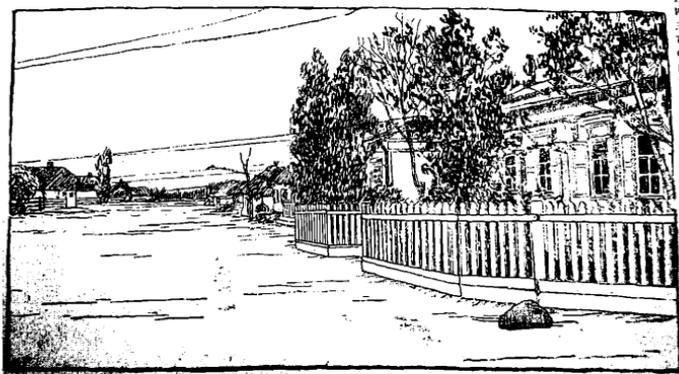
Чеканит отрывисто, по-военному, командир 12-го полка. Проста, но от сердца казачьего речь идет. Заметил любовь Крюкова к мелочам Донского быта и отметил это. Большим, привычным артистом проявил себя помощник командира, чудесно продекламировал привет – стихотворение в прозе, автор коему – сам.

Вообще 12-й полк много придал торжественности юбилею. Марш на фанфарах, пения хора, поразительная пляска казаков – все это вносило большое оживление в публику и сердечно радовало юбиляра.

Кроме официальной части была часть неофициальная. Шли инсценировки из произведений Крюкова: «Проводы казака на войну», «В почтовой конторе» и «Возвращение из похода». Проходила перед зрителями живая казачья жизнь то с трагическими, то с комическими моментами. Хор глазуновцев-казаков углублял иллюзию живой действительности. Ожил на сцене своеобразный быт казачий, пустивший корни вглубь седых веков, и чувствовалось, что не изменить его сразу никакими «декретами по щучьему велению, по моему хотению»...

Гасли звезды на бледнеющем небе. Занималась заря алая над родимым краем Доно-Медведицким, а юбиляра все не пускали домой. Вспыхивали, как зори, речи и приветствия, рождались любовные пожелания, вздрагивала порой казачья вольная песня... И только, когда заговорили Божьи голоса – колокола церковные – праздник культуры вплесял концом в начало Божьего праздника и замкнулся в кольце вечности...

М. Коновалов



Домик писателя в станице Глазуновской

ИЗ СБОРНИКА «РОДИМЫЙ КРАЙ»

Федор Дмитриевич Крюков, несомненно, одно из самых ярких и радостных явлений в жизни нашей земли Всевеликого войска Донского. Он первый и сильнейший национальный донской писатель. Он певец казацкой души, певец наших исконных казацких родимых старых синих рек — Дона и Медведицы...

И вполне понятно, что особенно мы, живущие на тех же медведицко-донских берегах, на которых живет и работает этот писатель, не можем не выделить день 25-летия его литературной работы из ряда других быстро текущих дней. Праздник Ф. Д. Крюкова — прежде всего наш праздник, праздник наших пустынных северных песчаных бурюнов и веселых зеленых мочежинок...

Но есть и другое основание отметить этот юбилейный день праздничным красным цветом даже в наше время российской печали, когда всякие празднества кажутся ненужными и кощунственными. Донской певец, Ф. Д. Крюков, является в тоже время большим русским писателем и верным сыном общей нашей родины-матери, России. В дни, когда великое солнце наше, Россия, на ущербе, он постоянно взывает в своих произведениях:

«О, братья казаки, помните нашу святую мать-Россию! Без нее не радостно жить на наших степных мочежинках!..»

В эти скорбные дни развала и бессилия России, Ф. Д. Крюков является одним из тех, пока немногих, кто всю свою жизнь и деятельностью служит делу собирания и объединения нашей разбитой и опозоренной родины. Он один из тех светлых пророков, которые заставляют верить измученное сердце, что наша мать, Россия, скоро восстанет из тлена, по слову Господа, и исполнится великого духа.

Составители Сборника

Ноябрь 1918 года. Усть-Медведицкая, Донской области

«Родимый край». Сборник, посвященный двадцатипятилетию литературной деятельности Ф. Д. Крюкова (1893–1918). — Книгоиздательство «Север Дона». Усть-Медведицкая, Донской области. 1918.

БЫТОПИСАТЕЛЬ ДОНА

Опыт характеристики литературного творчества

Ф. Д. Крюкова

Эпоха французского классицизма почти два века продержала литературную мысль Европы на высотах рационализма и отвлеченного воображения, и наконец обессилила как бы от потери крови. Важнейшим даром романтизма в начале XIX-го века, поэтому, явилось стремление к подлинным сокам жизни, к народности, к почвенности. Романтики понимали, что высочайшее парение человеческого духа обуславливается силами бытовой действительности. С великой энергией стали искать местного, бытового, этнографического, характерно-национального. В результате – перерождение литературы: не отвлеченный человек стал влечь внимание поэтов, а сильная личность в обстановке яркого быта; в большом почете стала и областная литература, так как область – тоже личность. Шатобриан ушел за местным колоритом в леса Америки, Гюго – в Грецию и Турцию, Мериме – в Испанию и в Иллирию, Вальтер Скотт – в Шотландию; с страстной жадностью Байрон поглощал впечатления ярких уголков Европы и Азии.

Вскоре в пределах каждой большой страны появились свои, близкие «местные» колориты, свои областные поэты: Бернс воспел Шотландию, Мур – Ирландию; в Германии выделились австрийская и швабская группы поэтов. Появилась, наконец, большая поэзия и на местных языках: во Франции – знаменитый Мистраль, писавший на провансальском языке; в Германии – известный автор «Овсяного киселя» Гебель, писавший на аллеманском наречии. Клаус Грот – на дитмарском, и другие.

В следующую затем эпоху реализма это движение видоизменилось, проявляясь в особом внимании литературы к описанию и психологии провинциальных нравов. «Труженики моря» Гюго, деревенские рассказы Ауэрбаха и Розеггера, «Тартарэн» Додэ – вот некоторые из крупных завоеваний провинциального гения.

В русской литературе областная стихия поэтического творчества мало осознана и почти не отмечалась. Между тем провинциализм имел в ней очень большое значение. Мы мало замечаем тот поразительный факт, что значительная часть Пушкина и Толстого и весь Лермонтов принадлежат Кавказу. Мало обращено внимания и на то, что наша литература, изображая с особой любовью простой народ, отражая не только его понятия, но и его манеру мыслить и говорить, написана не на общелитературном языке, а на местном.

Провинциальное влияние осуществлялось в русской литературе двумя путями. Или наши писатели, сознательно и бессознательно, воплощали дух и жизнь той территориальной полосы, которая была или стала их родиной: таков Гоголь, чистый украинец в первую половину своего творческого пути; таков Аксаков, творения которого можно назвать записками обывателя Оренбургского края; таковы Гончаров, Мельников-Печерский, отчасти Некрасов, воспевшие Поволжье; таковы Тургенев и Толстой, художники помещичьей и крестьянской жизни средних губерний России, именно Тульской и Орловской. Или наши писатели – то в силу случайностей своей жизни, то по собственному почину, становились певцами страны и быта, которые были для них чужими, но с которыми они сроднились силой привычки или силой впечатления, проникновением любви и внимания, ибо человеку свойственно любить не только свое, но и чужое. Таковы Пушкин и Лермонтов, с их Кавказом. Короленко с его западным краем и восточной Сибирью, Тан с его тундрами и Камчаткой... Вот некоторые черты географии русской литературы.

Природа и люди, пейзаж и быт дают поэтическому творчеству не только украшающие частности, яркие пятна, разительные фабулы, но сообщают ему и свою душу, которая, оставаясь провинциальной, становится, таким образом, общечеловеческой и, храня всю уединенность и всю нетронутость своей самобытности, является в творческих созданиях на всенародные очи.

Ван-Беве́р, французский историк литературы, в своем обширном труде: «Поэты своей страны», говорит: «Всякий творческий гений обязан родной почве более, чем до сих пор думали. Он обязан ей лучшими силами своего вдохновения и той стороной оригинальности, которая делает его общечеловеческим. Всякий писатель не только захватывает современную наличность родного ему края, но и реализует множество впечатлений, идущих от предков. В нем шепчут и глухо гремят голоса бесконечного прошлого. Ван-Беве́р говорит даже о провинциальном верховенстве в литературе.

Оригинальность и сила Ф. Д. Крюкова, как писателя, прежде всего в том, что он изображает быт донского казачества, до последнего времени в русской литературе почти не затронутый.

Любовь к быту, особенно к казачьему, выливается у Крюкова в форме строжайшего реализма, лишённого всяких нажимов, всякого шаржа. В противоположность глубокой романтике другого донского бытописателя Романа Кумова, рассказы Крюкова стоят у крайней черты мыслимого в художественной литературе реализма. Правдивейший из бытопочклонников, Крюков, не позволяет себе никаких уклонений от жизни, никакого творческого преобразования действительности. Среди современных беллетристов трудно указать ему равного по безусловной правдивости изображения. И особая, одному только ему свойственная, художественность заключается в поразительном его умении достигать высокого без всякого полета фантазии и захватывать глубины жизни почти без всякой психологии. В этом отношении его можно сравнить только со старым Аксаковым.

Простые одежды его повествования поражают скромностью и незаметностью. Его рассказы – ряд смиренных красавиц без притираний на свежих лицах, без всяких ухищрений в костюмах, но за этой простой наружностью чувствуется благородство врожденного вкуса и сила здоровья.

Реализм Крюкова положительно бесстрашен, – не только тем, что он нередко решает касаться всех страшных и грубых низин жизни, но и тем, что часто, наоборот, обрабатывает он темы, в которых нет ничего страшного, ничего поразительного или исключительного, нет, казалось бы, вообще никакого материала для художества, но из этого житейского ничего автор создает нечто, создает непререкаемо прекрасный мир, и притом средствами изумительно простыми. Таковы, например, его рассказы: «Мирская сеть», «У окна», «Мечты». Автор пригибает читателя к земле, и читатель начинает различать наконец глубокий, свежий и тонкий аромат почвы, которого раньше не замечал и теперь вдыхает с благодарностью автору и жизни. Крюков завораживает своей простотой и еще больше своей добротой, любвеобильным принижением к жизни, глубокой незлобностью к своим и нашим общим обидчикам, которых так много в жизни в лице тупо-злых людей, жестоко-суровых учреждений или печальных обстоятельств. Кажется, у него совсем нет так называемых отрицательных типов. Дурные люди у него, конечно, есть, но автор с большим искусством защищает их, хотя и не произносит в их пользу как будто ни одного слова. Эта защита идет из глубин любви и незлобия, воплощаясь в особую манеру изображать. Это незлобие автора по отношению к своим героям аналогично незлобию некоторых его же героев и исходит, очевидно, из одного

трудно определимого общего источника какого-то высоко объективного спокойствия. Вот курьезные экспроприаторы Копылов и Терпуг, в рассказе «Зыбь». Их ловят не менее курьезные представители власти. Один из них, старик Бунтиш, ударил Копылова плашмя пикой. Тот ударил Бунтиша кулаком:

«Бунтиш одно мгновение как будто раздумывал, упасть или нет; потом медленно, словно нехотя, повалился. Еще три раза над ним, уже лежавшим, молчаливо поднялся и опустился кулак Копылова... – Я говорила тебе: не трожь! Чего с пьяными связываться? – сказал назидательно бабий голос, – А больно? – Шею повернуть нельзя... – Ну, ничего, дедушка! И ты его пикой-то... – Бунтиш вдруг захрипел от смеха, вспомнив свой звонкий удар. – И колоть не стал, – с трудом выговорил старик сквозь душивший его радостный смех, – я взял вот таким манером, как д-дам! – И все залились вместе с ним долгим, задумшевно-веселым смехом».

Наряду с этой веселой есть незлобивость скорбная, как у больного Егорушки и его отца, испытывающих длительные и страшно тяжелые мытарства на пути «к источнику исцеления». – Или вот монах о. Порфирий, над которым трунят, которого обижают пассажиры-соседи, которого вообще затолкала житейская суэта-сутолока в эту его краткую поездку к старухе матери, тоже монахине, на заре вышел из купэ своего вагона:

«О. Порфирий постоял, поглядел в окно, помолился в ту сторону, где обозначалась робкая полоска зари. Вышел за дверь и еще раз помолился на церковку, забелевшуюся вдаль, за зеленым скатом полей. Через опущенную раму наружной двери забегал ветерок, пахло дымком, зелеными хлебами, и разлит был кругом веселый шум несущегося поезда».

И весь этот прекрасный рассказ «Сеть мирская» характеризует манеру Крюкова подходить к жизни и схватывать ее удивительно легким и нежным объятием. В нем нет никакой фабулы. О. Порфирий побывал в Киеве, потолкался на площадях и набережной, видел олицетворенную скорбь земную, эту слепую женщину, поющую и играющую на гармонiuме среди шумной толпы, видел и олицетворенную радость жизни в лице этой черноглазой молодой женщины в красном кафтане, которая с укоризненным удивлением по адресу ворчунов и недовольных спрашивает: «На сем свити плохо?» а главное повидался он со своей матерью:

«Прощались в келье. И когда она старенькими руками, морщинистыми, с синими жилками, взяла и прижала к себе его голову, он мимолетно пережил то самое ощущение легкой неловкости и радостной стесненности, которое бывало в детстве... Плакала старушка.

Заплакал бы и он, – громко, по-детски. Умылся бы слезами... Но плакать не подобно монаху по привязанностям плотским».

И вот он в поезде едет домой, в свой монастырь, в свою келью, и мать свою он уже никогда не увидит. В поезде тесно. В купе вокруг о. Порфирия студенты, по русскому обычаю, ведут беспрепятно ироническую болтовню, играют в карты, флиртуют с какой-то барышней-немкой. А потом все спят. Не спят только счастливые и тревожно-скорбные. О. Порфирий вышел на площадку вагона:

«У другой двери, опершись локтями на опущенную раму, касаясь плечами друг друга, стояли студент Иван и барышня. Они не видели о. Порфирия и не слышали его, пожалуй, хотя и кашлянул он предупредительно, – о чем-то своем говорили они, глядя в зеленый простор влажных полей, любуясь переливами зари в белых лужицах-болотцах, похожих на осколки зеркала. – ...Сподоби меня, Господи, возлюбити тя... – отыскав глазами убегающую назад церковку, прошептал о. Порфирий, а слезы потекли по щекам, по бороде, тихие слезы печали смутной и жалости к себе, к сиротству своему и одиночеству...»

И мы чувствуем этот поезд, поезд жизни, над которым каждый день занимается дивное утро, эта «робкая полоска зари», на которую молятся своим счастьем или своей скорбью и умилением... Крюков не раз будит и открывает в нас источник таких молитв.

У Крюкова, как в нотном репертуаре о. Порфирия, – «все простенькое, немудреное», и между тем, все так полновесно и так содержательно. Когда вы читаете в «Дневнике учителя Васюхина», как к нему приходит старый казак-раскольник и повествует о своих тяжелых отношениях к сыну, вас охватывает глубокое почтение и к этим мастодонтам быта и к самому писателю, с такой бережной правдивостью переносящему на бумагу глубокую основу этих грубых, трогательных и несколько смешных фигур. Быт, который изображает Крюков, так насыщен скорбью и очарованием жизни, что, кажется, в самом деле, достаточно простой правдивости, чтобы произвести наибольшее впечатление. Нельзя без волнения читать, как провожают казаков на войну (в рассказе «Станичники»), как молодой казак «уронил голову в ноги своей родимой и долго рыдал, не поднимаясь с полу, вздрагивая широкими плечами», как он на дворе подошел ко всем, не исключая и ребятишек, и, прощаясь, со всеми целовался, – старикам и старухам валился в ноги, прямо в грязь... молодым отвешивал поклоны в пояс.

Но правда этого реализма – не обманчивая правда репортажа и протокола, не имеющая внутренней связи со смыслом человеческой жизни в ее целом: Крюков дает начала и концы жизненных явлений; его

отражения жизни не фотография, скользящая по поверхности, а углубленная концепция. Ставя нас лицом к лицу с массивами быта, Крюков заставляет нас и любить и ценить жизнь вообще и в тоже время печаловаться и болеть несовершенствами, присутщими всякому бытовому укладу. Это двойственное чувство – источник юмора, и у Крюкова много юмора. Богатый комический элемент дает Крюкову прежде всего народный язык, который он воспроизводит с величайшей точностью. Эти диковины просторечия и простомыслия заставляют нас нередко удивляться неожиданно открывающейся оригинальности народной мысли, заставляют нас многое простить, многое понять, многое полюбить. Но труднопреодолимого иной раз антагонизма между народным простомыслием и интеллигентским мышлением Крюков не скрывает. Не раз на его страницах мы испытываем горечь и грусть, и порой мы видим неприемлемость многого, что приемлет народ, глубоко осевший в традицию быта, и тогда мы чувствуем скорбь и страх перед тяжелыми курьезами и уродливостями бытовой речи и бытовой практики. Полицейский чин Кирей оправдывает перед своим начальством допущенное избиение невинного человека, и учитель Васюхин такими словами заканчивает эту картину: «Кирей продолжал свое повествование уже с чисто эпическим спокойствием, которым, пожалуй, можно было бы даже полюбоваться, если бы не эта... святая простота».

Это противоречие, эта двойственность, эта противоположность между бытовой костностью народа и интеллигентской свободой от быта не ведет однако Крюкова, как и Толстого, к иронии, к осмеянию, к презрению по отношению к простоте народной. Наоборот, писатель внушает нам чувство уважения к веками напластованной народной почве. И мы видим, что казачий или крестьянский быт сложнее и красивее по своим формам, глубже и значительней по своему содержанию, величественней по своим явным или скрытым силам, чем безбытная жизнь интеллигентской среды, той, например, учительской среды большого города, которую Крюков изображает в своих метких «Картинках школьной жизни». Но если жизнь интеллигентов, затронутая там и сям в произведениях Крюкова, отталкивает своей душевной немощью и бессодержательностью, то и бытовая жизнь простонародья таит много такого, что пугает не только наше сердце своей жестокостью, но и нашу мысль своей безысходностью. И Крюков, правдивый и неподкупный, не идиллии творит из красочного материала народной жизни, а скорей трагедии. Трагического и страшного много у Крюкова.

Вот шестидесятилетний богатырь-неудачник, сибирский поселенец из донских казаков, много раз бежавший из острогов, прибывший теперь на родину, вновь натворивший «дел», вновь пойманный и вновь бежавший («В родных местах»). Способный, энергичный, сердечный и

решительный, отец пятерых сынов-богатырей, из которых трое тоже отбывают каторгу, он олицетворенное, страшное и скорбное напоминание о роковой тесноте быта, извергающего из своих неподвижных устоев подобные мятежные души и обрекающее их на горькое одиночество и отщепенство. Раз извергнутый и лишенный защиты родных устоев, такой человек становится игралищем злой судьбы. «Чем под окном стоять, лучше я в окно влезу», – говорит он. Но напрасно свою свободу и свою гордость противопоставляет этот человек неудачам и бедам, которые как бы гоняются за ним. И гложет его тоска по родине, и вот через много, много лет вновь видит он ее, но ведь родной быт для него – тюрьма, из которой он бежал когда-то, должен бежать и теперь, думается, уже без возврата. Вот, в рассказе «Казачка», молодая жена ушедшего на службу казака, загадочная красавица, веселая и строгая, жизнерадостная и с зататками больной тоски в душе, не выдерживает укуоризненных писем мужа, нападок соседей и повышенного чувства ответственности за «грех» и кончает самоубийством.

Кто бы из вострой сабли ржавчину вывел,

Кто бы из моего сердечушка кручинушку вынул...

Вспоминает она незадолго перед смертью старинную песню, и вот «никому не сказалася, ни кого не спросилася» – и замкнулись навеки эти горячо целовавшие «красивые своей горькой усмешкой уста». И смерть ее бросает трагический отблеск на традиционно вынуждаемую обстоятельствами свободу казачьих нравов. Страшными чертами изображена женская казачья доля и в рассказе «Офицерша».

Трагические тона еще более сгущаются в рассказе «К источнику исцеления». Народное паломничество в Саровскую пустынь, сборище калек и неизлечимо-больных, лишения и труды паломников, обусловленные российской бестолковщиной и бесправием, изображены Крюковым с исключительной силой. И бытовая сторона религии, мы видим, имеет также свою темную и скорбную сторону. Жажда исцеления, жажда чуда, жажда Бога и безграничность веры встречают только ограниченные, тупые и грубые формы сугубой житейской сутолоки. Народная вера остается нерушимой, но нерушимой остается и скорбь народная.

Трагическое сцепление обстоятельств в сущности пустых, погубляющее две молодых жизни, составляет содержание еще двух рассказов Крюкова: «Мать» и «Зыбь».

Если странность и своеобычность народной жизни порой пробуждают юмор Крюкова, то трагичность жизни приводит его к лиризму. Многие его страницы украшены «жемчужинами страдания», вынесенными писателем из темных недр народного несчастья.

После последнего свидания с сыном мать взошла на высокий бугор, откуда был виден острог, и Крюков такими словами описывает ее душевное состояние:

«Вдали – на самом горизонте лиловые холмы, далекий простор, вольный и ласковый, но равнодушно сердце ее к нему. Прилунилось оно к этому камню и тесным казематам, где одни обиды, грязь, духота, звон кандалов, тоска черная и озлобление. Тесен сердцу и грустен вольный простор земли там, где безбрежно море скорби и неслышных страданий. Было время, – в равнодушном неведении проходила она мимо таких мест... А теперь, когда надрезано ее сердце, горько чувствует всем существом своим, что их тоска – ее тоска, их обида – ее кровная обида» («Мать»).

Так и сердце писателя прилепилось, кажется, к бедственной жизни, к ее обидам и неволе, к ее слезам и горю. Но именно любовь и сердечная жалость к людям, чувство сострадания заставляют Крюкова любить и то светлое, что есть в человеческой жизни. Только в эту любовь вливается чувство грусти, сообщая ей оттенок особой глубины и проникновенности. Сказав, что о. Порфирий

«любил затеряться в живом море сермяг, картузов, овчинных шапок, тяжелых пестрых, темных и ярких платков, слиться с его зыбким, бесцельным движением»,

Крюков продолжает:

«Было в этом шатании славное такое, утешающее ощущение близости и молчаливого общения с людьми, прикосновение к жизни менее суетной и шумной, но всегда обаятельной нехитрыми чарами своими. Или вот на литии под открытым небом, в темных толпах, молитвенно серьезных, тихих, пробежит вдруг серебряною зыбью смех девичий. И в светлых сумерках пронесется с ним зовущая радость жизни, беспричинная и милая радость, волнующая смутным, тайным ожиданием неведомого счастья».

Крюков любовно отмечает, как иногда дороги становятся мелочи нашего житейского обихода:

«Вот давеча звонили к всенощной, – говорит Банников в тюрьме: а мне все время церковными свечами пахло. Желтенькие есть свечечки, – знаете, соседка? Медком от них немножко... Медком и лежалым платьем запашок».

И человек, от которого ведется этот рассказ «У окна», заносит далее в свою запись:

«Я немножко понимаю тебя, чудаковатый старик... Ты опять окупил меня в воспоминания. Когда-то и я бегал в лаптишках к вечерне,

любил звонкую пустоту деревенской церковки... любил еще более колокольную, далекий, ясный кругозор, лазурь нашего милого озера и сизую дымку перелесков кругом него в предзакатный кроткий час, в час тихого прощального света. Свет тихий... Животворный, милый свет родного моего уголка! Такой же ли ты и сейчас, ласково-теплый, золотой, обаятельный волшебством непередаваемого очарования?»

Или вот хмурый, мало религиозный Терпуг, выехавший сеять:

«когда начал теперь без слов креститься на косицы серых, растянутых тучек, что-то мягкое, влажно-теплое... прошло по сердцу и от сердца к глазам... слезы навернулись, внезапные слезы умильного порыва и детского доверия... О, оглянись Ты, Неведомый и Всемогущий, оглянись на эту беспомощность и робкие надежды копошащихся тут людей! Пошли дождичка, Господи! Благослови эту скудную пашню – Господи!»

И далее автор говорит:

«Голо, однообразно... Но какая ширь кругом, и как волнуется сердце неясными грезами! Каким упоением любви звенят эти суетные песни!.. А скоро придут нарядные дни, залитые солнцем и всеми красками земли, яркие, бесшабашно шумные... Прекрасен тогда ты, родной угол, скудный и милый...»

Или так описывает автор радости осчастливленного Терпуга:

«Так весело, так хорошо было жить в весеннюю светлую ночь, не задумываясь брать от жизни сладкий мед ее цветов, вдыхать их пьяный аромат и не вспоминать о бесчисленных удручающих ее закоулках».

Или тот же Терпуг, принужденный скрываться в лесу, так оплакивает свою жизнь:

«О, милая жизнь бодрой, радостной заботы и труда! Неужели придется расстаться с тобой? С этими милыми, знакомыми соломенными крышами, одетыми в сизую дымку, с этим родным, привычным кругом хлопот суеты и скромных надежд?»

Не нужно забывать, что главный источник этого лиризма – все тот же животворный ключ любви автора к родному краю.

Быт полон противоречий: он широк и тесен, глубок и мелок, комичен и трагичен, материален и духовен. В нем много скорби, нужды и нудности, но в нем же и радость, утешение и успокоение. В нем все корни прошлого и, конечно, задатки будущего. Он прозаичен и конкретен, но он же создает народные идеалы и народное искусство, стиль архи-

тектуры, художество одежды и утвари и, косноязычный и безграмотный, он творит восхитительные по языку и глубокие по содержанию песни. Он – весь действительность, но он же и источник всяческой легенды и сказания, и, весь земной и близкий, он творит далекие дали мечты, которые не столько опираются на землю, сколько попирают ее.

Бытовую грезу, народную мечту с обаятельным искусством не раз изображает Крюков.

В рассказе «Мечты» забитый нуждой крестьянин Ферапонт развивается, то вслух, то молча, удивительные планы: то о хорошей жизни на вольных землях в Сибири, то о доходной водяной мельнице, то о богатых покосах. Это мечты реальные, и они действуют увлекающе даже на скептиков-слушателей его, даже на читателя. Ведь эти мечты – молитвы счастью, законному и заслуженному, и, как всякая молитва, они истекают из чистого сердца. Но есть мечты фантастичные, окутывающие сознание сказочным маревом. И если реальные грезы, такие, какие изображены, например, в рассказах «Мечты» и «Зыбь», уплотняясь в поколениях, выливаются наконец в политические и социальные устремления, то мечты фантастические о теплых водах, о кладах зарытых сами становятся несомненным кладом народного художества.

Изобразил Крюков и те и другие мечты, эти полеты дум в дивные страны чудес, которые не на чужом далеком востоке или западе, а где-то в родной земле, то в Сибири, где, будто, дают по 15 десятин на душу, то просто где-то тут же, на ближнем хуторе, под домом Чекунова, построенном на зарытом кладе. В этом рассказе «Клад» Крюков прочертил одну из удивительнейших узорчатых тропинок, на которых блуждает доверчивая и сомневающаяся мечта многих и многих искателей; они идут, и едут, и копают крепко «закрементованный» клад, не жалея трудов и средств, но неизменно, когда дело, кажется, уже близится к концу, спотыкаются или о рюмку водки или о то обстоятельство, что поехали по весне, да лошадей утопили в Дону. Но они идут и едут вновь, захватывая и впутывая в свою мечту все больший круг очарованных, соединяя остроумие и нелепость, предусмотрительность и беспечность, веру и критику, фантазию и действительность, и вздорный путь их обращается в какие-то проделки мышления, на которых и наша привыкшая двигаться по рельсам мысль чувствует какую-то правду и какое-то очарование. А клад все растет: сначала это сундук с золотом на 17 миллионов, потом около него появляются полки с золотыми сосудами-кубками, затем – церковная утварь, затем уже над ним – лампа, в которой горит алмаз, и наконец «таблица выбита золотыми буквами и золотой парчой все завешено». На наших глазах растет этот клад и обращается в красоту народного вымысла, облекающую какую-то правду. И мы с застенчивым вниманием идем вместе с казаком Коротковым по проселкам

народного мышления. И разоряется на поиски клада не только Шумов, отмороживший даже уши при этом деле, но жертвуем безмерно много и все мы, ищущие идеала и красоты, ждущие счастья от их осуществления. И пусть неуловимые Чекуновы, по-своему пользуясь слухами о таком кладе, отводят глаза и делают фальшивые кредитки – деньги, взятые из этого клада, по легенде, вновь возвращаются на прежнее место, в сокровищницу мечты человеческой.

Важный материал для анализа народной мечты и веры дает и рассказ «К источнику исцеления». Мечтателями скорее, чем верующими, является большинство паломников, ибо для многих и многих из них Саровская святыня есть не более, как панацейное лекарство не столько чудесной, сколько чудовищной силы, которое и должно действовать механически, не столько сверхъестественно, сколько сверхобычно. Отсюда – наряду с верой – столько бытового суеверия, когда истинное и вздорное принимается одинаково легко. Отсюда и возможность лжи от чистого и доброго сердца о случаях и количества исцелений, как бескорыстно лжет и Ферапонт в рассказе «Мечты», о том, что у него есть в Сибири дядюшка, от коего он будто и имеет сведения о дивных условиях тамошней жизни. Истинных исцелений Крюков не изображает – едва ли это и доступно литературному творчеству – но в его рассказе есть истинно верующий: это отец милого Егорушки. Егорушка не получает исцеления, но эти дивные люди: скорбные Егорушка и его отец и веселый Алексей – самые чистые и истинно святые лики, созданные Крюковым.

Дважды ставит Крюков интеллигента лицом к лицу с людьми простонародного бытового уклада, – это в рассказах «Казачка» и «Из дневника учителя Васюхина». Оба раза у интеллигента завязываются с народом и бытом крепкие связи на основе кровной любви. И студент Ермаков и учитель Васюхин, каждый полюбил простую казачку и каждый любим взаимно. Но у обоих эта связь роковым образом порывается. Они любят быт, но и боятся его; они не отдаются ему совершенно, как и быт не отдает себя им во власть.

Ермаков слушает казачью песню. Он завидует левцам. «И грустно ему было, – говорит автор, – что он стал чужд им всем и стоит теперь одиноко, глядя в глубокий, неясный сумрак звездного неба». Васюхин заносит в свой дневник:

«Я постоял около получаса и потом пошел по улице, удаляясь от этой толпы. Я думал о ней, о себе и о том, что все-таки не захотел бы, вероятно, стать таким же, как каждый из ее членов, как ни завидно мне глядеть на их беззаботное веселье, на их бодрый труд,

на их простую, естественную жизнь, свободную от разъедающих душевных сомнений и размышлений. Есть что-то драгоценное и в этих сомнениях, и в этом беспокойстве духа, и в этих исканиях смысла жизни».

Эта исконная в русской литературе проблема взаимного отношения образованности и простонародного быта – их взаимное тяготение и взаимное отталкивание – вновь встает в рассказах Крюкова. Из существующего в русской литературе тройкого отношения к быту, какое же всего ближе Крюкову: преобразование ли быта, как у Гоголя, отрицание ли его, как у Салтыкова-Щедрина, или его преодоление, как у Толстого? На этот вопрос рассказы Крюкова пока не дают совершенно определенного ответа. Впрочем, отрицание быта для Крюкова едва ли возможно, так как он, как Толстой и Гоголь, писатель в известном смысле областной, то есть влюбленный в быт родного своего края.

Сергей Пинус



ПАМЯТИ ФЕДОРА КРЮКОВА

С. СВАТИКОВ

† *Федор Дмитриевич Крюков*

Телеграф принес печальную весть... 20 февраля в одной из кубанских станиц от сыльного тифа скончался Федор Дмитриевич Крюков.

При отходе армии на Кубань Федор Дмитриевич покинул родной Дон одним из последних. Еще год назад, когда волна красных надвинулась на Дон, Федор Дмитриевич покинул парламентскую работу, отказался от звания секретаря Донского Круга и пошел в ряды войск.

Друзья уговаривали его не рисковать жизнью, нужной для Дона, но Федор Дмитриевич, только что перешедший через грань четвертьвековой писательской работы, не пожелал остаться в тылу – «Мы должны показать пример молодежи! Никто не должен упрекать нас в том, что мы лишь зовем на бой, а сами остаемся в тылу!..» – говорил он.

Федор Дмитриевич не покинул рядов армии и в тяжелую эпоху отхода с родной территории Дона. Сыльный тиф сделал то, чего не довелось сделать пуле красноармейца.

Певец Дона и казачества, глубоко знавший душу донского казачества, его быт, его радости и горести, любивший его славное былое, скорбевший о его тяжелой жизни в предреволюционную эпоху, ушел из жизни вдали от родной земли. В его казачьих рассказах навсегда сохранится облик донского казачества, аромат донских степей и, добавим мы, аромат его мягкой любящей души. Громадна потеря Дона!.. Велика скорбь и русской всероссийской литературы. И страшно становится при мысли о могилах, могилах без конца...

«Утро Юга», 25 февраля 1920 г.

[Даты в газете даны по старому стилю – А. М.]

* * *

С. СЕРАПИН (С. ПИНУС)

«Памяти Ф. Д. Крюкова»

...Ушли два писателя [Р. Кумов и Ф. Крюков], у которых была единственная и неповторимая возможность отобразить нашу грандиозную борьбу. Только они из всех современных русских писателей могли бы схватить общий смысл и подлинно живые черты и подробности гражданской войны, только они одни способны были бы дать художественный анализ и синтез нашей Смуты, основанных не только на непосредственных впечатлениях и наблюдениях, но и на кровной заинтересованности, на своем прямом участии в борьбе вместе со всем казачеством...

Федор Дмитриевич несомненно унес в могилу «Войну и мир» нашего времени, которую он уже задумывал, он, испытавший весь трагизм и все величие этой эпопеи на своих плечах...

«Словох». Мелитополь. 5 сентября 1920 г.

* * *

А. ГОРНФЕЛЬД

«Памяти Крюкова»

С большим опозданием дошла до Петербурга печальная весть о безвременной кончине Федора Дмитриевича Крюкова, беллетриста и политического деятеля, одного из редакторов «Русского Богатства». Он умер еще в феврале этого года от сыпного тифа в одной из станиц Кубанской области. Донской казак по происхождению (род. 1870 г.), филолог по образованию, народник по общественным влечениям в своих произведениях, малая доля которых объединена в его сборниках – «Казачьи мотивы» (1907) и «Рассказы» (1914), – он сосредоточился, главным образом, на изображении людей и нравов милого его сердцу «тихого Дона». Чуткий и внимательный наблюдатель, любящий и насмешливый изобразитель простонародной души и жизни – Федор Дмитриевич принадлежит к тем второстепенным, но подлинным соз-

дателям художественного слова, которыми по праву гордится русская литература. Отдельные фигуры из его произведений не запечатлеваются в мысли читателя, как вековечные обобщения человеческих судеб и обликов; но из всей совокупности его рассказов о жизни народа неизменно встает один многообъемлющий образ – образ этого народа, встревоженного, ищущего, болезненно приспособляющегося к сумятице, взбудораживающей его быт и душу в последнюю четверть века. Эту мятущуюся душу народную Крюков изображал и в мирном течении повседневного быта, и в острых столкновениях с новизной, изображал вдумчиво, внимательно, с той строгой простотой и художественной честностью, которые естественно вытекали из его прямой и ясной натуры. Особенно отчетливое выражение находила эта художественная честность в его превосходном языке, в сочной, жизненной областной речи его героев, даже в необходимых преувеличениях, шарже, не отдающей ни кабинетной выдумкой, ни словарной находкой. Он не был тенденциозен, но общественная мысль всегда лежит в основе его рассказов. Охотно пользовался он смешанной формой публицистики и повествования, где общественно-политические соображения опирались на его колоритные, всегда самостоятельные и убедительные наблюдения. Мягкий юмор, забавный и часто трогательный, был любимой атмосферой его рассказа.

По окончании историко-филологического факультета в Петербурге Ф. Д. Крюков в течение нескольких лет преподавал русскую словесность в провинциальных учебных заведениях, однако его педагогическая карьера была непродолжительна; военное ведомство еще терпело кое-как его вольномыслие, но для министерства народного просвещения его направление, в связи с неизменной задушевностью по отношению к его ученикам, было совершенно неприемлемо. Широко популярный в родных местах, Крюков был избран членом первой Государственной Думы, где примкнул к трудовикам, и его выступления здесь, его борьба с казенными представителями казачества не остались незамеченными даже в этом собрании, выдвинувшем сразу так много ярких политических ораторов. В литературе Крюков выступил рано – еще в «Северном вестнике», затем примкнул к группе «Русского Богатства», оценившей в нем не только знатока народной жизни и общественного единомышленника, но и хорошего литературного судью, осторожно и уверенно разбиравшегося в поступавшем в журнал литературном материале, характеристики которого ждут и требуют от редакции начинающие писатели. В личных отношениях он был редкий по привлекательности и душевной мягкости человек. Добрый и отзывчивый, бесконечно честный в жизни, как был он честен в творчестве, и надо

думать, что в скорби об этом прекрасном товарище не останется одинокой осиротевшая семья «Русского Богатства».

«Вестник литературы», №6, 1920 г.

* * *

Вл. Ф. БОЦЯНОВСКИЙ

Мысль Горнфельда о том, что горе осиротевшей со смертью Федора Дмитриевича Крюкова семьи «Русского Богатства» будет разделено многими, безусловно справедливо. Задуманный талант этого писателя – казака и его обаятельная личность действительно пользовались большими и широкими симпатиями.

Помню, как несколько лет тому назад мне пришлось столкнуться с несколькими казаками, приехавшими сюда с Дона на Казачий Съезд, и разговор зашел о покойном Федоре Дмитриевиче.

– Знаете ли вы такого? – спросил я.

– Федора-то Дмитриевича? – удивленно возразили мне, – Из Усть-Медведицкой станицы? Еще бы! Он у нас пользуется большим уважением. Наша молодежь считает как-бы своим долгом побывать у него, особенно, если кого-нибудь одолевают какие-нибудь проклятые вопросы.

Я лично знал Федора Дмитриевича, когда он еще юношей (род. 2 февраля 1870 г.), только что кончившим гимназию, приехал в Петербург для поступления в Историко-филологический Институт. Хмурым печальным орлом гулял он по «камерам» казенного Историко-филологического Института, с его строгим казарменным режимом того времени. Долго и до последней возможности он не хотел расстаться со своими красными лампасами, бывшими для него как бы символом горячо любимого им Дона. Часто можно было видеть, как этот вольный сын Дона сидит где-нибудь забившись в углу и заунывно тонким фальцетом поет грустную казачью песню, повествующую о том, как «поехал, поехал казак на Украйну», о том, как «собачка верная его залает у ворот» и т. д. и т. д. Он весь был душой на Дону и едва ли не самым дорогим для него днем было воскресенье, когда он мог пойти в казармы к своим казакам и провести день в обществе земляков.

Писать Крюков начал рано, еще на студенческой скамье. Это были небольшие бытовые в Чеховском стиле миниатюры, которые он помещал в «Петербургской газете». Один из первых рассказов его (за подписью Березенцов), проникнутый чисто Чеховским бытовым юмором,

повествовал о том, как один из наших общих товарищей давал урок околоточному надзирателю. Фраза околоточного надзирателя – «и дал же Вам Бог такой талант, Иван Абрамович», вызванная красноречием Ивана Абрамовича, стала в студенческом кругу как бы пословицей.

Скорю, однако, от миниатюр он перешел к большим повестям, сразу обратившем на себя его внимание, которые он помещал в «Северном вестнике»: «Казачьи станичные суды» (1892, №4), «Гулебщики» (Ист. Вестник, 1892, №10) и др. Стремление стать возможно ближе к народу привела Федора Дмитриевича к мысли о священнической рясе. Мысль эта, однако, осуществлена им не была, и в 93 году он поступил учителем в Орловскую гимназию. Однако учительствовать ему пришлось недолго. Его опасения относительно возможности работать в школе так, как ему бы хотелось, нашли себе полное подтверждение. Один из его беллетристических очерков, напечатанный, если не ошибаюсь, в «Русском Богатстве», был посвящен педагогической среде. В этом увидели вредное направление, начались разного рода придирки, и Федору Дмитриевичу пришлось выйти в отставку.

В 1906 году он избран в члены Государственной Думы 1-го созыва от казачьего населения Донской области, где имел возможность отстаивать интересы дорогого ему Дона, а затем, подписав Выборгское воззвание, разделил общую со всеми подписавшими кару.

Выпущенный на свободу, он всецело отдался литературной деятельности, выступил с целым рядом рассказов, бытовых очерков и корреспонденции, в которых все мы, знавшие Федора Дмитриевича, чувствовали его нежную и всегда грустную душу.

«Вестник литературы», №9, 1920 г.

* * *

Д. ВОРОТЫНСКИЙ (Д. ВЕТЮТНЕВ)

«Воспоминания и встречи»

Федор Дмитриевич Крюков (он же Ив. Гордеев) родился в семье казака из дворян Дмитрия Ивановича, в станице Глазуновской Донской области.

Отец его был зажиточный, хорошо грамотный, долгое время занимал в станице пост станичного атамана. Семья Крюковых была небольшая: отец, мать Акулина Алексеевна, сестры Марья и Авдотья и брат Александр, впоследствии лесничий. Вероятно, будучи на должности

станичного атамана, Дмитрий Иванович и решил дать сыну Федору образование.

Отца я не помню совершенно, но матушку, Акулину Алексеевну, которая «души не чаяла в своем Федюшке», помню отлично: она умерла, когда я учился в Усть-Медведицком духовном училище. Помню, Федор Дмитриевич часто вспоминал фразу одного старика, который говорил ему: «Ты теперь, Федор Митрич, осиротел, приедешь из Петербурга домой, как к холодной печке».

Среднее образование Ф. Д. получил в Усть-Медведицкой классической гимназии. Время тогда было «реакционное». Наказным атаманом на Дону был князь Святополк-Мирский, он всячески старался изгнать из казачьих краев «свободолюбивые школы», и стараниями сего прославленного атамана гимназия в станице Усть-Медведицкой была закрыта. Не знаю, пришлось ли Ф. Д. успеть закончить гимназию на месте или он кончил ее в Новочеркасске, но закончил он ее блестяще, кажется, с золотой медалью.

У Дмитрия Ивановича был участок земли в 200 десятин, он его продал, и сын Федор получил возможность продолжать образование: он поступил в Петербургский историко-филологический институт, по окончании которого и занялся педагогической деятельностью. Был преподавателем истории сначала в Нижнем Новгороде, потом в Орле, но в последнем его педагогическая карьера оборвалась: его уволили за «неблагонадежность», и с той поры он окончательно посвятил себя литературе.

Писательский дар у Ф. Д. пробудился в зрелые годы: когда он был студентом, то его внимание привлекли курьезные протоколы Глазуновского станичного суда. В каждой станице существовал при станичном правлении местный судебный институт так называемых «почетных судей». Сии судьи избирались из старых грамотных казаков, и их ведению подлежали всякого рода мелкие тяжбы. Заканчивались оные суды по большей части мировой сделкой и обильным пьянством. Вот эти станичные суды и заинтересовали Ф. Д. Он рылся в старых архивах правления и выкапывал из них перлы родного казачьего языка. Не знаю, где он печатал эти исторические для станицы документы, но после этих дебютов его заметили в Петербургских литературных кругах, и он вышел на писательскую дорогу.

Кажется, по окончании историко-филологического института он поехал по Волге, написал волжские очерки, которые печатались в суворинском «Новом Времени» (А. А. Суворин всегда открывал двери начинающей молодежи), они-то и дали Крюкову настоящее литературное имя.

После этого он пишет первый рассказ «Казачка», помещает его в «Русском Богатстве», издаваемом В. Г. Короленко, и с тех пор Ф. Д. примкнул к народническому кружку, возглавляемому этим журналом, и оставался верным ему до Великой войны.

Федор Дмитриевич был истинным демократом со студенческих лет; демократом он проходил свою педагогическую службу; сугубый демократизм проявил он в 1905 г. и в годы властвования Государственной думы, членом которой он был избран.

С присущим ему юмором он сам про себя рассказывал, как он продал свою учительскую с бобровым воротником николаевскую шинель с капюшоном «за ненадобностью», когда его разжаловали из учителей. Матушка Акулина Алексеевна долго его ругала, что он «продешил кипишон», что он «в кипишоне похож был на барина», и он молча слушал справедливые упреки матери.

Все свои тужурки и сюртуки учительского ведомства Крюков пороздал старикам в своей станице Глазуновской и долго память о былой службе Ф. Д. жила среди казаков. Старики Иван Афанасич (дворецкий Крюковых, как его называл Ф. Д.) и горбатый Бунтишка долгие-долгие годы в праздничные дни приходили в церковь всегда в его сюртуках; уже и желтые с орлами пуговицы были заменены вперемешку с черными и серыми, но следы от квадратных погон так и не могла смести никакая давность. В революционные 1905-й и 1906 гг. в своей родной станице Глазуновской Ф. Д. безмолвствовал, не хотел насыщать казачьи головы туманами социализма, но зато в окружной Усть-Медведицкой станице он «метал громы и молнии» по адресу правительственной и царской «скверны».

При мне летом 1906 г. усть-медведицкие «социалисты», тогда еще студенты, П. М. Агеев, П. А. Скачков и дьякон Бурькин арестовали окружного атамана ген. Филенкова и продержали его в писарской станичного правления под арестом в течение полдня. Помню, Агеев и Скачков закончили свои задорные речи, как на бочку, заменяющую трибуну, вознеся в подряснике милейший человек, но никудышный оратор дьякон Бурькин и только что протянул, словно с церковного амвона, несколько избитых фраз, как в толпу протиснулся Ф. Д. Крюков в белом чесучевом пиджаке и в фуражке защитного цвета. Толпа (не преувеличивая, можно сказать, что нас было не более двухсот человек зеленой молодежи; это, по-видимому, была вся «революционная опора» того времени, станица же Усть-Медведицкая насчитывала тогда около 20 тысяч жителей) сразу встретила его громовым «ура». Словно по шучьему веленью, к станичному правлению подкатила нарядная тройка почтаря Боякова (как оказалось, ее специально заказали для Крюкова).

По окончании митинга, Ф. Д. предложили сесть в экипаж, но он отказался и соборне со всеми «ораторами» шел пешком почти через всю станицу, хотя тройка все время следовала по стопам «революционеров».

После, уже в Глазуновской, я и моя сестра смеялись над Ф. Д. Смеялся и он: «Я боялся садиться, Филенков смотрел в окно, а ведь на этой тройке он один и ездил, он генерал, а я, так, на купчишку похож».

Об этих выступлениях в станице Усть-Медведицкой позже Ф. Д. вспоминал, как о самых неудачных днях своей «революционной» жизни.

Революционная деятельность Крюкова закончилась с разгоном первой Государственной думы. За подпись Выборгского воззвания он отсидел три месяца в «Крестах», и после этого Наказной атаман Войска Донского (фон Таубе, если не ошибаюсь) воспретил ему право жительства на Дону в течение одного года.

Когда, после изгнания, он приехал в свой родительский дом на каникулы, мы его не узнали, так далеко отлетели его вольные мысли...

Последние годы литературный отдел «Современных записок» (бывший журнал «Русское Богатство») редактировал Ф. Д. Крюков, и, несмотря ни на какую перегруженность редакционной работы, он аккуратно из года в год на Рождество, Пасху и каникулы приезжал в свой родной угол. В редакции все ему завидовали и называли «гимназистом».

Небольшой, низкий, крытый жостью домик Крюковых весь утопал в зелени, и лишь парадное крылечко было открыто, и это крылечко было излюбленным местом нашего писателя-казака. С крылечка открывалась необыкновенно красивая панорама Глазуновской. Прямо шла широкая улица, которая тонула в душистых сказочных левадах. Влево стояла старинная кирпичная, выкрашенная белой масляной краской большая Кресто-Воздвиженская церковь. Вправо на углу были почта и короткий переулок, упирающийся в калитку большого фруктового сада Крюковых. Около церкви в праздничные дни в течение всего лета бывал базар, и Ф. Д. с маленьким блокнотом в руках любовался веселой базарной толпой и ловил красоты родной ему казачьей речи. В промежуток между утренней и обедней к нему приходили старики, приехавшие с хуторов помолиться, расспрашивали всякие новости, и Ф. Д. охотно делился со стариками на интересующие их вопросы. Если он видел, что кто-либо из стариков может дать ему яркую фигуру для задуманного рассказа, он тогда задерживал старика, угощал водкой и списывал героя с натуры. Некоторые казаки недолюбливали Ф. Д. за

такие «приемы»: «Попадись ему, а он тебе сейчас и на цугиндру, да в газетах и пропишет, заправский Крюк, цапучий, страсть!»

Когда Крюков был в расцвете своей литературной славы, нас, учащихся, в станице насчитывалось уже с десятков, и все мы с нетерпением и радостью ожидали его приезда на летние каникулы. Знали, что наши барышни будут смеяться над его длинными, до колен, синими и черными сатиновыми рубашками и залатанными штанами. В особенности донимала его моя сестра:

– И что вы, Ф. Д., все в рваных штанах ходите, хоть бы по праздникам надевали добрые!

– Чаво же, А. И., по садам за бабами гоняться – все равно порвешь, так уж Маша (сестра) и не дает мне новых штан.

Ф. Д. так преклонялся пред казачьим языком, так его боготворил, что сам всегда говорил, как простой казак.

Никогда не было печали на его некрасивом лице, иногда он гостил дома, и в обществе Крюкова можно было хохотать до коликов в животе.

Любил он собирать около себя молодежь еще и потому, что он безумно любил свои родные казачьи песни. Высшим наслаждением для Ф. Д. было играть казачьи песни, особенно старинные, и не было ни одной песни, которой бы он не знал.

Казачья песня – это была страсть Ф. Д. Он не был певцом, но подголосок у него был бесподобный, редкий из знаменитых станичных подголосков мог соперничать с Ф. Д., и его высокий тенор звучал поистине, как колокольчик в безграничных степях казачьих приволий. Станичные старики, унесшие ныне с собой в могилу печальные напевы старинной казачьей песни, дивились его необыкновенному мастерству «подголашивать» и сами заражались молодостью, когда в их компании часами заливался Ф. Д.

«И иде он их только перенял? Кажись, ученый человек, а от нашего брата не отличить», – говорили про него с гордостью седобородые, крепкие, умные старики.

Наша казачья интеллигенция совершенно не знала казачью песню, кроме двух-трех избитых. Мало того, казачья интеллигенция пренебрегала ею, скажу прямо – презирала ее, издевалась над ней, словно это была песня репного дикаря, и поэтому для простого казака действительно казалось странным слышать свою родную песню от человека «из другого мира». Революция разбудила любовь к своей родной песне у казака-интеллигента, теперь она не звучит, как дикая, но, увы, безвременно оборвалась и затихла надолго...

Сверстники Ф. Д. говорили, что его еще студентом заворожили казачьи напевы, и он ходил в станице по свадьбам и гулянкам и, не зная

устали (он совершенно ничего не пил), голосил со станичниками до последних кочетов.

Редкий летний вечер проходил, чтобы Ф. Д. хоть немного не поиграл песен, и если у него не было компании, то он играл с братом Александром. Постоянным другом Ф. Д. по песням был портной Семен Сливин: с ним он «творил чудеса», и мы, молодежь, притаившись где-нибудь, далеко за полночь, с затаенным дыханием слушали чудесную степную музыку.

Я нарочно уделил особое внимание казачьей песне, ибо для Крюкова «дикие» степные мотивы были молитвой. С какой любовью он записывал песни! У него их было множество, но я не знаю ни судьбы этих записей, ни вообще судьбы всех его рукописей.

И в его взлелеянном саду, который был рядом с нашим, за станицей, у Прорвы, когда мы там собирались большой толпой в летние душные ночи, мы мало говорили, но зато песни сменялись одна другой, Ф. Д. в такие моменты жил только песнями, они были для него дороже всего на свете.

Сад у Крюковых был большой, с разными сортами яблонь и груш, с красивой длинной аллеей, с домиком в саду, где он часто спал, охраняя сад от вороватых мальчишек.

Другую страсть Ф. Д. были кулачки. Начиная с Покрова, когда станица совсем заканчивала уборку хлеба и наступала пора сравнительного безделья для казаков, в темные осенние вечера начинались традиционные кулачки. Наша станица делилась «на верх» и «на низ», Ф. Д. жил как раз на границе, но считал себя «верховым», а потому он «магарычил» всегда свою сторону, подбадривая верховых четвертями водки. Часто руководил сам драками и благодарил потом победителей. Тоже его сверстники рассказывали, что в студенческие годы Ф. Д. сам становился в ряды бойцов и его ухватке удивлялись первоклассные драчуны.

Мне еще хочется остановиться на спектакле, который как-то на Святках Ф. Д. организовал с братом. Тогда Ф. Д. был еще молодым, а брат был, кажется, студентом второго курса Петербургского лесного института. К спектаклю готовились благоговейно; Ф. Д. подтягивал актеров и они вытвердили роли назубок. Спектакль состоялся в приходском училище, и народу набилось до отказа. Не помню теперь, что ставили, но дивертисмент с участием церковного хора и братьев Крюковых прошел блестяще. Ф. Д. с изумительным мастерством прочитал «Ярмарку в Голтве» Горького, а брат «Песню о Соколе». Чтецом Ф. Д. был первоклассным, об этом мне приходилось слышать уже в Москве, и, говорили, он прекрасно читал чеховские рассказы, но, к глубокому сожалению, в роли чтеца я слышал его только один раз.

Заканчивая станичные встречи с Крюковым, нельзя забыть 1914 год.

Наш дом стоял у самого станичного правления, и я что-то делал в палисаднике, как в 9 часов утра большой рысью к правлению подлетела пара почтовых лошадей, а с тарантаса соскочил, держа в правой руке красный флажок, полицейский урядник.

«Либизация!» – закричали в станичном правлении сидельцы, и весть о войне молниеносно полетела по всем дворам.

Был жуткий день, и я побежал на почту за газетами. На излюбленном крылечке своего дома сидел, со слезами на маленьких глазах, Ф. Д. Около него уже толпились казаки. Он был поражен такой вестью; я сразу заметил смущение на его лице; он терялся, что и как отвечать казакам на вопросы о начавшейся войне с немцами. Через два дня наша станица Глазуновская превратилась в военный бивуак. Редкий день проходил, чтобы не отправляли Бог весть куда служивого, и не было ни одного казака, на проводах которого не присутствовал бы Ф. Д. Сам собой установился порядок, что батюшка, о. Дмитрий, служил напутственный молебен на улице, как раз против дома Крюковых, и взволнованный Ф. Д. всегда истово молился с толпой. По окончании молебна о. Дмитрий каждому казаку говорил о долге перед Родиной, а после батюшки с тем же призывом служить во имя Отечества выступал и Ф. Д. Сколько глубокой тоски и жалости было в его напутственных словах к своим станичникам, историю жизни которых он знал до мелочей, и сколько трагического и отцовского было в его заключительных двух словах: во святой час! Каждый служивый по казачьему обычаю кланялся в ноги на пыльной земле Крюкову, троекратно лобызался, и вся толпа медленно трогалась, возглавляемая Ф. Д., за станицу, до Мечетного барака. Тут снова повторялся тот же обряд, и Ф. Д. молчаливый, возвращался с проводов домой.

Взвихренный патриотическим порывом, Крюков предлагал нам, станичной молодежи (в то время в станице было уже с полтора десятка учащихся и учителей; одних студентов было пятеро), устроить манифестацию в Глазуновской, пройти с флагами и пением национального гимна по улицам, но мы так и не исполнили тогда этого жеста.

Война перевернула все прежнее бурлящее возмущение и убеждения Ф. Д., и он открыто перешел на сторону монархии. Он сделался каким-то чуждающимся встреч с нами, так сильно грызла его тоска по отъезжающим на войну станичникам, и даже казачья песня совершенно замолкла в его устах, в знак печали по Казачеству.

Тогда в «Русские ведомости» он писал лучшие страницы из жизни родного угла, и, бывало, заглянешь в полночь с улицы в раскрытое окно его комнаты, а на маленьком столике горят две стеариновые

свечки, и он, вооружившись одновременно очками и пенсне (он был сильно близорукий), писал и писал станичные картины.

С каникул в Петербург Ф. Д. всегда возвращался поздно, когда у них дома заканчивалась хлебная уборка и когда в садах начинали уже золотиться листья. Уезжал он на почтовых, обычно в будний день. Провожали его только родственники да соседи. При жизни матушки Акулины Алексеевны вся семья Крюковых перед отъездом накануне у вечерни непременно служила молебен, но со смертью матери этот высоко трогательный обычай вывелся, хотя Ф. Д. часто вспоминал поездку с молитвой.

По дороге в Петербург Крюков почти всегда останавливался в Москве, и, когда я был студентом, я всегда встречал его на вокзале, и мы проводили время вместе до вечера. Помню, как-то он приехал поздней осенью весь заросший волосами, и я его повел приводить в «городской» вид в известную парикмахерскую Генэ, на Тверской. Лоск наводили долго, мыли голову, мазали, подправили усы и бороду, и, когда Ф. Д. стал расплываться, то с него взяли 1 р. 25 к. Крюков пришел в ужас от такой цифры и часа два «мылил» меня за то, что «удружил» ему: «Лучше бы я у Молокова (столяр) в Глазуновке постригся, по крайней мере задарма. Несу статью в «Русские ведомости», так придется еще прибавить строк, чтобы стрижку отработать».

Из станицы он возвращался обычно без денег и в «Русских ведомостях» всегда брал аванс.

Обедали мы «у Мартьяныча», где кормили по-московски, до отвалу, и Ф. Д. особенно любил квас, который пить давался в больших прозрачных кувшинах. Как-то после такого тяжелого обеда мы пошли к В. В. Вересаеву, который заведывал тогда «Московским книгоиздательством писателей». Ф. Д. принес Вересаеву напечатанные в «Русском Богатстве» рассказы для издания их отдельной книгой. В том же году и вышел первый том его рассказов, но пошел он плохо, и Ф. Д. крайне нервничал и ругался: «Чаво же, мне мало кто знает, так и на стрижку в вашей цирюльне не заработаешь».

На первом томе он заработал что-то совсем мало, и я вспоминаю такую сцену. Прибыли мы на Николаевский вокзал за полчаса до отхода поезда, и в вокзальном киоске какая-то интересная дама спрашивает Мясницкого. «А ты, стерва, Крюкова купи, все бы я и заработал», – забурчал Ф. Д.

Подшли и мы к киоску и спросили Крюкова, но таковой книжки не оказалось. Хохотали оба долго.

– Нашему брату, писцу, всегда везет, – сказал Ф. Д. и рассказал про свою повесть «Зыбь».

Как известно, одно из самых крупных и сильных произведений Крюкова «Зыбь» была напечатана в №27 сборника «Знание», главным редактором которого был тогда Максим Горький. Горький в то время был в полном «рассвете», и к нему в «Знание» тянулись все корифеи тогдашней беллетристики. Мы восторгались «Поединком» Куприна, «Иудой из Кариот» и «Жизнью о. Василия Фивейского» Леонида Андреева, «В стране отцов» Гусева-Оренбургского. Сборники «Знание» читала вся Россия.

Ф. Д. любил Горького, был с ним знаком лично, и Горький попросил его дать для одного из сборников «Знание» что-нибудь из казачьего быта. Ф. Д. и написал тогда «Зыбь».

«Посулился, подлец, заплатит по 500 целковых за лист, а дал только по 300, так мой гонорарец за Максимкой и ухнул. Жаль, что не пью, а то бы по казацкой ухватке по мурсалу Максима съездил...»

Крюкова все время интересовала богатырская личность Степана Разина, он много думал о нем, пробовал собирать материал в Императорской публичной библиотеке, но бросил. «Трудно работать в чужом огороде; для такого, как Степан Разин, нужен талант не мой, а как у Толстого или у Горького».

Хотелось Ф. Д. написать драму из казачьего быта, но эту мысль он отбросил, потому что «будет народ смеяться над нашими разговорами и ничего не поймет».

Стихов Крюков никогда не писал и уже в революционный период он подарил нам, казакам, свое знаменитое стихотворение в прозе «Родимый край», которое и было его лебединой песнью...

Прошли года. Тяжкие годы великой войны народов... Кошмарная «бескровная»... Я служил в Москве; письма с родины получал редко и про Крюкова почти не знал. Он жил в Новочеркасске и занимал высокий пост секретаря Донского Войскового Круга. Был и главным редактором офицоза Войска Донского газеты «Донские ведомости». Он принимал деятельное участие в журнале «Донская волна», украшением которого, кроме Крюкова, были Р. П. Кумов и Виктор Севский (Краснушкин). Обо всем этом я узнал слишком поздно...

С фронта я послал Ф. Д. мои очерки о жизни Москвы конца 18-го и начала 19 гг. «Проклятый город», но он почему-то переслал их в Ростов, и они были напечатаны в тамошней «Народной газете».

Я стремился попасть в Новочеркасск, чтобы после долгих лет увидеться с Ф. Д., но командировки из полка мне получить так и не удалось.

Август 1919 года. Уже по всему фронту было смятение. Наш полк остановился на три дня в станице Скуришенской, в 7 верстах от Глазуновской, и я немедленно отправился в свой родимый курень. Сестра сообщила мне, что Ф. Д. только вчера приехал из Новочеркасска, и я

стремглав помчался к Крюковым. Дома его не застал, он ушел в сад. С волнением подходил к домику, спрятавшемуся в больших ветвистых яблонях. Ф. Д. с тремя казаками собирался уходить. Расцеловались, но слов не было. «Ну, как дела?» – спрашиваю после заметной паузы. Махнул безнадежно рукой: «Пропало... все...» Это была моя последняя встреча с певцом Казачества. На другой день он покинул навсегда свой родимый угол – Глазуновскую.

Через два дня покинул и я Глазуновскую, вспомнил страшные слова Ф. Д.

Пропал... погиб и сам Крюков: страшный бич человечества – тиф – сломил сильного телом и духом Ф. Д., и он тихо скончался в морозный день лютой зимы 1920 года в Кубанских степях...

Угас нежный певец донских степей, но память о нем с нами всегда.

«Вольное казачество» (Прага), №73, с. 15–17, 1931 г.

СЛОВАРИК

К ОЧЕРКАМ Ф. Д. КРЮКОВА 1917–1919 ГГ. С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ИЗ «ТИХОГО ДОНА»

Составители *М. Ю. Михеев, А. Ю. Чернов**

Агромადнейший («В сугробах») – громадный. «Сейчас агромаднейшие деньги зарабатывает». В ТД: «...Гутарют, у него башка агромадная» (4, XVII, 162).

Арапа стропить («Обвал») простореч. (из воровского арга) – *А. стропить* (*заправлять*) – обманывать, дурачить, притворяться с целью обмана (Ушаков). В ТД: «– Будет править арапа!» (6, XLIX, 323).

Архирей («Новым строем») – испорч. архиерей. «– Ну, не уедем отсюда, пока архирея не сковырнем! <...> Кабыть у нас своих природных архиреев нет, свово корня?..» – У Крюкова см. такое же написание в рассказах «Отец Нелид» и «К источнику исцеления». В ТД: «–...я хворого архирея везу» (7, XXVII, 276); «–...Архирейский напиток, одним словом!» (7, XXVIII, 291); «–...Это тебе, браток, не архирейское, а – прямо сказать – царское!» (7, XXVIII, 291–292).

Атава («После красных гостей») или *отава* – остатки травы на пастбище; ветошь, подснежная трава, оттаявшая по первой весне // Трава, выросшая после косьбы; это и есть трава, образующая зимнюю отаву (Даль). В ДС нет. В ТД: «Займище изумрудилось наращенной молодой отавой» (2, II, 127).

Афишка («Новым строем») – прокламация (от франц.) – торжественное обнародование, воззвание, объявление (Даль). Контекст: «И словно самый воздух был насыщен этим лозунгом: “сковырнуть”... В каждой вести из столиц слышался он, звучал с каждого серого листка-прокламации, в глухих углах именуемого “афишкой”...». Ср. в ТД: «– Никак, афишку читают? Айда туда» (2, IV, 262).

*) Составители сердечно благодарят Л. У. Ворокову и Н. М. Введенскую за помощь при работе над словарем.

Баз («Здесь и там») – 1. Огороженное место при доме или в поле для содержания скота, скотный двор. 2. Закрытое помещение или навес для скота. 3. Хозяйственный двор (ДС). В ТД многократно.

Барак, барачек («Новым строем», «Цветок-татарник») – то же, что буерак. По ДС – овраг. В текстах Крюкова более 20 раз (а в форме *буерак* только в речи от автора); в ТД везде вместо него только: *буерак/-чек/-чный* (более 30), но в рукописи было *баерак/-чек/-чный* (!). Ср.: *байрак* – юж., татар. сухой овраг, водороина, водомоина (Даль).

Беляна («После красных гостей») – волжск. плоскодонное, неуклюжее и самой грубой работы речное сплавное судно; самая большая барка, белая, несмоленая; в ней нет ни одного железного гвоздя... спускаются по половодью с лесом, лыками, рогожами... (Даль).

Беимет («Визитка...») – одежда в виде кафтана со стоячим воротником. Надевался на рубаху и под халат, хотя в быту мог носиться самостоятельно. Не позже XVIII века заимствован казаками. В ТД дважды в 7 части.

Бобриковые «дипломаты» («Новым строем»): *Бобрик* – вид сукна со стоячим ворсом; *Дипломат* – длинное весеннее или осеннее пальто особого покроя (Ушаков).

Брезидент («В углу»). Народная этимологизация слова «президент» от «брезендук/брезент». (См. Буксовый.) Контекст: «– Брезидент мудрый, а на деньги вот сутлящийся: бутылочные ярлыки, а не деньги, никакой видимости в них нет, никому не всучишь...» Подобные лже-этимологии типичны для прозы Крюкова и ТД: *либизация* – *нибилизированный*; *мовтобиль* и *нефтонобиль* – *антомабиль*; *старый прижим* – *старый прижим*. На последний пример стоит дать ссылку: «...казаки с чисто академическим интересом лишь слушали, кто хлеще накладывает в загривок старому “прижиму”» («Выборы на Дону») – «– Старый прижим начинается!» (ТД: 4, VIII, 89). См. *Куняк*; Отбывательская подвода.

Брица («После красных гостей») – 1. Щетинник зеленый, сорное растение с узкими длинными листьями и колосками, имеющими цепкие щетинки. 2. Метлица обыкновенная (ДС). Есть в ТД: (7, II, 221; 8, VI, 353) и др.

Бруны («Усть-Медведицкий...») – песчаные холмы (ДС).

Брынские леса («Мельком»). – Имеются в виду леса по реке Брын в Калужской обл. Илья Муромец в народной былине едет из своего Мурома «Через те леса Брынские, через речку Смородинную».

Буксовый («Новым строем») – здесь не самшитовый или пальмовый (Даль), а брезентовый. Контекст: «– Шутить шути, а Филька вон в буксовых сапогах ходит... Это имеет свою приятность!» См. также в рассказе «Ратник»: «...надевал фуражку казенного образца с солдатской кокардой, буксовые сапоги, гимнастерку...». Буксы – непромокаемые штаны у поморов (Н. Н. Гринбанд. Толковый словарь поморской говори. 2009.

<http://www.proza.ru/2009/04/20/930>). Букса – брезент. По Далю: брезендук – самая толстая парусина (морск.); брезент – то же, крашенная или смоленая, для покрышки и защиты чего. В советское время букса заменяется кирзой – материалом на тканевой основе с каучуковым покрытием. Кирза – сокращение от «Кировский завод» (Кировский комбинат искусственных кож). Искусственный каучук был синтезирован в 1928 году химиком С. Лебедевым.

Бунить, бунеть («Камень созидания») – реветь (о животных); гудеть (о жуке); громко плакать (о детях); перен. издавать монотонные звуки (ДС).

Вакан («Мельком», «Новым строєм») – об удачной продаже (ДС); то же что и *Ваканция* – везение, удача. (У Крюкова в рассказе «Жажда»: «Казак, известно, пользуются ваканцией: где что плохо висит, глядят, как бы стянуть да пропить...») В ТД: «– Им самая жизнь с этой властью, вакан!» (6, XXXVIII, 243).

Валандаться («Новым строєм») – 1. Шататься без определенной цели, бесполезно проводить время. 2. Медлительно и бестолково заниматься чем-либо, долго возиться с кем-нибудь (Ушаков). Контекст: «– Я вот с пятницы вторую неделю тут валандаюсь». В ТД: «– Две недели я с ним валандаюсь, это каково?» (7, XIX, 194).

Ваньки («Цветок-татарник», «Ответственность момента») – в России обычно так называли извозчиков (ср. у Даля: зимний легковой извозчик на крестьянской лошаде и с плохой упряжкой...), но здесь: русские, красные, пехота (в отличие от казаков, белых, конных). В ТД: «– ...Взводный в хромовых сапогах, а “Ванек” в обмоточках» (6, XX, 161).

Вентерь («Новым строєм») – рыболовная снасть в виде суживающейся книзу сети на обручах, мережа (Ожегов). В ТД несколько раз.

Вербёнка («Здесь и там»): уменьшительно-пренебр. от «верба», как и «вербинка» (оба примера из ДС).

Ветряк, ветрянка («Цветок-татарник», «Здесь и там») – ветряная мельница (ДС). В ТД «ветряк» многократно.

Вилючий («Цветок-татарник») – то же, что *вилюжный*, извилистый (ДС). В ТД «вилюжить», «вилюжиться», «извилюжить», «вилюжина», «вилюга», «вилюжка».

Влазноё («В углу») из воровск. арг. – сумма, которую должен внести новичок тюремной общине. По Далю, влазная чара (кур.) – чара, подносимая при входе гостю.

Войсковая дача («Свежо предание») – лесные угодья, принадлежавшие Войску и использовавшиеся для удовлетворения нужд станичников. См. *Дача*.

Ворохнуть («В гостях у товарища Миронова») – шевельнуть. Ср. *ворохаться* – шевелиться, качаться (о кустах, траве) (ДС). В ТД глаголы «ворохнуть(ся)» и причастие «ворохнувшийся» употреблены в сумме 21 раз.

Враздробь («В углу») – 1. Порознь. 2. Из разных мест, вразбивку (школьное аргю) (Ушаков). В ТД в первом значении дважды в 6 части романа: «шли уже враздробь» (6, LIV, 354); «всадников, ехавших враздробь» (6, LIX, 382). До Крюкова это слово уже мелькало у русских писателей. См., например: «Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь всё враздробь, не поймёшь ничего» (А. П. Чехов. Вишневый сад). Однако, поскольку более ни в ТД, ни у Крюкова обнаружить это слово нам не удалось, обратим внимание на временное совпадение: очерк Крюкова «В углу» опубликован в апреле 1918 года, а 6 часть ТД начинается словами: «В апреле 1918 года...».

Щемить лату («В углу») – запустить руку. Ср.: *Щемить* (что, в чем или чем) – давить, сжимать, гнести, увязив в чем или тискать (Даль). В ТД: «...Я бы его в такое щемило взяла, что аж всем чертям тошно стало бы!» (7, XIV, 135). По Далю: *Щемялка, щемяло, щемело* пск. твер. – расщепленная с конца палка, лешедка. // *Щемилы* ср. мн. каз. загородка, для поимки, загона коней, развильем, широкая при входе, а верху клином. «Вщемить брусок в тиски».

Выдуться («Мельком», «В гостях у товарища Миронова», «Камень созидания») – вынести, выдержать, вытерпеть. По объяснению самого автора (рассказ «Около войны», 1914), турок вызывает к себе и почтительное удивление своей способностью «дуться», т. е. выносить невероятные лишения; в прямой речи («С мест», 1913): «– А всё пока дуемся». *Дуемся* – терпим, выносим.

Выростковая голенища – голенище, сделанное из кожи молодого животного. Слово *голенище* у Крюкова иногда употребляется, как и в литературном языке, в ср. р., но иногда в ж. р. – *голенища* (преимущественно в прямой речи персонажей). В ДС только «голенишка» (ж. р.). В ТД: «– Мне ее красоту за голенищу не класть» (1, XII, 60).

Вьючка: то же что *вьюк* – груз, перевозимый на спине животного. В ТД «вьючные пряжки», «вьючные» пулеметы, «навьючить» и «развьючить».

Голица («В сугробах») – рукавица (ДС). «Прасол высоко поднимает руку, шлепает по голице продавца...». В ТД: «Снял голицы и вытер рот» (6, XXXIX, 254).

Голос («После красных...», «Свежо предание», «Визитка...»): *Это голос* – ‘серьезно, важно, заслуживает внимания’. *Это не голос* – ‘ерунда, пустяки’. *Вот это голос!* – ‘вот это да! какво!’ Ср. в примечаниях к ТД: Кн. 1, сноска к с. 398: «*Каков голос* – какво». Кн. 2, сноска к с. 278: «*Вот так голос!* – Вот так так, вот это да!» Кн. 3, с. 29: – *Вот так голос!* От-как же он знает?

Грань («В углу») – граница (ДС). В ТД: «Тогда еще с гребня, от Еланской грани...» (4, XII, 116); «По Дону, по Кубани, по Тереку, по Уралу, по Уссури, по казачьим землям от грани до грани...» (4, XIV, 136) и др.

Гребло́ («Цветок-татарник») – лопата; *Под гребло* – полностью, без остатка (ДС). Контекст: «... Угнали скотину. Быков, правда, успел отогнать в барак, там с ними и жил, а то все – под гребло...». В ТД: «– Нынче наживешь, а завтра придут да под гребло...» (6, XIX, 155).

Гряду́шка («В сугробах») – то же что гряди́на, борт повозки (ДС). В ТД несколько раз: грядущка повозки, арбы, саней, люльки.

Дача («Свежо предание») – уголья и земли отмежеванные, собственность владельца или общества (Даль). См. Войсковая дача.

День при дне, или *День в день* («В гостях у товарища Миронова») – изо дня в день, ежедневно (ДС).

Дипломат – см. Бобриковий «дипломат».

Дойник («После красных гостей») – растение донник (ДС). В ТД многократно *донник*.

Дреднот («В сугробах») – о тяжелой и неуклюжей обуви; искаж. от *дредноут* (правильное написание в очерке «Визитка...»). «Dreadnought» (букв. неустрашимый) – английский броненосец, построенный в 1906 г. До 30-х гг. дредноутами называли линейные корабли этого типа (БЭС). В ТД в конце 7 части трижды *дредноут*.

Дымка («Новым строем») – самогон (ДС). В ТД: 6, XIII, 118 и пр.

Ёрик («Свежо предание», «Христос воскрес!») – ручей, проточная вода, обычно текущая по дну оврага... (ДС); 1. Протока, соединяющего реку или отдельные рукава с пойменным озером или пойменные озёра друг с другом. 2. Ложбины временных потоков, образующихся на пойме при разливах реки (БЭС). 3. Протока из реки в ту же реку. В ТД несколько раз.

Жалкий («Здесь и там») – милый, дорогой (ДС). Контекст (в авторской речи): «...людей мне близких и невыразимо жалких» (то есть дорогих). В ТД: «– Чадушка моя! Жалкий мой, молочка-то кисленького положить?» (6, XIII, 115); «–...Кубыть отнимает он у меня что-то, самое жалкое. Кубыть грабит он меня!» (6, XX, 163); «–...Ну хорошо, почему же они вот сейчас стали мне так особенно милы и жалки?» (6, XL, 262). В авторской речи в ТД «жалкий» многократно в принятом в литературном русском значении 'ничтожный', 'ущербный' (так и в очерках Крюкова: «жалкие волосы на плешине», «там торчали жалкие руины», «опыт общественных усилий выходит здесь жалким и конфузным»). Однако в ТД, как и в очерках Крюкова, также существует единственное исключение: «Была в ней смесь, жалкая и наивная, детства и расцветающей юности: крепили и заметно выпирали под кофтенкой небольшие, с кулак, груди, раздавалась в плечах; а в длинных, чуть косых разрезах глаз все те же застенчивые и озорные искрились черные, в синеве белков миндалины» (3, I, 240). Здесь «жалкий» – милый, а не ничтожный. Если автор дважды проговорился, употребив в своей речи слово в родном, диалектном, а не литературном значении, то это, скорее всего, – один автор.

Жерлян («Новым строем») – ср. *жерлянка*: лягушка, похожая на жабу, с серой спиной и желтым брюшком, издающая укающий звук (Ушаков).

Зараз («Цветок-татарник») – сейчас, тотчас (ДС). В ТД многократно.

Застреха («Сила духа») – нижний край кровли, навес (Даль). В ТД чetyрежды.

Затопотать («Обвал»). В ТД: «...майским ливнем буйно брызнул и затопотал по лесу стрекочущий пулеметный огонь» (4, III, 41).

Зебры («После красных...») – 1. Жабры. 2. Горло (ДС). В ТД: «– Кум Прошка, давай стремennую чекалдыкнем. – Так по зебрам и пошел огонь...» (1, XXIII, 108).

Землеед («Усть-Медведицкий...») – эвфемизм. Ср. в ТД: «– Я таких говноедов...» (6, LIX, 382).

Зимовник («Свежо предание») – теплый скотный двор и изба при нем в поле (ДС); зимнее жилье инородцев, становище, зимовье (Даль). В ТД «зимовник» несколько раз.

Зипун («В углу», «В гостях у товарища Миронова», «Край родной», «М. П. Богаевский», «Старший брат и младший брат», Войсковой круг», «Единое на потребу») – русский кафтан без стоячего ворота; верхний кафтан от непогоды; шабур, чапан, сермяга, азам (Даль). В ТД многократно.

Зипунный рыцарь; *зипунное рыцарство*; *рыцарь в зипуне* («В углу», «В гостях у товарища Миронова», «Край родной», «М. П. Богаевский», «Старший брат и младший брат», Войсковой круг», «Единое на потребу») – контаминация донского выражения *зипуны добывать* (ходить за военной добычей) и формулы В. Г. Белинского «азиатское рыцарство, известное под именем удалого казачества». Белинский же идет от Гоголя, который устами Тараса Бульбы говорит сыновьям о защите «чести лыцарской» и веры Христовой. У Крюкова в «Булавинском бунте» (1890-е; при жизни не опубликовано): «... в сознании простых серых, зипунных рыцарей». Кроме того, в рассказе «Ползком»: В этом наименовании «лыцарьями», т. е. рыцарями, людей в зипунах и поршнях, спешивших посечья не по таксе, а по собственному приговору, была едкая ирония». В ТД: «казаки, рыцари земли Русской!» (4, XVII, 166). О казаком «рыцарстве» см. в речи Федора Крюкова в Государственной Думе (13 июня в 1906 г.): «Правительство, как говорил предшествующий оратор, сделало все для того, чтобы стереть память о тех отдаленных временах своеобразной рыцарской отваги...» Вариации на эту тему у Крюкова встречаются и раньше: «...о древнем казаком рыцарстве» («Шквал»; 1909); Ср. в ТД: «...так же натыкался на простую, зипунную броню подтелковских ответов» (5, X, 249); «Нелепый вид зипунного офицера развеселил Григория» (7, XIX, 184).

Изгородний («Свидетельство документов», «Живые вести») – любой не казак. (В ДС нет; в ТД многократно, кроме первой книги и 8 части).

Исподволки («Новым строем») – ср. в ДС: *исподволичка*, *исподволька* – постепенно, понемногу.

Исхарчѣться («В углу») – издержаться; воронежск., нижегородск., ря-
занск. – издохнуть (Даль). У Крюкова исключительно в знач. *умереть*.

Кабыть («Старший брат...», «Новым строем») – будто, как будто, то
же, что *кубыть* (ДС). У Крюкова «кубыть» в ранней прозе («Гулебщики»).
В ТД только *кубыть*.

Кадѣты («В углу») – кличка белых, данная им на Дону в начале 1918 г.
До этого времени кадетами («партия к-д»; «ка-деты») называли членов
либеральной Конституционно-Демократической партии («партии Народ-
ной свободы»). В ТД многократно.

Казакѣн – верхняя мужская и женская одежда у украинцев и русских в
XIX – нач. XX вв., короткий кафтан, сшитый в талию, со сборками сзади
(БЭС).

Катух, («В углу») – *катух* или *котух* южн. хлев для мелкой скотины;
тамб. плетневый хлевок; влад., яросл. свиной хлев, шалаш; симб. конура,
грязное жильѣ (Даль). Ср. в ТД: «в катух за кизеками» (2, VIII, 156) и пр.

Кизек («Цветок-татарник», «Чувство чести и достоинства»), кизечный
дымок («Ползком») и *кизяк* («Ползком», «Камень созидания», «Свежо
предание»). Кизяк/кизек – топливо из сухого навоза с соломой в виде
кирпичей или лепешек (ДС). В ТД – кизек.

Кила («В сфере...») – грыжа, опухоль (Ушаков). 1. Гнойный нарыв,
чирей (наряду с прост. кила – грыжа); 2. Плохой, бранчливый человек
(ДС). Контекст: «– И действительно, так и вышло: после этих угроз слу-
чилось – у одной коровы и у одного быка из кожи вышли шишки... <...>
Под названием килы...» («В сфере...») В ТД: «– У ней, гитарют, кила. От
этого ее и муж бросил» (2, XVIII, 211).

Кимвал звѣняций или бряцающий («Усть-Медведицкий...») – (книжн.,
ирон. от библейского выражения «медь звѣнящая и кимвал бряцающий») –
о пышной, торжественно звучащей, но мало содержательной речи и сло-
вах (Ушаков).

Козырь («Усть-Медведицкий...», «Цветок-татарник») – человек бой-
кий, расторопный, смелый; молодец, хват (Даль). Ср. *ходить козырем*. В
ТД: «–... У меня горюшко потяжелѣше твоего, да и то хожу козырем» (7,
XIV, 135).

Конопи («В сугробах») – конопля (ДС). «–...сей конопи да тки!» В ТД:
«–... конопи молотить завтра» (2, II, 123) и пр.

Концы в концов («Визитка...») – общепринятое в местной речевой
практике казачье искажение словосочетания *в конце концов*. (В ДС име-
ются только следующие варианты: *конец(-цы) концов*, *конец с концом*,
концы (к) концам, *на конец концов*).

Корыто и шкура – см. *Шкура и корыто*.

Краина («Сила духа») – окраина (ДС). У Крюкова в «Силе духа» в дру-
гом значении: ‘родина, край, страна’. Ср. ТД в народной песне: «Свою он
краину навеки покинул...» (3, VII, 285)

Красоваться («Цветок-татарник») – любоваться (в ДС нет). Контекст: «– Вот хожу, гляжу, красуюсь природой...– Вот хожу, гляжу, красуюсь природой... чисто сделали...». В ТД: «– Вашего хуторца пригнали! Покрасуйтесь на него, на сукиного сына!» (6, LV1, 359); «– Походить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать» (8, XVIII, 492).

Крынуть («В углу») – в значении ‘прогулять, прокутить, пропить’.

Кунык («Новым строем») – искаж. *коныак* (ср. с глаголом *Кунять*: южн. зап. дремать сидя, кивать головою, клепать носом от дремы – Даль).

Купырь, *купырёк*, *купырик* («Усть-Медведицкий...») – цветочная стрелка в своей начальной стадии. *Быть как купырик* – быть молоденьким, свеженьким (ДС); ср. *Купырь* – раст. дягиль; будыль, морковник (Даль). В ТД: 3, X, 304.

Курбет («Цветок-татарник») – дыбók, дыбки, подъем и óпуск лошадью передних ног (Даль).

Кутята (от *кутик*) («В углу») и *кутёк* «Свежо предание» – шенок, кутенок (ДС).

Левада («Край родной», «Камень созидания» и пр.) – огороженный или окопанный луг или пастбище; подгородный покос; огород, сад (Даль). В ТД многократно.

Лодыжка («Новым строем») – косточка из сустава ноги животного, залитая свинцом для игры; *Играть в лодыжки/бабки* – играть в кости (ДС).

Любулика («После красных гостей») – ласковое обращение (без различия, к мужчине и к женщине); в ДС отсутствует. В ТД многократно.

Маштачок от *Маштак* («Цветок-татарник») – малорослая лошаденка, лошадь-карлик (Даль). По ДС: 1. Молодой конь. 2. Старый конь. 3. Кастрированный конь. 4. Маленький, толстенький конь. *Маштаковый* – малорослый, но крепкий. В ТД: «Федот, причмокивая, помахивал на своего маштака волосьяными вожжами» (2, IV, 136); «Григорий видел маштаковых, не донских коньков...» (6, XXXVII, 233).

Мозглявый от *mozglyak* – («В углу»). Контекст: «Один из фронтовиков, мозглявый, с заячьей губой и мокрым носом...»). В ДС только [«масклявый»] (один пример из полевых записей.) См. в ТД: «Второй, москлявый и смуглый казачок станицы Мигулинской» (1, XIX, 96); «чернозубым москлявеньким офицером» (3, I, 243); «смуглую москлявенькую девушку» (3, XIV, 338). Однако «mozglyaенький старичишка» (5, XXVIII, 375).

Музга («Усть-Медведицкий...») – 1. Заболоченное озеро. 2. Низина, впадина, заполненная водой, оставшаяся после разлива реки (ДС). В ТД: «От высыхающей степной музги» (1, V, 37); 1 раз в 5-й, 6 раз в 6 части и 10 раз в 7-й. Во 2, 3, 4 и 8-й нет.

Мурин («Камень созидания») – арап, негр, чернокожий (Даль).

На воскресе́е («Здесь и там») – быть живу, в добром здравии. Ср.: Воскрёс – воскресенье от мертвых. Быть на воскресах или на воскресии – оживать, едва оправиться после болезни, страха или бедствия; отделаться, отбиться от суда, от уголовщины (Даль).

Набрóд («В сфере...») – приезжие люди (ДС). См. также *Наплыв*.

Назём («Обвал») – навоз (по Далю – «помёт скотский»).

Намале («Мельком») – мало (ДС). «...табаку намале остается, вашскобродь!» В ТД: «...казаков вовсе на-мале осталось» (8, VII, 377).

Наплыв («Новым строем»; также см. «Колдовской процесс», «К источнику исцеления») – то же, что *напла́в*: мусор, приносимый течением реки (ДС). (Ср. у Даля: *Наплыв, наплав* – все, что наплыло куда-нибудь, нанос, наволок.) «Так казаки называют и иногороднее, пришлое население» (генерал-майор Голубинцев в книге «Русская Вандея», Мюнхен, 1959, с. 21, 102). В ТД: «...каймай лежал наплав: оставшиеся от разлива обломки сухого камыша, ветки, куга, прошлогодние листья, прибитый волною дрям» (5, XXII, 328) и др. Дон течет из Средней России, потому слово «наплав» по отношению к русским переселенцам оправдано географически. См. *Набрóд*.

Невылазный («Новым строем») – высокий, густой, труднопроходимый (ДС). Контекст: «...жизнь по-прежнему трудна и невылазна». В ТД: «...проулки были проложены по невылазной болотистой топи» (6, XLVIII, 314).

Неко́сь («Усть-Медведицкий...», «Здесь и там») – не кошенный в прошлом году луг (ДС).

Неподобный («Усть-Медведицкий...») – нехороший, негодный (ДС). В ТД: «– Жрет, нечистый дух, неподобно!» (6, II, 22); «– И-и-и, черт бессовестный! Залил zenки-то и несешь неподобное!» (6, XLI, 274).

Новина́ («Новым строем») – хлеб нового урожая (Ушаков).

Обед да полдни («Цветок-татарник»): *Ну, только помни: обед да полдни, – поговорка есть такая у нас...* – первоначально, видимо, как упрек за неблагодарность, попрекание съеденным. По толкованию Л. У. Ворковой, что-то вроде «вспоминай мою угрозу за едой», т. е. и когда обедаешь, и когда полуднуешь. (*Полдни* – в значении 'полдник'). Говорят эти слова тогда, когда или сами намерены мстить, или уверены, что наказание неотвратимо. В словаре Даля находим только: *Обед до полдня, а пообедашь негде*.

Обрывок, обрывка, обрывыш («После красных гостей») – оторванная часть, лоскут, часть подержанной веревки // Обрывочные снастишки – дрянные (Даль).

Огорожа («Зов братьев») – изгородь из досок, веток, камыша; тоже, что «горожа» (ДС). В ТД только в 3 и 4 томе, и по большей части о каменной ограде.

Одѣжа («Мельком») – одежда (ДС). «...одежа казенная». В ТД многократно.

Орепей («Новым строем») – орепейник; арепей (ДС) – репей, татарник колючий. Контекст: «вцепился колючим орепьем». В ТД: «...Прилипнет, как орепей, и отцепы от него нету!» (7, XIV, 133).

Орлянка («В сугробах», «В углу») – простонародная игра, состоящая в том, что бросают монету, и тот, кто угадает, какой стороной (решеткой или орлом) упадет она, выигрывает ее (Брокгауз).

Остебнуть («В сфере...») – ср.: *обстебать, остёбывать* – остегать, охлестать прутом, хлыстом, розгой; *остебаться* – отхлестаться (Даль). В ТД: «– Хоронись за косилку! Истинный бог, стебанет кнутом. Покель разберемся, а он выпорот...» (1, XVII, 85).

«Отбывательская» подвода («Камень созидания») – переделанное «обывательская», т. е. назначаемая в порядке отбывания повинности.

Отслонить («В гостях у товарища Миронова») – отклониться, увернуться. Контекст: «Поднял винтовку, щелкнул – я успел отслонить от двери в угол...». В ТД: «– Пусти! Отслонись, говорят!» (6, XLV, 285); «– Фронты отслонются, тогда и сеять будете...» (6, XLVI, 296). Отсюда народное «слонь слонять» – отлынивать.

Отступ («Здесь и там»): *идти в отступ, пойти в отступ* – отступать (ДС). В ТД: «Только в полночь пришли к общему решению: казакам ехать в отступ, а бабам оставаться караулить дом и хозяйство» (6, XIII, 117) и с этого места многократно.

Охулка, действие по гл. *охулить* – признать худым, дурным, негодным... (Даль). Только в выражении: *охулки на руку не класть или не положить* («В углу») – разг. фам. ‘не упускать своей выгоды, интереса, не зевать, не ошибаться в чем-либо’ (*Ушаков*).

Оцет – уксус («Мельком», «Обвал», «Забытые слова»). В Евангелии оцетом и желчью была пропитана губка, которую подносили ко рту распятого Иисуса, давая пить – перед тем как он испустил дух (Мф. 27,48; Ио. 19, 28-29).

Ощупкой («В сугробах») – наощупь (ДС). «...судить, рядить, ощупкой находить связь». В ТД: «ощупкой ишет у меня в голове вшу» (4, XVIII, 90) и пр.

Пеняз («Ответственность момента») – название серебряной монеты, выпускавшейся со второй половины XVI в. в Великом княжестве Литовском; *пеняз и пенязь* – мелкая монета (Даль).

По- в глаголах с удвоением приставки типа *повыгрести, позалезть, позарастить, понабраться, понавтыкать, поотвечать, поотпасть, попрिгнуть, поприпрятать, попрिцепить, попродать, порассовать, поуйти...* Такие глагольные образования с приставкой «по», как бы «надеваемой» на другую приставку в довесок – для обозначения интенсивности действия (или

распределенности действия по многим или всем сразу) объектам в поле зрения и у Крюкова, и в ТД, как в донских говорах вообще, встречаются более часто, чем в литературном русском. В последнем это, как правило, глаголы с оттенком просторечия – *понаехать*, *повыбрасывать*, *позабывать*, *позакрывать*, *понаписать*, *пораскинуть* (умом, мозгами) – хотя есть среди них и вполне литературные, без стилистического оттенка просторечия: *позабить*, *позавидовать*, *поотстать*.

Погоники («В гостях у товарища Миронова») – погоны. «...а враг тем, кто собрал несознательную массу и повел на убой за генеральские погонники...» В ТД: «– И ты погонники нацепил, Григорий Пантелевич?» (7, VIII, 76).

Погрѣбовать («Старший брат...») – побрезговать, 2 пренебречь (ДС). В ТД: «– Ты хучь и офицер, а нашим кумпанством, значит, не гребуешь?» (4, XVII, 156) и пр.; «–...ежли не погребуете» (8, XIII, 433).

Под палец («Новым строем») – соответствует выражению «на руку» (ни в ДС, ни у Даля нет). Контекст: «– Вам, значит, графская земелька под палец, а нам не к рукам?». Иное значение в других текстах Крюкова: «–...попадешь ты мне под палец!... Я тебе припо-о-мню!...» («Гулебшики»); «– Ты мне попадешь еще под палец!...» («На речке лазоревой») – т. е. «попадешь в руки», «попадешься под руку».

Подвеселить – ‘взбодрить’ (большей частью в прямой речи – «После красных...»; но также и в речи от автора, в частности, об извозчике, который *подвеселил* (лошадь) *кнутом* («Обвал»); В ДС нет.

Поджикивать («В сугробах», «Мельком») – подсовывать, подкладывать (в ДС не отмечен). Вероятно, от «жиковка» [жыкофка] – железный противень для запекания рыбы (ДС). Ср. *Жикать*, *жикнуть* кого, тамб. – стегать сильно кнутом, хлыстом (жигнуть, ожечь? или звукоподражательно жик?) (Даль). Контекст: «– ...Мука весной обязательно заиграет... А у меня деньги зря лежат все равно. Намелю муки – подходи видаться: рублика по четыре за пуд буду поджикивать – имеет свою приятность!» («В сугробах»); «– За мучицу и сейчас по четыре рублика лишь поджикивают. “Подходи видаться”... Богачи наши как с цепи сорвались. Да им что же? вакан... теперь-то и растелешит нашего брата...» («Мельком»).

Поджиться («В сугробах», «В гостях у товарища Миронова») – пожиться (ДС). Контекст: «на масле сейчас подживаются неплохо»; «Стали хворост резать – попались под руку колья, – как видать, кто-нибудь в общественном лесу поджился из рыбалок да спрятал». Ср. в ТД: «–...Я, сынок, поджился там неплохо» (6, IX, 93); «проведать родных и поджиться харчишками» (6, LVI, 358); «–...Нет, у меня не подживутся» (6, LIX, 381); «...а тут припало казачкам на чужбляк поджиться <...> Вот и мы там поджились» (7, XXVIII, 281).

Подметало (или *подметайло*) («После красных...») – так у казаков пренебрежительно называют людей, выполняющих незначительную, невалифицированную работу. Ср. *Подметала* – подметальщик (Ушаков).

Подходи видаться. В ДС отсутствует. Примеры употребления: 1) «... А хохлы, вон, приоделись – подходи видаться» («В углу»). 2) «...Намелю муки – подходи видаться: рублика по четыре за пуд...» («В сугробах»). 3) «– За мучицу и сейчас по четыре рублика лишь поджикивают. “Подходи видаться”... Богачи наши как с цепи сорвались. Да им что же? вакан... теперь-то и растелешит нашего брата...» («Мельком»). Употреблено в прямом и обратном, ироническом смысле. В ТД: «Гололобый солдат, в полуистлевшей зимней папахе, помог Бунчуку установить пулемет, остальные устроили поперек улочки нечто вроде баррикады. – Приходи видаться! – улыбнулся один бородач, поглядывая на близкое за бугорком полудужье горизонта. – Теперь мы им сыпанем! ...» (5, XXV, 355–356). Как указала Л. У. Ворокова, сегодня это выражение употребляется только в ироническом смысле.

Покоен, как летом в санях («В углу»; «После красных...»; «Новым строем») – ироническая контаминация выражения *Будь покоен* (относительно чего-либо) и слов, которыми начинается «Поучения Владимира Мономаха»: *Сидя на санях...* – то есть приближаясь к собственным похоронам (на санях отвозили покойника на кладбище в любое время года).

Поршни («В сугробах») – старая обувь, или сапоги с отрезанным верхом; рабочая мужская обувь из целого куска кожи, стягиваемая шнурком у шиколотки (ДС). «... Да в поршнях ходи, вот!...».

Посад – («Усть-Медведицкий боевой участок») в одном из значений – настил сжатых колосьев, подготовленных к молотье; *насаживать* (*посаживать*) *посад* – расстилать, раскидывать вилами по земле (ДС). В ТД: «настилать посад снопов» (4, III, 134).

Посерее («Мельком») – попроще (о простонародье). // Серый – необразованный, малокультурный, находящийся на низкой ступени развития (пренебр.) (Ушаков). «Непостижимым образом сверхсметные пассажиры размещаются в коридоре – с некоторым даже соблюдением рангов: те, что посерее, – бабы с котомками, мужики с мешками, солдаты-денщики – у наружных дверей, на площадках, около уборных: публика почище – офицеры, дамы с детьми, штатские люди очень делового вида – внутри». В ТД: «Там исключительно славный подбор офицеров, да и казаки подтверже, посерее – большинство из южных станиц Усть-Медведицкого округа» (4, X, 99).

Потитух («Новым строем», «Визитка...») – то же, что *патетук* – пальто, или *патетюк* – пиджак (в ДС нет, в словаре Фасмера из словаря Миртова).

По-топоровому («В гостях у товарища Миронова»). «Василий говорит: – Я плавать, можно сказать, могу лишь по-топоровому... – Держись –

говору – под воду, переплывешь как-нибудь» («В гостях у товарища Миронова»). В ТД: «–...А казаки с Чиру – не пловцы. Всю жизнь середь степи живут, где уж им плавать. Они все больше по-топоровому. – При конях переплывут» (6, LVIII, 376).

Потребилровка («Свидетельство документов») – магазин потребительского общества, кооперативная лавка.

Позортунило («Новым строем», «В углу») – повезло; ср.: *Форту́нить* (кому, чему) (разг. фам. устар.) – об удаче, фортуны в делах, то же, что везти (Ушаков).

Прасол («В сугробах») – скупщик мяса и рыбы для розничной распродажи; торговец скотом; перекупщик; кулак; обманщик (Даль). *Прасолить* – заниматься перекупкой товара (ДС). Отсюда: «Это прасоловало» («Новым строем») – это подкупало.

Прилик – для *прилику* («Визитка...») – искаженное «для приличия».

Примётко («В углу») – большая кладка сена (5–6 возов), то же, что *прикладок* (ДС).

Присучиваться («Новым строем») – придирается (ДС). «– Привезли сюда – милицейский присучился: нельзя да нельзя...». В ТД: «– Ишь ты, благородный какой. Сгинь, сукин сын! Что присучился?...» (1, II, 20).

Притулиться («Обвал», «В углу») – поместиться, улечься где-нибудь удобно или скрывшись за чем-нибудь (Ушаков). В ТД: «Ласковым телком притулюсь к оттаявшему бугру рыжее потеплевшее солнце...» (3, I, 236).

Приятность («В сугробах», «Мельком», «В углу», «Усть-Медведицкий боевой участок») – «имеет свою приятность». В ТД: «– Небось, посеешь от такой приятности...» (5, XXX, 389); «Тоже приятности мало в таком деле!» (7, XXI, 217).

Пропаганды (?) («Усть-Медведицкий...»). Контекст: «– ...Ну, это и люди! – негодующе обращается он ко мне: – пропаганды и сволочь, больше ничего!...» Ср. в ТД: «Пущал пропаганды, чтобы свергнули советскую власть» (6, XXIV, 183). Но тот, кто «пущает пропаганды», должен быть «пропаганцем». О том же: «...чем далее ехали, тем больший имели успех. Всех офицеров, не исключая и тех, с которыми ехали жены и дети, выгнали из классных вагонов в конские. В Царицыне педагогическое натаскивание было довершено, и в родные станицы полк въехал во всей красе революционной развязности, широты и глубины...» («В углу»). Видимо, в газете опечатка и читать надо «пропаганцы и сволочи» (развитие идиомы «поганцы и сволочи»). См. у Лескова: «...он только ограждал и отстаивал “свою веру” от всех “иноверных”, и в этом пункте смотрел на дело взглядом народным, почитая “христианами” одних православных, а всех прочих, так называемых “инославных” христиан – считал “недоверками”, а евреев и “всю остальную сволочь” – поганцами» (Н. С. Лесков. Старинные психопаты). Ср. также: «Маршак читает стихи для “Окна ТАСС”».

Они злые, остроумные. Кто-то предлагает вставить про Геббельса слово “пропаганец”. Маршаку нравится, он использует его в тексте» (*Ник. Соколов*. Я думал, чувствовал, я жил. М., 1971. С. 213–221).

Прясло («Новым строем») – изгородь из жердей, горизонтально прикрепленных к столбам; звено, часть изгороди от одного вбитого в землю столба до другого // жердь для изгороди (Ефремова). (Древнерусское – пролет стены между двумя башнями.) В ТД несколько раз.

Пхнуть («Новым строем») – пихнуть, спихнуть. Ср. пхать – совать; пхаться – отталкивать; пхнуться – двинуться (ДС). Контекст: «пхнуть кого-нибудь»; «архиерея сопхнуть»; «нас пхает». В ТД в значении ‘наткнулись’: «Они напхнулись да назад» (6, XXXVIII, 196) и пр.

Растелешить кого («Мельком») – обнажить или раздеть, разнаготить, оголеть (Даль). В ТД: «...Собирает с хуторов стариков, ведет их в хвост, вынает там из них души, телешит их допрежь и хоронить не велит родным...» (6, XXXIX, 255); «растелешившись» (6, LX, 386); «растелешились» (6, LXI, 403); «...растелешили бедных дочиста!..» (7, XV, 138); «...другие телешили людей прямо середь улицы, жидовок сильничали прямо напрапалую!» (7, XIX, 186); «...Я вчера уж вышла в сарай, растелешилась...» (7, XXVI, 259). См. *Телешом*.

Ревок, режь-ком («После красных...») – издевательские персделки слова «ревком» (революционный комитет).

Редкости – по редкости («В гостях у товарища Миронова») – редко встретишь. Контекст: «...конь был – по редкости таких лошадей». В ТД: «...В наш полк шел казак редкостный...» (1, XXIII, 110).

Решился («В сугробах») – лишиться (ДС). Контекст: «...думал: денег бугор нагреб... А сейчас еды решился: цены вон какие...» В ТД: «Что вы – ума решились?» (6, XXXVI, 231).

Рог с рогом («Цветок-татарник») – о большой скученности, также *рог к рогу* (ДС). У Даля нет. В ТД: «Народу на вокзале в Ростове – рог с рогом» (5, IV, 211).

Рожак («В гостях у товарища Миронова») – уроженец (ДС). «...а рожа<к> я – станицы Еланской, с хутора Дубового». В ТД: «– Я сам рожак с Крутовского...» (5, II, 203) и пр.

Румянеть («Обвал») – зарумяниваться, становиться румяным (Даль). «За Островом еще румянела заря». В ТД: «– Оставь, пожалуйста! – румянея, защищался Копылов...» (1, X, 98) и др.

Рыбалка («В гостях у товарища Миронова») – рыбак (Даль; с пометой «новг.»). «...О прежних уловах старые рыбаки (или “рыбалки”, как они называются в области) лишь приятно вспоминают да вздыхают, собравшись где-нибудь на песчаном берегу реки во время ночной ловли» (Ф. Крюков. «На Тихом Дону»). Ср. в ТД: «– Отец говорил – конопи молотить завтра. Нечего баглайничать. Ишь, рыбалка!» (2, II, 123).

Сак («Обвал») – теплое женское длинное пальто (ДС).

Самовидец («Новым строем», «О Войсковом круге») – очевидец (ДС).

«Сарынь на кичку!» («В сугробах», «Новым строем») – выражение считается остатком воровского языка волжских разбойников. *Сарынь* (*сорынь*) и ныне местами значит чернь, толпа; *кичка* нос судна. Это было приказание бурлакам убираться в сторону и выдать хозяина, что всегда и исполнялось беспрекословно (Брокгауз).

Сбазамыкать («Зов братьев»). Темное место. Текст: «Дорогой дядя, мы зимой в первых числах января приняли советскую власть. Все сбазамыкал командир 28 полка Фомин...» Возможно, описка в письме казака Алексея Назарова, или словотворчество газетного наборщика.

Сгребаться («Здесь и там») – собираться или собираться с силами, решаться (ни у Даля, ни в ДС такого значения нет). Однако в этом значении «сгребаться» не раз встречается в ТД: «– ...как же так – сгребся да ушел? А они при чем останутся?...» (5, LVII, 334) и пр.

Семитка («Новым строем») – (простореч., устар.) монета в 2 копейки (Ушаков).

Сибирная душа («Цветок-татарник») – сибирская душа, т. е. лихая, каторжная. Сибирный – зверский, лютый, злой (*по Далю*).

Сивозёбрый («После красных...») – словарями не зафиксировано, но означает очевидно примерно то же, что *сиволапый*. Ср. *сивоусый*, *сивобородый* – седобородый, седоусый; *Сиводёр*, *сивопляс*, *сивалдай* – простак, полугарь, хлебное, жидкое, дурное вино, с пригарью, брандахлыст // также производные отсюда: *сиволап*, *сивалдай* – неуклюжий, грубый мужичина (все – из Даля). См. *Зебры*.

Скоренить («В сфере...») – уничтожить, извести (ДС). В ТД «– ...Искоренили карты: что ни ночь, то им игра. До кочетов просиживают» (2, XII, 178).

Скутыляшиться («В углу») – охрометь; споткнуться. От *кутылять* – 1. Медленно двигать чем-либо. 2. Бормотать. 3. Покачиваться (при ходьбе) (ДС).

Словесность («В сугробах», «Мельком», «В углу», «Войсковой Круг и Россия») – казачья присяга и все то вербальное, что связано с государственностью. (Ср. в примечаниях к ТД: «Зубрежка, которой самодержавие добивалось беспрекословного подчинения»).

Спокой («Новым строем») – спокойствие (Даль; в ДС нет). «– Когда мы дождемся покою?». В ТД: «–...Только одна думка покою не дает...» (6, XXXVIII, 247).

Стегнушко («Мельком»). Стегно – 1. Бедро. 2. Свиной окорок (ДС). В ТД: «Удар был не силен и слегка лишь просек кожу на стегне левой ноги» (5, II, 252).

Страм, *страма*, *страмно* (В сугробах», «В углу», «Визитка...») – срам, срамота, страмно (ДС). В ТД – «одна страма» (1, I, 10); «страмота» (1, VI, 40); «страмно» (2, X, 168) и пр.

Стрелёбия («Усть-Медведицкий...») – направление (искаж. от *астролябия* – угломер, прибор для измерения высоты светил, по Далю); ср. также в прямой речи: «Подержать стрелебию на Италию» («Итальянец Замчалов»).

Стрёмя («В гостях у товарища Миронова») – стрежень, быстрина реки; течение, поток воды (ДС). В ТД неоднократно.

Стыдь («В гостях у товарища Миронова») – холод, ненастье (ДС).

Сухота («Цветок-татарник») – грусть, горе, тоска, кручина, печаль, забота (Даль). В ТД: «– Сухота одна» (1, III, 27) и пр.

Такса («Мельком»; «Новым строем») – цена.

Танцѹра («Камень созидания») – умелый танцор (ДС).

Татарник («Цветок-татарник») – репей. По Крюкову – колючий цветок, символ несгибаемости казачества. (Образ и символ заимствованы из «Хаджи-Мурата» Л. Н. Толстого, где татарник именуется татаринном.) В ТД неоднократно.

Телешом («В углу») – нагишом. См. *Растелешить*.

Тельный («Облом») – плотный, упитанный (ДС).

Теплушка («Новым строем») – фуфайка, ватник (ДС). В ТД: «края припаленной ватной теплушки» (4, VIII, 94); «женщина в ватной солдатской теплушке» (5, V, 214) и пр.

Титор («В сугробах») – искаженное «ктитор» – церковный староста. В ДС нет. «А ведь он-то, Иван, у нас титором, Писание знает...» В ТД: «Церковный титор. Против власти выступал в караулке. Возмутитель народа и контра революции» (6, XXIV, 184).

Тор да ёр, да Микишка вор («В углу») – 1. О малом количестве чего-либо. О ком-либо, характеризуемом отрицательно. 3. О чем-либо неудавшемся (ДС).

Тягулёвка («После красных...») или *тигулевка* – тюрьма. От: *Тягун, тягло* – вор (ДС). В ТД: «– В тигулевку их, какие скандальничают!..» (2, VII, 150).

Уличка (дважды в «Новым строем», дважды в «Свежо предание») – маленькая, неширокая улица. (В ДС только в значении 'скамья около дома'). У Крюкова в прозе неоднократно только «уличка» (исключением очерк «Ползком» 1916 г. в «Русских ведомостях»: «Въезжаем в станичную улочку...»). 8 раз в ТД.

Усынок («В гостях у товарища Миронова») – 1. Узкая длинная заводь. 2. Продолговатый песчаный островок. 3. Мыс между двумя сливающимися реками (ДС). Контекст: «В одной руке у нас озеро или затон, с другого боку – река Медведица. Место узкое, усынок, думаем, – застава тут не должна быть. Крадемся этим усынком, к каждому шороху прислушиваемся...» В ТД в том же значении: «За станицей он вброд переехал узкий усынок озера, рукавом отходившего от Дона и тянувшегося до конца станицы...» (6, LXI, 404).

Фараон («Обвал») – презрительная кличка городского (Ушаков).

Фатера («В углу») – квартира (воровск.). См. ТД: (7, IX, 92).

Фуриштат («В гостях у товарища Миронова») – обозный. Так и у Л. Н. Толстого в первом томе «Войны и мира». *Fuhrstaat* (нем.) – военный обоз.

Ханжа («Новым строем») – от китайск. «ханшин», хлебная водка желтого цвета.

Хунхуз («Христос воскрес!»): китайск. *hunghutzu*, букв. краснородый – в Манчжурии и Северном Китае участник шайки бандитов, грабителей (Ушаков).

Целик («После красных...») – матерая, нетронутая земля; целина, непаханая земля, новь (Даль).

Чекмарь («Ответственность момента») – палка с утолщением, шишкой на конце (ДС). В ТД: «с носом, расплюснутым еще в детстве ударом чекмаря» (2, XIV, 185).

Чекмень («Визитка...»; «Новым строем») – верхняя мужская одежда в переходной форме между халатом и кафтаном. Обычно изготавливался из сукна. В ТД «чекмень» и «чекменек» многократно.

Чирики («Визитка...») – черевички, башмаки, шаркуны (Даль). В ТД многократно.

Чихауз, или *чехауз* («В углу») – кладовая (ДС). От нем. *zeughaus* (*zeug* – оружие и *haus* – дом), название складского помещения для хранения запасов вооружения, снаряжения, обмундирования и продовольствия.

Чужбинник («В углу») – 1. Человек, стремящийся жить за чужой счет. 2. Вор (ДС). Контекст: «– А ты – чужбинник! Чужого понахватал, награбил...». В ТД также во втором значении и с разъяснением слова при помощи прилагательного «чужое»: «– Чужбинник! Б... старый! Воряга! Борону чужую украл!...» (3, XIII, 273).

Швальная, или *швальня* («Усть-Медведицкий...») – портняжная, комната, заведение, где шьют (Даль).

Шворка («В углу») – тонкая веревка, шнурок (ДС). *Попасть на шворку* – на виселицу. Контекст: в очерке шворка грозит большевикам Прокудину, Обернибесову и *Подтелкову*. Ср. в ТД: «–...Гадюка! Гад!.. Большевик!.. Как *Подтелкова*, тебя надо! На сук! *На шворку!*» (ТД: 6, III, 38) и 4 др. случая в той же 3 книге ТД.

Шибай, или *шабай* («В углу») – 1. Скупщик, барышник. 2. Человек, нанимающийся на временную работу. 3 (пренебр.) Недостойный, не пользующийся уважением человек (ДС). В ТД: «вырос из Сережки-шибая в Сергея Платоновича» (2, I, 114).

Ширять (пальцами) («В углу») – копать, рыться, ковырять, мешать, ворошить, раскидывать, переворачивать; толкать тычком (Даль). Контекст: «–...На господ офицеров пальцами ширяете – а сами что?» – в дан-

ном случае 'показывать, тыкать пальцами'. В ТД: «Дрожа отвисшей челюстью, немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову в грудь» (3, VIII, 299).

Шкалик – 1. Светильник. 2. О малорослом человеке. 3. О питейном шкалике. У Крюкова в прозе во втором и третьем значении: «– Гм... Росту ему не хватает для капитана: шкалик...» и «– Сядь ты, Шкалик!» («Группа Б.»); «Слышу: кто-то сзади меня шмурыгает носом. Оглядываюсь: вот такой шкалик – с винтовкой...» («Усть-Медведицкий боевой участок»); «шумные сражения с матерью из-за утаенного гривенника на шкалик» («Тишь»). Другое, более старое значение слова «шкалик» (малец, деточка, крошка) вероятно, развилось как переносное из 'фонарик' (по Фасмеру: из голл. *schaal* 'чаша; шкала; светильник'). Ср.: «На подъезде, обтянутом коленкоровым навесом, горели шкалики. [Федор Сологуб. Мелкий бес (1902)]; «...накупил массу разноцветных шкаликов и фонарей и подрядил плотников сделать побольше "фигур" – звезд, крестов, сияний...» [М. Горький. Колокол (1896)]. В русской литературе шкалик-светильник встречается с начала 1840-х. См. М. А. Корф. Записки (1838–1852); М. Н. Загоскин. Москва и москвичи (1842–1850); И. И. Панаев. Белая горячка (1840) и др. В ТД с очевидной с иронией над говорящим обыгрываются оба значения – старое и новое: «– Откуда ты, шкалик?.. – А вот... Служу». (ТД: 4, III, 30).

Шкура и корыто: люди, лозунг или соображения – *шкур*ы и *корыта* («В углу», «В гостях у товарища Миронова», «Зная...»); о тех, кем руководят только одни шкурные интересы, кто ограничен вопросами собственного корыта.

Шмурыгать («В углу», «Усть-Медведицкий боевой участок») – шмыгать носом, издавать носом звуки при насморке, *смурыгать* (ДС). В ТД и у Крюкова неоднократно. Контексты: «...рядом с этой невзрачной фигурой, шмурыгавшей носом» («В углу»); «–...слышу: кто-то сзади меня шмурыгает носом» («Усть-Медведицкий боевой участок»). Ср. в ТД: «Он долго давился вымученными, шершавыми фразами: скажет слово, как тавро поставит в воздухе, – и молчит, шмурыгает носом; но казаки слушали его с большим сочувствием, изредка лишь прерывали криками одобрения» (5, VIII, 235). У Крюкова есть и вариант «смурыгать»: «мальчуган, вечно смурыгавший носом» («Шаг на месте»). Но: «в шмурыганьи чириков по полу» («Отец Нелид»). См. в ТД: «руки их шмурыгали затворы винтовок» (6, XLIV, 281). В этих случаях шмурыгать – шаркать. Это авторское употребление глагола.

Юртовая земля («Новым строем») – принадлежащая юрту, у казаков так называлась земельный надел, принадлежащий станице (Брокгауз). В ТД слово «юрт» 21 раз (в 8-й части нет).

Юхть, или *юфть* («Усть-Медведицкий...») – кожа рослого быка или коровы, выделанная по русскому способу, на чистом дегте (Даль).

Ялка («Новым строем») – во фразе «Думаешь-думаешь: ялка, мол, к лучшему ли все это...». Видимо, смысл – ‘пустое, мол, к лучшему ли это...’. Ср.: *Яловка*, *яловица* – юница, телица, молодая коровка, не приносившая еще теленка; трехлетка, нетель (*Даль*); *Ялый* (по Фасмеру) – бесплодный, необрабатываемый (о земле); *Яловить* – не телиться (*ДС*). В ТД: «– Не жеребилась? – Нет, брат, яловая оказалась» (2, XX, 216–217).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Брокгауз** – Энциклопедический словарь
изд. Ф. А. Брокгаузом и И. Ефроном. Петербург. 1890–1907.
- БСЭ** – Большая советская энциклопедия.
- БЭС** – Большой энциклопедический словарь
(в 2 томах; гл. ред. А. М. Прохоров) М. 1991.
- Даль** – Словарь живого великорусского языка В. И. Даля.
- ДС** – «Большой толковый словарь Донского казачества». М. 2003.
- Ефремова** – Т. Ф. Ефремова. «Новый толково-словообразовательный словарь русского языка». Дрофа, Русский язык. М. 2000.
- Крысин** – Толковый словарь иноязычных слов. М. 1998
(автор Л. П. Крысин).
- Миртов** – А. В. Миртов. Донской словарь. Ростов-на-Дону. 1929.
- ТД** – «Тихий Дон».
- Ушаков** – Толковый словарь русского языка: В 4 т. /
Под ред. Д. Н. Ушакова. М. 1935–1940.
- Фасмер** – М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I–
IV. М., 1964 – 1973.

Цитаты из «Тихого Дона» даны по изданию:

Шолохов М. А. [Тихий Дон: Роман в четырех книгах]. // *Шолохов М. А.* Собрание сочинений: В 8 т. – М., 1956–1960.

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ Ф. Д. КРЮКОВА, опубликованные в этом сборнике

Край родной

Донская Волна. 1918 №12, 26 авг., с. 1.

В сугробах

Русские Ведомости. 1917:

I [часть] №26, 1 фев., с. 2; II – №33 10 фев., с. 5; III. – №38 16 фев., с. 2–3;
IV. – №43 22 фев., с. 6.

Мельком. Современные тыловые впечатления

Русские Записки. 1917. №2–3, с. 282–296.

Обвал

Русские Записки. 1917. №2–3, с. 195–222.

Новым строем

Русские Ведомости. 1917:

I [часть] №117, 26 мая/8 июня, с. 3; II. №119, 28 мая/10 июня, с. 2–3;
III. №147, 30 июня/13 июля, с. 3; IV. №152, 19/19 июля, с. 3;
V. №192, 23 авг./5 сент., с. 3; VI. №206, 8/21 сент., с. 3.

Новое

Русское Богатство. 1917. №4–5, с. 291–315; №6–7, с. 192–209.

В углу

Свобода России. 1918:

I [часть] №5, 16 (3) апреля, с. 1; II. №9, 21 (8) апреля, с. 3;
III. №18, 3 мая (20 апреля), с. 1; IV. №20, 9 мая (26 апреля), с. 6;
V. №33, 24 (11) мая, с. 1.

О войсковом круге

«Север Дона». 1918. №86. 10 авг., с. 1–2.

Войсковой круг и Россия

Донская волна. 1918. №16, 30 сент., с. 4–5.

В сере колдовства и мути

Донская волна. 1918. №16, 30 сентября 1918, с. 10.

Камень созидания. Впечатления и заметки

Донские ведомости. 1918. №66, 25 нояб./8 дек., с. 5–6.

Свежо предание. Из Медведицкой летописи

Донские Ведомости. 1918. №91, 25 дек. (7 янв.) с. 4–5.

В гостях у товарища Миронова.

(*Рассказ подхорунжего Б. Зеленкова*)

Донские Ведомости. 1919. №11, 13/26 янв., с. 4–5; №16, 19 янв. (1 фев.), с. 3–4.

29 января 1918 – 29 января 1919

Донские Ведомости. 1919. №24, 29 января (11 февраля) 1919, с. 4.

Роман Кумов

Донская волна. 1919. №9 (37). 24 февраля 1919 г.

Забывшие слова

Донские Ведомости. 1919. №76. 31 марта (13 апреля) 1919, с. 2.

Визитка от Арона Бибера

Донские Ведомости. 1919. №84, 11/24 апреля 1919, с. 1–2.

Редакционные статьи (апрель-июнь 1919)

М. П. Богаевский

Донские Ведомости. 1919. №77, 1/14 апреля 1919, с. 1.

Новочеркасск, 7 апреля

Донские Ведомости. 1919. №82, 7/20 апреля 1919, с. 1.

Зов братьев

Донские Ведомости. 1919. №103, 3/16 мая 1919, с. 1.

Партизаны

Донские Ведомости. 1919. №131, 8/22 июня, с. 1.

Чувство чести и достоинства

Донские Ведомости. 1919. №93, 21 апреля (4 мая) 1919, с. 1.

Живые вести

Донские Ведомости. 1919. 21 мая (3 июня) 1919, с. 3–4.

Свидетельство документов

Донские Ведомости. 1919. №109, 11/24 мая 1919, с. 2.

К изучению родного края

Донские Ведомости. 1919. 23 мая (5 июня) 1919, с. 4.

После красных гостей

Донские Ведомости. 1919:

I. – №170, 25 июля (7 авг.), с. 2–3; II. – №179, 4/17 авг., с. 2–3;

III. – №181, 8/21 авг., с. 2–3.

«В нынешние светлые лунные ночи...»

Донские Ведомости. 1919 №209, 12/25 сентября, с. 1–2.

Усть-Медведицкий боевой участок

Донские Ведомости. 1919:

[I.] №223, 1/14 октября 1919, с.2; [II.] №239 20 окт. (2 ноября), с. 2–3.

Старший брат и младший брат

Донские Ведомости. 1919. №255, 8 (21) ноября 1919, с. 2.

Цветок-татарник

«Донская речь». 1919. №2, 12/25 ноября, с. 2.

Здесь и там

«Донская речь» 1919 №13, 27 нояб. (10 дек.), с. 2.

Войсковой Круг

«Донская речь». 1919. №21, 6/19 декабря, с. 2.

Редакционные статьи (ноябрь-декабрь 1919)

Итоги дней. 5–7 ноября.

Донские Ведомости. 1919. №263, 17/30 ноября 1919, с. 1.

Ответственность момента

Донские Ведомости. 1919. №270, 27 нояб. (10 дек.), с. 1–2.

Знамя Мануила Семилетова

Донские Ведомости. 1919. №281, 11/24 декабря 1919, с. 1.

Долг перед Родиной

Донские Ведомости. 1919. №285, 15/28 декабря, с. 1.

Сила духа

Донские Ведомости. 1919. №286, 17/30 декабря, с. 2.

Единое на потребу

Донские Ведомости. 1919. №290, 21 дек.(3 янв.), с. 1.

Федор Дмитриевич Крюков

ОБВАЛ

*Смута 1917 года
глазами русского писателя*

Дизайн обложки *Сергей Шербина*

Ответственный за выпуск А. Г. Макаров

Подготовка текстов

Л. У. Ворокова, М. Ю. Михеев, А. Ю. Чернов

Научный редактор *М. Ю. Михеев*

*АНО НИЦ «АИРО-XXI»
107207, Москва, Чусовская ул., д. 11, к. 7.
Тел.: (495) 466-16-35.
E-mail: andmak@airo-xxi.ru
<http://www.airo-xxi.ru>*

Подписано в печать с оригинал-макета 22. 06. 2009 г.
Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага офс. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 23. Тираж 500 экз.

Волгоградская городская
общественная благотворительная
организация

«ДОНСКИЕ МОТИВЫ»

(Фонд Федора Крюкова)



История народа – это не только его прошлое, но и будущее его страны, поэтому, считаем, необходимо прилагать всяческие усилия к восстановлению исторической памяти Российского народа, показать величину подвига Белой Гвардии и с истинно сыновней любовью почтить память тех, кто боролся за Россию.

Цель ВГОБО «Донские мотивы» – восстановление светлой памяти донского писателя Фёдора Дмитриевича Крюкова и тех, кто не щадя своей жизни боролся за Веру, Царя и демократию на Дону, пытаясь не допустить кровавого большевистского хаоса на казачьей земле.

Многие из произведений Фёдора Дмитриевича Крюкова забыты, вычеркнуты из памяти русских людей совершенно незаслуженно.

Первоначально мы предполагаем:

- Найти место захоронения писателя;
- Установить мемориальные указатели;
- Установить памятник писателю Ф. Крюкову в станице Глазуновской;
- Создать музей-усадьбу на родине писателя в станице Глазуновской;
- Вести сбор материалов для экспозиции в музее писателя Федора Крюкова.

Обращаемся с просьбой ко всем, у кого есть возможность, предоставить нам архивные материалы и фотографии, письма, воспоминания – все, что может способствовать восстановлению правды и увековечению памяти Федора Крюкова и участников Белого Движения на Дону.

Наш адрес: 400005 г. Волгоград, 7-я Гвардейская, 4а-207

115522 г. Москва, Пролетарский пр-т, д.19, к. 3, оф.198

тел.: (8442) 26-63-48, тел/факс: 8-495-323-14-11; 320-90-08

моб.тел.: 8-905-540-41-18, www.krukov-fond.ru,

e-mail: krukov-fond@mail.ru